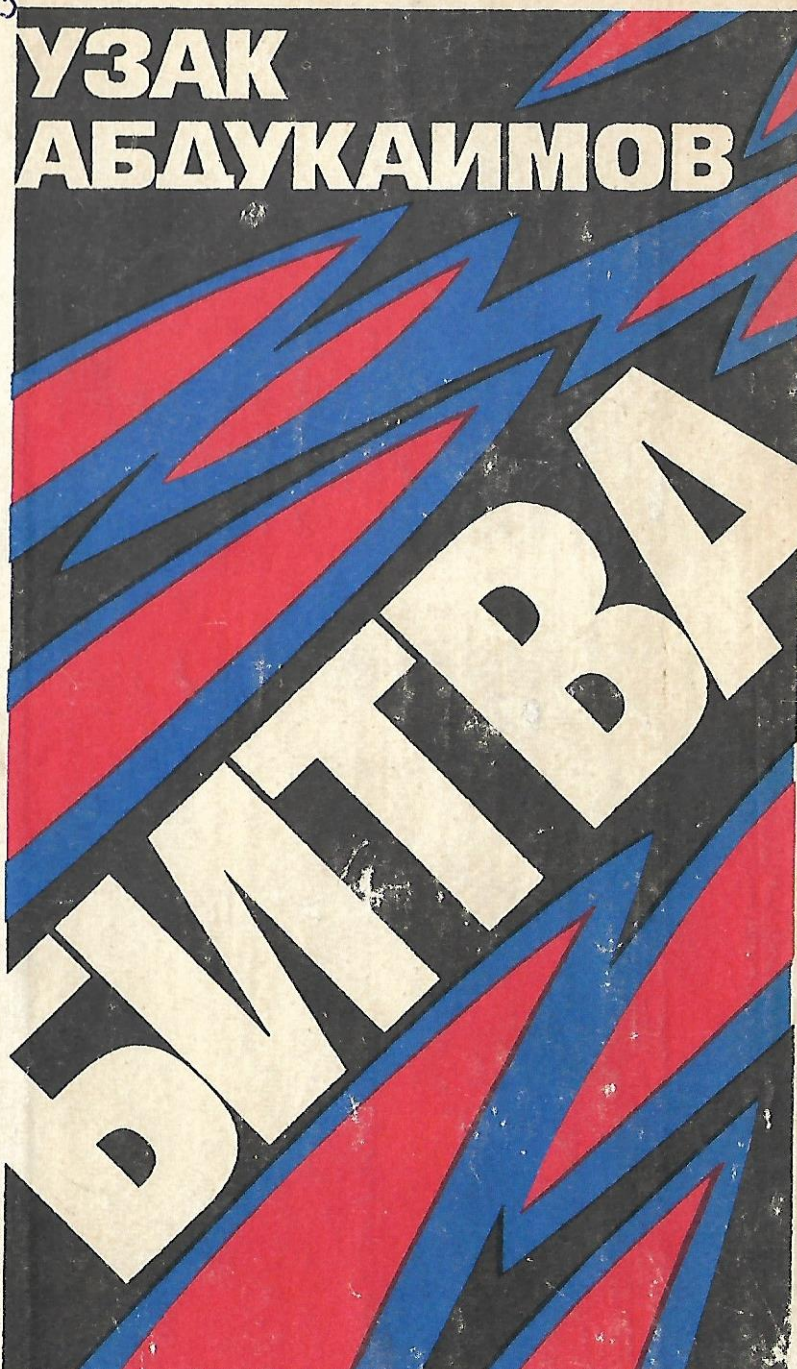


С  
А13

**УЗАК  
АБДУКАИМОВ**

**БИЛГЕВА**

The background of the cover features a dynamic, abstract pattern of diagonal stripes in red and blue, set against a black field. The stripes vary in width and angle, creating a sense of movement and depth. The overall aesthetic is bold and graphic, characteristic of mid-20th-century design.

2010 2014

С  
А13

**УЗАК  
АБДУКАИМОВ**

# **БИТВА**

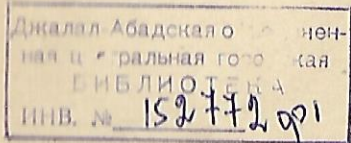
РОМАН

*Перевод с киргизского В. Рослякова*

Жалпа-Абдская  
областная библиотека  
ИНВ. № 35483

СОВЕТСКИЙ  
ПИСАТЕЛЬ  
МОСКВА  
1975

Роман «Битва» киргизского писателя Узака Абдукаимова посвящен событиям Великой Отечественной войны. Действие происходит и на фронте, и в тылу. Многочисленные фронтовые эпизоды перемежаются с картинами жизни в городе Фрунзе и в киргизских аулах.



Занимаясь многие годы литературным трудом, этот человек написал одну-единственную книгу. Теперь его нет.

И при жизни мы относились к нему с большим уважением. Он несколько удивлял нас, молодых, начинающих. Он мог бы издаваться не меньше других, но не спешил. Да, он не искал в литературе легких путей, не гнался за славой, не страдал одержимостью издаваться во что бы то ни стало. Главным делом его жизни были переводы русской и зарубежной классики. Работая над переводами, он прошел отличную литературную школу. Отсюда, пожалуй, та требовательность, которую он едва ли не «преждевременно» высказывал в те годы по отношению к другим и которую он предъявлял к себе.

Роман Узака Абдукаимова «Битва» («Майдан») явился значительным событием в киргизской литературе. Я помню, с каким интересом и гордостью встретили мы выход первого киргизского военного романа. Романа, написанного солдатом. Чувства эти вполне понятны — каждая советская нация внесла свой вклад в дело победы над фашизмом. Каждый народ прошел самые суровые испытания, когда-либо выпадавшие на его долю. В историю каждого народа война вписала страницы скорби и подвигов, страницы утрат и боевой славы. Так было.

Но годы шли. Забывались подробности минувших событий, постепенно уходили от нас фронтовики, в жизнь вступала молодежь, не знавшая войны. И, естественно, очень хотелось, возникла острая

потребность, чтобы народная судьба тех грозных лет была достойно запечатлена в многонациональной художественной литературе. Нужна была книга — как художественная память, как дух народа военной поры. Нужна была книга, которая бы всерьез, правдиво и диалектично рассказала о людях на фронте и в тылу.

Такая книга в киргизской литературе появилась в начале шестидесятых годов из-под пера Узака Абдукаимова. Замысел романа автор вынашивал с первых дней войны. Многие годы он посвятил художественному и философскому постижению многосложности мирового явления, именуемого войной. Предстояло преодолеть поверхностное, описательное изображение фронта и тыла, усвоившееся в первые послевоенные годы. Киргизскому писателю предстояло сказать о войне, учитывая творческий опыт всей современной литературы. Абдукаимов вполне справился с этой труднейшей задачей. В данном случае мы имеем дело с произведением, написанным со знанием дела, взволнованно и точно.

Мне думается, что при всем тематическом многообразии и многообразии форм в искусстве существует один-единственный способ подлинно художественного изображения жизни — это исследование чувства, мышления, поступков, взаимоотношений людей.

Роман Абдукаимова — пример нового направления в киргизской литературе, глубоко психологического, сосредоточивающего основное внимание на внутреннем мире, на личности человека, на его отношениях с окружающей средой, будь то в условиях фронта, будь то в «мирной» обстановке, в тылу.

Я думаю, читатели сами оценят достоинства этой книги, открывающей еще одну страницу в художественной летописи героической борьбы советских людей за свободу и свои идеалы.

Чингиз Айтматов

**Часть  
первая**

---

— Садага, садага<sup>1</sup>... Перейди, хворь, на мою голову... Садага, садага...

Так причитала Канышай-им, сидя у изголовья больной дочери. Бермет лежала в левой половине юрты на мягкой постели, укрытая поверх стеганого одеяла овечьей шубой. Бермет спала, посапывая во сне, как ребенок. На ее бледном лице играл свет, падавший из приоткрытого тюндюка<sup>2</sup>. Ветер с легким свистом проникал сквозь щели и шевелил ее волосы.

Всю ночь гремел гром и лил проливной дождь. Всю ночь у девушки был жар, она металась и стонала. Только к утру притихла, успокоилась и теперь спала крепким сном.

Сдав досрочно экзамены, Бермет уже собиралась ехать домой, как вдруг схватила воспаление легких и две недели провалялась в больнице. Когда пошла наконец к своим, родители повезли ее в горы, на весенний кумыс. Не успела Бермет сколько-нибудь окрепнуть, как свалилась снова. Насмерть перепуганные родители заметались, мать целыми ночами просиживала возле больной.



<sup>1</sup> Садага — слово, обозначающее искупительную или благодарственную жертву. Буквально: «Да буду я за тебя жертвой».

<sup>2</sup> Тюндюк — затянутый войлоком верхний подвижный деревянный круг остова юрты.

— Садага, садага...— шептала она, пытаюсь прочесть на лице дочери судьбу. То ли от пристального взгляда, то ли потому, что хорошо выспалась, Бермет шумно вздохнула, задвигалась и открыла глаза.— Доченька, хорошо ли себя чувствуешь?— Канышайим положила ей руку на лоб. «Жар спал»,— подумала она и с надеждой посмотрела на ослабевшую, беспомощно разметавшуюся в постели дочь.

— Мама, хочу есть,— тихо сказала Бермет.

— Слава богу, доченька, а то ведь напугала ты нас до смерти. Отец пошел к Сулейману за барашком, свои-то овцы далеко. Попьешь бульону, мясца покушаешь и забудешь про свою хворь. Поднимайся, доченька, умойся, проветришь немного, день-то сегодня ясный. А я огонь разведу, чай вскипячу, боялась разбудить тебя, доченька,— говорила мать без умолку и уже хлопотала возле очага.

Когда Бермет вышла из юрты, солнце стояло высоко.

Тюндюки юрт давно открыты, пригнали дойных кобыл, привязали их к коновязи. В чистом утреннем воздухе звенели голоса доярок, скупо переговаривались помогавшие им мужчины, залиvisto ржали жеребята да покряхтывали кобылы с отвислыми животами. Все это сливалось в веселый гомон и уносилось далеко в горы. Белые клубящиеся облака медленно ползли из ущелий к снежным вершинам. Прижимая к земле молодую травку, как бы разговаривая с ней, стекала с гор прозрачная и холодная как лед вода. Она текла вниз, огибая юрту.

В сапогах с галошами, в накинутой на плечи материнской шубе Бермет нерешительно остановилась перед ледяным потоком: от быстрого движения воды закружилась голова. Девушка присела на корточки, потрогала воду и поежилась, потом потеряла занемевшие руки и, низко наклонясь, ополоснула лицо.

— А, встала, доченька?— послышался голос отца.

Отняв от глаз полотенце, Бермет обернулась. Рядом с отцом ехал джигит, одетый по-военному. Приблизившись к Бермет, джигит ловко спрыгнул и радостно схватил ледяные руки девушки. При этом он покраснел до ушей; толстые губы его расплылись в улыбке, большие черные глаза уставились на Бермет.

— Как себя чувствуешь? Слышал, что больна, проведать решил...— как бы оправдываясь, проговорил он, ухватив за повод своего коня. Разгоряченный конь бил копытом и кусал удила.

Бермет следила издали, как отец снимал с седла барашка и привязывал лошадь. Затем незаметно, мимолетным взглядом окинула с ног до головы гостя. Джигит был во всем повом. Серая шинель с двумя кубиками на петлицах и с начищенными до блеска пуговицами, хромовые сапоги, фуражка со звездочкой, новый широкий ремень, такая же новая португеза. Свободной рукой джигит теребил португезу и, видно, все больше терялся. Бермет тоже смутилась, губы ее непослушно вздрагивали, она не знала, что сказать гостю и как себя держать с ним.

— Совсем не узнать... Военная форма так меняет человека... — чуть слышно сказала Бермет.

— Где уж вам узнавать меня, — засмеялся он не к месту, но от неожиданно сорвавшегося «вы» смутился.

Гость был из того же айла, что и Бермет. Окончив школу, уехал в военное училище. Был он старшим сыном того самого Сулеймана, который недалеко отсюда, в горах, пас колхозных овец и к которому отец ездил за барашком. Будь это прежний Кыдырбек, Бермет не растерялась бы так. Но перед ней стоял парень, целый год осаждавший ее любовными письмами, да еще со стихами, и ни разу не получивший ответа. Теперь, глядя на нее, он как бы требовал ответа. Вот почему и Кыдырбек, и Бермет одинаково были смущены, неожиданно встретившись здесь, в джайлоо. Они не могли чувствовать себя непринужденно, как прежде.

— Проходите в юрту, — пригласила Бермет гостя, принимая у него повод и боясь поднять глаза.

## 2

Наутро один из чабанов, Асан, увел Кыдырбека в горы «порыскать с двустволкой». Асан старше Кыдырбека на каких-нибудь четыре года, но был уже отцом двоих детей, носил усы, хотя оставался тем же шутником и балагуром. С ним не соскучишься, умеет и поговорить, и пошутить.

— Приезжайте пораньше, не разгуливайте там, — напутствовала жена Асана Сырга. — А то бы дойку подождал, мог бы и помочь, — не удержалась она от упрека.

— Поглядим, если будет толк, то и задержимся. А ты будто одна и не доила кобыл. Заскучаешь — позови Бермет. Что она, не дочь киргиза, хватит валяться в постели да

болеть! Пуекай поработает.— Он хитро улыбнулся и подмигнул Кыдырбеку.— Еще неизвестно, зачем приехал наш гость, что нужней ему: кумыс или кыз<sup>1</sup>. Кстати, попытай больную, может, и она не против.— Ничего ровным счетом не зная о чувствах Кыдырбека к Бермет, Асан печально попал в точку.

— Пытать пытай, джене<sup>2</sup>, если охота, но меня не впутывай,— вмешался в разговор всерьез встревоженный Кыдырбек.

— Приедем с добычей,— сказал Асан,— угостим больную свежим мясом. И стариков позовем, пусть посидят, посудачат, давно не собирались. А знаешь,— обратился он к Кыдырбеку,— так я и женился. В один день уговорил и увез! — Он подмигнул Кыдырбеку и захохотал.

— Ах ты болтун, он меня увез! Только и умел, что хотовать. Если бы сама не пошла, до сих пор бы мыкался без жены.

Посмеявшись, Асан и Кыдырбек ускакали. Сырга направилась в юрту Чотура. Там сидели чабаны и пили кумыс.

— Ну, милая, скоро ли встанешь?— зашептала Сырга, подсаживаясь к Бермет. Завернувшись в шубу, Бермет сидела в сторонке от дастархана<sup>3</sup>, где велась обычная за кумысом размеренная беседа.

— Этот шалопай Сулеймана настоящим джигитом вернулся,— сказал Камбаралы, чабан с редкими усами и бородой клинышком.

— Там призовут к порядку, сам бы, пожалуй, не выправился,— вставил тощий, с козлиной бородкой Джолчу. Он подул на пиалу и, тупо уставившись перед собой, начал потягивать кумыс.

— Смотри, какой привередливый, даже на кумыс дует, боится, кобылий помет в рот попадет. Еще о Кыдырбеке говорит, сам-то до старости дожил, а так и не выправился! Как собака на цепи, все по своей кривой ходит.— Камбаралы рассмеялся, блеснули белые, ровные, как рисовые зерна, зубы.

— У кого котелок варит, тот перебесится, образумится, а наш Джолчу до сего дня по глазам скотину бьет,— Чотур

<sup>1</sup> Кыз — девушка.

<sup>2</sup> Джене — буквально: обращение к жене старшего брата, обычно — молодая замужняя женщина.

<sup>3</sup> Дастархан — скатерть, стол с яствами.

сердито посмотрел на Джолчу.— С тех пор как ты выка-  
тился из утробы матери, сколько тебя ни учили, сколько  
ни говорили, сделал ты хоть одно разумное дело? Только  
наыком болтать умеешь.

— Да что вы привязались? — прищурившись, огрыз-  
нулся Джолчу.— Барана, что ли, я вашего зарезал, а?  
Только и знаете, что на боку лежать да кумыс попивать, а  
кто почи напролет коней сторожит, а? Когда на табун вол-  
ки напали, кто поднял перенолох, кто застрелил волчицу?  
А теперь я неисправимый, теперь я оказался собакой на  
привязи. Бога бы постыдились!

— Все, все, мы кончили, — давясь от смеха, перебил  
его Камбаралы.— Хватит, братцы, а то его до вечера не  
остановишь. Мы кончили, Джолчу, ко-ончили!

— Кончили, кончили! Поневоле кончите. Я вас за язык  
не тянул.— Джолчу победно приосанился.

— Эй, Джолчу! — примирительно сказал Чотур.— Се-  
годня суббота? Завтра базар. Может, в аил съездишь, отве-  
дешь кумысу, привезешь муки, толокна? Что скажешь?  
Садись на гнедого, бери лысуху.

— Могу и поехать, — важно согласился Джолчу, — не  
бездельник, как вы. Я работяга, нет мне дела до ваших  
шалтай-болтай.

— О-о, — смеясь, застонал Камбаралы, — вот это ска-  
зал! Ну, зарезал ты нас, зарезал!

Бермет и Сырга вышли во двор.

— Пойдем, девонька, со мной, нечего дома сидеть, хоть  
поможешь кобыл подоить. Жеребенка-то удержишь? —  
весело спросила Сырга.— Как ты сегодня?

— Сегодня хорошо.

— Сколько кумыса выпила?

— Одну пиалушку.

— И-и, девонька, всего одну?

— И на том спасибо, вчера крошки в рот не взяла.

— Значит, даром приезжал Кыдырбек.— Лукаво  
улыбнувшись, Сырга исподлобья заглянула Бермет в  
глаза.

— Оставь, джене, и так еле жива, а ты бог знает что  
говоришь.

— Чего уж оставь, признайся лучше, правится тебе  
Кыдырбек?

— Уж не он ли поручил тебе разузнать? — Бермет на-  
сторожилась.

- А если не он, и спросить нельзя?
- Так не спрашивай о том, чего и в мыслях нет.
- Не буду, еще дурное про меня подумаешь.

Перебрасываясь шутками, они дошли до коновязи. Сырга кое-как подоила кобыл, с трудом справившись с жеребятами. Бермет стояла рядом, держала на руках младшенького сына Сырги и гладила по головке старшего. Весь вечер Бермет и Сырга провели вместе.

Кыдырбек с Асаном, «порыскав» по горам, загнав лошадей и выбившись из сил, затемно вернулись с пустыми руками.

### 3

Шесть дней прожил Кыдырбек у чабанов. Пил кумыс, ел мясо, скакал на коне. На седьмой день подвел к юрте Чотура оседланную лошадь и, забросив повод за луку, вошел попить кумыса.

— Куда собрался, сынок? — спросил его Чотур.

— Домой. — В голосе его слышалась обида.

— Что так вдруг? Мяса не поел, кумысу не попил вдоволь — и уезжаешь? Вот и Бермет такая же, еле заставишь кусок проглотить. Что-то вы от еды отбились. — Он развел руками и тут же протянул свою пиалу жене. — Налей-ка еще!

— Не сидеть же им, как ты, целый день за мясом и кумысом. У них свои заботы. А ты все свое болтаешь да болтаешь.

Хорошая хозяйка, опрятная и расторопная, Канышай-им привыкла к уважению в своем доме и любила наставлять мужа.

— Останься, милый, — обратилась она к Кыдырбеку. — Что хорошего в городе? Жара, духота, поживи с нами немного, подыши воздухом. Уехать всегда успеешь... А куда поедешь-то, где работать будешь? — Она поправила на голове сбившийся платок и, не дожидаясь ответа, продолжала: — А и не говори, милый, у вас, военных, свои дела, нам знать их не следует.

Кыдырбек краешком глаз наблюдал за Бермет. Она, казалось, зацита была только Сыргой, то слушала ее внимательно, то принималась шептаться с нею, то смеялась тихонько. В самом деле не слышит разговора с Кыдырбе-

ном или притворяется? Ни разу даже не взглянула, будто его и не было здесь. Кыдырбек задумался.

«Шесть дней... Ведь целых шесть дней! За кумысом, что ли, я приехал сюда. Тебя повидать хотел. Вот и повидал! Шесть дней крутился вокруг. Сколько хороших слов наговорил. И все зря. Видно, «не про нас байская дочь», уеду».

Он встал и, не взглянув на Бермет, вышел из юрты.

— Скорее, мать,— поторопил Чотур жену,— с чем гости проводишь?

Чотур, Канынайим и Сырга приторочили к седлу чанач<sup>1</sup> с кумысом и узелок с гостинцами. Кыдырбек курил папиросу за папиросой, ходил взад и вперед.

Бермет медленно подошла к Кыдырбеку.

— Поторопились, не уезжайте в обиде на нас.— Она прямо и просто взглянула ему в лицо и подала сложенную вдвое бумажку. Потом сама подвела лошадь. Кыдырбек вкочил, разобрал поводья. С надеждой, упреком, обидой посмотрел на Бермет и дал шпоры коню.

«...Целый год писал, не удостоила ответом. Сам приеду, вырву твоё согласие»,— храбрился Кыдырбек, когда собирался на джайлоо. Но, встретив полное безразличие, спик, подобно дырявому чаначу. Эта белолицая девушка была уже не та Бермет, которую он таскал за косы. Проходит гордо, смотрит спокойно, холодно, будто он посторонний, будто не слал ей писем, не объяснялся в любви, не требовал ответа. Не будь всего этого, не было бы так обидно, так унижительно, не чувствовал бы так остро ее холодность.

Вдоль ущелья, заросшего ельником, текла шумная горная речка. Дойдя до воды, лошадь встрепенулась и вырвала поводья.

Кыдырбек достал из кармана письмо Бермет, медленно развернул, дал чуточку успокоиться сердцу.

«Не знаю, что ответить на ваше письмо. Я еще не думала о будущем... Вот немного поумнею, начну разбираться в жизни...»

Еще и еще раз перечитал письмо и задумался. «Считает себя выше меня, умнее. Нет чтобы прямо сказать: «Поверните коня!»

Лошадь давно уже напилась и, опустив голову, дремала.

<sup>1</sup> Чанач — мешок из шкуры животных для хранения воды, вина, кумыса.

Выбравшись из воды, Кыдырбек неожиданно увидел едущего навстречу всадника. Тот быстро поравнялся с ним, остановил лошадь и громко воскликнул:

— Салам алейкум! — Подал руку...

— Алейкум салам...

— Ты что, не узнаешь?

— Узнаю. Ты...

— Сарыгул я. Вместе в школу ходили. Каким командиром стал! А я ветеринаром работаю.

Сарыгул — это приплюснутый нос, чуть вывернутая верхняя губа, желтые усы и заплывшие глаза на пухлом лице. Сарыгул любил поговорить.

— Откуда? — спросил он Кыдырбека.

— С джайлоо.

— У табунщиков был?

— Угу.

— А кто там у тебя? И-и, не Чотур ли уж, старший табунщик? Слышал, дочь его приехала, значит, уже успел, приткий какой! Когда домой-то вернешься?

— Дней десять будет.

— В районе был, только вчера узнал о тебе. Ваш председатель Молдош сказал. Все конные фермы переводим на джайлоо. Я вот вперед поехал, кумысу хочу попить, затем дальние табуны, что без молодняка, пригоню поближе. Знаешь, такая суматоха в районе поднялась!

— Что такое?

— Не слышал разве?

— О чем?

— Война же началась!

— Война?!

— Война, товарищ командир, война. Немцы напали.

Смутное лицо Кыдырбека побледнело.

— Надо коней готовить для армии. Прет он, все крушит на пути, силси, видать, этот немец! Неужели не прогоним, ай-яй-яй! Как ты думаешь, а?

Кыдырбек не ответил.

— Когда едешь?

— Куда?

— На войну.

— А ты?

— А мне что там делать? Мало ли военных? Да я и винтовки никогда в руках не держал.

Глаза Кыдырбека потемнели, он стеганул коня.

— Прощай, если едешь. Бей немца, не щади, возвращайся с победой! — кричал ему вслед Сарыгул. Но Кыдырбек уже не слышал его. Охваченный гневом, ничего не вида перед собой, он несся вперед, подгоняя лошадь камтой.

Война шла уже третий день.

4

Чем ближе к дому, тем тревожнее билось сердце.

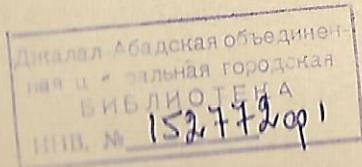
Матери выбегут навстречу (у Кыдырбека было две матери), повиснут на шее и поднимут вой. Как их успокоить? Начнутся причитания, слезы: «И не пожил ты с нами, и не посмотрелись-то мы на тебя». У Кыдырбека сердце сжалось. Впервые испытывал он такое чувство. До сих пор посился по жизни беззаботно, много неприятностей доставлял родителям, заслужил прозвище «Сулейманова шалоная». Сейчас впервые стало жаль родителей, захотелось защитить их от несчастий. Он чувствовал себя виноватым, броситься бы к их ногам, вымолить прощение. В эту минуту он уже не помнил, что Бермет отвергла его, вабыл свою обиду, и сама Бермет осталась где-то далеко, в какой-то другой жизни. Он помнил сейчас лишь о своих матерях и об отце, в особенности о матерях. Образы двух плачущих жепщиц преследовали всю дорогу.

Когда Кыдырбек подъехал к юрте, старшая мать, Уулколди, стояла у каменной ограды, будто вышла поглядеть на дорогу. «Похоже, что здесь уже оплакивали меня», — подумал Кыдырбек. Незаметно окинув мать взглядом, Кыдырбек соскочил с лошади, снял с тороков кумыс и увел. Мать приняла лошадь, хотела привязать ее, но Кыдырбек подбежал, перехватил у нее повод. Мать поволокла чанач с кумысом, Кыдырбек в два прыжка оказался возле нее и сам внес кумыс в юрту. Он еще раз внимательно посмотрел на мать. По ее лицу нельзя было ни о чем догадаться. Спокойно, как всегда, она спросила:

— Вернулся, милый?

— Где младшая мама?

— Ушла в аил, надо ребят встретить из школы. — Она сняла с Кыдырбека фуражку, поцеловала его в лоб и, приговаривая: «Садага, садага», — погладила по голове. «Или ничего не слышали, или меня щадят?» — недоумевал Кыдырбек.



— Отец с отарой? — спросил он и улыбнулся матери. Потом подошел и обнял ее за плечи.

— Родной ты мой... — Добрая улыбка озарила большое круглое лицо. — Отец вернется сейчас. Лошадь запропала куда-то, пошел искать, а я вот ждала его.

Старшая мать Кыдырбека была широкой в кости, медлительной в движениях, грузной и немногословной женщиной.

Она все делала ловко и не спеша, говорила лишь самое необходимое. Привычно привязала чанач к кереге<sup>1</sup>, ослабила завязку у горлышка, чтобы выпустить воздух.

— Поправилась дочь Чотура? — Она испытующе посмотрела на сына.

Неожиданный вопрос матери разбудил обиду на Бермет. Он отвернулся и, стараясь придать голосу полное безразличие, небрежно произнес:

— Наверное, всего раз и видел ее.

Послышался топот копыт и ворчливый отцовский голос, казавшийся сердитым даже тогда, когда Сулейман не был сердит.

Уулкелди и Кыдырбек вышли навстречу, Кыдырбек взял из рук отца повод.

— И-и, сынок приехал, — он с тревогой посмотрел на сына (знают уже, что началась война), — попил бы еще кумысу на джайлоо. — Нет, сегодня Сулейман и в самом деле, кажется, сердит.

— Побей их бог! — распалился он вдруг. — Сколько народу понаехало из колхоза, хоть бы один догадался соли захватить для овец. Забыли! Отца родного забудут, сукины дети! Придется посылать Каракойчу (Каракойчу был помощником Сулеймана). Ну, что ты с ними будешь делать, а?! — Не мог старик прийти в себя от возмущения.

В юрте Сулейман внимательно оглядел сына, будто увидел его впервые, однако тут же отвел глаза.

Сулейман и Уулкелди, когда дошла весть о войне, сразу притихли, будто боялись заговорить, лишь вздыхали тайком друг от друга: «О боже!»

Когда приехал сын, они были озабочены одним и тем же: слышал ли Кыдырбек о войне или не слышал, сказать ему или повременить?

---

<sup>1</sup> К е р е г е — деревянный решетчатый остов юрты.

— Есть у тебя что попить, байбиче<sup>1</sup>? Это что там, кумыс? С Кыдырбеком прислали? Давай сюда! — парочито весело заговорил отец.

Поели привезенного Кыдырбеком мяса, попили кумысу. Сулейман успел опрокинуть четыре пиалушки. Кыдырбек медленно встал, надел фуражку. Отец с матерью молча следили за ним.

— Съезжу-ка в район, — сказал он совсем просто, будто речь шла о самой обычной поездке, — какой-то там переполох, говорят.

— О боже, что это может быть? — притворился непонимающим Сулейман.

— Война, кажется, началась. — Кыдырбек решил идти напрямик.

— Да-а, поговаривают. Ну а если война, до нас дойдет? — Сулейман прикинулся простачком.

Кыдырбек сообразил, что старик хитрит, хочет втянуть его в разговор. И мать напряженно ждет, что он скажет. Кыдырбек боялся слез, родительских причитаний, а они, оказывается, поговорить хотят. У Кыдырбека отлегло от сердца, он понял, что с ними нужно быть откровенным.

— Дойдет, — сказал он отрывисто, — безусловно дойдет, если побьют наших. Но мы не допустим, чтобы война докатилась до вас. Живите себе спокойно и желайте нам удачи. Я еду! — Кыдырбек обрадовался, что слово это наконец сказано.

Он вскочил на гнедого, привязанного к каменной ограде, и, прищипорив коня, поскакал. Этот добрый конь и их сын, молодежато сидевший на коне, теперь показались Уулкелди и Сулейману совсем другими, чем раньше. Они молча смотрели вслед Кыдырбеку...

— Вот и уехал, скоро ли теперь свидимся?.. — вздохнула Уулкелди, две капли выкатились из ее глаз, дошли до уголков широкого рта.

Сулейман покосился на жену, тоже смахнул непрошеную слезу, произнес степенно:

— Ну же, байбиче, не тебе одной, он и народу и государству сын... «Герой и на границе в бою», — говорит наш народ. Пошлю-ка я Каракойчу за солью. — Старик сел на коня. — Скотину жалко, все трава да трава.

---

<sup>1</sup> Байбиче — жена, по старым обычаям, первая, старшая жена.

Через три дня Кыдырбек вернулся, он заезжал на джайлоо, привез старшую мать с детьми. «Не торопись, явишься после отпуска», — сказали ему в военкомате.

Вести с фронта становились все тревожнее. После выступления Сталина по радио 3 июля всем стало ясно, что совсем не просто будет победить такого противника. Враг быстро продвигался в глубь страны и угрожал Москве. Над родиной нависла серьезная опасность. Кыдырбек понимал это лучше других. Он прервал отпуск и 10 июля попрощался с родными. Сулейман проводил сына до Фрунзе.

5

Джамалкан, запылавшись, прибежала домой. Ее маленький трехкомнатный домик ничем не отличался от множества таких же домиков во Фрунзе. Прошла переднюю, рывком открыла дверь в комнату и остановилась на пороге. Четырнадцатилетняя сестра ее Каныш сидела за столом, уткнувшись в книжку. Она будто и не заметила прихода сестры. Четырехлетний сын Джамалкан расположился на полу перед деревянным ящиком с инструментами и что-то тесал ножом. Неверными шагами подошел к нему двухлетний худенький малыш и стал рыться в ящике. Джамалкан стояла и смотрела на них полными слез глазами, растерянная, взбудораженная, готовая разрыдаться. Младший увидел мать и просиял от радости. Выпустив из рук молоток, он заковылял навстречу, уцепился за подол. Джамалкан взяла сына на руки, в обе щеки расцеловала, снова поставила на пол. Затем присела перед старшим, обхватила ладонями его голову и прижалась губами ко лбу. Подошла к сестре, поцеловала ее в щеку и спросила:

— Где Мария?

Голос ее дрожал, щеки были мокрые, тонкие губы раскрылись, она растерянно оглядывалась по сторонам. Старший сын и сестренка удивленно смотрели на нее.

— Мария где? — повторила Джамалкан.

— Мария на базаре, — медленно ответила Каныш.

Джамалкан зачем-то побежала в столовую и вернулась обратно. Испуганно поглядывая на мать, старшенький взял молоток и начал стучать. Джамалкан кинула на бу-

фет сумку, прошла в спальню и, закрыв лицо руками, ничком бросилась на кровать. Плечи ее тряслись, она рыдала. Осторожно приоткрыла дверь Каныш. Из-под ее руки появилась голова малыша, он встал на четвереньки, переполз через порог и, переваливаясь с ноги на ногу, дошел до кровати. «Мама, ма-а-ма!» — позвал он, теребя ее за подол, собрался было заплакать, но решил, видимо, сперва забраться к матери, изо всех сил стал карабкаться на кровать. Каныш подняла ребенка и положила рядом с Джамалкан. Та прижала его к себе и залилась еще громче.

— Что случилось, сестра? — сквозь слезы спросила Каныш. Старший мальчик в передней комнате уже перестал стучать и замер, прислушиваясь.

Муж Джамалкан, Джаманкул Иманалиев, офицер запаса, в первые же дни войны ушел на фронт.

Вечером, накануне его отъезда, захватив с собой кто что мог, пришли приятели. «Кто может нас победить? Кто смеет перешагнуть наши рубежи?» — хорохорились они с такой беспечностью, будто победа была уже в их руках. Некоторые поздравляли Джаманкула, произносили тост за тостом. В глубоком тылу они, в сущности, не отдавали себе ясного отчета в том, идет война на самом деле или это нечто далекое, отвлеченное. Среди приятелей Джаманкула были и такие, которые хорошо знали, что война есть война и что в бою льется кровь, но вслух поддакивали болтунам, — не нагонять же тоску на товарища, который завтра отправляется на фронт. Подбадривая Джаманкула и его жену Джамалкан, они говорили утешительные речи, обещали позаботиться о его жене и детях. «Не дадим им почувствовать твое отсутствие, сделаем все, что в наших силах», — уверяли они Джаманкула. Особенно горячился Аламан, шумный человек с бельмом на глазу, с полными улыбающимися до ушей губами.

— Уж если Аламан взял на себя заботу, то беспокоиться нечего, — улыбаясь в усы, зашептал жене на ухо Солтонкул. Он был одним из близких друзей Джаманкула, они постоянно вышучивали друг друга.

Многие были искренни в своих заверениях, но во что это выльется, как выполнят свой дружеский долг, не представляли. Трудно было также сказать, как сложится жизнь каждого из них и что ждет впереди. Все это хорошо понимал Джаманкул и, не обольщаясь обещаниями приятелей, размышлял о том, как будет жить без него семья. И думал

он уже не только о своей семье, но и о жизни, о товарищах. Он хорошо знал их характеры, привычки, вспоминал поступки каждого из них, данные обещания и взвешивал, оценивал, прикидывал. Как изменит их война? Не только их, но и его самого и его жену? С какими трудностями встретится Джамалкан завтра, какие неожиданности ее ждут, как проявится ее характер и характер каждого из сидящих здесь, кто выдержит испытание на твердость, мужество и человеческое достоинство? С жалостью посмотрел на Джамалкан. Полная благодарности, она глядела с умилением, со слезами на всех сидящих за столом и носилась между кухней и столом, стараясь получше угостить этих славных людей.

Джаманкул был не из тех, кто любил хвастать, бросаться словами, не из тех легкомысленных болтунов, которые назавтра забывали то, что говорили сегодня. Он всегда тщательно обдумывал, взвешивал все, что собирался сказать. Он еще раз оглядел товарищей и медленно встал. Все с ожиданием уставились на его крепкую фигуру и веснушчатое лицо.

— Спасибо за теплые слова, — спокойно сказал он, — но... но многие из вас говорили, как на митинге. (Те, кого это не касалось, дружно рассмеялись, остальным пришлось присоединиться.) Кое-кто из нас неверно представляет себе эту войну. Будто поманут-поманут дубинкой и разойдутся. Враг идет на Москву. Не думайте, что он слаб. Он стоит у порога столицы нашего государства, а значит — у порога Киргизии. Перешагнет порог и схватит за горло. Вот потому-то мы обязаны защитить сейчас нашу родину, святую нашу отчизну. Прошу вас только об одном: у меня здесь остаются, как говорят киргизы, глупая жена да малые детки, не оставляйте ее одну, заживайте к ней, поддержите теплым словом. Другой помощи не прошу. Джамалкан скоро начнет работать. Она у меня, конечно, плакса, трусиха, собственной тени боится и не привыкла всерьез думать о жизни. Но подумать придется и семью кормить придется. И прокормит. При нужде и кобылица иноходцем скачет. Только не оставляйте мою Джамалкан одну, учите ее, наставляйте, чтобы не чувствовала себя одинокой, не пугалась бы трудностей. Вот что я хотел сказать вам... — Он залпом выпил рюмку.

Джамалкан вспомнила о муже и его товарищах, о последних словах Джаманкула на проводах и перестала пла-

коть. Какая-то теплая волна и вместе с нею тихая печаль овладели ею.

Громко простучала подошвами Мария Петровна, высокая, худая старуха с сердитым лицом. Услышав ее шаги, Джамалкан вскочила с кровати, но не сумела скрыть припухшие, покрасневшие от слез глаза.

— Опять плакала, глупая? — Мария Петровна говорила низким грудным голосом.

Джамалкан улыбнулась заплаканными глазами и бросилась обнимать Марию Петровну. Мария Петровна пришла няней в дом Джаманкула, но давно уже стала своим человеком в семье. Дети любили ее за доброту. Джаманкул и Джамалкан почитали, как мать, а Джамалкан даже чуть побаивалась. Эта энергичная старуха не спускала Джамалкан ее слабостей и журила, как родную дочь.

— Мария, милая Мария Петровна! Поздравь меня, я получила диплом! — сказала Джамалкан, повиснув у старухи на шее и целуя ее.

— Взбесилась, что ли! Что это еще за диплом? — не поняла Мария Петровна.

— Учебу, институт окончила. Я теперь учительница, вот работать скоро начну, кормить вас буду.

— Так чего же ты ревела, дура? Детей напугала. Алик, плакала мама? — спросила она старшего мальчика Аскара.

— Плакала, — ответил мальчик.

— И поздравить-то некому... Был бы Джаманкул... той бы задал. — Слезы вмиг заполнили глаза Джамалкан и капли за каплей начали скатываться по щекам.

— Ну, что ты с этой дурой поделаешь! — Мария Петровна всплеснула руками. — А я для чего? Я тебя поздравляю! Подойди ко мне. — Она расцеловала Джамалкан в обе щеки. — Алик, поздравь же маму. Сашка! — Мария Петровна подхватила беспечно игравшего на полу Сагындыка и, держа перед собой на вытянутых руках, поднесла к матери. — Поцелуй маму, малыш. — Ребенок догадался, что все чему-то радуются, весь просиял и уцепился за мать.

— Что же ты сразу не сказала? Напугала всех. — В голосе Камыш прозвучала обида. Ее широкое лицо размякло, она порывисто обняла сестру и прижалась к ней.

Мария Петровна еще раз обняла и поцеловала Джамалкан.

— Какого тебе еще поздравления! А чужие... Захотят

порадоваться с нами, придут, когда узнают, а кто не захочет, тот услышит, да притворится, будто не слышал. Ну и бог с ними. Катя! (Так она называла Каныш.) Иди позови Сашу и Соню. (Это были Солтонкул и Салима.) Приготовлю угощение, куплю вина. Посидим, порадуемся, поздравим тебя. А другие... как же они могут тебя поздравить, если ничего еще не знают?! Глупенькая ты моя! Иди занимайся своими делами. Напиши Жене письмо (это уже был Джаманкул), вот и он тебя поздравит. Некому поздравлять! Когда родные под рукой, с улицы, что ли, станешь звать? — Она ушла на кухню и загремела посудой. Джамалкан стало стыдно, она стояла, перебирая в памяти последние слова мужа, вспоминая его письмо.

С букетом цветов вошла Салима. Джамалкан писала мужу письмо, возбужденная, улыбаясь и кусая губы, чтобы не разреветься и не прогневать опять Марию Петровну.

— Ну, где же твой диплом? Поздравляю!

Джамалкан отбросила ручку и кинулась к подруге. Они обнялись, расцеловались, поплакали вместе. Радость и горе, тоска по мужу и признательность за дружбу — все было высказано в этом молчаливом объятии и в слезах.

— А, чтоб тебе! — Салима оторвала от себя Джамалкан и громко расхохоталась. — Переположила всех. Прибежала Каныш вся в слезах, сестра, говорит, плачет. Мы с Солтонкулом так перепугались, а она всего-навсего диплом получила. Ну и баламутная ты. — Взяв Джамалкан за плечи, она притянула к себе и тут же оттолкнула.

— Мария Петровна, а Мария Петровна! — громко позвала она Марию.

— Что, милая? — Старуха появилась в дверях, вытянув перед собой перепачканные жиром руки, она резала на кухне мясо.

— Плохо вы ее воспитываете, Мария Петровна! И как вы терпите такую реву? Долго ли наплакать горе? — Салима еще раз рассмеялась.

— Да, беда мне с нею. Иной раз белугой ревет, — серьезно ответила Мария Петровна. — Вот вы и растолкуйте ей получше. А я пойду, не пригорело бы.

— Получила диплом и скорее домой... Иду, иду, хоть бы кто встретился, хоть бы кто поздравил. Тут я по-настоящему поняла — нету Джаманкула. Так стало обидно, так обидно! Иду по улице и плачу. И опять — хоть бы один

знакомый попался. Пришла домой. «Диплом получила!» — говорю Марии Петровне. А она: «Что это такое?» Тут я снова разрыдалась, — рассказывала Джамалкан, теперь уже с улыбкой.

— Горькая ты моя! И плачешь ты легко, и улыбаешься. Идет и плачет. Словно ребенок. Что люди могли подумать?! Одно дело чужие — удивятся и пройдут мимо. А знакомые? «Помешалась, скажут, с горя», — и обойдут стороной. А ты их с поздравлениями ждешь. — Салима расхохоталась громче прежнего.

— Солтонкул где?

— Собрание у него. Сказал, скоро придет, велел ждать его в саду. Одевайся живо, пойдем пива поьем, диплом обмоем.

— Мария Петровна готовит угощение, обидится, если уйдем, — заколебалась Джамалкан.

— А мы скоро придем. Собирайся быстрее, как бы Солтонкул не стал нас искать.

— Куда вы собрались? Ну и дуры же, то плачут, то смеются.

— Не сердитесь, Мария Петровна, мы скоро. Можно?..

— Ну, ну, прогуляйтесь. Только недолго. У меня почти все готово, — строго предупредила Мария Петровна и, проводив их до дверей, поспешила на кухню.

## 6

На рассвете пятнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок первого года в лесу было необычайно тихо. Лишь покачивались на ветру тонкие ветви берез, глухо шумели макушки высоких сосен да похрустывали разлапистые буровеленые ели. Лес будто поверил этой тишине и, окутанный утренним туманом, готовился начать свой обычный мирный день.

Однако тишина была обманчивой. После небольшого перерыва обе воюющие стороны, одна — чтобы подчинить себе народ, другая — чтобы отстоять свою свободу, готовились к новой схватке. Тишина была лишь затишьем перед новой битвой, которая решала судьбу Москвы.

За пять месяцев фашистская армия подошла к Москве и собиралась одним ударом взять ее. Гитлеровские генера-

лы готовились к торжественному параду на Красной площади.

18-й полк, стоявший в авангарде 9-й дивизии, занял позиции в лесу. Лес пересекала широкая грунтовая дорога, смыкавшаяся с одной из московских шоссе магистралей.

На грунтовой дороге показались четыре всадника в дубленых полушубках, в шапках-ушанках, в валенках и рукавицах, внешне ничем не напоминавшие военных. И ехали они не торопясь, по самой середине дороги, тихо переговаривались. Казалось, они одни были в этом лесу.

— Все отступаем и отступаем, — с горечью говорил ехавшему рядом крепко сбитый, среднего роста мужчина со смуглым молодежавым лицом. Он, как влитой, сидел на большой черной лошади. Это был командир 9-й дивизии генерал-майор Белобородов. Майор Кондратенко был командиром полка, двое других — адъютанты. Майор молчал, будто обдумывал, что сказать, генерал продолжал: — Вчера ночью я был у Панфилова. (Генерал Панфилов командовал 8-й гвардейской дивизией.) «Ты, говорит, еще молод, ты в том самом полку рос, который из политических ссыльных, революционеров и рабочих на Дальнем Востоке был создан, он разгромил сытую, хорошо обмундированную, до зубов вооруженную армию белых. Голодные, раздетые бойцы твоего полка защитили от белых и японцев молодую Советскую республику, тебя вырастили. Сам же потом командовал этим полком. На Халхин-Голе отличился, воюя против японцев. Тот полк все еще под твоей командой, в твоей дивизии, помни это... Немец силен, что говорить. Но только хватит позора. Дадим отпор нахалу. В моей дивизии много киргизов, казахов. Я долго работал в Киргизии, хороший там народ. Войны они не видали, что правда, то правда, а я в них не сомневаюсь. Как думаешь, не подведут?» — сказал и глядит пристально. А я не знаю, что ответить. Потом говорит: «Прежде всего надо знать своих людей, солдат, их душу, их думы. Мало знать, надо быть уверенным в них. Иначе нам не одолеть врага, в этом-то я убежден!» Понимаешь, майор? — Генерал повернулся к Кондратенко. Они посмотрели друг на друга.

— Панфилов старый, опытный командир. Что же он еще сказал? — спросил Кондратенко.

— «Я верю своим людям, мы с ними понимаем друг друга, и соседу своему верю», — вот что он сказал. (Одними из соседей Панфилова и были Белобородов с Кондратенко.)

— Спасибо, коли так.

— Не спеша благодарить. Он меня в упор спросил: «Знаешь ты своих людей?»

— Разрешите доложить... — Майор хотел было вступить за честь полка, но не успел.

— Стой, кто идет? — раздался голос.

Майор попридержал было коня, но генерал продолжал путь.

— Стой! Стрелять буду! Пароль? — предупредил кто-то невидимый и щелкнул затвором.

На дорогу выскочил всадник в маскхалате.

— Товарищ генерал, первый усиленный взвод первого батальона вверенной вам дивизии несет боевое охранение. Командир взвода лейтенант Сулейманов! — отрапортовал он.

— Как дела, лейтенант?

— Все в порядке!

— Замерзли?

— Нет, жарко.

— С чего это вам жарко?

— Дратся собираемся с немцем.

— Когда?

— Вот ждем.

Генерал еле заметно улыбнулся.

— Пусть выйдет тот часовой, скажи ему, лейтенант.

— Бубликов, к генералу!

Из-за обросшей можжевельником ели у самой дороги появился часовой в белом маскхалате.

— Ты будешь Бубликов?

— Я, товарищ генерал!

— Ты что, меня не узнаешь?

— Ни разу не видел, товарищ генерал.

— А его? — Генерал показал на Кондратенко. Бубликов посмотрел на майора и потряс головой.

— Не признаю.

— Кто командир вашего полка?

— Не знаю.

— Давно воюешь?

— Недавно.

— Раньше служил?  
— Служил, товарищ генерал. В финской войне участвовал, пулеметчиком. А сейчас добровольцем пошел. Вот!..— Бубликов показал на винтовку.

— Не бойтесь немцев?

— Не из боязливых, товарищ генерал,— ответил Бубликов.

— Они отступления боятся, товарищ генерал,— пояснил лейтенант Сулейманов.

— Ну, если так, Бублик, немцам не поздоровится...

Генерал и майор поехали дальше.

— Видишь, Кондратенко, прав оказался Панфилов... Этого молодого лейтенанта ты знаешь?

Майор помолчал, уставившись в землю.

— Батальонный комиссар говорил, он крепкий командир, с самого Смоленска хорошо воюет, потому я и назначил Сулейманова в боевое охранение.

— Боевой, видно, парень. Да и часовой не плох. Побольше таких, как этот часовой, и мы победим. Помните об этом.— Он посмотрел на майора.

Подтянувшись, майор ответил:

— Слушаюсь!

Впереди застрекотал мотор. Генерал поднял к глазам бинокль.

— Отойдите к обочине,— попросил адъютант, хотя и знал, что генерал не послушается, и, заслоняя, встал перед ним.

На повороте дороги показался мотоциклист в русской ушанке, адъютант признал в нем корпусного связиста и успокоился.

Мотоциклист гнал по целине, разбрызгивая снег.

— Вас срочно вызывает генерал!— доложил он и, получив разрешение, умчался обратно. Тот, кого он назвал генералом, был командиром корпуса.

— Товарищ майор!— позвал Белобородов.— Накормите людей и будьте наготове.— Он тронул коня.

16 ноября немцы по всему фронту перешли в наступление. На подступах к Москве начались ожесточенные бои. Несмотря на преимущество в технике, противник встретил героическое, прямо-таки отчаянное сопротивление советских войск.

— ...Танки, товарищ лейтенант! — крикнул Бубликов. От густого дыма вокруг ничего не видно, в сплошном грохоте трудно разобрать, откуда идет опасность. Кыдырбек, не отрываясь от бинокля, напряженно вглядывался вперед.

— Вызови ПТО! — приказал он телефонисту.

Пока телефонист связался с батареей, два ряда черных квадратных танков уже ползли на них.

— ПТО! ПТО! Не стрелять! Не стрелять! Подпустить ближе! На танках пехота! Без моей команды не стрелять! — кричал Кыдырбек в телефон.

Танки из своих длинноствольных орудий выпустили по два-три снаряда и ускорили ход. В окопах вдоль дороги лежали стрелки и пулеметчики, готовые отсесть вражескую пехоту от танков. Но сидевшие на танках автоматчики не давали им поднять голову.

— Огонь по пехоте! — передал Кыдырбек по телефону в переднюю цепь. Когда до танков оставалось метров сто, он скомандовал: — ПТО, по передним танкам огонь!

Поле боя, на котором еще несколько минут назад не было видно ничего, кроме снега и деревьев, будто ожило. Пули со свистом зарывались в снег, взрывались снаряды, вздымая огромные снежные смерчи.

Еще и еще раз атаковали танки позиции взвода и отошли, оставив на снегу горящие машины. Вражеской пехоте так и не удалось вырваться вперед.

Бой продолжался до самого вечера. Немцы вызвали авиацию. Снова от грохота и взрывов стонала земля. После бомбардировки, полагая, что противник уже уничтожен, немецкая пехота встала в полный рост и с ревом кинулась в атаку.

— Бублик! Бублик! Давай к пулемету! — крикнул Кыдырбек.

Бубликов сменил убитого пулеметчика.

— Лента, лента! — кричал Бубликов, не поворачиваясь и помощнику.

Веснушчатый солдат взялся за ленту.

Немецкая пехота не выдержала усилившегося огня и начала отходить. В это время вдали показались новые танки. Стреляя на ходу, они быстро приближались.

Противотанковые батареи молчали. Вызывать их по телефону было уже поздно.

— Гранаты к бою! — крикнул Кыдырбек.

— Лейтенант, к телефону! — позвал телефонист.

Кыдырбек схватил трубку.

— Я лейтенант Сулейманов! Слышу, товарищ майор! Приказ дан. Пустим в дело гранаты. Хорошо! Слушаюсь!.. До последнего... Не пропустим... Есть!

Он бросил трубку, вытащил из-за пояса гранаты. Кыдырбеком овладело злобное упрямство. Взматриваясь в мчащиеся прямо на них тяжелые танки с черными крестами на броне, он побежал по окопу, отдавая последние распоряжения немногим оставшимся в живых. Без выстрелов, сжав в обеих руках гранаты, солдаты молча ждали. Прошли минуты — и первые взрывы потрясли тишину, высоко взлетала земля, падали ели...

Кыдырбек стоял рядом с Бубликовым. Прикрываясь щитком пулемета, они бросали гранату за гранатой. Сколько времени шел бой, сколько танков загорелось и сколько прошло через окопы взвода, они не знали...

Стемнело. Вдруг что-то ударило в щиток пулемета. Место, где стоял пулемет, заволокло черным дымом. Через минуту дым рассеялся. Пулемет был опрокинут. Лейтенант и Бубликов, обнявшись, ничком лежали на дне окопа.

## 7

В конце ноября 1941 года Чотур приехал во Фрунзе. Весть о том, будто институт, в котором училась его дочь Бермет, переводят в Пржевальск, дошла до аила. К тому же давно не было писем от Турганбая, брата Чотура. До ухода на фронт Турганбай работал во Фрунзе, там осталась его семья. Жена Айдаикан — женщина непрактичная, как она там живет-может со своими ребятишками? Если плохо, Чотур решил весной перевезти их в аил, а пока привез муки, мяса и других припасов. Зиму как-нибудь перебьются. Приехал он вечером. Айдаикан готовила ребятам ужин.

В открытую дверь ворвался холод, и комнату заволокло паром.

— Пай, пай! Пай! — Чотур втащил в комнату курджун<sup>1</sup>. — Ну и холодище! Похоже, зима нынче будет крепкая. Хорошо ли живете? Насилу добрался. Сколько машин

<sup>1</sup> Курджун — переметная сума.

ходило по этой дороге, и куда они подевались, пришлось арбу напимать. Еды вам привез. Там еще курджун и мешок.

Он пристроил суму в угол и снова пошел к двери. В тяжелой шубе, в большом малахае и валенках Чотур переваливался, словно медведь. Он принес остальное, шумно выдохнул: «Уфф!»— и уселся на стуле. Снял малахай, с его бритой головы в киргизской тубетейке из черного сатина катился пот.

— Ну, как живете-можете?— снова справился Чотур.— Нет ли письма от Турганбая?— Айдайкан промолчала. Не расслышала, что ли, занятая своими делами.— Иди ко мне, ведь ты Орозо?— Он позвал маленькую кудрявую девочку. Двое мальчиков, четырех и шести лет, уже топтались возле него. Он поцеловал их и посадил рядом, а девочку притянул к себе и закутал полой шубы.— Тебя Орозо вонут?— спросил он еще раз.

— Лоза.— Шуба щекотала ей шею, она заерзала, повертела головкой и выскользнула из шубы.

Старший, Мухтар, залился смехом.

— Не Орозо, ата, Роза.

— Ну, имена пошли, не выговоришь. Айдайкан, открой-ка тот пестрый курджун, там боорсок<sup>1</sup> и вареное мясо, тащи сюда, пусть ребята полакомятся.— Нет письма от Турганбая?— повторил свой вопрос Чотур, когда принялся за чай.

— Нет!— отрезала Айдайкан, у нее задрожал подбородок.

— Ну и моровище!— сказал Чотур, хлебнув горячего чая.— Давно дышать тяжело. Каково им там на фронте! Не брали бы хоть таких, у кого дети, ведь вот мал мала меньше.— Он сокрушенно выдохнул.

— Ай, ата, не сам ли Турганбай ушел! Боялся, что один останется. Стыдно, видишь ли, по улицам ходить. А посмотри, сколько их еще ходит и в ус не дуют. Совестью больно. Пусть теперь на себя пеняет!..— с горечью вылаяла Айдайкан.

«И то верно, поспешил Турганбай,— подумал Чотур.— Так ведь рано или поздно все равно бы пошел. Немец, слышно, к самой Москве подходит. Если так, всем воевать придется...»

<sup>1</sup> Боорсок— кусочки теста, сваренные в кипящем масле или бараньем сале.

— Такой уж нынче народ пошел, родная,— сказал он вслух,— сами рвутся на фронт. Иные, правда, хотели бы переждать дома, так ведь семья не без урода, не с них же пример брать.

— Ата, как мама, не болеет?— озабоченно спросила Айдаикан, будто уже забыла думать о Турганбае. Айдаикан была круглой сиротой, потому, может быть, она так и привязалась к добрым старикам; Чотур и его жена души не чаяли в невестке, ласковой и простодушной.

— Не болеет... А когда Бермет придет?— Чотур оглянулся на дверь. С тех пор как Турганбай уехал на фронт, Бермет жила у тетки.— В Каракол, что ли, их переводят?

— Не знаю, говорила как-то,— вяло ответила Айдаикан.

Открылась дверь, на пороге появилась Бермет, вся белая от инея.

— Вот и сама!— обрадовалась Айдаикан, улыбаясь и забавно сморщив нос.

— А, папа приехал! Суюнчу, суюнчу! <sup>1</sup> Письмо от дяди, ранен, лежит в госпитале,— выпалила Бермет с ходу. Ее раскрасневшееся на морозе лицо в тепле еще больше разрумянилось. Бермет сняла связанный матерью шерстяной платок, расстегнула теплосе, на вате, пальто с воротником из черной мерлушки.

— И-и, милая!— Айдаикан кинулась к Бермет, обняла ее и разрыдалась.

— Спасибо тебе, детка, спасибо! Где письмо-то, почитай нам!— засуетился Чотур.

— Ну, хватит реветь, успокойся уж, папы постеснялась бы. Ну, джене, перестань же!— Бермет еле оторвала от себя Айдаикан. Когда они вслух прочитали письмо и Айдаикан успокоилась, Чотур подошел к дочери, поцеловал ее в лоб и ласково потрепал по спине. Бермет по детской привычке хотела броситься к отцу на шею, но сдержалась. Чотура сегодня радовало все: и то, что Турганбай жив, и то, что Бермет вернулась прямо к горячему чаю.

— Садись, доченька, попей горячего чайку, вот мясо, боорсок...— говорил он, пододвигая дочери то одно, то другое.

— Что сидите на кухне?— не без упрека спросила Бермет, намекая на безалаберность тетки.

<sup>1</sup> Суюнчу — подарок за сообщение радостной вести.

— Только что затопила печь, пока комнаты согреваются, собиралась покормить детей на кухне, да вдруг папа, и насиделись тут, — оправдывалась Айдайкан.

— Как там дела на фронте, доченька, не слышно ли чего хорошего? Говорили, будто к Москве подступили немцы. Мы теплые вещи для армии собирали, это что же, дочка, не хватает, стало быть? И то сказать, армия-то бо-ольшая стала, как успеешь ее одеть, обути! — говорил Чотур, прихлебывая горячий чай.

— Вести, папа, хорошие, немцев к Москве не подпустили и уже бьют их. Значит, дела начинают поправляться. А теплые вещи и здесь собирают, в городе. Нам сказали, что одежду отправят в тыл, партизанам. А как дома, все ли спокойно, как мама?

— Мама ничего, в аиле спокойно... — Чотур чуть не поперхнулся. — От Кыдырбека давно было письмо. Писал, что воюет, но с тех пор ни строчки. Поговаривают, будто в военкомат пришла похоронка, да прячут от родителей. А они извелись совсем, переживают. И то ведь, жалко парня, совсем еще молодой, и жизни-то не видал...

В письме Турганбая Бермет нашла маленькую записочку от Кыдырбека. Они вместе лежали в госпитале, в Уфе. Бермет почему-то застеснялась и промолчала о записке. «Как хорошо, что они встретились», — подумала про себя.

— Уж ты послушаешься всякой ерунды, папа! — Она скосила глаза на отца и не то лукаво, не то стыдливо улыбнулась.

— Без ветра и трава не колыхнется, — вмешалась Айдайкан, — может, и была похоронка, зря не станут говорить. — Она глубоко вздохнула. — Боюсь и я за Турганбая.

— Джене только повод дай, заведет свое. Ну, чего зря болтать. Если хотите знать, жив ваш Кыдырбек, в госпитале лежит. И с кем? С дядей Турганбаем вместе лежат. Хотела порадовать, да не успела, — сказала она, смутившись от собственной лжи.

— Тем лучше, милые мои, тем лучше. Спасибо, дочь, обрадовала. Удачно, однако, приехал я, как в предпраздничный вечер. Хорошие вести привезу в аил.

— Небось уже получили письмо, без тебя знают.

— Ну что же, одно дело — письмо, другое — я им скажу, — нашелся Чотур. — Ведь что удивительно, уехали в разные стороны, а сошлись вместе. — Чотур задумался и

продолжал будто про себя: — Вот она — судьба: не думаешь, не гадаешь, а сбывается. Все в воле божьей...

Не случайно Чотур так сказал. Одна дочь — что щепотка соли, лизнул — и нет ее. День и ночь гадали родители о счастье Бермет. Не дал бог других детей, весь мир сошелся для них в единственной дочери. А тут слухи пошли, будто дружит Кыдырбек с их Бермет. Конечно, плохо, когда зять военный, кочует, как цыган, лучше бы другого, да уж если судьба... А когда перестали приходиться письма от Кыдырбека, и вовсе примирились с ним, только бы вернулся живым. «Раз Бермет хочет, поженим», — решили между собой старики. Потому-то Чотура так поразило и обрадовало, что брат его Турганбай и Кыдырбек оказались в одном госпитале. «Ах вы мои милые, ах вы мои родные», — не зная, как излить свою радость, ласково причитал он и прижимал к себе племянников.

— Так, значит, вместе они? — переспросил Чотур.

— Вместе, — ответила Бермет и покраснела.

— В каком городе, говоришь?

— В Уфе.

— А где этот город?

— Есть народ башкиры, по языку близкие нам, Уфа — их столица, — пояснила дочь.

— Из ногаев<sup>1</sup>, верно?

— Каких ногаев?

— Их еще татарами зовут, — сказал Чотур, — киргизы исстари звали ногаи. У киргизов был такой род, ногаи, так ноют сказители.

— Ногай — это совсем другой народ, их язык тоже близок нашему. — Бермет стало смешно, как ловко отец вывел родословную народов.

— Да, разбрелись, а так ведь ногай — из киргизов, — не сдавался Чотур.

Не желая спорить с отцом, Бермет переменяла разговор:

— Папа, пошли гостинцев дяде Турганбаю, соскучился, верно, по домашнему.

— Хорошо, что напомнила, ай да дочка, спасибо тебе. — Чотур бросил на Бермет быстрый взгляд. «Турганбай лишь

---

<sup>1</sup> Ногаи (правильно ногайцы) — народность Северного Кавказа. Потомки части Золотой Орды, бывшей в XIII веке под властью темника (военачальника) Ногаи.

повод, — подумал он с некоторой обидой, — сама небось о Кыдырбеке думаешь, о нем заботишься», — но вслух скавал: — Все в воле божьей, судьбы не обойдешь!

Бермет чувствовала, отец намекает на Кыдырбека. Она смутилась и опустила голову.

— Правда, что вас переводят в Каракол? Когда едет? — И, не дождавшись ответа, все еще радостно возбужденный, весело крикнул: — Несите сюда курджуны!

— Часть студентов уже переехала, а когда мы поедем, пока неизвестно. Тетя Джамалкан, как только окончила институт, так и уехала. — Бермет вышла из-за стола и направилась к курджунам. — Развяжу-ка папины курджуны, что в них? — и засмеялась.

— Э-э, дочка, бог даст, и кроме курджунов что-нибудь найдется.

— И-и, девонька, уж не замуж ли отец собирается тебя отдавать? — подхихикнула тетка.

— Оставь, шутит он. — Бермет подтащила курджуны к плите.

— Знал, что собираешься в Каракол, побольше еды прихватил. Теперь надолго хватит. В госпиталь мясо варить будем или сыром пошлем?

Решили варить. Отец с невесткой занялись мясом, Бермет ушла в комнату писать письма.

Бермет долго сидела, задумавшись. Она представила себе рядом Турганбая и Кыдырбека. Оба ранены, оба нуждаются в теплоте и ласке. Жена нашла бы, что сказать, как приласкать и утешить, но она... Турганбаю-то напишет, а как быть с Кыдырбеком? Чтобы писать письмо, надо что-то чувствовать, быть с человеком в каких-то отношениях. А кто для нее Кыдырбек? Кем он ей приходится? Было ли между ними что-нибудь, о чем стоило говорить и вспоминать? Он открыл ей душу, признался в любви, весь год писал, горячо, искренне. Только последнее письмо из госпиталя не похоже на прежние. В нем ни слова о чувствах, даже о встрече на джайлоо. Коротенькое, холодное. В двух словах сообщает о себе, желает здоровья, будто и не ей пишет, а кому-то другому, безразличному. Но, как ни странно, именно это и подействовало на Бермет, взволновало ее, даже задело. «Целый год писал такие письма и вдруг, словно подменили, — крохотная записочка... Значит, остыл? Значит, разлюбил?» Но вправе ли Бермет упрекать за это Кыдырбека? Как она встретила его на джайлоо и

как проводила? «Я еще не думала о будущем, я еще не готова к этому...» Сама же пренебрегла. Так чего же теперь досадуешь? Не из тщеславия ли? А может, всерьез жалеешь, что потеряла парня? Значит, влюбилась и напрасно только мучила своими капризами? Не-ет, не может того быть! Почему ни разу не дрогнуло ее сердце, когда он слал письмо за письмом, когда целую неделю прожил на джайлоо, искал встречи? Просто ей жаль его. В ее сердце нет другого чувства, кроме сострадания и сочувствия к раненому солдату. Бермет успокоилась и повеселела. Она ныталась представить себе Кыдырбека, каким знала его прежде. Грубоват, но честен, хитрить не умеет, камня за пазухой не носит, говорит все прямо в лицо. В школе был первым озорником. Даром, что ли, назвали его «Сулеймановым шалопаем»? Бермет тоже попадало от него. А потом стал писать письма. Легко ли ему было писать целый год, не получая в ответ ни строчки? Писать девчонке, которую не так давно за косы таскал. Сколько писем небось порвал, не отослав, о скольких письмах сожалел. И все же писал, весь год писал и, не получив ответа, приехал для решительного разговора. Она отвергла его, гордо, холодно. И все же Кыдырбек оказался выше ее. Он не держит зда, даже прислал весточку с приветом. Бермет снова задумалась, казавшееся уже ясным опять затуманилось, стало сложным, непонятным. «Глупая ты, глупая, — думала Бермет, — ничего-то ты еще не понимаешь, ничего-то ты не знаешь! Что ты испытала в жизни? Жила под крылышком у родителей, в холе и ласке, считала, что нет умнее тебя на всем свете. Неужели не соображаешь, что не из простой вежливости прислал Кыдырбек записку. Он любит тебя, любит без надежды, потому-то так сдержанно его письмо. Если не любишь, то хоть уважай его чувство, его горячее, преданное сердце. Уважай в нем, наконец, своего школьного товарища, который сейчас защищает тебя от врагов, проливает кровь за родину. Напиши ему теплое, хорошее письмо, поддержи его в трудную минуту, но не лги, не обещай того, чего нет, не оскорбляй себя и его ложью...»

Бермет вздохнула с облегчением и начала быстро писать.

Тихо вошла Айдаккан и, став за ее спиной, стала читать письмо. Бермет закрыла листок рукой.

— Чего там скрываешь? И почему, думаю. Турганбай

пишет не домой, а ей: оказывается, знакомый есть! — Айдайкан обиженно поджала губы.

— Не выпытывай, вот письмо дяде Турганбаю, читай, — отрезала Бермет.

— А это кому?

— Тому.

— Кому же еще, Кыдырбеку! — громко, как всегда, сказала Айдайкан.

— Не болтай ерунды, джене! — Бермет испугалась, что может услышать отец.

— Ну, чего уж ерунды! Не ради ли тебя ездил он на джайлоо? Сговорились небось, — уже зашептала Айдайкан.

— Да! Да!

— Замуж за него пойдешь?

— Да! Да!

Обозлившись на Айдайкан, Бермет на все ее вопросы отвечала утвердительно.

— Отцу скажу! — Айдайкан разошлась и стала вырывать письмо из рук Бермет.

— Худо тебе будет, джене! — Бермет вскочила, навалилась на стол, закрыв собой недописанное письмо.

— Эй, Айдайкан, постелила бы ребятишкам, они тут носом клюют, — послышался голос Чотура.

Айдайкан поспешно вышла.

Бермет склонилась над письмом. Писала быстро, без усталости, отбросив все сомнения, с единственным желанием сделать приятное Кыдырбеку; Кыдырбек казался ей сейчас дороже и ближе, будто старый товарищ после долгого отсутствия вернулся к ней.

Кто-то постучал в наружную дверь и, не дожидаясь ответа, со скрипом растворил ее. Вошли двое: один высокий, в длинной кавалерийской шинели, другой — певидный на себя, в легком пальтишке.

— Ты кто будешь? — спросил Чотур военного, ответив на приветствие. — Неужто Джумалы? — Он разглядывал его с головы до ног. — Неужели ты? Когда же ты военным стал? А это кто с тобой? Не с ним ли ты приезжал в тот год на джайлоо? Проходите, садитесь.

— С ним. Тот самый босяк Качике. Помнишь, напился, не поев мяса, а когда принесли вареную баранину, сидел и ел, не глядя на нее.

Джумалы был близким приятелем Турганбая. Во время отпуска вместе приезжали к Чотуру на джайлоо. Когда Чотур бывал в городе, Джумалы приглашал его с Турганбаем в гости и сам частенько приходил к Турганбаю. Джумалы стал для Чотура своим человеком. Качике был их общим товарищем и тоже иногда приходил в гости. Они любили Качике, принимали, как родного, но сам Качике как-то не умел тесно сходитья с людьми, поддерживать дружбу. Многие приятели не бывали у него дома, и не потому, что Качике был скуп, здесь имелись другие, не зависящие от Качике причины. Вот и сегодня, встретив Джумалы на улице, он не пригласил его к себе домой, а угостил в буфете, потом уж отправились к Турганбаю. Джумалы служил политраблотником в одном из только что созданных киргизских кавалерийских полков. Полк на днях уходил на фронт, и Джумалы пришел к Айдаюкан поговорить о своей семье. Узнав, что от Турганбая есть письмо и что собираются отправить ему посылку, Джумалы сказал:

— Бутылку водки не забудьте положить.— Он расмеялся, и лицо его, и без того румяное, побагровело.

— А можно? — простодушно спросила Айдаюкан.

— А есть?

— Оставалась бутылка, — искренне поверив Джумалы, призналась Айдаюкан.

— Неси сюда! — он улыбнулся и подмигнул Качике.— Я пошутил, бутылка же разобьется и испортит посылку.— Ударом ладони он выбил пробку, налил в стакан и подал Чотуру: — Попробуйте нашего кумыса.

— Нет, нет, мои милые, я уже выпил, — чувствуя отвращение к запаху водки, Чотур отвернул лицо и замахал руками.

— Тогда ты начинай, тоскуешь ведь.— Он сунул стакан Качике.

— А ты, конечно, не хочешь.— Качике тихо засмеялся и опорожнил стакан. Когда он улыбался, его доброе лицо казалось на редкость привлекательным.

— Дуреее вы от своего кумыса, пили бы поменьше, время-то какое, берите вот, ешьте.— Чотур пододвинул к ним блюдо с холодным мясом.

— Кто знает, придется ли еще выпить! — сказал Джумалы и разом опрокинул полный стакан.

— Не говори так, бог даст, выпьете еще. Ты что, уезжаешь? — Чотур с беспокойством посмотрел на Джу-

малы. Его огорчал уход на войну близких товарищей Турганбай, — видать, все уйдут воевать, у всех одна судьба».

— Уезжаем, — ответил Джумалы.

— А ты?

От неожиданности вопроса Качике покраснел и растерялся.

— Куда уж им! — выручил Джумалы. — Семь потов с них сойдет, пока научишь держать винтовку, а то перемрут по дороге, не доедут до фронта. Кто не смыслит в войне, тот только лишний груз там. А уж его пошлют — ватрисуется, как старик.

— А ты, видать, храбрый! — сказал Чотур и в то же время с неприязнью покосился на Качике.

— А что я? Я еще до войны тянул лямку, привык. Мы как-никак кадровые офицеры, а из Качике какой солдат? Ребята вдвое моложе него начнут уму-разуму учить, поневоле вспомнишь маму. Пока тебя человеком сделают, Качике, и дадут винтовку, война кончится. А пока пей свою водку и поминай нас. А мы попытаем свою судьбу!..

Джумалы изрядно захмелел.

— Последние друзья Турганбая уезжают... Некому будет и о здоровье справиться. — Айдайкан начала всхлипывать.

— А Качике? Уж на это-то он годится! — рассмеялся Джумалы.

Айдайкан промолчала. От унижения и стыда Качике готов был провалиться сквозь землю.

— Что я скажу... сколько в моих силах... — еле промолвил он и замолк, губы его задрожали, бедняга едва сдержал подступившие к горлу слезы. Айдайкан тихо плакала.

— Айдайкан права, — вмешался Чотур, он вспомнил поговорку: «Отец может умереть, лишь бы остался человек, который знал твоего отца». — Верно она говорит. Когда все хорошо, всякий тебе товарищ и друг, а товарищем надо считать того, кто делит с тобой горе. И все же плакать не следует. Лучший идет на войну. Так у нас говорят, дочка? — Но Айдайкан не слушала и продолжала плакать. — Брось свою дурную привычку! — старик разозлился и повысил голос. «Если не прикрикнуть на нее, она и вовсе не перестанет», — подумал Чотур. И хоть жалко ему было Айдайкан, он решил вразумить ее. — Надо знать, когда плакать! А тебя не разберешь. Только что улыбалась, а

уж опять плачешь. Бессильная ты какая-то, а тебе нельзя распускаться, у тебя дети малые. Твой Турганбай небось не от войны устал, а от дум о тебе, от беспокойства за детей, от боязни, что ты не углядишь за ними. Когда муж на войне или в отъезде, жена должна содержать дом в порядке. Дурная жена, пока муж на войне, дом свой разоряет. Перестань плакать! А ты, Джумалы, пей, пока дома, тебе воевать. Возвращайся с победой и со славой... — Чотур стряхнул с одежды крошки и встал.

Пьяный от водки, Джумалы еще больше размяк от плача Айдайкан. Пошатываясь, он подошел к кровати, поцеловал спящих детей.

В это время медленно растворилась дверь и вошла Бермет, бледная от недоедания.

— Ты опять? Нельзя же так распускаться, джене!

Бермет строго оглядела сидящих. Айдайкан зажала рот рукой. Установилась неловкая тишина. Джумалы вздрогнул от голоса Бермет и будто трезвел.

— А! Бермет, сестричка! Ты разве дома? Мы тут немного... — Он запутался и еще больше покраснел, хотел улыбнуться, но вместо улыбки получилась жалкая гримаса.

8

Пришла весна. Сулейман со своими помощниками день и ночь был занят возле скота. Вроде бы некогда ему тосковать, а он не переставал думать о сыне. Страх за него преследовал старика неотступно. Перед первым ранением Кыдырбека Сулейман видел дурной сон, но вскоре от сына пришло письмо. «И что только не снится, чтоб им пусто было, этим снам», — подумал Сулейман, однако и теперь не рассказал жене о своем сне. Вскоре немцев отогнали от Москвы, и с фронта стали приходить более утешительные вести. Сулейман вздохнул с облегчением и стал жить надеждой: пока Кыдырбек выйдет из госпиталя, война, может быть, и кончится. Но война продолжалась, сын писал, что после четырех месяцев пребывания в госпитале снова вернулся на фронт. Прошло еще три месяца, и хоть бы строчка от него. Сулейман снова затосковал. Из головы не выходил тот страшный сон. Он заметно похудел, круглое лицо с черной, без единой сединки, окладистой бородой

осунилось, все реже стал слышен в аиле его могучий, грохочущий бас. Стал Сулейман рассеянным и забывчивым. Часто задумывался, сидит и сидит — жалкий, растерянный. Будто перестал замечать других сыновей, а они, четыре брата, росли быстро и догоняли уже старшего — Кыдырбека. Сулейман и Уулкелди старательно прятали друг от друга грызущую их тоску, но она прорывалась иногда помимо их воли, обнажая острую душевную боль.

— Может, съездил бы в военкомат или написал? Почему так долго нет писем? — сказала как-то Уулкелди, сама понимая, что это бесполезно.

— Глупая ты, мать, — говорил Сулейман с напускным спокойствием. — Не в гости же твой сын уехал. Он на войне, а там не до писем. Лучше бы ты полагалась на бога да помалкивала... — поучал он жену, а самому-то бог не очень помогал, он все думал и думал о сыне.

Было теплое бабье лето. Выпустив скот на дневку, Сулейман постелил на пожелтевшую траву свою шубу и улегся, уставившись в небо. И что только не приходит на память, как задумаешься.

...1916 год. Восстали киргизы Чуйской долины. Не захотели давать солдат белому царю. Сулейман был тогда джигитом и должен был идти в солдаты. Сел он на гнедого, по кличке Волосяной Хвост, взял длинное копье и с гиканьем понесся вместе с другими джигитами. Он был одним из тех, кто отбил оружие, которое русские везли в Кемин и Верный. Боевые джигиты, старые охотники, вооруженные пятзарядками, остановили солдат, шедших на расправу с восставшим народом, и вступили с ними в бой. Сулейман был в первых рядах. А теперь, при советской власти, сын его стал командиром и тоже сражается в первых рядах, но уже защищая свою власть. Каждый — сын своего времени! Да и какие раньше были войны! Детская игра в сравнении с нынешней войной! Сейчас пушки, самолеты... Трудно человеку выжить в этой войне...

Оскалив челюсти,  
Горою лежали мертвые кони.  
Выставив торчком усы,  
Горою лежали мертвые мужи.

Так описывается сеча в «Манасе». Представил себе эту картину Сулейман, и потемнело в глазах, он повернулся

на бок. «Будь ты проклята!» — выругался он в сердцах. Долго лежал, задумавшись, и незаметно задремал.

...Вот он, как всегда, пасет овец на зеленом поле. День ясный-ясный. Высокая трава переливается в ярких лучах солнца. Вдруг среди ясного неба появляется вдали крохотная черная тучка, она быстро растет, превращается в огромный столб пыли и с молниеносной быстротой подступает к джайлоо. Поднимается смерч и закрывает солнце, где небо, где земля — не различишь. Истошно кричат овцы, заливаются собаки, потом вдруг все исчезает, нет ни юрты, ни овец, на землю опустилась черная ночь. Сулейман ошалело озирается, мечется во все стороны, ищет своих заблудившихся овец. И тут раздается откуда-то таинственный голос: «Эй, Сулейман! Худшие испытания твои еще впереди! Не ищи овец своих, погибнешь, возвращайся домой!»

Зловещий голос, как молнией, бьет Сулеймана. Его охватывает еще больший испуг. «Что за напасть!» — думает он и молит господу о спасении, а сам несется вперед, гонимый страхом. Темнота понемногу рассеивается, и видит Сулейман: стоит он на высоком берегу. Овцы его сгрудились в кучу, испуганно жмутся к берегу. В стадо врзается стая волков, одну за другой рвут овец, собаки с обвисшими клочьями мяса и шерсти, обессиленные, бредут в стороне от стада, посреди волков носится джигит с перевязанной головой и бьет их зеленой палкой; от волчьих зубов на нем живого места нет, он истекает кровью и еле стоит на ногах. Сулейман вытаскивает нож и хочет уже достать одного из волков, вдруг снова раздается тот же веший голос: «Эй, Сулейман, худшие испытания твои еще впереди! Не борись с волками, не ищи своей гибели! Возвращайся домой, возвращайся!»

Тут Сулейман посмотрел на парня... а это его сын Кыдырбек! «Сынок!» — вскричал Сулейман и... проснулся, вскочил на ноги, протер глаза, огляделся. Сам в холодном поту, дрожит, а сердце готово выскочить из груди. Овцы спокойно пасутся, собаки спят, лениво растянувшись на солнце. При виде этой мирной картины Сулейман пришел в себя, с облегчением вздохнул. Спустя месяц почтальон Черный Мамбет привез ему радостную весть. Сын жив и снова в госпитале. Сулейман щедро одарил Мамбета, а сон свой отнес к ранению Кыдырбека. После этого окончательно успокоился и повеселел. К тому же сон его был

схож с услышанной им еще в детстве сказкой «Бадавлет». Там тоже таинственный голос произносит: «Эй, Бадавлет, худшие испытания твои еще впереди!» — и происходят разные чудеса.

Теперь опять начинает тревожиться Сулейман. «Проклятый сон!» Маленьким, после сказки «Бадавлет», он долго боялся спать один, ложился с матерью, прижавшись к ней, ночами вскрикивал от страха. И надо же так случиться: вернулась к нему эта сказка на старости лет. Он старался избавиться от этого сна, но тайный страх не оставлял его.

...Сулейман, как обычно, в сумерках пригнал стадо. Увидев чужих лошадей на привязи, спросил Уулкелди, кто такие.

— Молдоке с одним человеком приехал, — ответила она.

Сулейман обрадовался. Когда не знаешь, куда себя девать от тоски, любому человеку будешь рад. А тут сам Молдоке приехал.

Сулейман вошел в юрту. Гости пересчитывали какие-то деньги. После взаимных приветствий и расспросов о здоровье Сулейман смеясь спросил:

— Похоже, Молдоке, в Андижане побывали, денежек вагребли. Откуда и куда путь держите?

Молдоке сам был из Кемина, но жил давно уже на Чу. Для Сулеймана он был и родственник, и уважаемый аксакал. Полное имя его было Молдообраим, но стар и млад звали его Молдоке. Второго Сулейман никогда не видел.

— Ну, сколько там, подсчитай-ка на бумаге, Садыкмырза, — сказал Молдообраим, не отвечая на шутку Сулеймана.

— По моим расчетам, двадцать пять тысяч, — ответил Садык.

— Наверен твой расчет, давай-ка на бумаге, ты же счетовод. Если добавить деньги, что у меня лежат, должно получиться больше. Сельбик собираем, Сулейман-батыр, сельбик, — повернулся он к Сулейману. — Знаешь, что такое сельбик?

— Знал когда-то. Вы что, ставите юрту из кошмы да из глины дувал? Раньше на это шерстью брали...

— Помощь для армии собираем. Не хотим отстать от комсомольцев. Народ с чистым сердцем отдает, не жалеет... Ты что дашь? — в упор спросил Молдоке.

— Я сына отдал, не хватит ли? — заметил Сулейман не то всерьез, не то в шутку.

— Не ты один сына отдал. Гм-м, сына, вишь ли... Не то что сыновья, отцы уже седобородые стали уходить... А ты торгуешься... — Молдоке завязал деньги в платок и положил перед собой.

— Я не торгуюсь, Молдоке, так уж слетело с языка, необдуманно, а все же дойдут эти деньги до наших сыновей, как думаешь? — однако подписался на тысячу рублей.

Уулкелди развела в юрте огонь и повесила казан.

— Давно нет писем от ребят, дома места себе не находим. Старуха сдавать начала в последнее время, плачет много. И то сказать, нет-нет да приходят похоронки... — сокрушенно закончил Молдоке.

— Не дай бог! — громко вздохнул Сулейман. Вспомнил свой сон, снова стало сжиматься сердце. «Рассказать Молдоке сон или не стоит? Что он скажет? Волк, скажет, это враг, сын твой схватился с врагами, а худшие испытания еще впереди — это, скажет, угроза врага, какие-то огорчения еще будут, — на том и закончит», — подумал про себя Сулейман и постеснялся беспокоить Молдоке своими тревогами.

Послышался топот, собаки подняли лай.

— Убери собак! — крикнул кто-то.

— Что понадобилось председателю в такое позднее время? — Сулейман надел тюбетейку и вышел. С председателем колхоза Молдошем приехали ветеринар Сарыгул, заведующий овцеводческой фермой Сарт и главный коневод Чотур. Ответив на приветствия, Сулейман спросил, не скрывая удивления: — С чем пожаловали? С добром ли? — С тех пор как от Кыдырбека перестали приходиться письма, он пугался каждого, кто приезжал в неуточное время.

— С добром, бай, с добром, — успокоил его председатель, мужчина с желтой бородкой, лет сорока. За то, что Сулейман жил зажиточно, а также за то, что он пас колхозных овец, председатель называл его в шутку баем. — Ну как, Молдоке, много насобирал? На собраниях он так говорил, что все плакали.

— Ты не забудь, Молдоке, сказать, что я тысячу рублей жалуую нашим сыновьям. Интересно бы узнать, па много ли раскошелился наш председатель?

— Ну, председатель собрал собрание и ушел. Думаю, что не зря они приехали сегодня, каждый привез свою лепту, и Чотур, и Сарт, и этот... Кто это с вами? — Молдоке показал на Сарыгула.

— Сарыгул, ветеринар.

— А! Главный пожиратель скота! Его дело простое: напишет акт и съест себе на здоровье целого барана, не придерешься. Вместо того чтобы сказать: «В наш колхоз приехал скотский врач», — надо говорить: «Подохли овцы». — Молдоке будто пошутил, но сам даже не улыбнулся.

— Вы разве не узнали меня, Молдоке? — Сарыгул сидел весь красный и искательно улыбался.

— Нет, — отрезал Молдоке.

— Молдоке иной раз кровного родственника не узнает. Это же сын вашего соседа Джамаке. Джамаке-то знаешь? — вмешался председатель.

— А, это ты учился вместе с Кыдырбеком? — Молдоке пристально взгляделся в Сарыгула. — Один сын Джамаке мальчишкой ходил ко мне с Кыдырбеком. Помню... А теперь вот Кыдырбек на войну ушел и даже не попрощался со мной. Так, значит, ты — сын Джамаке?

На лице Молдоке мелькнула добрая улыбка.

— Ладно, Молдоке, поговорили, а теперь перейдем к делу. Согню трехлетних баранов отбери для фронта, Сулейман-бай, — Чотур пятьдесят коней готовит, через два-три дня отправляем во Фрунзе. Людей я пришлю. Мало-мало людей остается у нас, каждый день уезжают. В поле почти одни женщины, кто знает, может быть, и мы уедем скоро.

— Нищие овцы кое-как перезимовали, и то благодаря прошлогоднему севу, — вмешалась в разговор молчаливая до сих пор Уулкелди. — А если война протянется, мужчин не станет, как же скот перезимует на Кунгее? Боюсь, перемрет...

Никто не ответил Уулкелди. Все молчали. Лишь потрескивали в очаге можжевеловые дрова да булькало в котле.

— О том и речь, — нарушив тишину, заговорил Молдош. — Или поднатужимся все, кто остался, или руки-ноги врозь — и ослабнем, пропадем.

— Чотур-аба! — сказал Сарыгул наутро, когда кончили осматривать скот (раньше он никогда не называл его

«аба»). — Чотур-аба, завтра я еду в Каракол, скажите матушке (жену Чотура Сарыгул раньше не то что матушкой, даже джене не называл), пусть соберет чего-нибудь для Бермет. Правда, мне не по пути и времени в обрез, но все же заеду к вам, захвачу гостинцев.

Причиной такой любезности была Бермет. Как только Сарыгул увидел ее в прошлом году на джайлоо, стал подумывать о том, чтобы, как говорят киргизы, обновить постель. Он не привык медлить и, решив, сразу приступил к делу. Прежде всего оформил бронь. Жена его после рождения первенца стала хворой, надо было избавиться от нее. Но это не особенно его заботило. Отвезет к родителям, переправит туда же ее имущество. О законной стороне дела он уже договорился с нужными людьми, были такие среди его приятелей-собутельников. И тогда останется только жениться на Бермет. Если взяться с умом, долго ли обкрутить девушку? Прежде всего задобрить родителей, потом увезти девушку и переспать с ней ночь — куда она после этого денется, тем более что и родители будут на его стороне? Сарыгул остался доволен своим планом. Сказав себе: «Пока осторожный мнется, смелый реку переплышет», — он принялся осуществлять свой замысел. Для начала надо съездить в Пржевальск, повидаться с Бермет и прощупать ее настроение. Остальное пойдет своим ходом. Придумав причину, он взял в районе командировку в Пржевальск. Однако нужен еще повод заявиться к Бермет. За этим-то, главное, он и приехал к чабанам.

Ни о чем не подозревавший Чотур не знал, как благодарить Сарыгула. На радостях он не заметил и того, что Сарыгул вдруг стал уважительно называть их «дядей» и «матушкой». Здоровяк, каких уже мало осталось в аилах, Сарыгул умело пользовался своим положением, ладил с нужными людьми. Услуга за услугу. Мясо и спирт у него не переводились. Сарыгул всегда держался уверенно, считал, что все для него трын-трава. И все же в доме Сулеймана он не решился выставить на стол фляжку со спиртом, которую всегда носил с собой. Не столько Сулейман мешал, сколько Молдоке, да и будущего тестя постеснялся. Он вызвал председателя во двор, хлебнули и вернулись к горячему мясу. Вскоре их заметно разобрало.

— Вы, похоже, хлебнули скотского лекарства, — насмешливо заметил Молдойбраим, по заплетающимся языкам разгадав их тайну.

— Есть ли, Молдоке, вести от Джаманкула?— спросила Уулкелди, подавая утром чай Молдоибраиму. Сулейман в это время был во дворе и показывал начальству своих овец.

— Видимо, нет. Джамалкан бы написала...— Молдоибраим давно не имел писем от своих сыновей и боялся такого разговора. Но, во всем полагаясь на судьбу и на бога, он держался довольно стойко. Даже когда умирали его дети, как ни горевал он в душе, слез не показывал.

— Собираюсь съездить к Джамалкан,— сказал Молдоке, положив в забеленный молоком чай ложку топленого масла и кроша туда хлеб.— Как там она с детьми живет-может, покоя себе не нахожу. От Кыдырбека не было больше писем?

— Не было, дорогой Молдоке, дай бог ему здоровья. Сулейман старается держаться, но я-то ведь знаю, какво ему. Старшая мать крутится там с детьми.

— Всем нам трудно, что говорить! Надо надеяться и делать свое дело,— сказал Молдоке, желая переменить разговор.

Уулкелди помолчала и заговорила вновь:

— Молдоке, когда вы собираетесь в Каракол?

— Вот сдам деньги и начну собираться.

— Пошлю-ка я с вами что-нибудь детям Джамалкан,— сказала Уулкелди, не зная, как заговорить с Молдоке по делу, которое давно ее мучило. Она начала осторожно, издалека:— А Бермет вы не видели, Молдоке? Совсем, говорят, взрослая стала у Чотура дочь?

— Видел в прошлом году, когда ездил к Джамалкан.

— Не спросите ли у Джамалкан, может, Бермет знает что-нибудь о Кыдырбеке?— Уулкелди сказала совсем тихо, будто кто-нибудь мог ее подслушать.

— С какой же стати?— Молдоке вскинул от удивления брови.— Разве Бермет ваша невестка?

— Откуда же невестка, Молдоке, так, на всякий случай хочу спросить. В прошлом году Кыдырбек мой лежал в госпитале с братом Чотура, Турганбаем. С письмом Турганбая и мой послал тогда Бермет записку. Может, опять что было...— растерянно пробормотала Уулкелди. На са-

мом деле ей хотелось знать куда больше. Переписываются ли Кыдырбек с Бермет, что они думают о будущем, стоворились ли пожениться, а если так, приблизить бы Бермет к себе, сойтись с ней, как с будущей невесткой, постараться уберечь от греха, и еще много других мыслей было у нее связано с именем Бермет. И теперь ей хотелось через Джамалкан докопаться до истины. «Если они действительно договорились с Бермет, то как бы не получилось такое: возьмет он ей да напишет, а отца с матерью обойдет», — шевелилось в ее мозгу подозрение. И она начинала ревновать сына к Бермет, но тут же раскаивалась, боясь прогневать бога.

— Как же напишет он девушке, не написав вам? Впрочем... с него, шалопаю, станет, — почесав свой горбатый нос, Молдообраим усмехнулся. — А все же стоит ли так плохо думать о сыне? Ты думаешь, он девушке своей пишет, а для вас времени не найдет?

— Не знаю, дорогой Молдоке, так уж к слову пришлось. — Уулкелди не хотелось признаваться, что выдала свою тайну, и, чтобы скрыть смущение, она тоже усмехнулась.

— Женить его хотите на Бермет? — в упор спросил Молдообраим.

— Разве мы можем хотеть или не хотеть, теперь дети сами знают, что им делать да как поступать, не прежние времена... — отговорила Уулкелди, боясь выдать свою думку. А думка у нее была определенная: если Бермет не дала окончательно согласия, то не мешало бы помочь сыну, незаметно приручить ее. И потому, посылая гостинцы якобы детям Джамалкан, она имела в виду конечно же ее, Бермет. Уулкелди осторожно и намекнула на это.

— Отдай Джамалкан вот это масло, чучук<sup>1</sup>, пускай и с Бермет поделится. Тоже не сладко им, студентам, живется, пускай полакомится со своими подружками. — Она торопливо засунула в мешок гостинцы.

— Вот и выдала себя: в невестки хочешь заполучить дочь Чотура, — рассмеялся Молдообраим.

— Все в воле божьей, Молдоке. Если вернется Кыдырбек жив-здоров, лучшей невестки мне и не надо. Бермет красивая девушка, не споткнулась бы только, времена-то

<sup>1</sup> Чучук — колбаса из конины.

какие пошли... Пора уже Сулейману прийти, подождите его,— сказала Уулкелди, молясь про себя, чтобы он поскорее уехал. Она боялась, что Молдоке выдаст ее и поднимет перед мужем на смех.

— Нет уж, поеду,— заторопился Молдоке,— вчерашний мой спутник в аиле меня дожидается, кончим скорее дела — и в путь. О-ох, ноги мои, ноги, старость, похоже, раньше всего за ноги хватает!— Поохав, Молдообраим надел свой чапан, взял камчу, шапку и вышел. Со склона горы, погоняя впереди себя стадо, спускался Сулейман. Еще издали он крикнул:

— Уезжаете, Молдоке? Что так торопитесь? Погодите! — пока Молдообраим привязывал к торокам поданный Уулкелди баптык<sup>1</sup> и затягивал подпругу, Сулейман загнал во двор скот. — В самом деле уезжаете? Взяли бы барашка, сейчас зарежу. Как же с пустыми руками поедете? — засуетился Сулейман.

— Не с пустыми,— сказал Молдоке. — Видишь? Уулкелди целый баптык дала, разве мало?

— Молдоке едет в Каракол к дочери, немного гостинцев положила,— затараторила Уулкелди, боясь, как бы Молдоке не раскрыл ее тайну.

— Тут и дочери, и другим хватит,— поправляя торока, усмехнулся Молдоке.

— Значит, едете?

— Еду. Если у тебя лишний барашек завелся, потом заберу,— и взялся за холку коня. Сулейман соскочил с лошади и помог ему сесть.

— Когда съездите в Каракол, загляните к нам.— Уулкелди с мольбой посмотрела на Молдоке.

— Привезайте, Молдоке, приезжайте,— поддержал жену Сулейман, поняв в душе, что так и не рассказал ему свой сон. На ходу говорить об этом не хотелось.

10

Сарыгул приехал в Пржевальск ночью и поселился в маленькой двухэтажной гостинице; плотно поел в буфете, заняв еду двумя стаканами водки, и завалился спать. Уснул сразу, как все здоровые и беззаботные люди, про-

<sup>1</sup> Баптык — мешочек из кожи конской головы.

снулся лишь в семь утра. Умылся, причесался, надел приготовленный больной женой новый костюм, шляпу, новые туфли и первый раз в жизни вышел на улицу Пржевальска. Со снежных горных вершин дул утренний прохладный ветерок. Сарыгул поехал. Ему захотелось без всякой цели побродить по улицам Пржевальска. Народу было мало. Повернув от гостиницы влево, он увидел надпись «Ресторан», свернул еще влево и по прямой улице, упирающейся в горы, зашагал вверх. Город весь был в зелени, в садах. Но Сарыгулу не понравились дома с камышовыми и соломенными крышами. «Даже во Фрунзе не перевелись еще такие дома», — подумал он. На улицах двумя рядами стояли пирамидальные и серебристые тополя, березы. Кроны их, высвеченные утренним солнцем, тихо шелестели на ветру. Листья серебристого тополя, который называют в некоторых местах «лягушачьим деревом», при порывах ветра поворачивались обратной стороной и поблескивали, как серебристая мишура.

Сарыгул шел по улице Ленина, потом свернул на Садовую. Возле белого двухэтажного здания, как пчелиный улей, гудела молодежь. Сарыгул подошел к вывеске и прочитал: «Институт». Его удивило, что он так неожиданно набрал на институт. Смутившись отчего-то, он покраснел. Одни входили в здание, другие стояли на улице. Кто гут студент, а кто преподаватель, можно было определить лишь по возрасту, одеждой они мало отличались друг от друга. «У ребят, что ли, спросить или в канцелярию зайти? Может, сама появится?» — раздумывал Сарыгул. Студенты и преподаватели оглядывались на него и проходили мимо. Тогда многие приезжали к студентам.

— Агай, кто вам нужен?

Сарыгул вздрогнул и обернулся. Улыбаясь во весь рот, перед ним стоял молоденький студентик. Сарыгул еще больше смутился и растерянно пробормотал:

— Я... я... к родственнице... Чотурова... Бермет...

— А, знаю, знаю, — ответил улыбчивый паренек, — они сегодня на практике были, если вернулись, я сейчас же разыщу ее. Где вас найти?

— Я здесь побуду, — ответил Сарыгул, не зная, как назвать свою гостиницу. — Издалека приехал, помоги уж мне, парень.

Студент побежал.

Помочь приезжим родственникам разыскать нужного студента было добрым институтским правилом. И «спасибо» заработаешь, и, может быть, кое-что перепадет из привезенной домашней еды.

Ловок и самонадеян был Сарыгул, из любого положения находил выход, а словами кого угодно мог опутать, но тут струснул, вдруг растерялся. Нервно вышагивая по улице, пытался представить себе встречу с Бермет. Что она подумает? Конечно, удивится и настороженно смерит его взглядом. Куда бы ее увести поговорить? — размышлял он про себя и вдруг увидел молодую женщину с подкрашенными губами, которая, помахивая сумочкой, приближалась к нему. Сарыгул с улыбкой стал присматриваться к ней. Женщина подняла глаза, и Сарыгул узнал Джамалкан. Сарыгул спросил:

— Вы Джамалкан?

Джамалкан вздрогнула. Пристально посмотрела и, не узнав, спросила:

— А вы кто?

— Не узнали, эдже<sup>1</sup>, я сын Джамаке Сарыгул, — подойдя, он подал ей руку. — На днях я был в Кемине, на весенних пастбищах, видел там Молдоке, привет велел передать вам. Как поживаете, эдже, как дети? Слышал, что сюда переехали, — тараторил Сарыгул. Он был старше Джамалкан и назвал ее «эдже» из лести. — И-и, узнал все-таки вас. Значит, здесь вы теперь? — он растянул широкий рот в улыбке.

— Каким ветром забросило вас в наш город? — спросила Джамалкан.

— Говорите «ты», эджеке. Я из Кемина, приехал по делам, привез вам кое-что из еды. Где вы живете?

— Вот здесь, — Джамалкан показала на угловой дом.

— Как хорошо, что я вас встретил, эджеке. Парень один побежал искать дочь Чотура. Вы с ней видите? Родители ее тоже передали кое-что.

— Бермет живет со мной.

— Вот это здорово!

— Вот и она идет, — обрадовалась Джамалкан.

Бермет шла с тем бойким пареньком, который вызвался найти ее. Лицо у Бермет бледное, взволнованное. «Что за родственник? Уж не дядя ли Турганбай? — подумала она.

<sup>1</sup> Эдже — почтительное обращение к замужней женщине.

Увидев чужого человека, она растерялась и перепугалась. — Назвался родственником, с чем он приехал, с доброй вестью или... Почему отец сам не приехал? Разговаривает с Джамалкан-эдже, видно, они из одного айла. Что за человек, что ему от меня нужно? На двух лишь получила письмо от мамы, она ничего такого не писала». Все эти вопросы вертелись в ее голове. Подошла, остановилась, строго, красивая, потирая похолодевшие ладони, тихо, не подавая руки, сказала:

— Здравствуйте!

— В добром ли здоровье, дорогая? — Сарыгул долго пожимал холодную, безжизненную руку Бермет. Бермет вырвала руку и покраснела.

— В командировку приехал и, хоть не по пути было, завернул к дяде Чотуру, захватил для вас гостинцев. Куда принести? — спросил Сарыгул, хотя уже знал куда.

— К эдже, — коротко ответила Бермет.

— Ты сейчас свободна, Бермет? Я тороплюсь на занятия, какэтся, уже опаздываю. — Джамалкан взглянула на часы.

— Сейчас мы подводим итоги практики, — нерешительно ответила Бермет.

— Идите на занятия, мы вот с этим пареньком сами припесем, дом эдже я уже знаю, ты ведь свободна, парень? — спросил Сарыгул.

— Это как я захочу.

— Пошли тогда. Ключ...

— Дети дома, идите! — сказала Джамалкан и вместе с Бермет быстро пошла к зданию института.

«Дела» еще на три дня задержали Сарыгула в Пржевальске. Он ел у Джамалкан мясо, пил вино, потом повел их в знаменитый парк Пржевальска и угостил пивом. Бермет ходила вместе с ними, но как-то неохотно, будто ее вели на веревочке. Бермет не могла да и не хотела понять, с чего это так старается Сарыгул, лебезит перед Джамалкан, перед нею. Почему-то он сразу стал противен. Движения, жесты, угодливые речи — все вызывало в ней брезгливое чувство. Почему? Сарыгул ничего обидного ей не сказал и не сделал. Специально заехал к родителям, привез гостинцев и здесь угощает, тратится, так внимателен к ним. За что же его ненавидеть? Напротив, надо бы благодарить. И все же ей были неприятны его посещения, она всегда находила повод не бывать при этом дома.

Сарыгул несколько раз повторил, что Турганбай жив-здоров, а от Кыдырбека нет никаких известий. Но, говоря о Кыдырбеке, он подчеркнуто вздыхал, чего-то будто не договаривал, многозначительно произносил: «Странный он парень!» Это тоже не понравилось Бермет. Будто зная об отношениях Кыдырбека и Бермет, оп то и дело возвращался к этой теме. Еще не подозревая о намерениях Сарыгула, Бермет за одни лишь старания очернить Кыдырбека возненавидела его. Она теперь постоянно вспоминала Кыдырбека, и каждый раз по-новому. Часто он представлялся ей печальным, и тогда становилось жаль его. Она еще не понимала, что это было — уважение или иное чувство, а может быть, простое сочувствие к человеку, который был без памяти влюблен в нее. Как бы то ни было, она много думала о Кыдырбеке, образ его становился все ближе, все больше тревожил ее.

## 11

Сарыгул все рассказал Джамалкан. Он сообразил, что лучше идти в открытую и уговорить Джамалкан стать посредницей между ним и Бермет. Он и с Бермет решил поговорить через Джамалкан, потеряв надежду объясниться с ней самой. Бермет всегда была при нем замкнута и холодна, ни с какой стороны нельзя было к ней подступить. Сколько раз он заговаривал с ней ласково, по-родственному — хоть бы улыбнулась. Будто неживая. Приступ не удался, а увезти ее было не просто. И он все предоставил Джамалкан.

— Эджеке, поговори ты с ней! — взмолился Сарыгул. (Он давно уже перешел с ней на «ты».)

— Что же я ей скажу?

— Расскажи обо мне, о моем положении.

— А потом? Спросить, хочет ли замуж за тебя? — Простодушная Джамалкан от души расхохоталась.

Сарыгул обиделся.

— Эджеке, пойми же ты мое горе! Жена, что змея, шипит и шипит, неужели так и пройдет моя жизнь понапрасну?

— Чего же ты смотрел, когда брал ее? — Джамалкан насмеялась опять.

— Смотреть-то смотрел, да ведь недаром говорят: «Девушки все хороши, откуда злые жены берутся?» — Вздыхнув, он развел руками.

— А если эта девушка окажется плохой?

— Ну, эджеке! — с упреком сказал Сарыгул. — Я тебе свое сердце открыл, а ты смеешься надо мной. Мое счастье в твоих руках, пойми. Захочешь — счастливее меня не будет человека, не захочешь — пронал я совсем! Бермет тебя послушается, эдже. По правде говоря, только ради Бермет я и приехал сюда.

— Ну а если у Бермет есть жених? — всерьез спросила Джамалкан.

— Уговори бросить его.

— А если не удастся?

— Удастся, эдже, сумеешь уговорить, разве я пришел бы к тебе?

— Попробую, — нерешительно согласилась Джамалкан, — но за успех не ручаюсь, не умею я уговаривать. Узнаю, по крайней мере, что она думает об этом, скрывать от меня не станет.

— Уговори, эджеке, уговори.

— Если джигит сам не уговорит, что я могу сделать? — Джамалкан рассмеялась. Смех смехом, но Джамалкан всерьез была удивлена: молодой мужчина, чтобы расположить к себе девушку, просит помощи у женщины. Однако она не решилась высказать это ему в лицо, боялась обидеть. И все же не понравился он ей. «Строит из себя доброго родственника, а сам за девушкой охотится. Но как знать, к таким девушки лишнут. Каков проныра, мелким бесом рассыпается, любого вокруг пальца обведет. Но согласится ли Бермет? Вдруг отчитает, стыдно потом будет в глаза смотреть. Надо с ней поосторожнее».

— Хорошо, я поговорю сегодня, — пообещала она.

Вечером Сарыгул с Солтонкулом пошли в парк пить пиво, Мария Петровна с ребятами отправилась гулять, Джамалкан осталась дома одна, нужно было подготовиться к урокам.

Вошла Бермет.

— Уехал, что ли, ваш гость? — Бермет мягко улыбнулась.

— Какой же он мой гость? Это твой гость, у тебя надо

спросить, — сказала Джамалкан, обрадовавшись, что Бермет сама заговорила о Сарыгуле.

— Почему же он мой? — Бермет улыбнулась. — Правда, что ли, уехал?

— Как он уедет, не встретившись с тобой? Или уже надоел? — Джамалкан в упор посмотрела на Бермет.

— Вам, наверное, надоел, живет и живет, к тому же очень уж говорлив. Дела свои закончил, пора и честь знать.

— Ты лучше знаешь, закончил или нет... Дело-то его к тебе. — Джамалкан лукаво улыбнулась.

— Какое дело еще?

— Сама знаешь...

— Что я знаю? — Бермет нахмурилась и подозрительно посмотрела на Джамалкан.

— Раз не знаешь, спроси у него.

— О чем?

— О его деле.

— Какое может быть у него ко мне дело?

— Сказать?

— Скажите.

Бермет выжидающе смотрела на Джамалкан. Джамалкан смущенно молчала, язык не поворачивался сказать строгой Бермет все, что просил Сарыгул. Но сказать надо, иначе она не отделается от него.

— Ради тебя он приехал... Как ты к нему относишься? Может ли он надеяться? Или у тебя уже есть свой джигит? Сарыгул согласен подождать, пока кончишь учебу... — Джамалкан в точности передала все, что говорил Сарыгул о своей семье, о своих намерениях.

Бермет начала тихо всхлипывать. Джамалкан растерялась. «И зачем я согласилась? Вечно лезу не в свои дела, глупая баба!» — корила она себя в душе.

— Как вы смели сватать меня за него, эджеке?.. — сквозь слезы сказала Бермет. — Как вы можете?.. За человека, который способен выгнать жену с ребенком, который не боится чужих слез, ведь жена отдала ему свою молодость: И вы думаете, что этот человек сможет сделать меня счастливой?.. Я ненавижу его... Как у вас язык повернулся сказать мне такое? У меня есть своя цель в жизни, свои стремления... Пусть никто не вмешивается в мою жизнь! Так и знайте...

Джамалкан не выдержала и тоже расплакалась.

Не успел уехать Сарыгул, приехал Молдобраим. Снова в дом зачастили гости. Знакомые учителя приходили поговорить с Молдоке, появлялся Солтонкул. Однажды он пригласил Джамалкан всем домом к себе. Говорили о войне, о Джаманкуле, его письмах, о Джамалкан и детях. Молдоке остался доволен дочерью: живет справно, дети сыты, ухожены. Он был благодарен товарищам Джаманкула, не оставляют ее, поддерживают, помогают.

— Тут Сарыгул приезжал, парень вроде ничего, — между прочим заметил Солтонкул.

— А что ему здесь понадобилось? — удивился Молдоке.

— Для Бермет привозил гостинцев, — пояснила Джамалкан. — А вы с ним ничего не передавали, отец? Вот это, говорит, Чотур прислал тебе и дочери, а это — твои родители. Привет, говорит, просили передать.

— Не только ничего не передавали, даже не видели его. Как-то раз встретил, правда, у Сулеймана. Едва узнал, да и то после того, как назвался сыном Джамаке. Взрослым он не попадался мне на глаза. Парень, кажись, из ловкачей. Зачем, говоришь, приезжал? Передать гостинцев от Чотура?

— К дочери его приезжал, Молдоке! — рассмеялась Салима. Об этом доверительно рассказала ей Джамалкан, теперь покрасневшая до ушей.

— Так и сказали бы. Значит, оставил скот и за людей принялся. А у девушки небось уже хозяин есть? — сказал Молдоке, вдруг вспомнив просьбу Уулкелди.

— И почему так говоришь, Салима? Ты же знаешь, он приехал в командировку, даже удостоверение показывал. Говорил, что приехал обменяться опытом.

— Не опытом меняться он приехал, а женой, — в сердцах сказала Молдоке. — То-то отец его жаловался — собирается сынок жену свою отправить к родителям. Ну и что, обещали ему девушку? И калым, верно, оставил?

— Если это можно принять за калым, поил нас всех пивом, — засмеялась Салима.

— И-и, пиво теперь сила! Видно, благодаря пиву он и на войну не пошел, дома остался, а теперь бесится, жен меняет! — гневно проговорил Молдоке. — Там земля горит, кровь льется, а тут эти...

— Ни с чем джигит уехал, Молдоке, успокойтесь,— сказала Салима.— Девушка оказалась умницей, даже разговаривать с ним не стала и проводить не пришла. Вдвоем с Джамалкан поблагодарили и отправили. Он, однако, еще не оставил надежду. «Не успокоюсь,— говорит,— пока не возьму Бермет!»

— Письма получаете от детей? — спросил Солтонкул, чтобы переменить разговор.— Джамалкан наша не просыхает от слез. Вспомнит Джаманкула — плачет, братишку Джапара вспомнит — плачет, брата Болотбека вспомнит — опять плачет. Пожурили бы ее, что ли!

— Я сам готов заплакать, когда остаюсь один. Слюдьми вроде забываешь горе. Вы, слава богу, все вместе. Будьте друг другу опорой, не оставляйте ее одну, поддержите, а я что могу сделать? Товарища узнаешь в беде. Когда угощение на столе, все твои друзья, не так ли? От детей долго не было писем, только что получил. Джапар пишет, что под Москвой, а Болотбек, оказывается, на восточной границе. Старуха моя, сноха и детишки живем себе потихоньку.

Однако не все было так ладно в доме Молдообраима. Невестка его, Бубукан, не поладила со свекровью. Мать Бубукан как-то шепнула об этом Молдоке. Ничего не скажешь, ворчливая у него старуха, все ей не так, все ругается. Видно, доняла сноху, та и пожаловалась матери. А может, бежит к матери с каждым пустяком, это тоже нехорошо. Невестка должна беречь честь дома, в котором живет. Молдоке, конечно, и сам не раз слышал, как старуха разносит сноху, но вмешиваться не отваживался: вступить за сноху боялся жены, а старуху поддержишь — невестку обидишь. Заслышав крики, убегал из дому. И то сказать, жена работает всю жизнь не разгибаясь, терпегь не может людей, слоняющихся без дела, обязательно начнет ворчать. Но и невестку Молдоке не мог упрекнуть в лени, всегда чем-то занята. Так он метался между старухой и невесткой, не зная, кого защищать. «Уж не беременна ли Бубукан? И раньше ее походка была не из легких, теперь и вовсе отяжелела. Знает об этом жена или нет?» Гадал, а сам все забывал сказать. Сейчас Молдообраим хотел было промолчать о домашних неприятностях, но заговорила о них Джамалкан.

— Джене показалась мне невеселой, не ругаются они с мамой? — спросила она.

— Бывает. Джене твоя и вправду ходит невеселая какая-то, — подтвердил Молдообраим. — Когда жили врозь, все было хорошо. Болотбек ушел в армию, джене твоя переехала к нам, мать нет-нет да поворчит на нее. — Молдообраим хотел было еще что-то сказать, но вдруг замолчал.

13

На следующий день было воскресенье, Молдообраим с Марией Петровной ушли на базар, Джамалкан осталась дома с детьми. Пришла Бермет. Строгое, красивое лицо ее похудело, побледнело, казалось прозрачным.

— Ты что, плакала? — спросила вдруг Джамалкан.

— Плакала. — Бермет улыбнулась.

— Что-нибудь случилось?

— Так, ничего...

— Письмо, что ли, получила?

— От кого?

— От Кыдырбека?

Джамалкан, привыкшая говорить все, что придет ей в голову, напустилась на Бермет:

— Уулкелди там рвет на себе волосы, Сулейман сам не свой ходит, отец говорит, давно от Кыдырбека писем нет, может, ты получила, скажи правду?

— Кто я для Кыдырбека, чтобы он писал мне, когда отцу с матерью не пишет? — сказала Бермет с тихой улыбкой. — Бог проклянет его за это! — Бермет не только не обиделась на Джамалкан, как следовало ожидать, напротив, она отвечала спокойно, медленно произнося каждое слово, с какой-то смешинкой в голосе.

Это и показалось Джамалкан подозрительным. Еле сдержав улыбку, она продолжала в том же строгом тоне:

— Кто ты для Кыдырбека? Ты для него любимая девушка!

— Откуда вы это знаете, эджеке?

— Не упрямясь, скажи правду, плакала ты, вот я и догадалась, — настаивала Джамалкан.

— Если я плакала, значит, есть по ком плакать, вы сами постоянно плачете. Кто вы для Джаманкула?

— Я ему жена! — отрезала Джамалкан.

— Только-то?

— А что тебе еще надо?

— Может быть, еще любимая, товарищ, подруга?

— Не морочь мне, пожалуйста, голову, — Джамалкан не выдержала взятого тона и просто спросила: — Ну скажи наконец правду, кто же ты тогда для Кыдырбека?

— Сестра, — так же улыбаясь, ответила Бермет.

— Нынешние молодые люди любимых сперва называют «сестрой».

— Нет, сестра...

— Да пропади ты пропадом, не мучай человека! Письмо получила?

— Получила...

— Где?

— Вот...

Бермет протянула Джамалкан сложенное треугольником письмо. Джамалкан, шевеля губами, быстро начала читать.

«Уважаемая сестра моя, Бермет!

Скажу тебе правду (если это ложь, пусть никогда мне тебя не видеть), хотел уйти с твоего пути, но потом решил написать. То ли письмо твое послужило причиной, то ли настроение изменилось, и я снова потянулся к солнцу. Это не значит, что я щажу свою жизнь на войне. Тянуться к солнцу не значит стараться во что бы то ни стало выжить, это значит жить счастливо и никогда не сожалеть о прошлом. Теперь мне не обидно даже умереть на войне. Потому что рядом со мной моя добрая сестра. Если я упаду от ран, она поднимет меня, перевяжет, даст попить, она всегда теперь рядом со мной. Чего же мне еще желать? Я доволен, сестра моя! Пока я живой, образ твой всегда будет со мной, коли умру, унесу его с собой в могилу. Другого я и не желаю. Это и есть, по-моему, счастье!..

Сестра моя, Бермет! Кажется, я становлюсь сентиментальным! Или это называется романтикой? Все равно, сказал то, что чувствовал. Прости, если переборщил в чем.

Был ранен в донских степях и чуть не попал в плен. Ребята решили, что я убит, вынесли с поля боя и хотели уже похоронить, а я вдруг открыл глаза и страшно всех перепугал. На мне места живого нет, весь в бинтах. Но настроение отличное. Написал и родителям. Есть ли письмо от Турганбая? Где он? Пришли его адрес.

Р. S. Нас увозят дальше в тыл, и где остановимся, неизвестно. Боюсь, что твое письмо уже не застанет меня здесь. Когда окончательно обоснуюсь, напишу.

Будь здорова.

Кыдырбек».

— Как понимать это письмо?— спросила Джамалкан, тронутая до слез.

— Вот и вы плачете. Кто же не заплачет над таким письмом? И я плакала. Только чистой души человек может так написать. Как бы вы истолковали это письмо, эдже?— Глаза Бермет наполнились слезами.

— Это письмо влюбленного.

— Он и влюблен. Искренне, глубоко. Но я же отвергла его, а он по-прежнему остался верен, не сердится, сестрой называет. Я ведь ему не любовное письмо написала. Просто человеческое, теплое письмо. И то потому, что не посмела растоптать его чистое чувство. Не могла. Ведь это грех — обижать человека...

— У женщины, которая боится обидеть мужчин, подол в грязи бывает, Бермет!— наставительно сказала Джамалкан.

— Это совсем другое дело, эдже, зачем же путать одно с другим.

— Но если он такой хороший, ты, может быть, тоже полюбишь его?— тихо промолвила Джамалкан. Ей было уже стыдно за свой наставительный тон.

— Это уж мое дело...— игриво ответила Бермет. И, сразу же сделавшись серьезной, добавила:— Не смейте ничего говорить Молдоке. Я ведь ему уже отказала однажды,— закончила она с грустью,— и нечего заранее обнадёживать, тем более кричать об этом.

Джамалкан тоже замолчала, ей казалось неудобным дальше продолжать разговор. Но разговор этот их сблизил, обе почувствовали облегчение, будто сбросили с души что-то тяжелое.

Под Москвой фашист получил мощный удар, начал отступать, но надежды народа на скорый конец войны не оправдались. Летом 1942 года враг предпринял новое на-

ступление, над страной сгустились черные тучи. Повсеместно формировались новые части и отправлялись на фронт. В Киргизии в августе 1942 года были отправлены на войну курсанты военного училища. Одни успели получить офицерское звание, другие так и уехали курсантами. Некоторые из них уже воевали, лежали в госпиталях, большинство же только в училище впервые взяли в руки боевую винтовку. Почти все они были с Чуйской долины. Кто знал, а кто и не успел узнать об их отъезде. И все-таки повидаться с сыновьями, братьями, мужьями приехало много народу. Родные спешили накормить своих, посмотреться, наговориться. Но не могли насмотреться, не могли наговориться. Тоску перед разлукой испытывали все — и отъезжающие, и провожающие, но каждый переживал ее по-своему, в каждом сердце по-своему отзывалось это чувство, по-разному проявлялось, как вода в чашках с разным уровнем плескалась по-разному.

Деревенские расселись вдоль арыков, прямо на земле. Вызванные из казарм солдаты вели за собой приятелей, знакомили их с родными. Тот, кто привез побольше мяса, кумысу, боорсоков, угощал не только приятелей сына или брата, но и всех, кто подходил к ним.

— Берите, берите, милые!

— Кушайте, дорогие!..

Старик в поношенном халате, с седой бородой, поставив между ног открытый курджун, угощал своего сына, юношу с едва проступающими усиками. Старик молча смотрел, как сын торопливо жевал мясо, смотрел на испачканные, как в детстве, жиром щеки и думал: «Слаб еще, молоко на губах не обсохло, неженка, уже усы пробиваются, а все чувствует себя ребенком. Какой из него солдат?..» И старик незаметно вздыхал.

— Ешь, детка, ешь, теперь долго не придется видеть домашнего.

— Почему мама не приехала? — спросил сын.

— По маме соскучился? Мать благословляет тебя. — Старик знал, что сын его — маменькин сынок, и нарочно не взял ее с собой.

— А вдруг уедем... — Парень обиженно и чуть не плача опустил голову.

— Ты что это? — сказал старик, улыбаясь в усы. — Ты что? Разве ты не джигит? Не на войну идешь? Сиськи захотел! Не раскисай. Место мужчины в бою, говорят. Гор-

дым, сильным надо быть, сынок! — Ему было жалко сына, но говорил он спокойным, твердым голосом, пытаясь пробудить в нем мужское самолюбие.

Недалеко от них сидел солдат лет тридцати, с умным, интеллигентным лицом. Он тихо переговаривался с женой, но краем глаз следил за стариком и парнем и с явным удовольствием слушал напуганные старика. Солдат с интеллигентным лицом был Качике, парня звали Сагындык. Оба они были из одного взвода.

— Эй, Сагындык, слышишь, что отец говорит? — крикнул Качике.

Сагындык молча оглянулся. Его лоснящееся от жира лицо вновь надулось.

— Сынок, не сиди спиной к людям, пересядь сюда, — приказал старик и, отрезав мяса, поставил перед Качике.

— Мы вместе были с вашим сыном, аксакал. Может быть, и там будем вместе, не беспокойтесь за него, — сказал Качике.

— Хорошо бы... Ты, я вижу, знаешь, почему лихо, не то что мой сосунок. Молод и ничего-то еще не испытал в жизни, не привык к трудностям... и бесполок к тому же. Приглядывай за ним, сынок... Люди должны помогать друг другу, иначе какие же они люди. Наставляй его, ругай, если надо, я уж на тебя надеюсь. Добрый, вижу, ты человек... — Старик вздохнул.

— Верно говорите, аксакал. Кто трудностей не испытал, тот еще не человек, — заметил Качике и пообещал старику присмотреть за его сыном. Но тут же подумал: «А сам-то я? Сам я на что гожусь? Мне ли других учить, когда я самый что ни на есть слабый, безвольный человек. Сделал ли я что-нибудь путное, нашел ли свое призвание? Все упустил — и время, и счастье. Всего боялся, всех стеснялся, терялся перед первым препятствием. А теперь берусь наставлять Сагындыка, учить тому, чего сам никогда не умел. Видно, мало встречаться с трудностями. Чтобы стать человеком, надо еще научиться преодолевать их».

Окрик дежурного вывел Качике из задумчивости. Пора было возвращаться в казарму.

— Прощай, — сказал старик. — Счастливого тебе пути, сынок, возвращайся со славой. — Без слез, он крепко обнял паренька, поцеловал в щеку и быстро пошел к своей лошади. Шел он не оглядываясь, слегка ссутулившись, а

сын, чуть не плача, глядел ему вслед. Старик по-молодому вскочил на коня и крикнул издали: — Не кисни, сынок, будь твердым, да будет мне суждена горсть земли из твоих рук. — Он тронул лошадь, быстрым шагом отъехал.

Качике стоял и смотрел, пока старик не исчез из виду.

С белой как лунь бородой, слезящимися глазами, в истертом халате, старик этот, казалось, благословил не одного сына, но и Качике и всех стоявших здесь солдат, благословил в далекий путь, на жестокую, кровопролитную войну и пожелал им победы. У Качике потеплело на душе, будто в зимнюю стужу напился из теплого горного источника. «Не кисни, сынок, будь твердым, да будет суждена мне горсть земли из твоих рук», — все еще звучало в его ушах.

— Пора, вечером приду на станцию, — слышалось за спиной. Качике повернулся и увидел свою жену — ладно сложенную, с маленьким острым смуглым лицом, с красивыми живыми глазами и полной нижней губой. Он еле сдержался от шумного вздоха и заметил с легким упреком:

— Напрасно ты не привела детей.

— Что им тут делать? Разве не посмотрелся в последний день? — Она поправила на Качике сбившуюся пилютку, облизнула пересохшие губы и грустно, полными слез глазами посмотрела на него. Солнце шло к закату, похолодало. Взяв в ладони голову жены, Качике некоторое время глядел в ее плачущие глаза, затем быстро поцеловал их, повернулся и пошел к казарме.

Ночью их построили и повели на Пишпекскую станцию. Солдат уже ожидали красные вагоны-теплушки, но паровоз еще не был подан. Когда рота заняла свои места и суета поулеглась, солдаты снова начали выходить из вагонов. Одни пошли искать в провожавшей толпе родных и знакомых, другие группами прохаживались по перрону. Большинство оставалось сидеть в темных вагонах; пели песни, тихо переговаривались.

Качике сразу нашел жену.

— Торчу тут одна, смотрю, ты идешь, — улыбнулась Чынаркан. Потом грустно посмотрела на проходивших мимо солдат, увела Качике подальше. Солдаты смеялись, пели, громко шутили. Безлюдная обычно станция казалась оживленной. — Сколько же вас уезжает! Не защитниками родины, смертниками вас называют. Послушала

тут один разговор, тяжело стало, — зашептала Чынаркан. В темноте было заметно, как дрожали ее губы.

«Зачем она говорит мне это? Будто я сам не знаю. Солдаты тоже знают. Но зачем говорить вслух, могла бы и промолчать. Не думает она обо мне. Боится, жалеет, но жалеет, как обреченного, уверена, что я не вернусь... А все же...»

— Что молчишь? — Качике вздрогнул от ее голоса.

— Что говорить, Чынаркан, — сдержанно произнес Качике, — когда у киргизов была лишь камча, и тогда во-евали, а теперь пушки. Сколько человек может истребить одна пушка!

Качике все больше злился на свою жену, ему было страшно и горько. «В самом деле, какие из них солдаты? Молодые, сырые ребята! Трех месяцев нет, как впервые увидели винтовку, а стреляли не больше двух-трех раз. Какого от них ждать проку? Почему я раньше избегал службы в армии? Выискивал причины, чтобы только остаться дома, а добившись своего, гордился этим; считал, что я нужный, незаменимый человек, потому и оставляют... А теперь... Как же это она, умная женщина, а не понимает? Хотя бы одно утешительное слово! Неужели она хуже того безграмотного старика в заношенном халате? Ах, старик, старик! У тебя вера и надежда! Твою бы веру, твои бы надежды да моей чересчур умной жене! Моя жена уверена, что я не вернусь, она уже видит меня покойником. Ибо в глазах моей жены я — пушечное мясо».

Качике и Чынаркан долго ходили, разговаривали, но ничего этого он ей не сказал.

— По вагонам!

Чынаркан вздрогнула. Все заторопились, побежали. Качике хотел обнять жену, но Чынаркан сама повисла у него на шею и отчаянно, истерически зарыдала. Слезы лились градом. Это были искренние, горькие слезы, он понимал, что Чынаркан любит его. Качике самого душили рыдания, он весь дрожал и чуть не заплакал. Он растерянно гладил ее волосы, целовал заплаканные глаза и омывшее слезами лицо, нетерпеливо озирался, желая, чтобы скорей тронулся поезд и кончилось это мучительное прощание. Чынаркан еще долго всхлипывала и вдруг затихла. Так внезапно перестает плакать человек, который до конца вы-плакал свое горе. Слезы унесли с собой давившую на сердце тяжесть.

Тихим, осипшим голосом Чынаркан сказала:

— Садага, мой бедненький... послушайся меня... в партию не вступай, партийных немцы... мало ли что может случиться, послушайся меня, не вступай в партию.— Она крепко обняла Качике, поцеловала и с трудом оторвалась от него.

## 15

9-я гвардейская дивизия стояла в резерве под Оренбургом. Это была прославленная дивизия, оборонявшая Москву в 1941 году и получившая звание гвардейской.

Эта дивизия гнала врага от Москвы до Дона и участвовала потом в освобождении Ростова. Командовал ею генерал Белобородов. Во время второго летнего наступления немцев дивизия оставила Дон. Отступила с боями, сохранив боевые порядки, но потеряла при этом большое количество живой силы и техники. Для ее пополнения прибыли курсанты Фрунзенского военного училища. Выгрузившись и прошагав за ночь пятнадцать километров, они оказались в месте расположения 18-го гвардейского полка. Их быстро распределили по ротам.

Качике с несколькими товарищами попал в роту противотанковых ружей — ПТР, которая использовалась для особо важных заданий. На следующий день, когда рота была полностью сформирована, старший лейтенант Науменко и политрук Жадов вывели роту в поле. Колыхались в степи на ветру белые ковыли, желтело поле, вдали поднималась темная стена леса. Курсанты стояли, пораженные степной красотой.

— Вот это земля так земля!

Командир и политрук роты, командиры взводов без официальных команд и докладов, в товарищеской беседе знакомились с приезжими.

— Есть не понимающие по-русски? — спросил политрук Жадов.

— Я! — сказал киргиз из Чуйской долины, Джанышев, улыбаясь как всегда и облизывая губы. Парень этот никогда не унывал, был всегда весел и общителен. И смеялся-то он по-особому — всем телом, залиvisto и громко, как ребенок, трясаясь от хохота, хватался за живот, хлопал себя по бокам и заражал смехом всех, кто был поблизо-

сти. Кругленький коротышка с толстыми, как обрубки, руками, он был смешон сам по себе, ходил по-медвежьи, переваливаясь с боку на бок, и всегда блаженно и беспечно улыбался. Солдаты звали его «Мишкой».

— Учились? — спросил Жадов.

— Я учил по-киргизски, — сказал Джанышев. Ничего смешного в его ответе не было, но сказал он так забавно и выглядел при этом так потешно, что солдаты дружно засмеялись и даже офицеры не смогли удержаться от улыбки.

— Мишка плохо говорит по-русски, но все понимает, — пояснил сидевший поодаль Самтыров. Тощий, низкорослый, с острым, недоверчивым взглядом, он напоминал обиженного ребенка.

— Его Мишкой зовут? — удивился Науменко.

— Русски мальчишки так сказал, — расплывшись в улыбке, ответил Джанышев.

Солдаты снова грохнули от смеха.

— Как ваша фамилия? Откуда вы? — спросил Жадов, сдерживая улыбку.

— Памила мой Джанышев, — ответил он, отдельно произнося «д» и «ж». — Река Чу, Ала-тоо кто знает? Тяньшан, Тяньшан... — Джанышев был так чистосердечен и прост, что все сразу полюбили его.

— У нас еще один есть такой, тоже неважно знает по-русски, но уже успел показать себя в бою. Здесь Кочкиков? — Жадов оглядел сидящих.

— Я Кочкиков, казах с Алтая, — вскочил приземистый смуглый парень, бойко отрапортовал и уселся снова. Знание его фронтовики заулыбались, видно, он тоже, как и Джанышев, был прирожденным комиком.

Разобрались по отделениям. Стали знакомиться друг с другом, приглядывали себе товарищей. Вчерашние курсанты расспрашивали бывалых воинов о фронтовой жизни, старались сблизиться с ними. Так прошел день. А утром началась учеба.

В начале сентября 18-й гвардейский полк отметил свое двадцатилетие. Солдаты и офицеры, участники обороны Москвы, получили гвардейские значки. Командир полка полковник Кондратенко и командир дивизии генерал-майор Белобородов выступили перед полком с поздравлениями. Полк сформировался в Хабаровске еще в двадцатых годах из революционеров и бывших политзаключенных

для борьбы с японскими интервентами. Он охранял восточные границы Советского Союза. Круглолицый, черноволосый, смуглый генерал Белобородов чеканил слова:

— Кто бы ни попал в наш полк, офицер или солдат, он обязан соблюдать его революционные традиции, свято хранить полковое знамя! Изучайте боевое оружие и будьте готовы к бою!

Исполняющий обязанности командира второго взвода плотный сибиряк с родинкой на лице сержант Седельников и его заместитель командир отделения Козлов посмотрели на Качике и рассмеялись. Тот, открыв рот, смотрел на генерала.

— Слышал, Ормонов? — спросил Седельников.

Качике обернулся и покраснел, — он понял, что сержанты смеются над ним.

— Слышал? — переспросил Седельников.

— Слышал... — машинально ответил Качике, не понимая, что от него хотят.

— А ты, Мишка? — спросил Козлов.

— Слышал, — улыбнулся Джанышев.

— Понял?

— Аз-маз, — сказал он по-киргизски и тут же перевел на русский: — Мала-мала... — и сам же рассмеялся вместе с другими.

— А что понял мала-мала? — все еще улыбаясь, спросил Седельников.

— Гипирал был сирот, маненьки, пришел полк, полк кормил, кушат дал, потом... потом стал командир, — он не договорил, все покатались со смеху.

Это был смех людей, разлучившихся с домом, с близкими, людей, которые ничего не знали о своей завтрашней судьбе, и именно потому, что не знали, они не хотели думать об этом, хотя в глубине души верили в свое счастье и, чтобы не загасить эту надежду, цеплялись за жизнь, смеялись.

— Невеста есть? — спросил один солдат другого.

— Арсар, Качике, скажи ему по-русски.

— И есть и нет, — объяснил Качике.

— Как это: и есть и нет? — спросил кто-то.

— Гитлер забрал! — шмыгнув носом, пояснил Джанышев.

— Как? Гитлер же далеко от Киргизии.

— Гитлер с войной подошел к Волге, а за Волгой моя земля, а там моя невеста.

— Тогда этого черта нельзя пускать за Волгу,— заметил Седельников.

— Джанышев затем и пришел,— сказал Джанышев и снова засмеялся вместе со всеми.

Рота возвращалась вечером в приподнятом настроении, бойцы пели, шутили, смеялись.

## 16

Хорошо на Урале в погожие дни! Чуть забрезжит рассвет, подует утренний ветерок, в сизой дымке обозначатся леса, а небо чистое-чистое, и держится на нем одинокая утренняя звезда Чолпон. Будто стыдись не света зари, а лучистого сверкания Чолпон, гаснут и исчезают другие звезды... Тиха озерная гладь, с клетотом просыпаются утки, и ничто больше не нарушает утреннего покоя.

Но погода на Урале неустойчивая. Вдруг скроется солнце за облака, поднимется холодный ветер, и не знаешь, куда от него спрятаться.

Еще вчера был теплый вечер, тихо шелестели высокие травы. А сегодня, 15 сентября, с утра подул резкий ветер, полил дождь.

В это дурное утро роту ПТР срочно отозвали с тактических учений. Полк во главе с командирами вышел на марш. Когда деревня осталась позади и полк скорым шагом покрыл еще десять километров, подойдя к глубокому руслу реки, ветер и дождь усилились. Дождь сек то сбоку, то спереди, затрудняя движение. Шинели набрякли, вода стекала с касок, и солдаты натягивали их на лоб, так что глаз совсем не было видно.

Мост через реку был далеко, и солдатам приказали перейти реку вброд. Те, кто не побоялся холода, разделлись и по пояс вошли в ледяную воду. Они быстро переправились, оделись и двинулись дальше. Многие вышли на берег промокшими, дрожа от холода, пришлось выжимать одежду. Среди них оказался балованный Сагындык, сынок того старика в ветхом халате.

К ночи поужинали, обсушились, и в широкой степи, пересеченной холмами и пашнями, полк занял оборони-

тельную позицию. До утра приказано было окопаться и ждать атаки «противника». Окапывались саперными лопатами. Ветер усилился, дождь хлестал, и не было другого укрытия, кроме жесткой, как железо, земли. Чтобы не умереть от холода, не дождавшись своей пули, надо было мышью вгрызаться в землю и прятаться от ветра. Земля была твердая, каменная, и маленькая саперная лопата плохо брала ее. К полуночи Качике и Щетинин — молодой солдат, сбивший из ПТР немецкий самолет и представленный за это к награде, — помогая друг другу, — Щетинин был и сильнее и сноровистей, — вырыли окопы едва по пояс. Теперь хоть было где спрятаться от пронизывающего холодного ветра.

— Погубить, что ли, хотят всех? — слышался рядом голос. Это был Бекболот Самтыров. Качике, из последних сил ковыряя лопатой каменистую землю, едва стоял на ногах. Рядом с Самтыровым, стуча зубами, стоял Сагындык. Увидев окоп Щетинина и Качике, Самтыров расстроился. Помолчав какое-то время, сказал дрожащим от холода голосом: — Так мы и до фронта не доедем, здесь умрем.

Измученный Качике не ответил. Он обозлился на Самтырова. Взрослый человек хнычет на виду у мальчика. Качике сам учился работать почти что у мальчишки, и ему было неудобно поучать человека старше себя. Ведь и так ясно: рой землю, как крот, и прячься, — другого выхода нет.

— Бывали и на фронте. Не думай, что там легче. Тоже рыть приходится. Отроешь окоп, значит, будет где укрыться от пули, значит, жить будешь, — картавя, заметил Щетинин.

— Пока доедем до фронта, сил для окопа не останется. Может, и нужды в нем не будет, раньше пуля достанет, — продолжал каркать Самтыров, дрожа от холода и брызжка от злости.

— Хватит тебе! — не выдержав, по-киргизски сказал Качике. — При Сагындыке хотя бы помолчал.

— Собери силенки, ударь в землю, она и поддастся. Привыкать надо, — проворчал Щетинин, когда Самтыров с Сагындыком ушли.

— Видишь, старик, — Щетинин звал Качике стариком, — видишь, как расплакались. Трудно, трудно. Что и го-

ворить! Разве тебе не трудно? Но что поделаешь, ничего другого солдату не остается...

В полдень рота построилась. Дрожавшие от стужи и голода солдаты стояли грязные, неузнаваемые. Ротный, получивший нарекание от полковника, так стыдил перед строем Самтырова, Айдарова Сагындыка, Королева, Бычкова, что им легче было провалиться сквозь землю. Взводу Седельникова, а из взвода отделению Козлова, а из этого отделения персонально Щетинину и его помощнику Качике Ормонову ротный объявил благодарность. (Качике был поражен!)

— Старик мой прошел первое испытание, — сказал Щетинин, когда вышли на дорогу. — Семь потов сошло с него, а он молчит, ковыряет себе и ковыряет.

Седельников с Козловым добродушно засмеялись, взглянув на осунувшегося от усталости и прихрамывавшего Качике.

— Сегодня сделать боевой листок, Ормонов, не забудь, — сказал Седельников. (Качике был назначен редактором взводного листка.)

— Что я там напишу, как натер себе ногу, да? — сказал Качике.

Рота вошла в деревню Сарыкташ, почистилась, пообедала, расположилась на отдых. Попросив разрешения у хозяйки дома, Качике и Щетинин забрались на печь.

— Пар костей не ломит, — весело сказал Щетинин. Стало хорошо и тепло на душе.

Стояло ясное, ослепительное утро. Будто и не было вчерашних мучений. Солдаты смеялись, шутили, с бодрой песней вернулись в деревню, где располагался полк. Вечером Качике пожаловался Кожоке — молодому солдату из Чуйской долины: устал и болит нога.

— Эх, агай! — вздохнул Кожоке.

— Что?

— Попросились бы в обоз... Скажите политруку, он вам поможет.

Качике в упор посмотрел на Кожоке.

— Видно, детка, ты пожалел меня. Ты, конечно, молоде, но разве тебе легко? Разве одному мне тяжело? И солдатам, и офицерам — всем одинаково трудно. Чем в

обозе, я лучше умру в бою вместе со всеми. У каждого своя совесть, — сердито закончил он.

Вошел политрук и, вызывая каждого по фамилии, начал раздавать письма. Качике опустил глаза, затаил дыхание, ждал. Политрук остановился перед Качике, внимательно посмотрел на него и вышел. Политрук был молодой парень, тонкий и стройный, с легкой походкой, с вдохновенным лицом артиста. (Когда запевал, казалось, он стоит на эстраде.) Говорил он четко, кратко, вразумительно. Когда политрук вышел, Качике почувствовал вдруг страшную усталость во всем теле.

— Ормонов, к политруку! — позвал дневальный.

Качике быстро вскочил и, прихрамывая, вышел. Политрук ждал его за дверью. От неожиданности Качике застыл на месте, вытянулся, прижал руки к бедрам.

— Почему не отдаете честь? — спросил политрук. Качике молчал. — Почему не отвечаете?

— Простите, товарищ политрук, растерялся... — пробормотал Качике, с трудом подняв к виску правую руку.

— Знаете, зачем звал?

— Нет, — ответил Качике, не зная, что и подумать.

— Вы говорили о вступлении в партию?

— Говорил, товарищ политрук.

— Написали заявление?

— Написал.

— Хотите идти в бой коммунистом?

— Да, товарищ политрук.

— Заявление отдадите завтра, а пока вот получайте письма. — Он подал Качике два письма и крепко пожал руку.

Оба письма были от жены. Первые вести с тех пор, как он выехал из дому. Сам он писал если не ежедневно, то через день, писал теплые, хорошие письма. Чувствуя себя виноватым перед женой, старался быть особенно мягким и сердечным. Качике не только перед женой чувствовал себя виноватым, но и перед самим собой, перед всей своей жизнью; хоть он и не писал об этом открыто, ощущение виновности, горечь, желание искупить свою вину сквозили в каждом письме.

Война не только перевернула всю жизнь Качике, она была тем сильным толчком, который разбудил его, заставил оглянуться на прожитое, сурово оценить. Ничего-то он не успел сделать, годы прошли впустую, в мелочных заботах и тревогах. Он обманул себя, обманул людей, считавших Качике подающим надежды молодым ученым. Он и сам верил в себя, голова была полна планов, но, пока он думал о своем призвании, жизнь шла своим чередом. Он давал себе твердое обещание завтра же начать все заново, но, увлеченный будничным потоком, убаюканный похвалами, все откладывал и откладывал выполнение своих планов. Качике был еще молод, когда забыл, что только упорный может «иглой выкопать колодец». Так и жил изо дня в день по поговорке: «Пускай волк хоть зад отгрызет, лишь бы его не видеть». Решительных мер он боялся, и маленькие трудности постепенно превращались в серьезные препятствия, преодолеть которые он уже не находил в себе сил. Дерево, которое, казалось бы, обещало богатые плоды, качалось от малейшего ветра, и если стояло еще, то все равно, не получая из земли достаточных соков, рано или поздно должно было засохнуть. Кто же виноват? Виноват он сам. Хочется просить прощения, но у кого? Со своими сожалениями, самобичеванием и поздним раскаянием он просто смешон сейчас.

Не сумел он устроить и своей личной жизни. Разве есть у него жена, семья, собственное гнездо? Первая жена ушла от него, и потом ее не стало. Эта женщина, эта семья — не его. Выбитый из колеи неудачами, собственным безволием, он долго метался без крова, без семьи, и эта женщина, которую он считает теперь своей женой и от которой с нетерпением ждет писем, обласкала его, как бродячую собаку, кинула кость, а когда он, обманутый ее лаской, подошел к ней, тут же набросила на него ошейник и повела за собой. Умная, но злая и мстительная, она никого не щадила, даже самого близкого, она была вспыльчива и языкаста, скупа и эгоистична и очень хитра, умела прикинуться доброй и сердечной, когда это было выгодно. Прямодушный и доверчивый, добрый до бесхарактерности, Качике вскоре стал догадываться, что Чынаркан — не его судьба. Но он так устал от неприкаянности, так истосковался по ласке, что не нашел в себе сил вырваться из сладкого плена, и чем дальше, тем больше запутывался в ее сетях.

Чынаркан не понимала и не хотела понимать его. Мысли Качике, его интересы, духовный мир были чужды ей, она попросту не принимала того, что было главным для Качике, он должен был находиться при ней как муж, послушно выполнять ее волю. Качике забил тревогу, стал вырываться. Хитрая женщина, она отлично знала, что у Качике не хватит смелости оттолкнуть ее — для этого он был слишком добр и безволен, — и она забавлялась им, как удав зайцем. Он смирялся, вырывался и снова смирялся. Все чаще вспыхивали между ними ссоры, он возненавидел ее, но уйти... не мог.

— Кем ты был? Каким ты пришел ко мне? Что говорил тогда? Теперь разжирел? Худую скотину выходишь — масла налижешься, худого человека выходишь — кровью умоешься. Перед людьми хочешь опозорить меня? Людей не стыдишься, меня бы постыдился! А я-то думала: всю жизнь пройду с тобой рука об руку... — Губы ее дрожали. И так жалобно смотрели глаза, полные слез.

— Как же не помнить? Все помню, всю жизнь благодарен буду, но освободи меня... Не могу больше... отпусти, никогда не забуду твоей доброты! — умолял Качике.

— Разве я держу тебя? Уходи, если хочешь! Бессовестный ты человек! Неблагодарный, хуже скотины, уходи же! Сейчас же уходи! С глаз долой! — кричала Чынаркан.

Качике сам себя не понимал. Она гнала его, а он уже не мог уйти и, как замороженный, затихал.

Проходило некоторое время, и, собравшись с духом, будто соскучившись по ядовитой брани, Качике вновь поднимал бунт.

Так он метался, не решаясь ни уйти от нее, ни примириться со своим положением «дачного мужа». Началась война и спутала все карты. Теперь он не мог думать только о себе. Перед всеобщей опасностью его личные переживания казались незначительными, преходящими. Да, не мог он уйти сейчас от этой женщины. Какая бы она ни была, бросить ее теперь одну казалось ему жестоким. Но была и другая причина. Качике понимал, что война не так скоро кончится и что рано или поздно наступит и его час идти на войну. Дочке от первой жены придется остаться у Чынаркан. Хотя бы ради того, чтобы не потерять Качике, жена будет хорошо относиться к его ребенку. Мысль о дочери не давала ему покоя. Не ошибся ли он? Вспомни-

лось, как почернела Чыпаркан, когда он заговорил о детях. Женщина, обвинявшая отца, примет ли к сердцу его дитя? Или будет мстить за отца, который столько раз порывался бросить ее, а теперь, когда нужда взяла за горло, подобрал ей своего ребенка? Воображение рисовало Качике всякие ужасы, он не мог отделаться от них ни на минуту, ночами лежал без сна или просыпался в холодном поту, и смерть на войне казалась ему неизбежной и страшной. Не то чтобы он боялся умереть, мучительно страшна была сиротская доля дочери. «Странное существо человек. Казалось бы, что может быть для него страшнее смерти? А он думает о тех, кто остается после него, мучается из-за них... Сама смерть начинает казаться ему освобождением, и он уже не боится ее. Недаром люди желают себе спокойной смерти, а спокойную смерть надо заслужить всей своей жизнью...» Так думал Качике, думал и сокрушенно вздыхал.

Долго сидел он, бичуя себя, не решаясь вскрыть полученные из дома письма. Он грезво и спокойно перебирал свою жизнь. Ничего, кроме сожаления, не осталось в его душе. И виновата была эта женщина, она довела его до такого состояния. Он боялся читать ее письма.

«Но прав ли ты, сваливая всю вину на другого? — спрашивал у Качике внутренний голос. — Что плохого сделала тебе эта женщина? Препятствовала перед тобой будущее? Ведь и ты для этого будущего ничего не сделал. А она старалась тебя поднять, сделать человеком. Конечно, по-своему, конечно, как сама понимала. Ты не мог стать таким, каким она хотела тебя видеть. Ты не мог ее полюбить... Но ты сам залетел, как бабочка, на ее огонек. И нечего теперь винить другого. «Сделанное руками поднимай головой», — говорит народная мудрость. После драки кулаками не машут. Не бойся читать письма своей жены. Ты прекрасно знаешь, она не остановится перед тем, чтобы обидеть, сделать больно, сказать все что ей вздумается, как бы жестоко это ни было. Ты так не умеешь, боишься сказать правду в лицо, юлишь, заглядываешь в глаза и... сдаешься. Ну что же, ты не первый день это знаешь, будь готов ко всему и вскрой письма...»

Качике разорвал конверт. Письмо было длинное, он быстро пробежал его и, убедившись, что ничего страшного в нем нет, внимательно, не торопясь стал читать сначала.

«...Кто-то потянул тебя за руку, и ты ушел в вагон,—

писала Чынаркан. — Ушел, но потом выглянул, стал озираться, кажется, хотел еще раз на меня взглянуть. И, похоже, не нашел в толпе. А я стояла на том же месте и смотрела на тебя. Вот загудел паровоз, задвигались вагоны, ударились друг о друга и тронулись. Заметил ли ты (нет, Качике не заметил), как я, не отрываясь, смотрела на эшелон, на тебя? Мне казалось, что ты все стоишь, прислонившись к двери, и смотришь в мою сторону, я видела только тебя. Эшелон шел все быстрее и быстрее и исчез из виду, но долго еще слышался перестук колес. Я не могла сдвинуться с места, перед глазами стоял ты, каким я видела тебя в последнюю минуту, прислонившимся к двери вагона. Глаза мои были сухие, вся я как-то одеревенела. Когда наконец дошло до меня, что ты в самом деле уехал, я повернулась и по шпалам медленно зашагала домой. На востоке начало уже белеть, занималась заря. Я шла совсем одна. Несколько раз споткнулась и чуть не упала. Я шла, не замечая дороги. Когда я дошла до дому, совсем уже рассвело. Взявшись за ручку двери, долго стояла, не в силах войти. Дом казался мне пустым, давно покинутым хозяевами, холодным, нежилым. Мучила жажда. Из ведра, что стояло возле двери, набрала целый ковш воды и выпила залпом. Во рту было кисло, будто наелась чего-то нехорошего. Открыла дверь. Дети спали. Некоторое время смотрела на них, потом прошла в нашу комнату и, не раздеваясь, упала на кровать.

...Не помню: уснула я или нет. Мир казался для меня тесным домом, покинутым всеми, перевернутым вверх дном. Среди этого беспорядка вижу себя заброшенным щенком, не могу шевельнуться, обессиленная, не могу встать, хочу опереться обо что-нибудь, не нахожу обо что... Никого вокруг, оглядываюсь, хочу кого-то увидеть... ищу тебя... но ты отдаляешься и отдаляешься от меня, я рвусь к тебе, но не могу догнать; кажется, ты даже не оглядываешься на меня... Помнишь, ты говорил, что уйдешь от меня? Сколько раз собирался уйти, я горько плакала про себя, а вслух говорила: «Уходи!» — не так ли? Теперь мне казалось, что ты уходишь от меня, чтобы никогда не вернуться... Что это было, сон или галлюцинация, рожденная моими мучительными думами? Я не знаю, не знаю, не знаю!.. Ты все удаляешься. А как же я? Что же мне делать? Только тут я поняла, что во всем мире мне ничего не нужно, кроме тебя. Ни родных, ни близких, ни детей

(да, детей, это я говорю тебе правду) мне не нужно, мне нужен один ты... ты... только ты один... Пусть бы ворчала, ласкала, ругала, целовала тебя, одного только тебя.

«Если сон меня не обманывает, то не возвращайся, не надо, не надо!» — твержу я про себя. Что все это значило? Это невозможно! Неужели ты так и поступишь? Полная надежды и тоски, я буду ждать тебя, а ты вернешься жив-здоров и бросишь меня? Как подумаю об этом, с ума схожу. Уж и не знаю, что с собой делать!..»

«Что за письмо? — думал Качике. — От детей, от всего отрекается, одного меня любит? А что мне тогда делать? И я должен от моего ребенка, от всего отказаться?»

Он не хотел больше думать об этом и открыл второе письмо. Оно было совсем другое. Сдержанное, обдуманное, спокойное, обычное письмо о житье-бытье.

«...Похоже, что все свободное время ты пишешь нам письма и думаешь о нас. Не делай этого, милый. Не беспокойся о нас. Мы как-нибудь проживем. Ты сам будь жив-здоров и воюй хорошо. На твой и мой паек мы живем пока неплохо. Не думай о нас много. Будешь много думать, измучаешься только. Будь бодрым, будь твердым. На наше счастье, как луна из тучи, вернешься к нам. Не беспокойся, милый, будь здоров...»

Оба письма понравились Качике, хотя одно было злое, а другое доброе. Поправились, если не считать того, что она сказала о детях. В них чувствовалась любовь к нему, ради этой любви Качике готов был простить ей все дурное. Может быть, из любви к нему она и за дочерью будет хорошо присматривать? Эта надежда утешила его, успокоила.

В начале октября дивизия двинулась в путь.

Качике успел сдружиться с некоторыми семьями в деревке, перед отъездом пошел проститься. В одном доме жила старушка Ксения Павловна с пятилетней внучкой Лидой. Лида напоминала Качике его собственную дочь, он привязался к девочке, играл с ней, угощал сахаром и скушал, если не видел несколько дней.

— Ксения Павловна, пришел с вами проститься, где Лида? — сказал Качике, входя в дом.

— Что, уезжаете? — засуетилась Ксения Павловна. — Лида только что бегала здесь. Садись, поешь с нами.

— Нет, нет, я сыт. Привык я к вам, как к матери, за-

шел попрощаться,— отговаривался он, хотя очень хотел  
есть.

— Не говори так, сынок,— сказала Ксения Павловна,— бог знает, когда еще придется домашней еды попробовать, дорога ваша длинная и опасная, ведь на войну идете, все может случиться, садись покушай.— Она поставила перед Качике молоко, простоквашу, пирог, хлеб и картошку.— Ешь досыта, не стесняйся, ешь, ешь.— Пододвигая к Качике то одно, то другое, Ксения Павловна настойчиво угощала.

Качике наелся, как у себя дома.

— В путь добрый! — сказала Ксения Павловна, поцеловала его в лоб.— Все вы мне как родные дети. Разбили бы скорее проклятых антихристов и вернулись домой живы-здоровы. Всех мне вас жалко, за всех душа болит.— Ксения Павловна подошла к висевшим в углу иконам, перекрестилась, затем, перекрестив Качике (хоть и мусульманин), благословила его.

Вбежала Лида и запрыгала, светлые кудряшки ее тоже запрыгали.

— Дядя пришел, дядя пришел!

Качике поднял ее и стал целовать в лобик, в щечку, ему казалось, что он целует свою девочку, которую так и не целовал на прощание.

— Поцелуй дядю, дядя уходит на войну, папе твоему помогать,— вытирая слезы, сказала Ксения Павловна.

Лида поцеловала его сначала в щеку, потом в губы.

Качике растрогался, низко поклонился и, чтобы скрыть волнение, быстро вышел.

9-я гвардейская дивизия остановилась в прикамских лесах, на месте брошенных какой-то частью летних лагерей. Здесь она провела несколько маневров с Литовской дивизией и выехала в направлении фронта.

То и дело останавливаясь, эшелон продвигался по Московской окружной дороге. День был пасмурный, шел дождь. Сквозь мутную дождевую завесу Качике увидел Москву и загрустил. В дни, когда Качике учился в Москве, он любил гулять по тихим окраинным улочкам. Теперь здесь повсюду виднелись рвы, земля была разворочена.

И день ненастный, и солдаты невеселые, и Москва хмурая — все, казалось, одно к одному. Люди куда-то исчезли с улиц, окна многих домов заколочены фанерой, и дома казались нежилыми. Огромный город, красавица Москва стояла теперь печальная, молчаливая.

Козлов — товарищ Качике и сосед в строю — стоял у дверей теплушки и влажными от слез глазами смотрел на Москву. Качике первый раз видел Козлова таким. В долгих походах он всегда шутил, смешил солдат, помогая им легче переносить трудные, продолжительные марши.

Однажды во время маневров, еще на Каме, пришлось им с ходу вступить в бой с «противником». Надо было быстро пересечь полосу обстрела. С непривычки пробежать эти двести—триста метров с полной выкладкой новоиспеченным солдатам показалось труднее, чем пройти по волосяному мосту Сирата в рай. Они бежали с перекошенными от изнеможения лицами, спотыкаясь, падая, с трудом волоча непослушные ноги. Качике тоже бежал с потемневшим лицом, с раскрытым ртом, ноги подкашивались, он еле переводил дыхание.

— А ну-ка, орлы! Еще немного! — раздался окрик командира.

Качике тянул уже из последних сил, перед замутненным взором промелькнули ряды любопытствующих деревенских зевак, а дальше он уже перестал соображать, ему казалось, что он вот-вот упадет и больше не встанет.

— Качике! Костя! Еще немного! Давай, давай! — услышал он голос Козлова и его тяжелое, прерывистое дыхание. Козлов повернул к нему мокрое от пота, красное от напряжения лицо, схватил Качике за руку и потащил за собой.

И вот этот Козлов смотрит сейчас на Москву и чуть ли не плачет. Качике участливо смотрел на него.

Козлов повернулся и печально сказал:

— Ведь я красил эти дома. Не могу видеть их такими.

— Разве вы москвич? — спросил Качике.

— Москвич. Маляр я.

— А я учился в Москве, — тихо сказал Качике.

— Я не мог учиться. — Козлов вздохнул. — Седьмого класса не закончил, пришлось работать. Старуха мать у меня здесь, а вот жена... не знаю. С ней живет или ушла, не знаю. — Козлов закашлялся, лицо его стало багровым.

...Между Калинином и Торопцом враг начал бомбить первые эшелоны дивизии. Пришлось выйти из вагонов и двигаться пешком. Но шла не одна дивизия, двигался целый фронт. Накормить такую массу людей и тихо, незаметно для противника подтянуть к линии фронта — было делом величайшей важности. Избегали больших дорог, чаще шли лесами и проселками. У Западной Двины дивизия оказалась зажатою противником с двух сторон, и это усложнило доставку продовольствия. Продвигаясь большей частью по лесам и болотам, солдаты постоянно говорили о еде. Несмотря на строгий запрет, перекапывали картофельные поля. Всем казалось теперь, что нет ничего вкуснее несоленого картофельного супа. У Бекболота были деньги, он покупал в деревнях картошку, хлеб и все это, прячась от роты, съедал под какой-нибудь сосной со своими друзьями.

В лесу, у Западной Двины, остановились на двухдневный отдых. Солдатам выдали теплое белье. Бекболот и Быков тут же принялись менять теплые портянки на хлеб и картофель.

— Я, ребята, после войны буду сажать картошку, — говорил Бекболот. — Раньше я и за еду ее не считал.

Качике и еще многие с завистью смотрели на удачливых добытчиков, но шнырять по окрестным полям в поисках картошки стеснялись. «Жадность не насытит, жадность убьет», — утешал себя Качике поговоркой матери.

В просторной избе раздавали письма и подарки от школьников. Качике достался маленький мешочек. В нем оказалось печенье, темного сахару, носовой платок, сложенное вчетверо письмо и... пачка махорки. С махоркой было туго, ей Качике обрадовался больше всего. Потом он раскрыл письмо. Сама ли сочиняла девочка или писала под диктовку родителей, письмецо было следующего содержания:

«Дорогой дядя боец! Вы боретесь за наше счастье. Можете быть, у вас тоже есть дочка, как я. Желая вам победить врагов и вернуться домой. Я учусь в третьем классе. Посылаю вам этот маленький подарок. Махорку мне дал папа. Мой папа работает на заводе. Сахар и печенье дала мама, мама тоже работает на заводе. Платок я подшила сама. Вытирайте им лицо. Желая успехов. Са г ы н б а е в а  
К л а р а, Фрунзе, 3-я средняя школа».

Это письмо маленькой ученицы из столицы родной Киргизии глубоко растрогало Качике и заставило задуматься. Ему казалось, что Клара желает ему как раз того, чего он сам себе желал. Он читал и перечитывал ее письмо и наконец спрятал в нагрудный карман. Свернул толстую сигарку из Клариной махорки и с наслаждением затянулся, от крепкого табака закружилась голова.

— Тебя политрук зовет, — слышался голос Козлова.

Политрук направил Качике в штаб полка, на парткомиссию. Качике взял вещмешок, винтовку и отправился в штаб.

Полковая парткомиссия заседала в деревенской избе. Когда Качике переступил порог, в нос ударило запахом жареной картошки, и ему подумалось: «Ничего вкуснее не может быть на свете».

— Почему решили вступить в партию? — спросил председатель комиссии.

— Хочу умереть коммунистом, — ответил Качике.

— Значит, для смерти? — спросил один из членов комиссии.

Качике растерянно промолчал.

— Нет нужды читать вам нравоучения, — сказал председатель, — видно, вы хорошо подумали, прежде чем подать заявление... Парткомиссия полка решила принять вас в партию. Но помните, в партию вступают не ради смерти, а ради жизни. Коммунист должен бороться за дело партии, а чтобы бороться, надо жить. — Председатель крепко пожал ему руку.

Когда Качике вышел на улицу, была уже ночь, в небе горели звезды. Вокруг тишина. Вдали в неподвижном воздухе висела немецкая осветительная ракета. Где-то глухо бухала артиллерия.

Качике шел легко и быстро. Ему хотелось петь, кричать в ночной тишине. Он не чувствовал тяжести вещмешка и винтовки. Звезды блестели все ярче... блестели и переливались в безлунном небе. Качике подумалось, что среди этих миллиардов звезд есть и его звезда. Безотчетное чувство почти детской радости вытеснило из его души все другие мысли и чувства. Это душевное состояние было ново для Качике, ему казалось, что он достиг наконец того, о чем мечтал, что он стоит у порога новой жизни. «Ну теперь уж, теперь, — говорил Качике сам себе, — нусть гром,

пусть молнии, ничто тебе не страшно. Пусть метели, пусть буря! Ты уже не тот слабый человек. Ты будто вырос, сердце твое стало огромным, и хочется жить, бороться».

Так он дошел до избушки. Постоял, прислушался. Изба была полна людей. Слышались сердитые голоса политрука Жадова, командира роты Науменко, Седельникова, Козлова. Качике вошел, отдал честь и остался у дверей. Наступила тишина. Перед каждым на полу лежал открытый вещмешок, валялись патроны, гранаты и другие солдатские припасы. Качике стоял в каске, с вещмешком за плечами, с противогазом и саперной лопатой на правом боку, придерживал ремень винтовки, он не мог понять, что здесь происходит.

— Ну, что? — спросил Жадов.

— Все в порядке! — ответил Качике, подтянувшись, и с волнением стал ждать, что скажет политрук. Но политрук сказал лишь:

— Можешь сесть, — и кивнул Козлову.

Качике все еще ничего не понимал. Он прислонил к стене винтовку, рядом с ней лопату, снял и положил на пол вещмешок.

— Все, кроме винтовки, тащи сюда! — строго приказал Козлов.

Не зная, что за этим последует, Качике быстро выполнил приказание командира.

— Ты что, все еще не понимаешь? Развяжи мешок, выложи все, что в нем есть! — рассердился Козлов.

Качике живо развязал мешок и высыпал на пол его содержимое. Две противотанковые гранаты, две ручные гранаты, одна лимонка, винтовочные патроны, 250-граммовые патроны к ПТР, одна смена теплого белья, свернутая узлом портянка, общая тетрадь, книга и другие вещи. Козлов размотал портянку. В ней оказались 300 граммов хлеба, два куса сахара, несколько сухарей, завернутая в бумажку пачка пшенной каши.

— Где запалы к гранатам? — спросил насупившийся Науменко.

Качике извлек из нагрудного кармана завернутые по отдельности в платок, похожие на карандаши, короткие, из желтой меди запалы.

Козлов вытащил из сумки противогаз, тщательно осмотрел, вынул лопатку из чехла и тоже проверил.

— А ваши где? — так же хмуро спросил Науменко.

Качике только сейчас заметил уставившихся в землю Сагындыка, Бекболота и Климова.

Позже узнал, что Бекболот, Сагындык, Климов и еще кто-то побросали противогазы и в противогазной сумке таскали картошку и хлеб. Теплое белье и теплые портянки они давно продали. Сколько раз Качике хотелось съесть выданные как НЗ хлеб, сухари и пшенную кашу, сколько раз он развязывал мешок и снова завязывал. Выдержал, и теперь стыдиться было нечего.

## 19

Полк, возглавивший колонну дивизии, и рота ПТР двигались день и ночь. Казалось, дороге не будет конца. Старушки и старушки, дети и женщины в селениях по берегам Западной Двины не то с жалостью, не то с упреком, молча, не вытирая слез, смотрели на проходящих солдат.

Утренний морозец сменялся дождем, мокрым снегом. Идти становилось все труднее, под ногами хлюпало, промокшие шинели оттягивали и без того тяжело нагруженные солдатские плечи, дорога становилась невыносимой, шли из последних сил и пятиминутных остановок дожидались, словно дневок. Люди шли там, где не могли пройти ни машины, ни лошади. Шли молча, кляли в душе эту тяжкую бесконечную дорогу. Недобрым словом помпнали про себя командиров, которые сами едва не падали от усталости, но вслух подбадривали отставших, помогали друг другу как могли.

20 ноября одним флангом армия подошла к окрестностям Великих Лук. Готовые к наступлению, со всех сторон подходили свежие части.

9-я дивизия и ее 18-й полк начали боевые действия на северо-западных окраинах города, у деревни Белая.

Рота ПТР шла вместе со штабом полка, ночуя в старых блиндажах, осторожно пробираясь к исходным позициям. Места были безлесные, с неровным рельефом.

За ночь рота ПТР, ее взводы и отделения заняли свои позиции и выслали дозоры.

..Пошла крупа. Крепко прижав ПТР, Качике лежал на земле. Вокруг белым-бело. Тихо. Качике впервые оказался лицом к лицу с противником, даже как-то не верилось, что все это реальность. Но разве не лежал он так же, как сейчас, на ночных тактических учениях? А что, если и в самом деле появится вдруг вражеский танк? Будет ли Качике в состоянии выстрелить? И попадет ли? Одно дело учебные стрельбища, другое — живой противник, грозный танк.

Впереди, еще ближе к врагу, залегли стрелки и автоматчики. Качике, конечно, не знал, что там есть еще и пулеметчики, и стрелки ПТР, не знал, что противник сможет подойти к нему только в том случае, если сомнет, опрокинет заслон. Так он лежал и думал свою думу в этой изматывающей, тягостной тишине, как вдруг совсем близко послышался порох. Качике вздрогнул. Не заметил, как выскользнуло из рук взятое наизготовку ружье. Огляделся по сторонам. Ночь по-прежнему молчала, чуть слышно шелестел сухой бурьян. Качике почувствовал, как что-то поползло по руке. Он отряхнулся. Ты гляди!.. Да ведь это горностаевая мышь забежала к нему в рукав!

Так «встретился» Качике с противником в первую ночь.

На другой день с утра взвод Седельникова начал окапываться. Козлов из взводной землянки притащил ломы, топоры и лопаты. Инструмента не хватало на всех, приходилось пользоваться поочередно. Качике сперва пробовал копать саперной лопаткой мерзлую землю, саперка не брала. Тогда он принес лом, топор и большую лопату. Под мерзлым слоем почвы оказались камни. Ломом, лопатой, иной раз руками, как на Урале, вырывал он эти камни. Когда прокопал поглубже, начала сочиться вода. «Хотя бы по пояс вырыть», — думал Качике и в воде, в жидкой грязи грыз и грыз землю. В это время к нему подошли Седельников, Козлов и Щетинин.

— Ну как, Ормонов? — спросил Седельников.

Качике, упорно долбивший землю, поднял голову, увидел их и уселся на край окопа. Лицо его было заляпано грязью.

— Лучшей земли, чем в Киргизии, так и не нашел, — в сердцах сказал Качике. — Ну, разве это земля! Сверху мерзлая, посередине камень, внизу вода! В лес пойдешь, идти нельзя, песок под ногами сыплется. Вот у нас земля так земля! В руках скрипит. И чернозем, и песок. Если

мягко — так мягко, жестко — так жестко. Три часа вожусь, а все трупа не спрячешь, если убьют. Когда тут в рост выроешь? Поясница уже болит.

— Каждый кулик свое болото хвалит... А поясница не от окопа болит, много бегал за киргизскими молодухами, — сказал Седельников. Все рассмеялись.

— Если бы только за киргизскими, это еще ничего, я еще раньше, в Москве... — Качике не договорил и засмеялся.

— О! — шутил Седельников. — Где уж Ормонову до киргизских девушек, его московские с потрохами слопали.

— Разговорился сегодня Ормонов, к чему бы это? — засмеялся Козлов.

— Если скажем, что перед смертью, вряд ли он поверит нам. — Седельников захохотал.

— А я и так чуть не умер. Ночью, от мыши, — сказал Качике без улыбки.

— От мыши!

Качике стал рассказывать мышиную историю, а Седельников и Козлов дружно смеялись.

— Хватит, Ормонов, больше не копай, а то уж до воды дошел. Зачисть дно — и держитесь со Щетининым наготове. Вон там будете встречать танки, а если начнется артобстрел, снова сюда вернетесь. Тихо! — Седельников настороженно вслушивался. Прислушались и остальные.

Сначала дошло до них как бы львиное рычание, затем, все усиливаясь, оно перешло в грохот.

— Наша «катюша», — сказал Седельников.

— За ней начнет артиллерия, — заметил Козлов.

— Какая там артиллерия! — проворчал Щетинин. — Если бы она была у нас, давно бы немцев раздавили.

— Ты погоди-ка, парень, кажется, «рама» летит, — глядя в небо, проговорил Седельников.

Большой самолет с хвостом скорпиона спокойно пролетел вперед, потом начал кружить, точно стервятник над нападью. И тут над головой, один за другим, окутанные синеватым дымом, в красных охвостях, с клетотом пролетели в сторону противника снаряды «катюши».

Хотя и слышал Качике, но не имел никакого понятия о том, что это за «катюша» и что это за «рама». Теперь он своими глазами увидел работу «катюши» и не пробиваемую ничем, кроме артиллерийских снарядов, бронированную «раму». Увидел и онемел.

— Ее и зениткой не возьмешь, а из пулемета — все равно что горохом по стенке, — сказал Щетинин.

— Ну что ты рот разинул, как Иванушка-дурачок, — окликнул Качике Седельников. — Кончай свое дело! Пошли! Козлов! Щетинин, на место! Слышите, артиллерия подключилась. Когда немцы начнут отвечать, залезайте в укрытие. Прекратят огонь — готовьтесь к атаке или к отражению атаки! — Седельников и Козлов спокойно, как ни в чем не бывало, удалились.

— Старик, есть у тебя хлеб?

— Потом, — ответил Качике, но, подумав, что Щетинин все равно не отстанет, отломил от пайки. Кашу из неприкосновенного запаса он съел раньше.

— Ты тоже поешь, — сказал Щетинин, набив рот хлебом и отправляясь к себе. — Поешь, а то убьют — все равно останется.

Качике и самого давно уже мучил голод. Он быстро расчистил дно окопа и присел на его край — усталый и голодный. День был теплый. Качике лег на спину и, медленно прожевывая, осторожно глотал, как бы жалея и боясь обронить хоть крошку.

«Катюша» сменила позицию, залпы стали доноситься с другого направления. Гул, падавший сверху, заставил Качике поднять голову. Самолет шел со стороны противника прямо на окопы. Качике хотел было спрятаться, но, заметив на крыльях красную звезду, остался на месте. От самолета вдруг полетели вниз красные искорки. Качике свалился на дно окопа. Его оглушил неслыханно резкий — будто распороли что-то — звук, чем-то бросили прямо в него, что-то со свистом пролетело мимо. Потом повторилось все снова. Весь дрожа, Качике прижимался к земле с такой силой, будто хотел зарыться в землю, слиться с землей. Пронзительный свист — и снова раздалось: «Ах-х!» Каждый раз Качике казалось, что снаряд падает прямо на него. Он вздрагивал, замирал в испуге. Снова и снова что-то обрушивалось с грохотом на Качике, и от этого грохота дрожала земля. Инстинктивно он съеживался, будто придавленный чем-то, и еще крепче прижимался к земле руками и всем телом. Сколько пролежал в таком положении, Качике не знал. Ему казалось, что все взлетало вверх тормашками, вспыхивали молнии, колотилось, ударяло по железу, что-то звенело, ухало, вертелось в бешеном вихре.

Ничего подобного он не испытывал раньше. Не вери-

лось, что этому кошмару когда-нибудь настанет конец. Но как гром проходит после дождя, так и этот грохот в конце концов прекратился. Ни жив ни мертв Качике зашевелился. Тело его, словно избитое, ныло. В горле пересохло. Он сидел раскрыв рот и, как запыхавшийся в беге, едва переводил дыхание. По испачканному глиной лицу лился пот. Глаза помутнели, кружилась голова, в ушах стоял звон. Какое-то время он был в полубморочном состоянии. Затошнило от запаха порохового дыма и гари. С оттаявших стен окопа струйками сбегала вода. Качике подставил ладонь и пил, пил эту грязную воду. Она показалась ему необыкновенно вкусной.

С трудом он выбрался из окопа, расправил сведенные судорогой руки, взял винтовку, вещмешок и пошел к Щетинину. Щетинин тоже вылез из окопа и чистил свое ПТР. Ружье весило шестнадцать с половиной килограммов, носили его вдвоем на плечах. И окоп для ружья нужен был почти двухметровой длины и ширины. Такой окоп еще не был отрыт.

— Живой, старик? — Щетинин тоже был весь в глине. Увидев грязного, землисто-серого Качике, он усмехнулся: — Не оставил ли ты душу в той щели, что так старательно выдалбливал, один пепел от тебя остался. А все же не даром учился рыть окопы, а, старик? Ведь помогло?

— Помогло, — чуть слышно отозвался Качике.

— Хлеб есть еще, старик? — спросил Щетинин, кончая чистить ружье.

Качике было не до хлеба, все оставшиеся сухари он отдал Щетинину. Не успел тот справиться с сухарями, застрочили автоматные очереди, послышались голоса. Похоже было, будто стрелковые роты, батальоны, автоматчики стреляли друг в друга.

— Немцы! — сказал Щетинин, перестав жевать. — Это их автоматы тархтят.

Качике зарядил винтовку и лег за бруствером.

— Немецкие автоматчики заняли блиндажи нашей роты, — раздался голос Козлова.

Качике не видел ни одного немца, он слышал лишь треск автоматов.

— Вон где, вон! Стреляй же! Стреляй! — закричал Козлов, сам стреляя с колена.

— За мной! — выскочил откуда-то Седельников.

Качике бежал, по-прежнему не видя немецких авто-

матчилов. Потный, грузный Седельников легко пробежал мимо него. Совсем рядом резанула автоматная очередь.

— Ложись! — Седельников залег. И Козлов, и бегущий справа от него Качике разом повалились на землю. Когда Качике падал, чем-то ударило его в правый глаз. Качике решил, что это пуля. Автоматная очередь ушла уже в сторону.

— Кажется, без нас отогнали этих бешеных фрицев?

Седельников, Козлов, Качике и еще несколько солдат поднялись и вернулись на старые места. Качике подошел к Щетинину и в изнеможении опустился на землю.

— Я уж решил, старик, что ты живой не вернешься. Что это с тобой? — удивился Щетинин, взглянув на покрасневший глаз Качике.

— Когда лежал, пуля ударила под носом и землей сыпануло в глаз.

— Возьми затыкись. — Щетинин вынул изо рта сигарку. Обжигая губы и пальцы, Качике с наслаждением докурив окурок.

После суматохи наступило затишье. Солнце начинало клониться к закату. Но тишина была минутная. Немцы обстреляли из артиллерии тыл полка, а по переднему краю начали бить из мелких орудий. Наши ответили «катюшами». Бой стал разгораться.

На правом фланге, где стоял взвод ПТР, слышались крики и брань. С противотанковым ружьем на плече, горбясь, с холма спускался Самтыров.

— Назад! Назад! — кричал кто-то Самтырову.

— Куда назад? Там же танк идет, — оправдывался Бекболот. Он сбежал вниз и укрылся в ложбине.

Через минуту Козлов скомандовал:

— Щетинин, Ормонов, вперед! Впереди танк!

Щетинин первым, Качике сзади с ружьем на плечах бежали навстречу реву моторов, самих танков видно еще не было. Когда выбрались из ложбины и перевалили холм, Щетинин сказал:

— Ложись, старик!

Легли.

— Приготовь патроны!

— Готово! — сказал Качике.

Установили ПТР, прижались к земле.

— Танки видишь, старик? — быстро зашептал Щетинин.

Качике подполз немного, приподнял голову. Выстроившись ромбом, шли четыре танка.

— Видел?

— Видел...

— Боишься?

— Боюсь.

— Думаешь, я не боюсь? Пострашнее видел, и то боюсь. Если бы сказал, не боишься, не поверил бы. Далековато, черт возьми, пусть подойдут поближе. Э, смотри-ка, Мишка бежит! Пораньше бы надо, пораньше. Увидят с танка — не помилуют. Ну, старик, или голова в кустах, или грудь в крестах. Беру головной танк. Давай бронебойные и зажигательные! — приказал Щетинин.

— Готовы! — ответил Качике.

Танки шли медленно, не торопясь. Это были легкие танки, приспособленные к неровной, холмистой местности. С поднятой носовой частью они без труда преодолевали невысокие холмы и с грохотом подходили все ближе и ближе.

— Почему не стреляешь? — спросил Качике. Сердце его сильно билось.

— Пусть подойдет. Вблизи он не видит. Положи рядом винтовку, будешь бить по тем фрицам, что с танка прыгнут.

Танки надвигались, и чем ближе, тем казались грознее. Думалось, что пуль они и не почувствуют, пройдут и раздавят всех, даже не нарушив своего ромба.

— Начали, — сказал Щетинин и нажал на спуск. Снова зарядил, снова нажал. Танки открыли беглый огонь. Вдруг, совсем неожиданно для Качике, из головного танка повалил дым и танк стал вертеться на месте.

— Готово, старик! — закричал Щетинин. — Готовь гранаты! Огонь! Огонь! — кричал он все яростнее.

Второй танк, слева от головного, тоже задымил.

— Это Мишка! Мо-олодец! — крикнул Щетинин.

Через верхний и нижний люки танка стали вылезать люди.

— Начал, — сказал Качике и прицелился. Он выбрал верхний люк. Руки у него дрожали, сердце готово было выскочить, он сам не замечал, как стрелял.

— Горит, старик! — радостно крикнул Щетинин. — Ты одного фашиста, я два танка. Мо-ло-дец, мой старик!

— Неужели я попал?

— Не заметил?

— Не-ет.

Три танка уже пылали. Фашисты горели в своих машинах, те, кто успел выскочить, попадал под пули, и только немногим удалось отползти.

Полк пошел в атаку.

Тогда заговорила вся вражеская артиллерия.

— Вперед! — слышался сзади голос Козлова.

— Пошли, пошли, старик! — торопил его Щетинин.

Качике быстро завязал вещмешок, закинул за спину, повесил на плечо винтовку и взялся за приклад противотанкового ружья. Дым, запах гари, громыхание пушек, винтовочная и автоматная трескотня — все смешалось.

Щетинин и Качике бежали к ложбине. Вдруг Качике будто споткнулся, упал.

— Что, что случилось, старик? — склонилось над ним усталое, мокрое от пота лицо Щетинина. «Старик» не ответил. Глаза его были закрыты. — Старик! Старик! — звал Щетинин.

— А? — вдруг откликнулся Качике.

— Что с тобой?

Качике не мог ответить.

— Живой. Перевяжи рану, если сумеешь. Вернусь, заберу. — Щетинин поднял ПТР и побежал дальше.

Качике, расслабленный, лежал на спине, будто засыпая от большой усталости, не чувствуя ни боли, ни грохота разгоравшегося боя.

— Ормонов ранен! — крикнул Козлов.

— Стонет?

— Не слышно.

— Позови, может, отзовется.

— Ормонов! Костя! Костя! Живой ты? — Ответа не было.

— Может, сознание потерял? Подползи к нему, — приказал Седельников.

Качике медленно открыл глаза. Мертвая тишина стояла вокруг. «Что со мной? Упал? Почему упал? Ранило, наверное? Если ранило, почему нигде не болит? Может быть, я уже умер? Ведь я бежал? Потом кто-то толкнул меня... Где Щетинин? Почему здесь тихо? Стрельба, что ли, прекратилась? Отчего такая тишина? Что это, тишина смерти или тишина жизни? Где люди?»

Качике снова забылся. Ясное небо открылось перед

ним. То исчезая за далекими облаками, то вновь появляясь, летел ангел... «Что за ангел? — думал Качике. — Почему ангел? Откуда он?.. Вот... Опять показался. Медленно носится меж облаков. Кажется, он говорит что-то? Дай-ка, послушаю... говорит он... или поет? В чьей же тетради я читал Лермонтова? В чьей? А... вспомнил, в тетради моего бедного друга, Искандера. Это же он перевел «Ангела» на киргизский.

По небу полуночи ангел летел,  
И тихую песню он пел,  
И месяц, и звезды, и тучи толпой  
Внимали той песне святой.

Где-то теперь Искандер? Слышал: тоже на войне. Куда же исчез ангел? А, вот он сюда летит. Нет, это уже не ангел. Это моя дочь. Какая худая, растрепанная... Что так печально смотришь, дочка, тебя обидели? Вздохнула... Еще раз... Глядит с обидой: бросил меня, бросил... Обижается, тоскует... Дочка! Доченька!»

Кто-то тряс его за плечи. Качике то приходил в себя, то снова падал куда-то во тьму.

— Костя! Какого черта!.. — ругался Козлов.

— А?.. — застонал Качике.

— Живой ты? Дай пакет.

Качике теперь понял. Это Козлов и Седельников. «Почему они тут?» — подумал он и медленно потянулся левой рукой к карману брюк.

— Дай же скорее!.. — Козлов опять выругался.

«Что он? Разве я виноват, что не могу быстро достать?» — подумал Качике и так же медленно протянул пакет Козлову.

— Чуть живой... кажется, грудь задело, — сказал Седельников сердитым голосом.

— И правда, грудь... — зашептал Козлов.

— Тихо! — зашикал на него Седельников.

Двоем они быстро перевязали Качике.

— Теперь потащим его, — сказал Седельников. — Костя, можешь ты помочь нам? Отталкивайся ногами.

Правая нога Качике не двигалась, он стал отталкиваться левой. Двое взяли его за ворот шинели и поползли назад. От режущей боли Качике застонал и снова потерял сознание.

Пока перевалили холм, Седельников и Козлов выбились из сил. Козлов развязал мешок Качике, вытряс из него все — патроны, гранаты, разное солдатское барахло. Почему Козлов это сделал, Качике так и не понял.

— Винтовку я сдам,— сказал Седельников.— Когда падо, санитаров и не видно, придется тебе, Козлов, отправить его в санчасть. Не молиться же нам на устав! Костя, попробуй-ка встать! — Вместе с Козловым они взяли его под мышки и поставили на ноги.

— Ну как, сможешь идти? — спросил Козлов.

— Попробую.— Качике дрожал, как в лихорадке.

— Тогда иди потихоньку, будешь живой, пиши нам, Костенька.— Седельников пожал Качике руку. Качике первый раз услышал от старшего сержанта: «Костенька». Он растрогался, на глаза набежали слезы. Козлов обнял его за плечи, и они медленно пошли.

Внизу, в ложбине, стояли машины, запряженные телеги, горы ящиков, пушки; командир стрелкового батальона, высокий, худощавый (Качике не раз видел его и раньше), о чем-то оживленно разговаривал с артиллерийским офицером.

Темнело. Качике с трудом спустился в ложбину и хотел присесть на ящик.

— Сержант, не сажай его туда,— сказал комбат Козлову,— видишь, стреляют, ящик может взорваться, пропадет парень напрасно.

«Удивительные люди,— думал Качике.— Сам рядом стоит, о другом беспокоится».

Наконец вышли к дороге, по которой проходили войсковые подразделения, тащились пушки, машины. Меся грязь, они зашагали по обочине.

В санчасть пришли затемно. Повалил снег. Тесная изба была полна раненых. Врачи, санитары при свете керосиновой лампы хлопотали без устали, еле держась на ногах, и все равно не успевали. Козлов пытался поговорить с санитаром, но понял: ничего тут не добьешься, махнул рукой, уселся рядом с Качике и задремал.

— Оставь меня и уходи,— сказал Качике.

Козлов отрицательно покачал головой:

— Не уйду, пока не сдам тебя.

Стонавшего Качике повели к доктору.

Доктор снял мокрую от крови повязку, ужаснулся.

— Когда привезли? — спросил он.

— Вечером еще. Говорил санитару, он и слушать не стал, — сердито ответил уже совсем очнувшийся от сна Козлов.

— Живо в санбат. Запрягайте сапи. Нужна операция. Сестра, наложите повязку, — приказал доктор и сам стал помогать перевязывать рану.

Качике подвели к саням. Снег все еще шел, ветер усилился. Козлов крепко пожал Качике руку, осторожно обнял его, поцеловал.

— Спасибо, товарищ Козлов, — сказал Качике.

— Спасибом не отделаешься, не забывай нас, Костенька, — голос его дрогнул, Козлов закашлялся, еще раз пожал руку Качике и быстро зашагал прочь. Качике смотрел, пока не исчез из виду маячивший в тумане силуэт Козлова, потом, преодолевая боль, с трудом взобрался в сани.

Повозочный, высокий мужик в глубоко надвинутой на лоб шапке, накрыл Качике одеялом, подоткнул со всех сторон и тронул лошадь.

...К восходу солнца добрались наконец до санбата. Врач осмотрел рану Качике и поручил сестре:

— На лежачей машине в полевой госпиталь!

Молодая улыбчивая сестра своими мягкими, теплыми руками снова обработала рану, перевязала и стала осторожно одевать Качике.

— Почему рукав в крови? Дайте-ка сюда руку. Вы что, не знали, что у вас рука ранена? — спросила она.

— Нет, — удивился Качике.

— Доктор, посмотрите, у него в руке осколок.

— Обработайте рану и хорошенько осмотрите, может, еще что-нибудь обнаружите, — улыбаясь усталыми глазами, сказал доктор.

Сестра покраснела и покосилась на Качике.

— Нет ли еще где раны, не чувствуете?

— Если и есть, теперь не скажу, — сказал Качике и попытался улыбнуться.

Вошел шофер в кирзовых сапогах и стеганых брюках.

— Сестричка, только одно место свободно. Разрешите ехать? — спросил он заискивающим голосом.

— Заберите раненого и езжайте, — сказала сестра.

В машине было четыре лежачих места, одно из них

ванял Качике. «Как эта веселая сестричка заметила мою руку! Странно все же, странно и удивительно!» — думал Качике, лежа в машине.

Ночью Качике привезли в полевой госпиталь. В большой палате вповалку лежали и сидели раненые, негде было ступить. Посередине ярко пылала железная печка. Качике смотрел на раненых: стонавших, храпевших, что-то кричавших во сне, на улыбавшихся и плакавших — и с горечью думал, как многотрудна солдатская жизнь.

В палатку вошел седой в очках доктор и отобрал тяжелораненых, чтобы с первой же машиной отправить их дальше. Среди них был и Качике.

— Не обижайтесь, ребята, ничем не можем вам помочь, немец вчера начисто разбомбил наш госпиталь. Дожил я до этих лет и только от немцев узнал, как воюют с ранеными, — сказал доктор, провожая солдат.

Открытую машину застелили сеном, раненых уложили рядами и сеном же укрыли сверху. Дул холодный, порывистый ветер и кружил снег. Этот ветер казался Качике самым страшным после немцев врагом. Заскорузлые ботинки его на морозе совсем затвердели, ноги начали коченеть. «Отморожу», — буравило в мозгу, он тщетно пытался пошевелить пальцами.

Их обгоняли большие машины с прицепленными к ним пушками. «Хоть бы побольше вас!» — радовался им вслед Качике.

Лишь к вечеру раненых привезли в какое-то селение. Их встретили женщины. Тех, кто не мог встать сам, снимали с машины и на руках уносили в избу.

Ног Качике не чувствовал, он попытался встать, но не удержался, упал.

Жалостливые женщины подхватили его под руки, завели в избу. Как будто впервые в жизни Качике попал в тепло, с наслаждением вытянулся на устланном соломой полу; застывшее на морозе тело стало оттаивать и понемногу согреваться.

В избу вошла женщина, вся красная с мороза, в сапогах, в шапке, в ладно облегающей ее шинели с сержантскими погонами. Она поздоровалась с ранеными и стала раздавать им борщ, кашу, хлеб и масло. Проголодавшиеся солдаты набросились на еду, будто ничего вкуснее этого борща и каши и не могло быть.

— Браток! — позвал Качике лежащий рядом с ним тяжелораненый. — Браток, съешь мою кашу, жар у меня, душа не принимает. Если бы чайку...

Качике напоил солдата чаем, сам поел. Потом долго ворочался и наконец задремал.

На следующий день Качике уложили в сани, завернули в одеяло и опять куда-то повезли.

Еще недавно кружил яростный ветер, бил в окна домов сухой, как песок, снег. Теперь ночь была тихая, безмолвная, как поверхность заросшего озера. Низко светит полная луна, все окутано серебристым маревом и покоем. Сани медленно скользят по бесконечной, неосвещенной улице села. Где этот оглушительный грохот орудий, пронзительный вой минометов, наводящее ужас рычание «катуш», куда девались неустанно кружившие в небе самолеты? Полнейшая тишина объяла землю. Кажется, что в эту светлую, тихую ночь на всем белом свете одни эти сани, поскрипывая и мерно покачиваясь, скользят по дороге.

Сани остановились во дворе какого-то дома.

— Принимай! — крикнул старик возчик и так грузно соскочил с саней, что чуть не опрокинул их.

Немного погодя кто-то не торопясь подошел к ним, резко откинул одеяло и помог Качике сойти. Низкорослый солдат несколько раз в упор посмотрел на Качике, будто пытался узнать его, потом повел к высокому крыльцу. Качике трудно было подняться по крутым ступенькам. Солдат потащил его, Качике застонал.

— Легче, легче! — произнес женский голос. Женщина быстро сбегала вниз, мягко взяла Качике под руку и помогла подняться. Когда из темных сеней вошли в избу, в лицо ударило теплом и табачным запахом. Избу освещала маленькая лампа без стекла, по стенам раскачивались тени. Одни раненые спали, другие курили и тихо переговаривались.

— Что, брат, отвоевался? — спросил широкий в кости рыжеусый солдат лет сорока.

— Нет, только начал, — ответил Качике, оглядываясь, куда бы прилечь. Той женщины, которая помогла ему подняться на крыльцо, уже не было. Низкорослый солдат (это был санитар) подвел Качике к свободной койке, сколоченной из досок и двух крестовин. Набитый соломой холщовый

матрац без простыни, одеяло из грубой шерсти показались Качике мягкими, теплыми, словно пух. Он не мог лежать на боку и улечься на спину. Только сейчас Качике в полную силу ощутил то чувство покоя и тишины, которое снизошло к нему в санях. Он вытянулся, по телу пробежало блаженное тепло, ресницы отяжелели и стали слипаться. Во сне он улыбался как ребенок.

## 20

Очнулся. Твердый холщовый матрац будто присох к спине, нельзя было пошевелиться. Качике оглядел комнату. От окна по всей избе тянулись светлые красноватые полосы. Это солнце пробилось через открытые ставни. Прислонившись к косяку двери, сидела светловолосая девушка с преждевременными морщинами на лбу. Она задумчиво и горестно смотрела на пылающую печь. В плотной черной юбке, в белой полотняной блузке с ручной вышивкой, в накинутом на плечи черном цветастом платке девушка была похожа на много испытавшую, убитую горем жепцину. Одни раненые спали, другие уже проснулись. Рыжеусый солдат с украинским выговором рассказывал о родном колхозе.

Качике застонал.

— Что с вами? — спросила девушка, подняв на Качике большие глаза. По голосу он узнал в ней ту, что ночью помогла ему подняться на крыльцо. Качике невнятно пробормотал в ответ. Девушка подошла, переспросила.

— Санитара нет, ушел за завтраком. Что вы хотите?

— Очень крепко спал и отлежал спину, — сказал Качике.

— Дайте поправлю постель. — Девушка осторожно опустила его на пол, старательно взбила матрац и снова уложила Качике. — Кровь на рубашке запеклась. — Она помяла рубашку, стараясь не причинить ему боли. — Рана ваша на неудобном месте. Матрац жесткий, а вы такой худощавый, вот и онемело все. — Девушка завернула его в одеяло, сверху накрыла шинелью и подоткнула по бокам. — А шинель как решето, должно быть, пулями побита, — с горечью заметила она.

— Видно, миной, сестричка,— ответил Качике и поблагодарил девушку. Она не отозвалась, прислонилась к косяку, горько вздохнула.

— Как вас зовут? — спросил Качике.

— Наташа, Наталья.

— Где мы находимся, Наташа?

— В селе Кресты.

— Я вас за санитарку принял. Вы больше того санитарки работаете, отдохните немного,— сказал Качике.

— Какая же это работа,— неохотно, только чтобы не обидеть раненого, девушка села.— Раз дома больные, мы должны помогать.

— Разве это ваш дом?

— Наш.

— Что-то никого больше не видать, кроме вас.

— Нет их... нет... нет...

— А можно спросить, куда они делись?

— Зачем это вам знать? — с чуть заметным раздражением ответила Наташа.

— Разве нельзя спросить?

— Можно, но ни к чему это,— еще резче сказала она.

Качике замолчал. Не заставишь же человека говорить, раз он не хочет. Немного погодя девушка заговорила сама:

— Вы женаты?

— Женат. Почему спросили? — удивился Качике.

— Так просто. Соскучились небось?

— Вот этого не могу сказать.

— Почему? Значит, не по кому скучать?

— Зачем это знать вам? И так тяжело...— Качике поразило, что он отвечал на расспросы Наташи ее же словами.

— Тяжелее, чем мне? — Глаза Наташи наполнились слезами.

— Возможно. Вы же мне ничего не сказали о себе.

— Тяжелее моего не бывает,— убежденно сказала Наташа. Помолчала и сама не заметила, как стала рассказывать. Бледнее и все больше волнуясь, Наташа говорила быстро, без остановок: — Когда началась война, я была в Великих Луках, училась в институте на первом курсе. Потом фронт и сюда подошел, я вернулась в свою деревню,

в эти Кресты, к родителям. С трудом добралась, а тут уже был полный переполох. Мы бежали в лес. Брат у меня в армии, командир. Отец коммунист, мать и невестка активистки, я комсомолка. Так что нам нельзя было и думать оставаться дома. Всей семьей ушли к партизанам. Мама, невестка и я варили партизанам еду, чинили одежду. Но партизаны постоянно меняли стоянки, и мы для них стали обувой. Отец распрощался с нами, ушел с отрядом. Мы остались в лесу, в землянке. С тех пор отца не видела, не знаю даже, где он. А мама... мама в той землянке и умерла. У нее был ревматизм, не выдержала холода и сырости. Умирала, обливалась слезами. Как мне не скучать по ним, не тосковать!

— По ком же вы еще тоскуете? — тихо спросил Качике. Наташа вздохнула:

— И он далеко. Не знаю, жив ли, не знаю, вернется ли ко мне. Сама виновата. Так мне и надо! Сама погубила свое счастье. Федя любил меня, а я... Все смеется, бывало, поет, несерьезным он мне казался. Ах, как я была глупа, неразумна! Теперь вижу... Не могу забыть его, стоит перед глазами, смотрит печально... А я и не знаю, где он, что с ним, и не чаю, как узнать. Был он в бою под Великими Луками... Товарищ его, тоже наш, деревенский, бежал оттуда, домой вернулся, рассказывал: «Уйдем, — говорю, — Федя, немцы подходят». А Федя ответил: «Нет, не могу, как же я людям в глаза буду глядеть, в Наташины глаза. Лучше умру», — говорит... Только теперь поняла я, как люблю его, одного Федю хочет мое сердце, волосы рву на себе, да что толку?

Наташа замолчала. Стараясь скрыть волнение, прижала к щекам ладони. Но скоро успокоилась и опять сидела печальная, замкнутая.

Качике тоже молчал.

— А что стало с этим беглецом? — спросил кто-то из раненых. Наташа быстрым взглядом окинула солдата. Все они, и лежачие, и сидячие, внимательно слушали ее рассказ.

Медленно покачиваясь, как березка на ветру, Наташа снова заговорила:

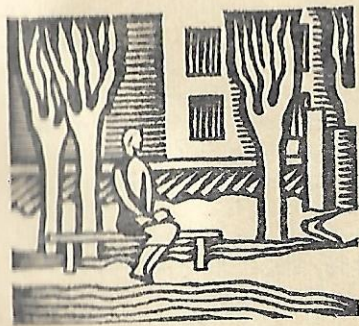
— Сначала скрывался от немцев и полицаев. Потом полицаи поймали его и передали немцам, с тех пор о нем ни слуху ни духу. Кое-кто говорит, будто перешел он на службу к немцам.

— Наташа, доченька! — заговорил пожилой солдат с рыжими усами. — Слушал я ваш разговор. Хорошо вы говорили. Я не спрашиваю, как звали Фединого товарища, этого предателя. О таком и мать плачет, проклиная, а если девушка была у него, то и она будет плакать тайком, чтобы не показать другим своих слез. Твои слезы, Наташа, — святые слезы. Упадут на сухую землю, цветы вырастут. Плачь, дочка, и по отцу с матерью плачь, и по брату, и по Феде. И не мучай себя упреками. Хоть и нет известий от Феде, зато тебе стыдиться нечего. Будут живы — и отец вернется, и Федя, и брат.

**Часть  
вторая**

---

После злополучного сватовства Сарыгула Бермет стала осторожнее. Даже с Джамалкан боялась делиться своими сокровенными мыслями. Теперь она жалела уже, что рассказала о переписке с Кыдырбеком. Джамалкан, конечно, проговорится Молдоке, Молдоке разболтает в айле, да еще как, со своими пояснениями. Ее родителям он просто скажет: «Дочь ваша переписывается с Кыдырбеком», — но зато уж Сулейману и Уулкелди не преминет съязвить, и невестой меня назовет, и Кыдырбека осудит за то, что пишет сперва девушке, а потом родителям. Затем пойдут слухи из дома в дом, из айла в айл. «Чужой рот без сита», — говорят. Каждый по своему начнет толковать, вспомнят приезд Кыдырбека и Сарыгула на джайлоо, и пойдут сплетни. Чего только не придумают. Тетя Джамалкан не в меру болтлива. Как бы еще в институте не заговорили о приезде Сарыгула и письме Кыдырбека. Начнутся толки, насмешки. Впрочем, бог с ними! На чужой роток не накинешь платок. «Ах, Кыдырбек, Кыдырбек! Какой ты оказался хороший, умный. А ведь все считали тебя сумасбродом. Пусть считают! Пусть ты сумасброд. Но ты мой сумасброд, мой Кыдыр-



бек. Так хочется прижать к груди твою сумасбродную голову. Что это со мной? Я ли та Бермет, которая целый год не отвечала на пылкие письма джигита, а потом с холодной вежливостью оттолкнула его? Чем ты меня покоришь, Кыдырбек? Не тем ли, что не обиделся, не упрекнул, не унижался? Нет, ты, конечно, обиделся, легко ли джигиту получить отказ от девушки, но ты ничем не выдал своих переживаний. С достоинством сошел с моего пути. Мало того, вызвался быть моим другом, добрым, бескорыстным товарищем. И, кажется, добился своего. Подкупил меня своим бескорыстием, преданностью и добротой. Кажется, я люблю тебя, Кыдырбек. Досадно, конечно, что ты так скоро примирился с отказом. Хоть бы упрекнул меня, или умолял, или письмом злое написал — самолюбие мое утешил бы... Но... но разве я смогла бы тогда тебя полюбить? Конечно нет. Ах, Кыдырбек! Кыдырбек! Как ты там? Надежда бы тебе на шею талисман, как у Пушкина, но не от злых женских глаз, а от вражеской пули. Да чего уж там: и от жадных глаз, и от вражеской пули был бы мой талисман... Размечталась я сегодня. Но ведь он все равно не узнает, не буду же я ему писать обо всем этом. Зачем искушать судьбу? Жизнь покажет, а пока пусть все остается как есть. И пусть люди говорят о нас что хотят. Лишь бы не впутывали сюда Сарлгула. Он и тени моего Кыдырбека не стоит. Какой мерзавец! Выгнать жену с ребенком и на постель, смоченную их слезами, бросить меня! А потом на мое место нашел бы третью. Какой подлец! Ах ты скотина, черная твоя душа! Думаешь так и прожить обманом? погоди, вернутся фронтовики, они спросят с тебя!»

В цветущий майский день Бермет сидела на скамейке во дворе института с учебником в руках, готовилась к экзаменам. Институт снова переезжал во Фрунзе, но экзамены студенты должны были сдать здесь, в Пржевальске. Бермет задумалась и не заметила, как подошел к ней институтский преподаватель с какой-то девушкой. Вечерело, с гор дул прохладный ветер, прижимал к телу Бермет белую шелковую блузку, заметно обозначил маленькие уругие груди. Растрепавшиеся на висках черные волосы подчеркивали белизну милого лица.

— О чем задумалась, сестричка? — услышала Бермет совсем близко от себя, вздрогнула, подняла голову и быстро встала. Глаза преподавателя прощлись по ней. — Во время экзаменов нельзя думать о посторонних вещах.

Бермет залилась краской, но одернуть нахала постеснялась, преподаватель как-никак, да еще эта девчонка с ним. От преподавателя, однако, не ускользнуло возмущение Бермет. Он торопливо обронил:

— Вот она, Бермет Чотурова,— и, оглядев девушку с ног до головы, пошел прочь.

— Спасибо, агай,— сказала ему вслед девчонка и смешно наклонила голову.

— На здоровье! — преподаватель рассмеялся коротким смешком, обернулся и еще раз оцупал глазами девичьи фигурки. Девчонка покраснела и опустила глаза.

«И это преподаватель? — подумала Бермет.— Бесстыжий! Недаром говорят, что он увивается за своими студентками. В годах ведь. А она? Что за пигалица? Видать, не большого ума, если по таким пустякам к преподавателю обращается».

— Тетечка, вас тетя зовет,— сказала девчонка.

— Какая тетя?

— Тетя Джамалкан.

Перед Бермет стояла тоненькая беленькая девчонка с двумя туго заплетенными косами. Крупная голова и большой нос делали ее несуразной. Но живые черные глаза и пухлые губки придавали лицу привлекательность.

«Неспроста зовет»,— подумала Бермет и медленно пошла к дому.

— Где вы учитесь? — Бермет испытующе посмотрела на девчонку.

— Заканчиваю педучилище, а тетя Джамалкан наша учительница.

— И вы никого другого не нашли спросить обо мне? — Бермет строго посмотрела на девчонку, не скрывая досады.

— Он тоже у нас преподает.

— Если преподает, значит, можно было с ним запанибрата? — Бермет снисходительно улыбнулась.

— Он сам выврался. Пойдем, говорит, я тебе разыщу ее.— Девчонка улыбнулась.

— Если преподаватель сказал: «Пойдем!» — значит, надо идти? Поблагодарили бы его и спросили у студентов, не хуже его помогли бы.— Девушка промолчала.— Мое имя вам известно, а вас как зовут? — спросила Бермет, критически оглядев свою спутницу. Шелковое платье с открытым воротом и короткими рукавами, модные туфельки на

высоких каблуках. «Разрядилась», — неприязненно подумала Бермет.

— Я Саадат, — сказала девчонка.

— Саадат, Саадат, — повторила Бермет. — Саадат — красивое имя, — сказала она.

— Я не знаю, что значит Саадат, а вот Бермет — очень красивое имя... И лицо милое... видеть, хороший вы человек... — сказала девчушка, улыбаясь. — Уж не знаю, хорошая я или плохая, но глуповага. Отец повсюду возил с собой на лошади и вырастил, как мальчишку. Иногда так занесет меня, что и опомниться не успею, — откровенно призналась Саадат. Бермет с удивлением посмотрела на нее.

«Потому-то и бойка не в меру. Может, и ругаться умеешь? Что с тобой потом будет?» — подумала Бермет.

— А вы строгая, тетя, — заметила Саадат, будто догадавшись, о чем думала Бермет.

— Кто неумыен, тот любит вроде меня осуждать людей. Как это вы догадались об этом? — Бермет стало совестно.

— Я давно уже поняла, тетечка, что вы меня испытываете, мне ужасно стыдно, — Саадат густо покраснела. Ей было неловко перед этой холодной, строгой девушкой за свою откровенную жизнерадостность.

Разговаривая, они пришли к Джамалкан.

— Проходите, девушки, проходите, — встретила их Джамалкан еще в сенях. Голова ее была повязана.

— Голова, что ли, болит, эджеке? — спросила Бермет, желая отвлечь от себя внимание Джамалкан и переменить разговор.

Бермет вошла в дом, поцеловала детей. Саадат задержалась с Джамалкан в сенях.

— Я пойду, тетечка. Я так рада, что выпуск состоялся раньше срока, спасибо вам большое. После диплома хочу устроить угощение для учителей. Барашка из дома выпишу. Ведь вы не будете против, если мы соберемся у вас? А где же еще, правда? — Саадат заглядывала Джамалкан в глаза.

— Нареканий бы не было, — сказала Джамалкан, не желая, однако, обидеть отказом девчушку.

— Но ведь вы не одни будете и к тому же — после диплома.

— Ладно уж, — махнула рукой Джамалкан. Саадат прошла в дом, попрощалась с Бермет и быстро упорхнула.

Когда Мария Петровна ушла с ребятами в парк, Джамалкан подала Бермет два письма.

— Читай!

— От кого это?

— От кого же еще? Читай, узнаешь.

— Зачем же мне читать чужие письма?

— Не чужие. Тебе письма, тебе прислал. Надоел он мне, проходу не дает. Ответь сама и оборви одним разом. Не могу я метаться между вами, — рассердилась Джамалкан.

— Не буду я читать эти письма, эджеке, — сказала Бермет, покраснев от злости. — От кого бы ни были! Верните назад.

— Это уж ты сама сделаешь. Тебе пишет, а не мне.

— Сейчас я ему отвечу! Больше не захочет!

— Не читая?

— Какая разница! — Бермет села к столу и быстро начала писать.

« Я пишу вам, не читая ваших писем. Последующие письма (если вы не угомонитесь) будут также возвращены вам пераскрытыми. Даже и такого ответа не получите. Не обижайтесь за прямоту — не получите! »

Джамалкан это письмо поразило. «Какая же ты жестокая!» — хотела укорить ее, но не решилась. По лицу Бермет поняла, что, кроме насмешки, ничего от нее не услышишь. А потом, сказать правду, Джамалкан побаивалась Бермет. «Если ты девушкой так держишь себя, какая же из тебя женщина получится?» — подумала она.

Бермет молча ушла, легкий стук двери вывел Джамалкан из оцепенения. Обида на Бермет, которая так высокомерно обошлась с ней, а еще больше досада на себя, на свое легкомыслие поднялись в ней и комом застряли в горле. Джамалкан расплакалась.

«И зачем я влезла в чужое дело? Что мне нужно было? Вот и получила по заслугам. Ни слова не сказала, а как ударила, гордая девчонка! Вот как надо уметь: одним махом и с женихом разделалась, и меня проучила. А я? Я мямлю. Любой меня обидит. И зачем эта война навязалась на мою голову?.. Пропаду я без мужа. Мягкая я слишком, и гордости во мне нет. Чуть что... в слезы... Была бы одна, а то дети... Что будет с моими ребятками? Я и с собой-то не могу совладать, а ведь их надо кормить, растить, воспитыв-

вать. Что, если Джаманкул не вернется вовсе? Как я жить буду?»

Громко стуча каблуками, вошел кто-то.

— То ли дома нет, то ли в темноте сидит. Эй, Джамалкан! — по привычке громко разговаривая, вошла Салима и включила свет. Джамалкан сидела на кровати и концом платка вытирала слезы. — Ты что? И голову завязала. А глаза-то, глаза — на мокром месте. Вставай, Солтонкул ждет на улице с товарищем, погуляем немного.

— Голова болит, — сказала Джамалкан, готовая снова заплакать.

— Еще бы ей не болеть, с утра до вечера глаза не просыхают. Пройдет голова, вставай, одевайся быстрее, а то еще Солтонкул застанет тебя в таком виде. — Салима закурила сигарету, глубоко затянулась.

Не успела Джамалкан и слова сказать, в самом деле вошел Солтонкул.

— О-о, совсем раскисла эта женщина! — как всегда пошутил он.

Джамалкан улыбнулась. Чувство заброшенности и одиночества мгновенно рассеялось, голова перестала болеть, лишь в глазах, как на солнце после дождя, блестели слезы.

Они погуляли в парке, потом у Салимы пили чай, Джамалкан лишь к одиннадцати ночи явилась домой. Боясь Марии Петровны, она, не зажигая света, осторожно, ощупью стала прокрадываться к кровати, чтобы незаметно юркнуть под одеяло. Но сердитый голос Марии Петровны остановил ее на полдороге.

— Где шаталась, гулена?

— У Сони были, — робко, виноватым голосом ответила Джамалкан.

— Ну-ну... — услышав, что Джамалкан была у Салимы, Мария Петровна успокоилась и замолчала.

«Бойтся. Что ж, я и сама порой боюсь, вдруг не выдержу...» — вздохнула Джамалкан.

## 2

Нет-нет да приходили Молдобраиму письма от сыновей. Болотбек был на восточной границе, и, поскольку там войны не было, Молдоке особенно не беспокоился о нем. Сын Джапар в прошлом письме написал непривычные для отца слова «Волга», «Сталинград». Молдоке не придал

им тогда значения. Когда же все заговорили о Сталинграде и с этим словом стали связывать нависшую над страной новую опасность, немногословный Молдообраим и вовсе замолчал. Невестка его Бубукан, Калыча и он сам с утренней зарей уходили в поле, дома управлялась тринадцатилетняя старшая дочь Айна. У Молдоке было еще два сына и три дочери. Все от второй жены, Калычи. Самого маленького, четырехлетнего Султана, иногда брали с собой в поле. «Зловредная» Калыча («зловредной свекровью» ее провала Бубукан) невзлюбила молодуху и держала в черном теле. Бубукан переносила все молча, разве что поворчит иногда про себя; молчание Бубукан еще больше распаяло Калычу. «Даром что молчит, внутри копит яд, поганая ее душа», — с досады шипела она на невестку. А Бубукан с каждым днем тяжелела, лицо осунулось, ноги опухли, она едва передвигалась и есть перестала. В поле или дома по-ровила укрыться подальше от людских глаз. Калыча все примечала и продолжала свое.

— Что с невесткой? Могла бы по-хорошему расспросить ее. Больна или, может быть, тяжелая — поговорила бы с ней? — несколько раз уже просил жену Молдообраим. Но Калыча с утра до ночи не вылезала из повседневных хлопот, так и не нашла времени толком поговорить с невесткой, а от вопросов, брошенных в сердцах и мимоходом, невестка отмалчивалась.

— Языка, что ли, нет, сама должна сказать, если что случилось, — отмахнулась Калыча, когда Молдообраим напомнил ей о Бубукан.

— Бывает, что и умирают молча, не трещат, как ты, — сказал потерявший терпение старик.

— Что поделаешь, если смерть пришла. Против господней воли не пойдешь, — затараторила Калыча.

Молдообраим не мог понять, с чего это старая возненавидела Бубукан. «Совсем ведьма стала», — думал он и, не умея с ней спорить, мучился про себя.

— Она тоже дитя человеческое, не раз уже мать ее выговаривала мне, видно, Бубукан пожаловалась на твою лютость; неужели пельзя по-доброму уладить все? — Старик пожалел уже, что разгневался и наговорил старухе. «Все равно ее не перекричишь». Желая смягчить разговор, прибавил: — Больна она или тяжела, не отвезти ли к матери? Там ей будет спокойней. Грех ведь на себя берем, понимаешь ли ты, грех!

— Матери, говоришь, сказала? А ты знаешь и молчишь? А теперь грех, говоришь?!— раскричалась Калыча.— Я, значит, лютую, а вы хорошие, я для вас хуже кости, что кидают собаке? Безмозглый ты старикашка! Когда уехал муж? Если тяжела, значит, таскалась. Не подумал ли ты, что я стану за ублюдком ухаживать? Нет уж, подалее от греха, вези ее к матери!

У Молдообрайма глаза полезли на лоб.

— Что ты сказала? Что?— вспыхнул он.— Что эта ведьма болтает!— Старик весь дрожал.— Ты раньше знала?— подступил он к жене.— Отвечай, как перед богом! Ты знала?

— Чего ты на меня кричишь? У старика Мамбетаалы требуй ответа. Это он совратил ее и опозорил нашего Болотбека!

Молдообраим, обессиленный, опустился на стул. Мамбетаалы было уже за шестьдесят. «Как может старик с седой бородой на такое дело пойти? Как мог осмелиться, ведь Бубукан в дочери ему годится? Врет, старая ведьма, наговаривает на нее. Нельзя такому поверить, не-ельзя! Невозможное это дело! И как только бог не карает! А если эта чертова ведьма правду сказала? Позор! Позор! Как дознаться правды?..»

— Откуда узнала ты, если это правда?— наступал он на Калычу, бледнее от ужаса и гнева.

— Иди, иди, простофиля, у самого спроси, ему не поверишь, у его старухи спроси, старухе не поверишь, у народа спроси!— ядовито поджав губы, она с презрением глядела на Молдообрайма.

— У какого народа?

— У кого хочешь. Все знают.

— Так все уж и знают?

— Зна-а-ют!

— Язык я тебе вырву, ведьма! Скажи сейчас же, от кого слышала? Ну ладно, пусть все люди знают, пусть я глуп, пусть один я ничего не знаю, что же взять с глупого? Но почему же ты до сих пор спокойно разгуливаешь по улице? Почему не догадалась отвезти Бубукан к отцу?— ярость душила Молдообрайма.

— А мне что? Муж приедет,— сказала Калыча. Заметив, что Молдообраим весь посерел от злости, она чуть притихла.— Тебя не хотела беспокоить. Потому и ругаюсь на нее.

— Мачехина злость в тебе, ведьма ты этакая! Так мы и будем ее держать у себя с нагулянным животом, пока муж не вернется? А если она не вынесет стыда, языка твоего ядовитого да наложит на себя руки? Не скажут ли тогда те же люди, что сноха Молдообраима не могла ужиться со свекровью и удавилась? Куда я от такого позора спрячусь? Объяснения твои уже не помогут. Скажут и о тебе, что из ненависти оклеветала, довела до самоубийства. Сын вернется, не только твоим, но и моим врагом станет. Кто ты? Ты всего-навсего злая, крикливая дура! Не с тобой будут разговаривать, а со мной. И мать, и муж с меня будут требовать Бубукан, а не с тебя. Кровь ее на тебя падет, а проклятья на меня. Если жить хочешь, скажи правду! — подняв свою палку, он пошел на жену.

— Ты что, взбесился? — Калыча подалась назад. — Брось палку, скажу. Боже мой, какой страшный стал... Народ, сюда! Убил, убил!.. — закричала Калыча.

— Кто тебя убивает? Хоть раз тронул тебя рукой или камчой? Чего орешь: «Убил! Убил!» — чего людей собираешь, злыдня? Довела ты меня сегодня. Говори правду, не то... — Молдообраим замахнулся палкой.

— И-и-и, дурень старый, крови моей захотел? Скажу сейчас, скажу... — тараторила Калыча, ища места, куда бы спрятаться от палки. — Каждый день сноха твоя поздно приходит домой, не так ли? И Мамбетаалы поздно возвращается. Уже затемно. Посадит твою сноху сзади себя раскорякой на мерина, а возле деревни высадит ее на дорогу, а сам едет впереди. Успокоился теперь, старый пень? Народ все это видит, знает, говорит. Уйди подальше от меня. Убери свою палку, и-и-и, бессовестный! Вид-то какой, и-и-и кафир<sup>1</sup>, уйди подальше, уйди, говорю!

Молдообраим, яростно размахнувшись, ударил старуху по спине, затем, разломав о колено свою палку, бросил ее и выбежал из дому.

### 3

Разругавшись с женой, мрачный, как дождливый день, Молдообраим шел куда глаза глядят.

«Если бы моя Карлыгач была жива (так звали его пер-

<sup>1</sup> Кафир — неверный, немусульманин.

вую жену), разве могла бы так поступить! Ну что бы ей не быть матерью для Бубукан, самой было бы приятнее. Что может быть лучше первой жены, которую девушкой привел в дом! Проклятая смерть! Да еще война! Унесет она, похоже, и последних сыновей моей покойницы. (У него умерло четверо сыновей от первой жены.) Теперь эта старуха станет злой мачехой в доме, начнет мстить им за то, что неродные. Что мне останется делать на старости лет?..»

Молдообраим впервые назвал свою крикливую жену мачехой и впервые с горечью подумал об этом. Дети от первой жены уже стали на ноги, не давали себя в обиду. И получилось, что она стала вымещать злобу на Бубукан.

«Если же все это правда, пусть бог накажет невестку. Хоть бы помоложе с кем спуталась. А то ведь старик, старик! Чтоб стареть твоей бороде, старик! Если правда, взбесился ты, старец, взялся за жен сыновей наших, ушедших на войну. Погоди, — сжал кулаки Молдообраим, — покажу я тебе! Погоди!»

Молдообраим долго бесцельно бродил по айлу. Вернулся домой, но и дома не усидел, поругался с детьми и пошел искать свою спутанную кобылу. Кобылы он тоже не отыскал и закричал старшей дочери:

— Э, Айна, где лошадь?

— На лошади джене уехала, — сказала перепуганная Айна. Кое-что она слышала из разговора между отцом и матерью.

— Куда поехала? На работу?

— Нет, не на работу...

— Куда же?

— Не знаю... вниз поехала.

«И-и, — сказал себе Молдообраим, — ушла! Ушла все же, ушла!»

— Когда мы ругались с матерью, где была Бубукан?

— Вот тут стояла. — Дочь показала на угол дома.

«Значит, все слышала. И ушла, ушла! Не ушла, а сбежала! Со стыда ли сбежала или от обиды? А почему на моей лошади сбежала? Значит, себя считает честной. Несчастный ты, Молдообраим! Жалкий ты старик! Погоди, Мамбетаалы, погоди! Вот ты какой оказался! Если это правда, пусть земля проглотит тебя и тебя, Бубукан!..»

Народ возвращался с работы, а Молдообраим, опираясь на суковатую палку, шагал по направлению к полю. Он шел, ничего не видя, разговаривая сам с собой. Председа-

тель колхоза Джайнак на исхудавшей черной лошади преградил ему дорогу.

— Салам алейкум, Молдоке, куда это вы со своей палкой глядя на ночь путь держите? Не вы ли всегда впереди всех шли в поле и возвращались последним, а сегодня повсе не были на работе, и невестки вашей не видел. Не случилось ли чего?— спросил председатель. Он собирался посоветоваться с Молдообраимом кое о чем.

— За мной, значит, дело стало,— сердито ответил Молдообраим,— а то бы закончили всю работу? Кто пьянствует да на лошади гоняет впустую, да на базаре торгует — их ты не видишь, а меня заметил? Тебе важно только скорее отпрапортовать, так, что ли? О народе надо беспокоиться, замечать, кто здоров, кто болен, кто как живет. И конь, на котором ты едешь, может подохнуть с голода, думал ты об этом? Скотина тоже живая тварь, и о ней надо заботиться. Чем ко мне приставать, ухаживал бы полудне за своим конем!

Оттого, что Молдообраим вдруг набросился ни с того ни с сего, Джайнак опешил и слушал старика с растерянной улыбкой.

— Молдоке, дорогой, что с вами? Я так просто спросил, простите, если обидел. Хотел было посоветоваться с вами.— Председатель не знал теперь, как отделаться от старика. Но Молдообраим еще пуще распалился:

— Не случилось ли чего?! Что со мной может случиться? Скажи-ка, что? А вот вы разгуливаете тут в свое удовольствие, подкручивая усы! Там кровь льется, головы летят, а вы здесь девушек приманиваете да за молодками охотитесь. Позор-то какой, позор! Еще спрашивает! Если с вас как с гуся вода, так что же со мной может случиться?!

Никогда Джайнак не видел Молдообраима таким разгневанным. «Что же случилось?»— размышлял он. Но нечего было и пытаться расспрашивать сейчас старика.

— Все, все, Молдоке, я после зайду, поговорим,— торопливо закончил неприятный разговор Джайнак.

Сорвав на председателе злость, Молдообраим немного успокоился и, побряхтев, зашагал вдоль арыка. Ярость его поутихла, но он упрямо шел вперед, размахивая палкой. Заслонив глаза ладонью от ярких лучей вечернего солнца, Молдообраим посмотрел вперед. Там, стрепожив и отпустив пастись свою кобылу, Мамбетаалы жал вдоль

арыка траву. При виде Мамбетаалы все вновь всколыхнулось в душе Молдоке. Ему представилось, как в этой свежей, колышущейся на ветру траве валяются в обнимку старик и его невестка.

Мамбетаалы не заметил, когда Молдообраим подошел уже совсем близко. Крепко опираясь на палку, он встал перед ним и, не зная, с чего начать, тяжело дыша, вникся в него взглядом. Почувствовав чужой взгляд, Мамбетаалы поднял голову и вздрогнул, увидев перед собой мрачного Молдообраима.

— И, Молдоке, откуда вы вдруг появились, прямо напугали! — Мамбетаалы вздохнул облегченно и чистосердечно улыбнулся.

— Он еще смеется, бесстыжий, ложись сейчас же! — приказал Молдообраим. Подойдя к нему вплотную, он вырвал сери из рук Мамбетаалы и отбросил в сторону. — Ложись!

Мамбетаалы только сейчас заметил, что Молдообраим весь дрожит от ярости. Он побледнел.

— Да минуют вас беды, Молдоке, что произошло? Я вас не узнаю. Сделаю все, только скажите, в чем же дело. Что вы задумали? Чем расстроились? — дрожа и пятясь, говорил Мамбетаалы.

— Ложись! — грозно прикрикнул Молдообраим и вытащил нож, которым резал скот.

— Батюшки, грех-то какой, Молдоке, что с вами? Ведь душу собираетесь губить! Опомнитесь, опомнитесь же, Молдоке! Снимите голову, если виноват, а нет — не бери грех на душу (Мамбетаалы не заметил, как перешел на «ты»). Хочешь убить, расспроси сперва, Молдоке, родной ты мой! Иначе на том свете обеими руками вцеплюсь тебе в ворот, — сказал он и вдруг смело посмотрел Молдообраиму в глаза. — Если ты так рассердился, значит, что-то случилось. Скажи, если виноват, сам подставлю шею. Можно голову отрубить, но нельзя не дать человеку оправдаться. В чем ты меня обвиняешь, за что хочешь убить? Что я такого совершил, чтобы на старости лет принять смерть от твоей руки? Скажи сперва, а потом поступай как хочешь. Не боюсь я твоего ножа, раз совесть чиста...

— Правду скажи! — побледнев, скрипнул зубами Молдообраим.

— Пусть я исчезну вместе с этим заходящим солнцем, если соврну!.. — поклялся Мамбетаалы.

— Не стану я тебя убивать, но прежде свяжу тебе руки и ноги, а уж потом скажу, в чем дело,— заявил Молдообраим, впервые усомнившись в своей правоте.

— Скажешь?

— Скажу,— твердо обещал Молдообраим.

Мамбетаалы лег на землю, и Молдообраим волосатым поводком связал ему руки и ноги.

— Свяжал так, что не шелохнуться. Теперь, если что со мной сделаешь, на тебя ляжет моя невинная кровь. Мои дети тебя тоже в живых не оставят. Ну, говори теперь, что хотел,— сказал Мамбетаалы, совсем позабыв о страхе. Теперь уже Молдообраим оробел и покрылся весь холодной испариной... После того как Мамбетаалы добровольно лег и дал себя связать, он сразу спик, будто кто ударил его по щече, и стал растерянно переминаться.

— Невестку мою... опоганил... Бороду свою... Собака! — дрожащими губами произнес Молдообраим, не в силах выразиться более членораздельно.

— Это я-то? Господи! Чистая ложь! Развяжи меня! — Мамбетаалы зарыдал как ребенок.

Помирившись, Мамбетаалы и Молдообраим долго еще ходили, разговаривая, и повернули домой, когда совсем стемнело. Оба шли пешком, лошадь свою Мамбетаалы вел в поводу.

— Что же ты собирался делать пожом? И вправду хотел зарезать? — блестя в темноте глазами и улыбаясь в усы, спросил Мамбетаалы.

— Оскопить тебя хотел,— ответил Молдообраим.

— И старуху мою чуть не лишил счастья, и меня чуть не опозорил! — Было слышно, как смеялись в темноте два старика.

#### 4

Вместе с заходом солнца дневная жара спала. От арыка повеяло прохладой, освежая уставшее тело Бубукан. Запах молодой травы, смешиваясь с запахом мяты и еще какого-то неизвестного Бубукан растения, опьянял ее, вынуждал приятную истому. Берега арыка густо заросли камышом. Шум воды и шелест камыша сливались в один неумолкаемый напев. Камыш гибко клонился вниз, потом выпрямлялся и снова клонился, казалось, что он шепчется о чем-то с водой.

Опустив в арык опухшие, разгоряченные ноги, Бубукан сидела на берегу. Натруженное за день тело жаждало прохлады, покоя, ноги наслаждались ледяным холодом воды.

«Что со мной происходит?— думала Бубукан.— Что же это со мной? Почему ноги опухли, отяжелела вся, а лицом исхудала? Сердце, что ли? И почему сердце, ведь я еще молодая. Или все так переносят беременность? Кажется, никто еще не замечает. Даже мама-ворчунья не догадывается, где уж другим. И почему она без конца цепляется ко мне? Что я ей сделала? В чем моя вина? О боже, в чем же я провинилась? Ах, Болотбек, Болотбек! Или ты в чем провинился перед ними? Отец хороший, он, кажется, защищает меня иногда. Но на старуху свою у него твердости не хватает, хоть и покрикивает. Что же мне делать? Уехать к родителям? Как уеду и что им скажу? Как я брошу дом, откуда Болотбек пошел на войну? Не только муж, и народ осудит. Как мне поговорить с Калычой, когда собственной матери не могла сказать о беременности? И что я за жалкое создание? Если живота не заметно, значит, молчать? Нет, надо сказать, пусть знают. Если и тогда станет орать, уеду к своим. Какое бы испытание меня ни ждало, пусть лучше от родной матери. А умереть суждено, умру хоть спокойно, без ругани. Вот зашевелилось в животе. Кто там, знать бы? Перед отъездом Болотбек наказывал: «Если родится сын, назови Сапарбеком, в память того, что я был в отъезде. Родится дочь, Сапаркан назовешь...» Кто так сильно толкается в животе, кому не лежит спокойно? Шалуя Сапарбек или плакса Сапаркан? Мне все равно кто, лишь бы родить благополучно. Но рожу ли я или умру от злого языка матери? Нет, нет, надо родить, а потом умереть, если уж так суждено. Не могу я не исполнить воли моего Болотбека, нет, нет, не умру!.. Как я могу лишить жизни моего Сапарбека или мою Сапаркан? Нет, нет, не умру. Пусть поедом ест, буду молчать, слова не скажу, буду терпеть и терпеть!..»

— Э-э, детка, что тут одна сидишь, в сумерках?— вдруг раздалось над ней.

Бубукан вздрогнула и, прижав рукой живот, обернулась. Это был старик Мамбетаалы. Навьючив лошадь сеном, не торопясь, он возвращался домой. Бубукан застыдилась, с трудом поднялась, опираясь о землю руками, поклонилась аксакалу.

— Будь цветущей, милая, пусть потомство твое растет на славу, — произнес он и задумался. — Не заболела ли ты? Похоже, тяжелая, иди садись на мою лошадь, а я пешком пойду. — Мамбетаалы слез со своей кобылы. Как ни отнекивалась Бубукан, он настоял на своем, посадил на лошадь и довез до самой деревни.

— Скромная, добрая ты, как я вижу, дал бог счастья твоей свекрови и Молдоке, — похвалил он Бубукан на прощанье и отправился к себе.

Все, что после говорили об этом, было сказано со слов «якобы видевших» своими глазами и «якобы слышавших» своими ушами. Длинные языки довели эти сплетни до Калычи, она сразу всему поверила, взбеленилась и с проклятиями: «О, лучше бы тебе издохнуть, срамница!» — набросилась на Бубукан, стала точить ее своим ядовитым языком, не давая проходу. Бубукан не понимала, в чем провинилась перед свекровью, измученная беременностью, с опухшими ногами, с одышкой, почти на сносях, она так и не призналась в своем положении и все переносила молча.

## 5

Уходя в поле, Бубукан забыла дома нужную ей вещь. Пришлось вернуться. Тут она услышала перебранку стариков. Остановилась, не решаясь ни войти, ни вернуться. А когда вдруг поняла, задрожала вся, покрылась холодным потом. Голова закружилась, и Бубукан еле удержалась на ногах. «Как я могу дальше жить после таких слов свекрови? Лучше умереть! Пусть что хотят говорят люди, уеду из этого дома! Скроюсь, исчезну!»

Бубукан пошла в сарай, оседлала лошадь и уехала к родителям. Навсегда ли она уезжала или на время бежала под их защиту, Бубукан сама толком не знала. «Если суждено умереть, хоть подальше от этого дома умру», — и поехала, не задумываясь над тем, что будет дальше.

Немного успокоившись, но все еще боясь, как бы невестка не сделала чего-нибудь над собой, Молдоибраим вернулся домой. Старуха во дворе разжигала под котлом огонь. Ему сегодня не хотелось видеть ни своего дома, ни своей старухи. Из комнат доносился приглушенный разговор. «Вот и начинается, сват или сватья, кто-то из них приехал», — решил Молдоке и нехотя вошел в дом. Ярко

горела лампа, освещающая сидевших на почетном месте Сулеймана и Уулкелди.

— Откуда вы на ночь глядя? — поздоровался Молдоибраим.

— Э, Молдоке, — сказал Сулейман, не поднимая опущенной вниз головы, — и Шаршена отвезли.

— Говори толком, что чушь мелешь, хоть на старости лет помнил бы о боге, — напустилась на него Уулкелди. — В армию проводили Шаршена.

Шаршен был следующий за Кыдырбеком сын Сулеймана.

— Учащихся разве берут? — спросил Молдоибраим. Его собственные сыновья ушли в армию, когда уже стали работать.

— Взяли, видишь. Молод он еще, ничего не соображает, хохочет себе: «Уезжайте, — говорит, — нас еще учить будут здесь». Еды и немного денег оставили твоей Джамалякан, к ней будет приходиться, — сказала Уулкелди.

— Письма приходят от Кыдырбека? — спросил Молдоибраим, а сам все время думал о снохе.

— Приходят, в госпитале он. А где сноха твоя, джене? — обратился Сулейман к вошедшей Калыче.

— Сноха к родителям поехала, — сказала Калыча, беспокойно поглядывая то на гостей, то на Молдоибраима.

— Ах, если бы Кыдырбек был женат, как бы мне было хорошо, — вздохнула Уулкелди.

— Как знать, хорошо или, может, грызлись бы с невесткой, — заметил Молдоибраим, глядя на Калычу. — Жена Кыдырбека училась бы, конечно, а не сидела дома, чтобы за тобой ухаживать.

— Пускай бы работала, пускай бы училась. Я на все согласна. Сама поехала бы к ней, свезла бы гостинцев, познакомились. А будь у него невеста, как за дочкой приглядела бы, — сказала Уулкелди с доброй улыбкой на большом круглом лице.

— И то правда, — заговорил Сулейман, — и то правда! Сноха без мужа не будет сидеть дома, из твоих рук глядеть не станет. Другое дело, если дети, как у Турганбая. Куда от детей уйдешь? Если женился и тут же уехал на войну, не надеюсь я на этих невесток, не то вернется муж, не то нет, никому не известно, да и молва не оставит ее в покое...

Калыче пришлось по праву слова Сулеймана, она изподлобья бросила на Молдообраима взгляд, полный злодства.

— Раз такое желание у тебя, почему же Бермет к себе не возьмешь? Говорят, что переписываются?— обратился к Уулкелди Молдообраим.

— Спрашивала у Джамалкан. Не подпускает к себе, говорит. Скрытная. Переписываются — это правда. А что дальше будет, не ваше дело, сами решим, так сказала. Будто бы и Сарыгул ее обхаживает. Как узнала об этом, совсем сон потеряла, — призналась Уулкелди.

— Если муж, то пусть уж Сарыгул: в армию не берут, война для него ничем, карманы полны денег, дома не переводится мясо, живет себе в полное свое удовольствие, — подтрунил Сулейман над своей женой. — Пусть она ему и достанется, тебе-то какая печаль? Вернется твой сын жив-здоров, не Бермет, так другая найдется.

Послышался конский топот, кто-то остановился у их дома. У Молдообраима сильно забилось сердце. «Какая еще беда? С невесткой что-нибудь? Несчастный ты, Молдообраим!» В дверь выглянула перепуганная Калыча.

— Выйди-ка! — позвала она мужа.

У Молдообраима сердце упало от страха, он еле встал и пошел к двери.

В темноте ничего не было видно.

— Кто тут? — спросил он.

— Это я, Асанбек, — ответил детский голосок.

Молдообраим узнал по голосу братишку Бубукан, а когда подошел поближе, то различил и свою кобылу.

— Откуда ты? — тревожно спросил он, предчувствуя беду.

— Из дома, — ответил мальчик, — у сестры живот заболел, увезли к врачу, отец и мать поехали с ней, мне велели вам сказать...

Мальчик соскочил с лошади, отдал поводок Молдообраиму и быстро зашагал.

— Эй, куда ты? Ночь на дворе! Еще заблудишься! — крикнул Молдообраим, опомнившись.

— Там люди, с ними доеду! — крикнул мальчик не останавливаясь.

Молдообраим растерянно стоял с поводком в руке, затем ввел лошадь во двор.

— Что случилось? — спросил Сулейман Калычу.

— Не знаю, Бубукан, кажется, заболела,— суетясь ответила Калыча.

— Разве она была нездорова?— удивилась Уулкелди. Не успела Калыча ответить, снова показавшись в дверях Молдообраим.

Все вскочили, предчувствуя недоброе.

— Не знал я ничего ядовитее людского языка,— сам с собой заговорил Молдообраим.— Господь каждого создал по-разному, каждому дал свой поров. Одного сделал языкастым, другого молчаливым и застенчивым, одного — хорошим, другого — дурным. Одна женщина тоскует по снохе, другая выгоняет свою сноху из дому и в пропасть толкает.

— Господи, уж не помешался ли?— растерялась Калыча и спряталась за Уулкелди.

— Да, я помешался! Кому же, как не мне, помешаться?— вне себя от злости Молдообраим подбежал к Калыче, но, вспомнив, что у них гости, с трудом сдержал себя и спокойно продолжал:— Вы поешьте и укладывайтесь спать. Я поехал к доктору. Не приведи господи опозориться на старости лет!— Сорвав с гвоздя плеть, он вышел.

## 6

— Что так сильно расстроился Молдоке? Разве Бубукан опасно больна?— спросил Сулейман. Они с Уулкелди были удивлены растерянным и смущенным видом хозяев.

— Называем снохой, а что с нашей снохой происходит, понять не можем...— начала Калыча. Ей хотелось позлословить, но она не знала, как это полочнее сделать.— Не то больная, не то тяжелая, не поймешь, ходит надувшись и молчит. Сегодня уехала было к родителям, но, видно, живот схватило, повезли к доктору.

И Сулейман, и Уулкелди промолчали. «Что за све-кровь,— подумала про себя Уулкелди.— Распускала больно язык, как говорил Молдоке, Бубукан и замкнулась. Вместо того чтобы рассказать о своем положении, молчала и копила в себе...»

— Всякое бывает в жизни,— глухо кашлянул Сулейман.

Калыча считала себя безупречной. Что бы ни говорила, всегда чувствовала себя правой. Таким людям лучше не

попадаться на язык, они уверены, что никогда не ошибаются, и никогда не признают за собой вины. О праве Калычи впали все, не только свои айльчане, но и дальние, вроде Сулеймана с Уулкелди. Всем было известно, каково приходится Бубукан в доме Калычи, но никто не смел и заикнуться об этом. Даже сам Молдообраим, чтобы «со старухой не спорить», закрывал глаза и старался помалкивать.

Молдообраим вернулся под утро. Измученный, будто кто в самом деле побил его, не в силах пальцем пошевелить, он кое-как привязал лошадь и, пошатываясь как пьяный, вошел в дом.

— Ну как, Молдоке, все ли хорошо? — разом спросили его Сулейман и Уулкелди.

— Все хорошо, слава богу, — еле ворочая языком, ответил Молдообраим. — С внуком мы.

— С внуком? — закричал Сулейман. — Почему же суюнчи не просишь? Уулкелди, скорее поздравь Калычу, а не даст суюнчи, возьми вот этот ширдак<sup>1</sup>.

— Поправилась бы теперь поскорее бедная Бубукап... — устало проговорил Молдообраим. — Страшно мучилась, говорят врачи, даже сознание теряла. До самого утра мы не отходили от окна. Ребенок весь синий и не мог кричать. Лишь когда пошлепали, заплакал. Только тогда и вздохнули мы.

Послышался голос Калычи:

— Ба-тюш-ки, родила? Тяжелая, значит, была?

— Потому и родила, джене, что была тяжелая. От радости память, что ли, отшибло, давай же суюнчу! — сказала Уулкелди.

— Совсем был незаметен живот, значит, приبلудный! — опять раздался визгливый голос Калычи. В этом голосе слышались откровенная злоба и ненависть. — Какую тебе суюнчу за приبلудного ребенка? Пусть Мамбе-таалы с Молдообраимом дадут! — кричала она и вдруг замолчала, видно сообразив, что ведет себя неприлично.

— Кому, как не матери, знать, был у снохи живот или нет? Нечего отнекиваться, давай неси свою суюнчу. Первенец, да еще сын, не то что овцу, а коня можете зарезать; но отмахивайся, выкладывай положенное, не то сама шир-

<sup>1</sup> Ш и р д а к — орнаментированный войлочный ковер.

дак возьму с постели и убегу,— весело требовала Уулкелди.

— Торгуются... — затряся от смеха Сулейман.

— Эй, Уулкелди, иди сюда, не спорь с ней. Вы счастье принесли в мой дом, невестка моя благополучно разрешилась, сам дам суюнчу,— крикнул Молдообраим.

— За этого негодника такой ширдак давать? Тряпок каких-нибудь и то достаточно! — идя за Уулкелди, вынуждена была пошутить Калыча. Но глаза ее говорили: «Приблудный и есть приблудный, сам давай, если хочешь, а мне нечего давать за приблудного ребенка, ширдак у меня один».

Молдообраим протянул Уулкелди сто рублей.

— Мало, Молдоке, мало, джигит прибавился в вашем доме, а вы всего сто рублей даете? Бери, Уулкелди, тот ширдак! — громко воскликнул Сулейман.

— Сто рублей от Молдоке достаточно, ведь я еще ширдак возьму у джене,— заявила Уулкелди и решительно направилась к сложенной постели.

Калыча засуетилась и, будто в самом деле пытались отнять ширдак, подбежала к сложенной постели и заслонила собой.

— Когда вы, богатые, не можете отдать ширдак, то я откуда возьму? Для Айны его делала, Айна будет плакать.

— Оставь ее, и нам надо дать суюнчу. Не Молдоке ли сообщил нам первый радостную весть, ему и суюнчу,— прими от нас ягненка,— сказал Сулейман.

— И имя придумывать внуку не нужно,— радостно улыбаясь, сообщил Молдообраим.— Сам Болотбек оставил ему имя.

— И-я,— воскликнул Сулейман,— как же он назвал? Теперешние дети — они такие. Раньше мы не то что имя давать своему ребенку, домой заходить не смели, когда жена рожала. Аксакалы сами знали, какое имя дать.

Калыча вытаращила глаза и что-то забормотала про себя.

— Он сказал: «Раз я в пути нахожусь, значит, назови, если будет сын, Сапарбеком, если дочь — Сапаркан».

— Вот хорошо. Пусть воля Болотбека исполнится,— сказал Сулейман.

— Ай какая радость, ширдака, что ли, жалко. Да благословит господь моих детей,— сказала Калыча и заплака-

ла.— Что значит ширдак, когда такая большая радость. Бери, бери, Уулкелди, Айна еще маленькая, буду жива, другой сделаю...

— Вот это правильно, с нас этих слов достаточно и ширдака не надо,— сказал Сулейман, обрадовавшись тому, что Калыча вдруг смягчилась.— Теперь ты, Уулкелди, дай шерсти на два ширдака или сама сделай ширдак для Айны. Вот какая широкая душа у Калычи, пусть дети твои будут здоровы, пусть твое благополучие растет, джене. Мы довольны тобой, за ширдак спасибо тебе.

— Нет, нет, берите, вы счастье нам принесли, бери, бери, пожалуйста, Уулкелди,— сказала Калыча, вытащила с яркими цветами ширдак и положила возле Уулкелди. Раз Болотбек сам выбрал имя для своего будущего ребенка, Калыча уже не сомневалась в том, что внук не прибудный и что Мамбетаалы тут ни при чем. Уулкелди и Сулейман были рады тому, что принесли счастье в этот дом, что оказались вдруг с деньгами и с ширдаком. Но больше всех радовался Молдообраим, потому что скандал с женой и сплетня о Мамбетаалы сами собой улеглись, и он теперь не стыдись может смотреть людям в глаза.

## 7

Чотур, как и каждый год, перекочевал с табуном на джайлоо Кок-Ойрок. Дом и огород, где он посадил картофель и кукурузу, остались без присмотра. Просить кого-нибудь из родственников он не стал, а решил перевезти в свой кишлак Айдайкан. Чем изнывать летом в душном городе, пусть лучше едут в аил, и за огородом присмотрят, и отдохнут на природе, поедят кукурузных початков, потрясут яблук в саду, попьют коровьего молока. Паек свой она может получать и в районной лавке, но и без пайка не будут голодать, даже кумыс можно привозить им иногда.

Вслед за Айдайкан в аил приехала на каникулы Бермет. И приехала-то она ради Айдакан, чтобы не оставлять джене одну, помочь ей по огороду, по дому, побыть с детьми.

Вдвоем они полили огород, пропололи, окучили картошку и кукурузу. Дети целыми днями бегали в саду, по-свежели, поправились. Бермет загорела на солнце, а ему-

глая от природы Айдайкан совсем потемнела и повеселела. На обеих здоровый воздух подействовал благотворно.

В середине июля с джайлоо приехали Чотур, Асан и Сырга. Асан был соседом Чотура, и они в тот же день встретились с Айдайкан и Бермет. Сырга выглядела неважно — осунувшаяся, печальная, совсем не та хохотушка, какую Бермет в прошлом году видела на джайлоо. Догадавшись о причине такой перемены, Бермет не стала ее расспрашивать.

— Ладно уж Айдайкан, а Бермет-то как почернела! — весело заметил Асан.

— Айдайкан и вовсе черномазой стала, — поддержал его Чотур, лаская не отходивших от него детей. — Соскучились, видать, милые вы мои, хорошие вы мои, — приговаривал он.

— Отвыкла я от черной работы, а ныне запряг меня папа, — смеялась Бермет. — Зато поработаешь, спитесь крепко и аппетит хороший.

— Здесь все поближе к Сарыгулу, — зашептала ей на ухо Сырга. Бермет больно ущипнула ее.

Когда поели вареного мяса, попили кумысу, Асан сказал:

— Вечером к нам приходите.

— Повестка, что ли, пришла дяде? — спросила Бермет отца, когда Асан с Сыргой ушли к себе.

— Пришла, — озабоченно подтвердил Чотур, — уезжает он. Сырга совсем растерялась. Молода еще, боится одна остаться с детьми. Нет писем от Турганбая? — держа на руках Розу, Чотур посмотрел на Айдайкан.

— Перед самым отъездом сюда получила. Пишет, что жив-здоров, пока сидят в запасе... Муктар, приведи коро-ву, вечереет уже, а я за бычком схожу.

Когда Айдайкан вышла, Чотур повернулся к дочери и стал смотреть на нее, будто хотел спросить: «Скажи мне правду, что с ним, тебе-то он правду пишет».

— Дядя и в самом деле пока не в бою, но отправляют их в Сталинград, а в Сталинграде, пишет он, сами знаете, что творится. Еще просит, чтобы Айдайкан взяли в аил, в городе ей одной с детьми будет трудно. Я уже ответила ему. Теперь письма будут приходиться сюда, — сказала Бермет.

— Видно, многих из аила призвали. И Сулейман ездил в Бронзу, проводил своего Шаршена. Мы не смогли

поехать, далеко. Бедняжку сразу после десятого класса забрали.— Чотур знал, что дочь переписывается с Кыдырбеком, но не посмел спросить о нем. От Молдоибраима он слышал, что и Сарыгул крутится возле Бермет. Чотур не был против того, чтобы дочь вышла за Кыдырбека, хотя в душе и не очень одобрял этот выбор. Но когда услышал о Сарыгуле, решил, лучше уж Кыдырбек, чем этот негодий, и все думал, через кого бы узнать о намерениях Бермет. Говоря о брате Кыдырбека, он внимательно следил за дочерью, но по ее виду так и не смог ничего понять.

— Они заезжали в аил,— спокойно сказала Бермет.

— Получают ли письма от сына? Дома ли байбиче?

— Получают. Мама Шааркан была здесь, на днях с ребятами уехала в горы. Говорят, волосы на себе рвала, когда провожали Шаршена,— сочувственно рассказывала Бермет, как о самых близких людях.

— На то она и мама,— утвердительно кивнул Чотур.— Уулкелди никогда не возилась с детьми; Шааркан, бедная, за ними ухаживала, Шааркан их растила. Зато и дети не отходят от своей большой мамы, от Шааркан.

— Говорят, что Шааркан с Уулкелди очень дружно живут, правда это, папа? — спросила Бермет.

— Правда, дочка, как сестры родные, живут. Мало ли сестер не уживаются друг с другом, а эти — просто чудо.— Чотур показалось не случайным, что дочь так интересуется семьей Сулеймана.

— Когда уезжает дядя Асан?

— Завтра в район едут. Измучается она с малышами,— вздохнул Чотур, сам уже не разбирая, кого ему больше жалко, Сыргу или свою невестку.

— Конечно, нелегко ей. Но у Сырги-джене все же отец и мать да свекор со свекровью, а у Айдайкан-джене никого, кроме нас,— участливо сказала Бермет.

— Э-э, дочка, сейчас куда ни глянешь, всюду мамаева могила! Кому теперь легко?

— Сколько хочешь таких, отец, возьми хотя бы этого... нашего ветеринара...— спохватившись, что проговорила, Бермет замолчала.

Заметив, что Бермет покраснела, отец незаметно отвел глаза и вышел из юрты. «Неужели отец не слышал, что Сарыгул приезжал в Пржевальск не по делам, а ради меня? Не может быть, об этом, наверное, все уже знают. Ну и

пусть, пусть знают. Чего мне стыдиться, будто я в чем виновата?» — успокаивала себя Бермет.

— Ну, женушка, приготовь побольше угощения, посидим с народом, погуляем на славу, — говорил в соседнем дворе Асан своей Сырге. — Друзья придут, надо весело встречать их, только плохой человек хмурится при гостях. Не плачь, ну, не плачь же! Вспомню, как ты плакала, руки ослабнут, винтовку выроню, и тогда... тогда убьют меня немцы. Я же хороший артиллерист, даром, что ли, два года служил! Из пушки буду крошить врагов, а сегодня буду петь... Помнишь, как я здорово пел, когда беркутом налетел и увез тебя?

— Когда ты пел?

— Как когда? Я рта не закрывал, так заливался.

— Ты уж скажешь, бедненький ты мой.

— Не называй меня бедненьким, так только о мертвых говорят.

— Мертвый или живой, о хорошем человеке так говорят.

— А я лучший из лучших, верно ведь, женушка?

— Ну, расхвастался. Сейчас ты мне кажешься хорошим.

— Ну, поцелуй же тогда...

Сырга обнял его и молча заплакала. Асан гладил и целовал ее волосы. Так они стояли, вложив в это прощальное объятие всю свою любовь.

— Сыргаджан, как это пел тот кудрявый джигит из города? Напомни-ка мне, — попросил он, не выпуская Сыргу из объятий.

— Не хочется, а то опять буду плакать, — ответила Сырга, теснее прижимаясь к мужу.

— Ну, спой же, Сырга.

— Не буду, не буду!

— Ну вот, сам вспомнил, сейчас спою.

Ах, были когда-то же, были  
Одни мы с любимой, одни.  
Зачем же вы нас разлучили?  
Пришли мои черные дни.

— Не пой эту песню! Не хочу с тобой разлучаться. Не расстанусь с тобой, не расстанусь! — и Сырга расплакалась.

— Перестал, перестал, сестричка моя, женушка моя,

сегодня свою буду песню петь, хорошо? И ты споешь, вместе споем. Ну, не плачь, я в лавку схожу.— Он поднял Сыргу, как ребенка, и снова поставил на землю. «Ну и дурачь же, и чего я вспомнил эту давнюю песню о разлуке! Нехорошо получилось»,— ругал себя Асан, шагая по улице.

Вечером начали собираться гости. Были среди них и иваные, и незваные. В аиле стало обычаем: когда уходил кто-нибудь в армию, собирались у него всем аилом. Кто даст свое благословение, кто денег на дорогу, кто еды принесет, иные просто попрощаются и пожелают счастливого пути. Обычай этот и для отъезжающих, и для остающихся все-таки был утешением. Хотя слезы при прощании неминуемы, они перебивались шуткой, смехом, и проводы на войну становились каким-то особым, печальным торжеством.

«Надо хорошо проводить защитников родины»,— думал каждый и был щедр к отъезжающим. Многие приходили со своим вином и кумысом.

Проводить веселого, трудолюбивого, добродушного Асана без всякого зова собрались все жители аила.

Сырга решила рассадить сверстников Асана в своем доме, аксакалов почтить — в доме свекра. В обоих домах, а они стояли рядом, расстелили на пол кошмы и ширдаки. Пока шли приготовления к пиршеству, гости собирались в саду Чотура, пили кумыс, неторопливо обменивались новостями. Наступали сумерки.

— Кажется, председатель Молдош едет? — сказал Чотур, показав на смутно видневшиеся в сумерках силуэты. — С ним бухгалтер Конкош, что ли? А те двое, видимо, Сулейман и Уулкелди.

Отец Асана Нуралы, старик с белоснежной острой бородкой и открытым лицом, кликнул сыновей-подростков:

— Эй, Джангазы, Муса! Эй вы, солдаты, примите коней у тех аксакалов.

Дети отвели коней к загону в конце двора Чотура, привязали к ограде.

— Если кто идет к Нуралы, коня к моей ограде привязывает,— посмеялся Чотур.

— Всегда ты сбиваешь людей с толку,— засмеялся Нуралы.— Ну что ж, аксакалы, пойдемте к нам. Темно уж стало.— Нуралы поднялся. Между домом Нуралы и Асана в очаге пылал огонь.

— В скольких еще очагах погаснет огонь, на кого еще надвинется ночь! О-хо-хо-о, жизнь наша горькая, — вздохнул Чотур и, взяв на руки Розу, вошел к Нуралы.

— Угостили бы лучше, чем пить без нас, — сказал Молдош, поздоровавшись с Чотуром и другими. — В добром ли здравии сами и скот ваш?

— Все пока благополучно, — ответил Чотур. — Не знали мы об отъезде Шаршена, в горах были, ничего не смогли дать ему на дорогу.

— Только что проводили Шаршена, теперь Асан едет. На, Сырга, отдай это Асану, пусть чаю в дороге попьет. — Молдош протянул ей деньги. Вошел улыбающийся Асан.

«Как мой Шаршен, знай улыбается. А ведь дети у него...» — подумал Сулейман.

— Сырга, — сказал Молдош, — Сырга, послушай-ка, пока нет Асана, живи себе с ребятами у отца Нуралы. Живи и не тужи. Вдвоем с Асаном вы порядочно заработали. Хватит не только на тебя — на два дома. Конкоша привел с собой, чтобы Асан сам, своими ушами слышал, сколько причитается. Ты как, Асан, возьмешь денег на дорогу или все отдать Сырге?

— Что мне делать с деньгами на войне? На дорогу у меня есть. Но Сырге деньги выдай сейчас, а не потом. Пообносились она в горах. — Асан с улыбкой посмотрел на Сыргу. — Хочешь платье? Купи и носи на здоровье.

— Не стану я покупать без тебя, сам купи, если хочешь, — ответила Сырга, концом платка вытирая слезы.

— Ну что ж, — сказал Молдош. — Все сейчас не можем выдать. Дадим две тысячи. Сам купишь одежду жене, детям, старикам. Давай, Конкош, считай деньги. А без хлеба не оставим. Будешь работать здесь, Сырга, бороновать пойдешь. Кто знает, сколько еще уйдет джигитов, оставшимся придется крепче держаться друг за друга.

— Спасибо... Ух, и наряжу же я свою Сыргу. Теперь, аксакалы, прошу в дом отца, а здесь мы, молодежь, водку будем пить. Те из бородатых, кто водку пьет и песни поет, пусть тоже остается. — Не переставая улыбаться, Асан пригласил гостей к столу.

— Мне куда, к молодым или старикам? — засмеялся Молдош.

— Председателю воля, хочет быть молодым — он молодой, хочет аксакалом — он аксакал, — сказал Сулейман.

— На угощение напрашиваешься, бай?

— Не напрашиваюсь. Но раз тут будет водка, оставайся уж с молодыми,— сказал Сулейман.

Сырга протянула Асану полный стакан водки.

— Начинай, Асаке, петь.

— Нет, пусть сама споет, с песней подаст,— зашумели гости.

Сырга стыдливо прикрыла рот рукой и начала вспоминать, она долго сидела так и ничего не вспомнила. Гости хлопали в ладоши, подзадоривали. Сырга еще немного подумала и начала импровизировать:

В еловом лесу следы кабана,  
Это враги надвигаются тучей.  
Не плачь обо мне, будь тигром могучим,  
Врагам отплати сполна.

— Bravo! У-у-йт! Еще, еще! — закричали гости.

Не зная, что еще придумать, Сырга смущенно закрыла лицо руками, потом снова запела:

Звезды погасли, скрылась луна,  
И заря занялась золотая.  
Мой сверстник, веселый джигит мой и муж,  
В путь отправляется дальний.

Шумит на джайлоо трава,  
И ветер над нею холодный.  
Врагов победы, отбери их знамена,  
Домой возвращайся веселый.

Слова раздались одобрительные возгласы. Песня попала в самую точку. Красивый, мелодичный голос Сырги тронул всех, слова песни западали каждому в душу.

— Асаке, бери стакан, теперь твоя очередь, не подкачай! — зашумели гости. Асан тоже импровизировал, вложив в песню свои думы:

Милая сверстница, клятву свою не забудь,  
Письма пиши мне, не мучай джигита.  
А я в своем сердце солдатском,  
Как ангела, буду хранить тебя, милая.

Так Асан и Сырга, сами не предполагая, начали соревноваться в песне. Когда двое состязаются, присутствующие не остаются безучастными, подсказывают им, волнуются вместе с ними, будто сами поют. Возбужденные голоса

шумели с каждым куплетом все громче и дружнее. Асан продолжал:

Ива, что я посадил, останется,  
Родные мои старики останутся.  
Как бы сарыч<sup>1</sup> не унес  
Такую красотку, как ты!

Возбуждение росло, гости требовали: «Отвечай, Сырга, отвечай!» Сырга не заставила себя упрашивать и, подумав немного, запела:

Если не будет ива твоя чинарой моей, опорой,  
Можешь тогда не глядеть на меня.  
А хищный сарыч вместе с ястребом  
Пусть унесут только горе твое.  
Джайлоо стоит на прохладной горе.  
Не кричи, мой дружок, распугаешь овец.  
Лучше спроси у людей,  
Как я ждала, как любила тебя.  
Крепче теста из белой муки  
Слились мы навеки с тобой.  
Как же могу я забыть тебя  
И опозорить изменой!

— Вот так сказала! Молодец Сырга! — Шумные одобрительные возгласы вырывались на улицу. Гости были довольны пением и долго еще возбужденно шумели.

Развевает холодный ветер  
Голубое платье твое.  
Ах, как растревожила душу  
Печаль молодого джигита.

Из рук в руки переходили стаканы, вспыхивали новые песни, смех и шутки, шумели восторженные голоса. Дом гудел, не переставая, далеко за полночь.

## 8

Уулкелди вышла от Нуралы, чтобы заглянуть в окно асановского дома, поискать среди гостей Бермет и Айдайкан. Состязание там было в самом разгаре. Не найдя тех, кого искала, Уулкелди направилась в дом Чотура. Айдайкан и Бермет, уложив детей, сидели за столом и что-то писали.

---

<sup>1</sup> Сарыч — хищная птица, сходная с ястребом.

— И-и, что же вы не пошли к Асану, не обидится ли? — воскликнула Уулкелди.

— Водки не пьем и пить не мастера, что нам делать на таком шумном сборище? — ответила Айдайкан.

— Вы у меня еще и чаю не пили, — Уулкелди подседа к столу. — Мы со стадом далеко ушли, а мать Шааркан, оказывается, поила вас чаем. Завтра и ко мне приходите, из моих рук отведаете угощения.

— А у нас отец с джайлоо приехал. Заходите с дядей и к нам на чай, — сказала Айдайкан. — Ой, Бермет, ты чего же кумыс не подаешь матери Уулкелди?

— Пила я уже, пила, милые, некуда больше. Расшумелись там старики, голова заболела. — Она пригубила кумыс и поставила на стол. — Я ваш чай постоянно пью, приходите-ка утром ко мне, ведь мы завтра уезжаем в горы. Письма, что ли, ребятам пишете?

— Этой девушке много писем приходит с разных сторон, сидит ломает голову, что ответить, — посмеялась Айдайкан.

— И-и, пусть приходят, пусть приходят, хорошая девушка всегда в почете, — сказала Уулкелди с доброй улыбкой. Бермет сердито посмотрела на Айдайкан. Уулкелди валибовалась красивым умным лицом Бермет. — Не напишешь ли моему Кыдырбеку? — попросила она ее.

«Они все знают, решительно все знают, и о Сарыгуле, и о Кыдырбеке. Возможно, она уже называет меня невесткой... Ах, Джамалкан-эдже, Джамалкан-эдже!.. Как вы посмели говорить мне о Сарыгуле? Ладно еще мне, а то Молдоке рассказали! Хоть бы уж о письме Кыдырбека промолчали! Что вы еще от себя добавили, я не знаю... Ну хорошо, пусть, я не знаю, но вот за кого меня принимает эта женщина? А, пускай принимает за кого хочет. Совесть моя чиста, с меня этого довольно. Никто ни в чем меня не сможет упрекнуть...» — рассуждала Бермет про себя.

С одной стороны, Бермет стеснялась Уулкелди, невольно краснела перед нею, с другой стороны, чувствовала расположение как к матери Кыдырбека. И Сулейман, и Шааркан казались теперь близкими людьми. С чего бы это, из дружбы ли к Кыдырбеку, или здесь другое чувство? «Нет, из дружбы, из одной дружбы!» — твердила Бермет про себя.

— Сейчас писать, мама? — тихим, робким голосом спросила она Уулкелди.

«Спасибо тебе, милая, за «маму»... — растроганно, чуть не плача, подумала Уулкелди.

— Завтра напишем, у меня, после чая, с моих слов все и напишешь ему, да благословит тебя господь, доченька! — Уулкелди концом платка вытерла навернувшиеся на глаза слезы.

Уулкелди и сама могла кое-как нацарапать письмо, но ей хотелось диктовать именно Бермет. Ей было важно, чтобы рукой Бермет было написано письмо. Кыдырбек сразу узнает ее почерк и поймет, что между матерью и Бермет установились теплые отношения. «Хоть ты и не говорил мне, я сама догадалась и, видишь, уже присматриваю за ней. И не только присматриваю, а сблизилась с ней. Теперь я желаю, чтобы вы поскорее сошлись вместе...» — хотелось ей этим письмом сказать сыну.

— А в конце напиши: «По просьбе мамы Шааркан и Уулкелди, с их слов, написала Бермет». Ну, спасибо тебе, милая, — с довольной улыбкой во весь рот говорила на следующую день в своем доме Уулкелди.

— Этого уж не надо писать, мама, — наморщив лоб и просительно улыбаясь, попробовала возразить Бермет.

«Наморщила лоб, как маленький ребенок, ласковая ты моя, хоть бы Кыдырбеку моему досталась...» — Растроганная, она взяла руку Бермет и поцеловала.

— Ну и что с того, ты девушка нашего айла, — ответила она, будто Бермет не понимала ее невинной хитрости. «Чего же ты боишься ставить свое имя под этим письмом, сама-то пишешь ему? Так, так, приласкайся ко мне, привыкай, бог даст, вернется Кыдырбек, не то что рука, а вся будешь моя!..» — загадывая наперед, думала Уулкелди.

В это время послышался громкий топот. «Кто это скачет, словно пьяный?» — не успели подумать, как топот оборвался у самых дверей и кто-то громко спросил:

— Есть кто дома?

— Кто же это, о господи! — С бьющимся сердцем Уулкелди пошла к двери.

— Что, дорогой Мамбет, что случилось? — дрожащими губами спросила Уулкелди.

— Суюнчу, мать Уулкелди, от дяди Кыдырбека приехал человек. Вот они идут. Отец Сулейман, председатель, все идут, — выпалил, захлебываясь радостью, пятнадцатилетний подросток.

С нижнего конца айла ехало пять всадников.

Дрожащими руками Уулкелди вытащила из кармана бумажку и, даже не посмотрев на нее, сунула мальчику. Айдайкан и Бермет сперва не поняли, что там случилось, а когда поняли, вдруг растерялись и побледнели.

— Бермет, Айдайкан, милые вы мои! От Кыдырбека человек приехал, радость-то какая! Расстелите перины! — Всегда медлительная Уулкелди засуетилась, взволнованно забегала по комнате.

Тем временем всадники спешили.

Сулейман и Молдош сняли с лошади мертвенно-бледного солдата и сунули ему в руки лежавшие перед ним на седле костыли. К лошади были приторочены с двух сторон два вещмешка. В новой пилотке, в новой шинели, в поношенных кирзовых сапогах, солдат, осторожно передвигаясь на костылях, вошел в дом. Хоть и не свой сын, а от родного сына приехал. Уулкелди дожидалась его у дверей и, как только солдат перешагнул порог, плеснула на него водой и поцеловала его голову и руку.

Еще никто не приезжал в аил с войны. Получали только похоронки, и никому еще не посчастливилось увидеть живого фронтовика. Поэтому весть о приезде человека с войны мгновенно разнеслась по аилу и вызвала суматоху, к дому Сулеймана со всех сторон потянулись старики, женщины и дети. Они в упор, с любопытством разглядывали солдата, будто перед ними было невиданное чудо.

Солдату было неловко сидеть на полу, поджав ноги, от этого он смущался и, растерянно улыбаясь обступившим его людям, не знал, как и о чем с ними говорить.

— Вы — мама Уулкелди? Или мама Шааркан? — обратился солдат к Уулкелди, догадываясь, что она — одна из матерей Кыдырбека.

— Она мать Уулкелди, — ответил за нее Молдош, — Шааркан в горах, со стадом. А они вчера ездили во Фрунзе, провожали в армию младшего брата Кыдырбека.

— Значит, это и есть дом Кыдырбека? — Солдат уже начал привыкать к чужим людям, заговорил смелее. — Значит, и Шаршен, брат Кыдырбека, ушел в армию? Мы об этом еще не знали, — сказал он.

— Да он всех нас знает по именам, вот это товарищ так товарищ! Уулкелди, иди же, ставь самовар, — засуетился Сулейман.

— Сиди себе, — остановила ее присевшая на пороге молодуха с ребенком, — Бермет с Айдайкан уже поставили.

— И-и, герой... — произнес Сулейман, тоже еще не зная, с чего начать разговор.

— Какой он бледный, краше в гроб кладут, — вздохнула одна.

— Бедненький... — пожалела другая.

Женщины тихо переговаривались и вздыхали. Будто увиделись со своими сыновьями, братьями, мужьями. Они с тоской и состраданием глядели на солдата.

Солдат вытер лицо платком, вытанил из кармана сложенное треугольником письмо и протянул Сулейману. Сулейман взял письмо, провел им по глазам и отдал Молдошу. Молдош развернул письмо, молча пробежал глазами, посмотрев на людей, с жадным любопытством уставившихся на него, начал читать вслух:

— «Дорогие старшая мама, младшая мама, уважаемый отец, Шаршен и ребята... — Молдош читал с выражением, нараспев, местами повышая и понижая голос, торжественным и несколько печальным тоном. В полном молчании люди слушали письмо, будто старались запомнить каждое слово. — Сражающийся на кровавом поле битвы с озверелыми немецкими фашистами сын ваш Кыдырбек шлет вам сердечный привет. Как вы живы-здоровы, да минуют вас несчастья! Я же после ранения все еще лежу в госпитале. Я вам писал уже об этом, наверное, получили. Теперь почти поправился, начал ходить. Не беспокойтесь обо мне. Уезжает домой наш иссык-кульский джигит Абылкасым. Примите его хорошо, угостите, он мой товарищ. Посылаю вам кое-что, Абылкасым передаст. Абылкасым мастер поговорить и шутник. Здесь, в госпитале, он не давал нам скучать. Не унывайте, будьте твердыми. Если опустите руки, кто же позаботится о нас, фронтовиках? Кто поматерински поддержит нас? И за кого же нам тогда воевать, за кого идти в огонь, проливать свою кровь? Только за вас мы и воюем. Ради вас, ради благополучия родины, не жалея себя, бьемся с врагом. Великой ценой придет к нам победа: если один из нас вернется, то десять останутся лежать на поле боя, десять придут домой, сто не увидят никогда своих близких. Надо заранее быть готовым к этому и набираться мужества. С Турганбаем переписываемся. До свидания, будьте здоровы и мужественны. Передайте всем альчачанам привет. Поцелуйте детей.

Всех обнимаю, всех целую — ваш сын Кыдырбек».

Молдош дочитал письмо и посмотрел на собравшихся. Многие плакали.

— О господи, что с нами будет?

— Десять придут, сто не вернутся, говорит...

— Это же настоящая сеча!

— Дай бог ребятам силы!

— Каким молодцом, однако, стал Кыдырбек!

— Суждено ли нам увидеть сыновей и горсть земли получить из их рук?..

— Ах, если бы так!

— Вы все слышали, мне нечего добавить, не забудьте Кыдырбековы слова,— заключил Молдош.

Уулкелди взяла у Молдоша письмо, поднесла его к плачущим глазам, затем несколько раз поцеловала, будто целовала самого Кыдырбека. Бермет и Айдайкан слушали письмо, прислонясь к косяку наружной двери. Бермет успокаивала вздрагивающую и плачущую Айдайкан, но и сама едва стояла на ногах. Письмо растрогало ее, учащенно и тревожно билось сердце.

## 9

— Аба, принесите, пожалуйста, вещмешок, он там, в тороках,— попросил Абылкасым, когда народ разошелся и дома остались только свои, да еще Молдош и Бермет с Айдайкан (их не отпустила Уулкелди). Сулейман принес вещмешок.— Только и богатства у солдата что еда,— засмеялся Абылкасым.— В моем мешке, кроме хлеба, консервов, белья и мыла, ничего бы и не было. Спасибо Кыдырбеку, тысячу рублей дал, на них и купил подарки жене и детишкам да матери-старушке. Кыдырбек — офицер, он хорошо получает. Взял с книжки все деньги и передал вам, вот они, всего пять тысяч. На будущее, сказал, пришлет вам аттестат. А в этом мешочке подарки, в военторге купил. Уулкелди-апа пусть сама откроет.

— Мы лишь о том мечтаем, чтобы жив-здоров вернулся наш сынок, а он еще о нас заботится! Что я стану делать с такими деньгами? — растерянно сказал Сулейман.

— Не нужны, так отдай мне,— пошутил Молдош.— Твой сын их заработал, вернешь ему к свадьбе. А пока бери, купи своим женам и детям одежду. Если бы еще новость была...— Бермет, не поднимая глаз, разливала чай

и все же почувствовала, что Молдош подмигнул и с улыбкой посмотрел в ее сторону. «Не покраснеть бы только, стыда не оберешься...» — подумала она, но, как ни старалась, краснела все больше и больше. В вещмешке оказались материя на платье и рубашки, водка, мыло и старая одежда самого Кыдырбека.

— Вот и называй его после этого непутевым, — рассмеялся Молдош. — Ты, Сулейман, обижался, когда сына называли так, похоже, что он поумнел. Теперь Шааркан нечего беспокоиться.

— Он сквозь огонь прошел, каким же ему еще стать?

Абылкасым то и дело посматривал на Бермет. Чувствуя его взгляд, Бермет все больше краснела. Когда Молдош сказал: «Вот и называй его непутевым!» — она вспомнила, как называла Кыдырбека про себя «мой сумасброд»; Кыдырбек казался ей сейчас таким дорогим, таким близким, щеки ее горели огнем. Чтобы скрыть это, она незаметно вышла за дверь.

— Что за девушка? — спросил Абылкасым у Молдоша.

— Бермет ее зовут, нашего айла девушка, вот его дочь, — Молдош показал на входившего с громкими приветствиями Чотура. — Ну как, годится она в невесты Кыдырбеку? — спросил он шепотом.

— Это уж вам виднее, — так же тихо ответил Абылкасым. — На вид приятная.

— Уж скажу тогда, говорят, будто Кыдырбек обхаживает ее.

— Мне он ничего не говорил.

— Раз не говорил, значит, еще не решено.

Сообразив, о ком шепчутся Молдош с Абылкасымом, Айдайкан наострила уши, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Сам откуда будешь, братишка? — спросил Чотур после знакомства и обычных традиционных расспросов о здоровье.

— Из приозерных я, с Урукту, — ответил Абылкасым, все еще думая о невесте своего друга, и выжидающе посмотрел на дверь.

— Только что проводили ребят на войну, только что оплакивали их, ты вовремя приехал, сынок, — сказал Сулейман, все еще сжимая в руке узелок с деньгами. — По-едем к нам на джайлоо, мяса поешь, а у Чотура попьешь

кумысу, уж худой ты очень, поправишься немного, а потом уедешь к себе домой. Теперь будем ездить друг к другу в гости, обрадовал ты нас, будто родного сына повидали.

— Вы уж разрешите мне уехать,— сказал Абылкасым, сообразив, что, если он поедет на джайлоо, задержится надолго,— а потом и ноги у меня не зажили, трудно будет верхом.

— Вы не задерживайте парня,— сказал Молдош,— не задерживайте его, он ведь тоже соскучился по своим, нельзя его приневоливать. Однако тебе нельзя уезжать, не повидав старшую мать Кыдырбека Шааркан, джайлоо их недалеко,— обратился он к гостю.— Кыдырбек — старшей матери сынок. А кумыс вы подвезете туда,— поручил он Чотуру.

— Это верно, нельзя мне не повидать маму Шааркан. А вас я уже видел, познакомился, немного приду в себя, стану к вам приезжать,— сказал Абылкасым.— Дружба наша с Кыдырбеком скреплена кровью, нас теперь ничто не разлучит. Были бы живы-здоровы.

— Ты прав, сынок, будем надеяться на лучшее,— сказал Чотур. Остальные одобрительно закивали головами.

В последнее время Бермет стала относиться к Кыдырбеку как-то по-новому. Она часто думала о нем и спорила сама с собой. «Почему я так много стала думать о Кыдырбеке? Я же хотела только не обидеть, когда отвечала на его письма. А теперь что-то другое во мне происходит. О господи! Что же это такое? Нет-нет, это пройдет, это временно. Помни, что Кыдырбек относится к тебе как к сестре, он уже поборол свое увлечение, простил тебе отказ и теперь любит тебя чистой, бескорыстной, братской любовью. Но ты держи обещание, относись к нему хорошо, по-дружески, уважай его чувства, но не пробуждай прежних мечтаний. Помогли ему прийти в себя, успокоиться. Успокоиться? Излечился ли он окончательно? Кто знает! Нет, надо разрубить этот узел. А если я сделаю ему больно? Да и собственная душа противится. Ах, Кыдырбек, Кыдырбек! Что-то со мной происходит неладное. Я тебя оттолкнула, я тебя обидела и теперь сама не своя. Потому ли это, что ты ежедневно рискуешь жизнью и мне страшен этот поединок со смертью? Значит, я просто жалею тебя. Но разве ты такой слабый, такой несчастный, чтобы тебя жалели? Не-ет, не такой, ты

не из несчастеньких. Твоего мужества хватило бы на десятерых... Ни до кого мне не было дела, жила спокойно, а теперь поет и поет сердце, будто какая-то тоска точит его. Что же это значит? Кыдырбек! Что ты со мной делаешь?..»

В открытое окно заглянула полная луна, осветила комнату и лежавшую с открытыми глазами Бермет. Луна царилла в синем безоблачном небе, далеко-далеко уносил Бермет, не давая ей спать, погружая в бесконечные думы. Дети и Айдайкан крепко спали, в задней комнате посапывал отец, одна Бермет не могла уснуть. Дважды прокричали петухи, но она не услышала их, занялась заря, но Бермет и этого не заметила. «Пятнадцать дней месяца бывает светло, пятнадцать дней темно», — так говорят в народе. И при свете луны, во тьме надо жить. При свете найти свой путь, а в темноте не сбиться с пути, не споткнуться. Но как этого добиться? Как человек находит свою правильную тропу? Жизнь надо начинать с первой ступеньки. На каждой ступеньке осмотреться и только тогда идти вперед. Сможем ли мы с Кыдырбеком подняться по этой крутой лестнице? Одна ли у нас с ним дорога, какие у него мечты, какие идеалы — этого я пока не знаю. И он меня не знает. Значит, незачем спешить, незачем стараться опережать события. Надо одолеть первую ступень — учебу. А потом, потом... потом остальные ступеньки...»

В третий раз прокричал петух, свет зари упал на лицо Бермет. Она уже спала безмятежным сном младенца.

## 10

Во время летнего наступления немцев в одном из боев в донских степях Мырзабек Айтбаев был ранен и в конце ноября приехал во Фрунзе. Знакомых смешил его вид: выданная в госпитале маленькая фуражка торчала на самой макушке крупной головы, подчеркивая круглые щеки, большие темные глаза; шинель же для его приземистой плотной фигуры была слишком длинна. Сам он, выпятив пухлые губы, забавно улыбался.

— Похож я на бравого солдата Швейка? — откинув голову, выпрямившись и озорно улыбаясь глазами, спрашивал он. И те, кто читал «Бравого солдата Швейка», и те, кто только слышал про него, смеялись шуткам Мырзабека.

Мырзабека наперебой приглашали в гости. И в гости

он являлся в том же самом военном обмундировании. Пригласила его как-то и старая школьная подруга Асылкан.

Когда Мырзабек пришел, ее уютный, со вкусом обставленный дом был уже полон народу: муж Асылкан — Зулнукар и его приятели Апсамат, Алмас, еще несколько человек. Остальные — женщины, среди них Джамалкан и Чынаркан.

Появился Мырзабек, как всегда, в шинели. Остановился и, по смешливой своей привычке, застыл в напряженной позе, с надутым лицом, вытянутыми губами, улыбнулся при этом одними глазами. При виде его смешной фигуры нельзя было не рассмеяться. Мырзабек испуганно вытаращил глаза и заморгал. Раздался новый взрыв смеха.

— Знаем, что ты был на фронте, сними уж теперь шинель и фуражку, будь как дома, — сказал Зулнукар, не переставая смеяться, при этом его маленькие глаза становились совсем как щелочки.

— А почему я должен снять шинель? Вам кажется странным видеть человека в шинели? У себя дома я даже укрываюсь этой шинелью. Почему я должен ее снять? — Он упрямо стоял, будто и в самом деле не хотел раздеваться.

— Окажите солдату честь, снимите с него шинель и повесьте на спинку возле него, она ему и перина, она и шуба. Иди, Асылджан, займись им, — сказал Апсамат, делая ей знак глазами.

С ослепительной белозубой улыбкой на красивом лице Асылкан плавной походкой подошла к Мырзабеку и тронула пальцем ремень с большой медной пряжкой.

— Я не знаю, как расстегнуть, Мырзаке, — кокетливо сказала она, прямо посмотрев в лицо Мырзабеку. От нее исходил тонкий запах духов...

— Я сам... сейчас сниму, сам сниму, — засмутился Мырзабек. Шинель и фуражку Асылкан унесла в коридор. Поднявшись поверх гимнастерки ремнем, Мырзабек снова застыл на месте и, проследив за вошедшей Асылкан, озорно играя глазами, спросил:

— Еще что снять, Асылджан?

— Мырзабек!.. — Асылкан укоризненно покачала головой.

Гости рассмеялись.

Асылкан мягко взяла Мырзабека под руку.

— Пойдем, сядешь со мной.

В черном закрытом платье с длинными рукавами, белолыцая, с блестящими темными глазами, она была удивительно привлекательна.

— Чего смеетесь? — спросил Мырзабек не моргнув глазом. — Солдат выполняет приказ: скажут раздевайся — раздевается, скажут ложись — ложится. Что мне еще делать?

Не смеялась одна Чынаркан. Качике тоже не шла военная форма, Чынаркан казалось, что эти люди смеются сейчас и над ее Качике, смеются над нею. Они стали ей ненавистны.

Мырзабек с удивлением рассматривал сидевших тут мужчин и женщин. Блестящий буфет, заставленный хрусталем, красивая люстра, мягкая мебель, дорогие ковры на стенах, дорогие костюмы на мужчинах, белоснежные рубашки, яркие галстуки, уверенные движения — все это для Мырзабека было как бы из другого мира. Он сидел теперь среди них и, по своей привычке, смешил этих самодовольных мужчин.

С наполненной рюмкой поднялся Апсамат.

— Мы безгранично рады видеть среди нас нашего молодого талантливое товарища, который пролил кровь за нашу дорогую родину и отдал ей часть своей жизни. Я просил бы, чтобы замечательная хозяйка этого уважаемого дома своей рукой поднесла нашему молодому другу угощение на этом скромном застолье, устроенном в его честь, — сказал он и почему-то прослезился. Этот тост и то, что произнесший его человек стал вдруг грустен и растрогался до слез, сильно подействовали на присутствующих, слабая на слезы Джамалкан заморгала и, быстро вытащив платок, прижала к вздрагивающим губам.

«Дипломат, дипломат! — думал Мырзабек. — Умеет поглаживать людей по большому месту. Но я здесь, похоже, официальный гость».

Мырзабек был трезвого ума. Смеша и смеясь вместе со всеми, он все время наблюдал, оценивал. Мырзабек прекрасно понимал, что и слова, и тон — все в этом человеке фальшиво. Апсамат еще что-то говорил, люди, только что плакавшие от его речи, вдруг рассмеялись.

Плавно покачиваясь, Асылкан внесла чай, хлеб, масло и сладости.

— С продуктами туговато нынче, ничего не поделаешь,

война! — сказала она, улыбаясь Мырзабеку, хотя кушаний и напитков было предостаточно.

Мырзабек промолчал. Молчали и другие гости. Апсамат быстро оценил обстановку, бросился на выручку Асылкан.

— Хоть и мало, но от всей души — так, что ли, хозяйка? — заметил он весело.

Мырзабеку было противно слушать все это.

Он все больше поражался этим беспечным людям, которые хорошо одеваются, жирно едят и, обвиняя во всех трудностях войну, недовольно ворчат у стола, полного яств и напитков.

— Скажите-ка, Мырзабек, мы победим или нет? — улыбаясь, спросил Апджапар.

Вопрос Апджапара, эта улыбочка возмутили Мырзабека. Разгоряченный вином, он хотел осадить Апджапара, но быстро взял себя в руки. Он понимал, что ругаться здесь бесполезно, и поэтому прибег к своему привычному оружию — к смеху.

— Вы победите! — сказал он, стиснув зубы.

— Кто это «вы»? — подозрительно спросил Апджапар.

— Вы — значит вы. Говорите, что туговато с питанием, но сами едите намного лучше ленинградцев и уральских рабочих, у вас жиру на костях много, вот вы и победите.

— Война портит людей, — пытаюсь отшутиться, но внутренне негодуя, сказал Апджапар. — Что вы тут наболтали? В армию не берут по признаку «жирный» или «нежирный». Что же нам, из солидарности перестать есть? Асылкан с Зулнукаром не потому пригласили вас в гости, что им некуда продукты девать. Что вы кичитесь тем, что солдат, победителем себя держите? Вы, что ли, один солдат? Что вы такого совершили, чтобы нас упрекать?

От внезапно вспыхнувшего скандала гости растерялись.

Но Мырзабек сдержанно ответил:

— Ленинград в кольце, голодает, мерзнет, враг хочет сломить Сталинград, занять Волгу и идти в Среднюю Азию, к нам. А у нас всего вдоволь, но нам этого мало. Потому я и сказал про жир на костях. Чем больше вы дадите фронту, тем скорее придет победа, вот что хотел я сказать. Почему же вы обиделись? А что касается лично меня, то я ничего

не совершил. Может быть, я принес меньше пользы, чем тот старый профессор, который вместе с женщинами копал рвы под Москвой.

Все растерянно молчали. Асылкан и Зулнукар попытались переменить разговор, но гости чувствовали себя неловко и скоро стали расходиться по домам.

Мырзабек, Чынаркан и Джамалкан попрощались и вместе вышли на улицу. Была тихая теплая ночь, хлопьями падал снег. Слабо мигали электрические фонари, в их тусклом свете от деревьев ложились густые тени. Там, где не горели фонари, было светло от ослепительно белого снега.

— На улице светлее, чем в доме Асылкан, — заметил Мырзабек.

Чистый воздух освежил и отрезвил его. «И это дом той самой Асылкан, которую всегда уважали за ум, скромность и спокойную сдержанность. Той Асылкан, которой друзья поверяли свои тайны. Отзывчивой, умной и образованной Асылкан. Как могла она выйти замуж за этого человека, как терпит подобных друзей?» — с грустью думал Мырзабек. Он взял обеих женщин под руки.

— Правда ведь, светлее?

— Что вы хотите этим сказать? — спросила Чынаркан, сразу догадавшись, о чем Мырзабек думал.

— Просто свежесть и чистота! — сказал Мырзабек, подставив лицо снежным хлопьям. Они падали из тьмы, будто отрывались от нее, чтобы пробиться к свету. — Какая прелесть! В такую ночь быть вдаль от тухлых разговоров и бродить с дорогим тебе человеком... какое это удовольствие, какое счастье!

Имел ли в виду Мырзабек этих двух женщин, которые шагали с ним рядом, или думал о ком-то другом, Джамалкан не знала. Но в эту минуту ей захотелось быть этим дорогим человеком, но тут же она подумала: а где и что делает ее дорогой человек в эту снежную ночь? И, уже забыв о Мырзабеке, погрузилась в воспоминания.

Чынаркан думала о том, как ей одиноко после отъезда Качике.

— Прелесть, прелесть! — увлеченно повторял Мырзабек. — Когда мы учились, Асылкан была лучшей из девушек. Все восхищались ею, все ее любили. А теперь! Нет уж, подальше от этой компании, душно у них и... скучно. А как вам кажется, джене?

— Если живет в достатке, муж при ней, а вокруг мо-

тыльками вьются такие, как Апсамат, то кому же еще важничать, как не ей, Асылкан? — сказала Чынаркан, по-своему истолковав слова Мырзабека.

— А разве у вас нет мужа? Давно ли уехал Качике, вы его уже со счетов сбросили? — сказал Мырзабек, хотя хорошо понимал, что хотела сказать Чынаркан.

— Но мой Качике не был на них похож, — перебила его Чынаркан, злясь, что из-за своей расхлябанности Качике не смог ей обеспечить такую жизнь, как у Асылкан. — Мой Качике не такой, он открытый, бесхитростный, у него что на душе, то и на языке, не от мира сего человек, а то, разумеется...

— А то бы я их переплюнула, хотите вы сказать? — в свою очередь перебил ее Мырзабек. — Каким был бы тогда ваш круг? Наверное, вашу дверь имели бы право открывать только умные люди?

— А кого мы можем назвать умными? — Чынаркан хотелось высказаться до конца. — Умный человек говорит складно, его и слушать приятно.

— Умеет скрывать свою глупость и важничать... — со смехом вставил Мырзабек.

— Такого сразу видать. — Чынаркан тоже засмеялась. — Но еще не всякий, кто важничает, бывает глуп.

— Он потому и важничает, что считает себя выше других, — Мырзабек снова перебил Чынаркан.

— Зачем человеку непременно нужно чувствовать себя выше других? Каждый себя умным считает, а для чего умному важничать, не понимаю, — искренне призналась молчаливая до сих пор Джамалкан. Мырзабек быстро посмотрел на нее и мягко улыбнулся. Унавшие на лоб волосы покрылись пушистым снегом, придавая ее лицу детское выражение.

— Тот, кто считает себя умнее, сам глуп, — засмеялся Мырзабек. — Мы джене и слова не даем сказать, простите нас, джене, теперь вас слушаем, — повернулся он к Чынаркан.

— Мне уже расхотелось, — сказала Чынаркан, сообразив, что Мырзабек может быть, ее-то и имел в виду в первую очередь, когда говорил о глупости. — Нечего меня слушать. Кому нужен умный, пусть ищет его среди апсаматов и анджанаров, их никто не переплюнет, но я-то и близко не подпустила бы их к своему дому. Да они и сами постеснялись бы ко мне заходить, — нахмутив брови и изменив-

шись в лице, добавила Чынаркан. — Счастье вышло у меня из рук, а то бы...

Мырзабек понял, что означало «а то бы»: если бы был жив ее старый муж или сейчас вместо Качике был бы другой, тогда... тогда Чынаркан вытирала бы свою дверь полкой аджапаров! «Бедный Качике! — подумал Мырзабек. — Не видать ему счастья с этой женщиной! И как он попался!..»

11

«Почему мой дом, мой круг не такой, как у Асылкан? — со злостью думала Чынаркан, лежа в постели. — Почему? Кто Асылкан и кто я? Асылкан еще недавно была сопливой девчонкой. А теперь отъелась на мужнины деньги и важничает передо мной. Мырзабек опозорил их сегодня. Я бы не вынесла такого позора. Почему же, почему? — спрашивала себя Чынаркан. — Почему судьба повернулась ко мне спиной? Кем я была и кем стала? Куда девалось мое счастье? Мое благополучие? Мои наряды? Где почет, которым я была окружена? О судьба! Ты меня, такую гордую, унизила. И я теперь стыжусь. Кого же? Асылкан, тех, для кого дом мой был недоступен, — Апсамата, Зулнукара, Аджапара. Даже таких мальчишек, как Мырзабек! А какой у меня был дом! Какие красавцы, какие замечательные люди влюблялись в меня и ходили под моими окнами. Сколько их валялось у моих ног! О, если бы жив был мой умный, все на свете знавший, мой покойный муж. А теперь... О, судьба моя! Такому, как Качике, досталась. Слабовольному недотепа. Неплохой, конечно, человек, но куда поведешь, туда и пойдет. А если заупрямится? Если отвернется и уйдет? Он не любит меня. И не может любить. Это я хорошо знаю. Если вернется с войны живым, бросит меня. Только из-за дочери и пишет письма. Дочь! Зачем она мне нужна, его дочь? Видеть ее не хочу. Неприятная, негодная девчонка. Не любит меня, а пазывает мамой. Язык бы ей отрезала. Бывают же такие несимпатичные дети! А сам? Сам красивый. Самого люблю. Но судьба не присудила мне его. А раз так, дай бог, чтобы не вернулся. Хоть бы не вернулся, хоть бы не вернулся!.. Чтоб мне не видеть его никогда.

А вдруг Качике мой не бросит меня? Если бы Качике вернулся ко мне, радостный, счастливый, и чтобы дом мой стал богатым, известным, и я могла бы ходить гордая, высоко подняв голову, а Асылкан и Апсамат никли бы при

встрече со мной, а я небрежным кивком головы отвечала бы на их приветствия, уж я отомстила бы им. О, придет ли такой день? Нет, с Качике я этого не добьюсь, напротив, еще ниже упаду. Ах, почему я приблизила к себе Качике? Я же мечтала совсем о другом. Я хотела сделать из него человека, чтобы он принадлежал мне одной. Хотела на свой манер, по-своему построить жизнь. Если бы он меня слушался, если бы пошел моей дорогой, человеком бы стал, положение бы завоевал. Не получилось. И, видно, не получится. Так пусть лучше не вернется... Нет, пусть вернется, все равно от меня не сможет уйти. Разве я его не знаю? Все тот же Качике. Поднесу водки, обласкаю, и останется моим рабом. Иногда я плюю с ним обращалась, бранила, ревновала, оскорбляла на людях. Он обижался. Потом сам же с виноватым видом подойдет ко мне. Ссоры всегда начинала я. Каких только слов не наговорю, выбраню, заму-чаю упреками. Как же ему любить меня после этого? Нет, нет, пусть не возвращается, не хочу его видеть. О господи, о мой Качике! Что мне делать? Что делать? Как мне жить без тебя? Мой Качике! Дурной мой Качике! Чем мучиться без тебя — живого, лучше буду горевать о твоей смерти, выплачу свое горе и успокоюсь. Ах, Качике, Качике! Не возвращайся лучше, мой Качике, мой нехороший Качике!..»

Утром Чынаркан проснулась с головной болью. Ничего не хотелось делать, не хотелось идти на работу, дом и дети только раздражали, сгннуть бы куда глаза глядят. И на душе, и вокруг, казалось, темная ночь. Дети старались не подходить к ней, а если и подходили, — только ее дети, — то робко, со страхом. В таком настроении Чынаркан на всех начинала кричать, не выбирая слов...

Она еще лежала в постели, хмурая, мрачная, как вдруг из передней комнаты раздались радостные детские крики:

— Письмо! Письмо!

— Давай сюда! Чучело! — закричала лежавшая на кровати девочка постарше. (Это была избалованная, любимая дочь Чынаркан, а та, кого она называла Чучелом, была дочерью Качике, они разговаривали между собой по-русски.)

— Я маме отдам.

— Сама отдам, Чучело! Она не твоя мама, она моя.

Маленькая замолчала. Старшая, смуглолицая, как мать, высокая, худая, вскочила с кровати и в рубашке бросилась

к Чынаркан, малышка — за ней. Положила на подушку письмо и сразу вышла из комнаты.

Чынаркан молча посмотрела на маленькую дочь Качике, вспомнила, что сама как-то назвала ее Чучелом, а имя ее было Кайырбубу. Чынаркан не нравилось, что вслед за ней и дети начали называть девочку Чучелом, но в эту минуту она как на черта смотрела на дочь Качике. «Если Качике вернется, весь скандал выйдет из-за этой дочери, а если бы ее не было, ничего бы не случилось,— подумала Чынаркан.— Ах, Чучело, Чучело! Ты — колючка в моем глазу. Если бы не ты, Качике умер бы спокойно, не переживая, что дочь остается у мачехи. Если Качике не вернется, что я с тобой стану делать? Лишний груз на моей шее. Отдать в интернат — людей стыдно. Приедут родные, родным отдам. Но есть ли среди них порядочные? У такого пустого человека и родных-то не бывает, а если и бывают, то шалопаи какие-нибудь. Надо почитать, что он там пишет». Чынаркан распечатала конверт.

Качике писал часто, поэтому письма его почти всегда походили одно на другое, они утомляли Чынаркан. Качике хотел в них сказать о том, что его заботило, однако не смел об этом говорить, но все равно было ясно, что он хотел сказать, и это раздражало. Да, его ласковые письма, по которым казалось, будто он тосковал по дому, по жене, только раздражали Чынаркан. «Угодить хочет, ради дочери угождает, ложь все это», — думала она. Если бы Качике реже писал, был грубее, то, может быть, Чынаркан сама больше бы писала ему, сама бы старалась угодить. Ласковость Качике казалась подозрительной, лицемерной и поэтому злила. И Чынаркан была недалеко от истины. Он действительно боялся, что жена будет вымещать зло на падчерице и бедной малютке придется еще горше.

Чынаркан прежде всего удивилась краткости письма и тому, что в нем почти не было привычных ласковых слов. Теперь она обиделась именно на это.

«Получил твое последнее письмо (мы были тогда в лесу). Представил себе всю эту картину и тоже расстроился. Не обижайся на них, будь выше этого. Вся тяжесть наших дней легла сейчас на плечи таких женщин, как ты, вы должны быть сегодня опорой жизни. Все теперь делается вашими руками. У тебя есть своя гордость. Ты никому не обязана. Не завидуй временному благополучию других людей. Наша жизнь впереди. Может быть, они еще позави-

дуют нам. Поэтому ты не расстраивайся. И меня не расстраивай. Скоро мы вступим в бой. Будь здорова. Всего хорошего и тебе и ребятам. Всех обнимаю и целую. Качике».

Письмо вывело ее из себя. «Если я опора жизни, почему ты еще обманываешь меня, говоришь, будто у нас все впереди. Все это ложь, лесть, к которой ты прибегаешь ради дочери! — Чынаркан лежала, злясь на Качике, и вдруг ее удивило другое. — Разве таким бывает письмо человека, идущего на смерть? Где тот жалкий, виноватый перед всеми Качике? Как за такое короткое время это безвольное, печальное существо могло неузнаваемо измениться? Это же совсем другой, мужественный человек. Нет, нет, это не Качике. Что с ним случилось? В трудностях войны смог родиться заново, стать другим? Нет, нет, это опять ложь. Качике только хочет показать себя сильным. Ну, а если это правда?..»

В соседней комнате послышались тихие, приглушенные рыдания Кайырбубу. Чынаркан прислушалась, узнала злой голос своей дочери Гульнар: «Молчи, убью!»

Чынаркан надела халат, вышла в переднюю комнату. Увидела неубранную кровать дочери, на полу свернутый матрац Кайырбубу. Из коридора доносились голоса девочек. Чынаркан заглянула туда. Гульнар обхватила Кайырбубу за плечи и пыталась пригнуть ее голову к стоявшему на полу пустому ведру, а Кайырбубу сопротивлялась и горько плакала.

— Что вы здесь делаете, с утра не даете покоя!

— Мама, Чучело не хочет идти за водой, — сказала Гульнар с невинным видом и отпустила Кайырбубу.

— Ботинки порвались, мама, — маленькая Кайырбубу вскрикнула.

— Ботинки порвались, но разве твой папа оставил у нас склад ботинок? — закричала Чынаркан. — Иди, принеси воды, не хнычь.

Кайырбубу взяла ведро, размером больше себя, и пошла в мокрых ботинках, продолжая вскрикивать.

— Заткнись, говорю, заткнись сейчас же! — Чынаркан подбежала к девочке, ударила ее по щеке и сильно толкнула. У Кайырбубу зашло дыхание, она покраснела, потом побледнела, стоя на месте, не смея издать ни звука. Чынаркан испуганно уставилась на нее.

В доме Джамалкан громко смеялись, когда вошла Чынаркан. Смешил, как всегда, Мырзабек. Кроме него здесь были Солтонкул с Салимой. Бермет помогала на кухне Марии Петровне. Судачили о перспективах женитьбы Мырзабека.

— Судя по вашим словам, девушки вам не нравятся, как же вы в таком случае женитесь? — спросила Салима.

— Это особый вопрос, нравятся мне девушки или нет, я говорил о женщинах, которых мне приходилось встречать.

— А все-таки, есть у вас кто-нибудь на примете? — спросила Джамалкан, ставя на стол тарелку с едой.

— Боюсь сказать, что есть, — ответил Мырзабек, уставившись на Бермет, которая в это время вошла в комнату.

— Отчего же боитесь сказать? — спросил Солтонкул с улыбкой, проследив за взглядом Мырзабека. — Занята, что ли?

— Именно этого я и боюсь.

— А почему боитесь?

— Пучеглазый да рыжий, как шакал... какая же девушка на меня посмотрит?

— Сколько девушек вам уже отказали? — поддержал шутку Солтонкул.

— Не догадался подсчитать. Только спрошу: «Как я вам кажусь, сестрица?» — сразу же рукой машут и убегают со страху. Могу ли я после этого сказать, что у меня есть кто-то на примете? Какой толк с того, что я скажу «есть», если сами девушки говорят: «Нет!»

— Ну, значит, и она, видать, такая же пучеглазая и рыжая, как вы, — заметила Салима.

— Белая ли, рыжая, или черная, была бы только пучеглазая. Чтобы не могла сказать: «Да увидеть бы мне труп твой, пучеглазый!» Чтобы говорила наоборот: «Мой милый, пучеглазенький», — уже не смеясь и опять взглянув на Бермет, сказал Мырзабек.

После утреннего происшествия Чынаркан сидела мрачная, насупившаяся.

— Что это с вами, Чынаркан-джене, нездоровится или скучаете по Качике и не спите ночами? — пошутил Мырзабек. — Вот они собираются меня женить, джене. Вдруг попадется неподходящий человек, и получится по поговор-

ке: «Тот, кто ищет ощупью, стену бодает». Что вы на это скажете, джене?

Чынаркан поняла, что Мырзабек имеет в виду Качике. Она разозлилась.

— Если джигит еще до женитьбы будет болтать что взбредет в голову, кто же за него пойдет? — сказала Чынаркан, недобро засмеявшись.

— Вот видите, не то что девушкам, а джене не правлюсь, лучше уж не уговаривайте меня, оставим этот вопрос и поговорим о другом, — сказал Мырзабек, поняв, что Чынаркан обиделась не на шутку.

— Дорогие сверстники, — застеснявшись, начала Джамалкан, — дорогие сверстники, мы... мы... все... и те, кто помоложе, и те, кто постарше, в это трудное время мы все стали друзьями и сверстниками. Наш молодой джигит, приехавший с войны, развеселил нас. Нам всем стало хорошо. У меня есть бутылка водки. Разопьем ее за здоровье наших воинов.

— Ты настоящим оратором стала, — засмеялся Солтонкул, — раньше и двух слов связать не могла.

— Зато сказала, что думала, моя молодая джене, — вставил Мырзабек.

— Она называет его молодым джигитом, он ее — молодой джене, дружно у них получается, — заметила Салима.

— Как бы они и в самом деле не спелись, — вставил Солтонкул.

— Ну и что же? — Мырзабек встал. — Что в этом плохого? Одни скрепляют дружбу объятием, ну а если мы рукопожатием ее скрепим, то что в этом плохого? Я выпью за то, чтобы, как говорила Джамалкан-джене, быть нам всем друзьями. — Мырзабек поднял рюмку. — Разопьем же эту единственную бутылку, которую джене приберегла и с такой сердечностью предложила нам, за наших сверстников-фронтовиков, за их победу, — сказал он и первым опорожнил рюмку. — Я знал, что у джене найдется бутылочка, я всегда верю вам, моя молодая джене, — засмеялся Мырзабек.

— Марию Петровну надо позвать, — сказала Джамалкан, зная, что та может обидеться. — Мария Петровна! — крикнула она.

— Я за Женю выпью! — сказала вошедшая Мария Петровна.

— А мы все шли за Женю, — сказал Мырзабек. Мария Петровна пристально посмотрела на раскрасневшееся лицо Мырзабека и спросила:

— Обратю на фронт?

— Возможно, — ответил Мырзабек не очень уверенно.

— Если поедешь, может быть, Женю встретишь?

— Все может быть.

— Если увидишь, передай ему привет от Марии Петровны. — Мария Петровна вышла и заторопилась на кухню.

— Славная у вас старушка. — Мырзабек посмотрел ей вслед и вдруг вспомнил о Бермет, которая незаметно куда-то исчезла. «И породила же природа такую красавицу! — подумал он. — Чья же это белая лебедушка, чья?»

Долго сидели, беседовали и шутили за этой единственной бутылкой водки (подливали больше Мырзабеку). Говорили о войне, о здешней тыловой жизни.

Чынаркан и тут чувствовала себя чужой, сидела молча, угрюмая. Все не могла забыть, как ни за что ни про что обидела дочь Качике. Теперь раскаивалась, что понапрасну набросилась на эту маленькую девочку. Даже здесь, за столом, в ушах ее звучал плач Кайырбубу, перед глазами стояла она в рваном пальтишке и дырявых ботинках. Если бы захотела, у Чынаркан было из чего шить ей пальто, да и на ботинки нашлись бы деньги. Она сама сейчас удивлялась, почему ей не пришлось в голову раньше сделать и то, и другое.

— От Качике есть письма? — спросил Мырзабек.

— Сегодня утром получила, — Чынаркан почему-то смутилась.

Когда заговаривали о Качике, Чынаркан всегда чувствовала себя как-то неловко.

— Прочли бы, если секретов нет, — с улыбкой попросила Джамалкан. Письма с фронта они всегда читали вместе.

Чынаркан порылась в карманах, солгала:

— Дома оставила.

— Напрасно не захватили, мы всегда вместе читаем.

— И очень хорошо делаете, в этих письмах не бывает и следа от домашних ссор, остается только забота друг о друге. Это хорошие письма. Мы на фронте вырывали их друг у друга. Хоть у меня и нет семьи, я получал от товарищей, родных, читал и перечитывал, бережно хранил их и до сих пор храню, — сказал Мырзабек.

«Если бы Качике писал так, чтобы можно было читать посторонним,— подумала про себя Чынаркан.— Его письма не то чтобы читать другим, пересказать стыдно. О чем только он не пишет, всякую чушь несет! А в сегодняшнем и того хуже, будто что-то из себя представляет, меня стал учить уму-разуму. Я при своем уме, в чужом не нуждаюсь, у Качике мне нечему учиться!..»

Чынаркан часто забывала о письмах, которые писала в минуты раздражения. Ей всегда казалось, что ее-то письма всегда умные, толковые. Если Качике пытался ответить на ее раздраженные слова, в следующем письме она еще сильнее набрасывалась на него. Поэтому в последнее время ее раздраженные письма он вообще оставлял без ответа, будто не получал и не читал их. Чынаркан и на это злилась. Злилась, что Качике прикидывается слепым и глупым, и опять ругала его про себя за притворство. Ей хотелось не сглаживать отношения, а доспорить, доказать свою правоту.

Так отношения между этими двумя людьми — один был рядом со смертью, от другой смерть была далека — все обострились.

— Есть у него какие-нибудь новости? — спросил Мырзабек.

— Пишет, что скоро вступят в бой.

— На каком он фронте?

— На Центральном.

— Значит, у Конева? — сказал Мырзабек. — За Сталинград будет драться.

— В Сталинграде бои идут жестокие, — сказал Солтокул.

— Если Москва — сердце, то Сталинград — горло, — подтвердил Мырзабек. — Захватив Сталинград, немцы могут задушить нас. Отрежут Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь и оголят Москву. Средняя Азия тоже станет фронтом.

— Ой, не пугайте, — сказала Джамалкан.

— Я не пугаю, молодая джене! Это правда, — заметил Мырзабек без тени улыбки. — Война действительно становится страшной. С одной стороны турки могут напасть на Среднюю Азию, с другой — японцы на Сибирь. Мы должны быть готовы к любым трудностям, к любым испытаниям.

— Ой, мне страшно, страшно, — сказала Джамалкан, съезжившись, как от ледяной воды.

— Да, время страшное, — согласился Мырзабек.

— Джаманкул знал, что ты трусиха. Но помнишь, что он сказал, уезжая на фронт? — спросил Солтонкул.

— Помню, — ответила Джамалкан. — «У кого есть честь, тот победит или умрет от вражеской пули, у кого нет чести, тот сдастся врагу и будет жить в рабстве...»

— Правильно сказал, — одобрил Мырзабек, — очень правильно...

### 13

Попрощавшись с Джамалкан и с Марией Петровной, Мырзабек пошел вместе с Солтонкулом и Салимой. Ярко светила луна, была тихая, морозная ночь. Переговариваясь, шли они по широкой аллее бульвара Дзержинского. Мырзабека охватило чувство беспричинной радости. Дышалось легко, полной грудью, чистый воздух будто хрустел в его легких, как белый снег под ногами. «Бермет, Бермет... — повторял про себя Мырзабек. — Кто ты? Что ты за человек? С одного взгляда ты покоряешь людей, но кто же ты на самом деле? Я еще раз хочу тебя увидеть...» — мысленно разговаривал он с девушкой, которая после чая вдруг исчезла. Он пытался представить ее, закрывая глаза, но ничего из этого не получалось.

— Что это за девушка была? — спросил он наконец Солтонкула.

— Учится в институте красавица Бермет. А что, уж не влюбился ли?

— В нее можно влюбиться.

— Все в нее влюбляются, — в чистом воздухе прозвучал смех Салимы. — Но только строга! Уже на третьем курсе учится, а все слышу — неприступна. Всех отшивает. И Джамалкан ходит как родственница. — Салима вспомнила свои девичьи годы. Она рассказала Мырзабеку, как не пошла за человека, за которого хотели выдать ее родители, как убежала из отчего дома с Солтонкулом.

— Вот если бы со мной кто убежал, — грустно пошутил Мырзабек: все его мысли и чувства сейчас были с Бермет.

— Может быть, Бермет увезешь? — спросил Солтонкул.

— Не то что увезти, умереть можно возле нее. Видно, давно на нее нашелся хозяин, — сказал Мырзабек, сам испугавшись, как бы его догадка не оказалась верной.

— Как будто бы никого у нее нет, — отозвалась Сали-

ма.— На фронте есть один, из их аила, пишут друг другу, по похоже, что это обычная переписка. Бермет, говорят, ничего ему не обещала; после института собирается оставаться в аспирантуре.

— И сама хороша, и желание хорошее, и учится, видно, хорошо,— сказал Мырзабек, стараясь разузнать о Бермет как можно больше.

— Отлично учится, на физмате,— подтвердил Солтонкул.

— О-о! — воскликнул Мырзабек с удивлением и восхищением.— Если учится хорошо, если джигиту, которому ничего не обещала, пишет на фронт письма, то, должно быть, добрая девушка. Но если она и не давала обещания этому джигиту, с которым переписывается,— не значит, что никогда его не полюбит, если уже не полюбила,— заметил Мырзабек.

— Кто знает, здесь-то она никого к себе не подпускает,— сказала Салима.

— Нам нравятся такие девушки, но, если они нас не подпускают, начинаем их ненавидеть.— Мырзабек хотел засмеяться, но вместо этого вздохнул.

— Наш Мырзабек с первого взгляда присох к ней. Что же теперь делать? — улыбнулась Салима.

— А что тут делать? Будь им джене и познакомь друг с другом,— посоветовал Солтонкул.

— А вдруг скажет: «Видеть не могу этого пучеглазого». Лучше уж я сам поговорю и сам услышу ее ответ,— серьезно сказал Мырзабек.

## 14

Сын Сармысака Абылкасым вернулся после госпиталя в свой аил на берегу озера. Не прошло и трех месяцев, как он стал председателем колхоза. Ох, как нелегко пришлось Абылкасыму! Он искренне обрадовался, когда в аил приехал секретарь райкома Кулов.

Глядя в глаза Абылкасыму, спросил:

— Воевал?

— Воевал,— ответил Абылкасым.

— Так вот, запомни. Народ для тебя что полк солдат перед командиром. Он на тебя смотрит, от тебя ждет перемены. К тому же все эти люди — твои односельчане. Всех

знаешь. Не забывай, что сам был солдатом. Если будешь знать, какая печаль гложет людей, если сумеешь поговорить с ними — они пойдут на все, головой землю будут рыть. Хороший командир добывается своего человечностью, заботой о людях, так вот и работай.— Потом добавил:— А задерешь нос, забудешь о нуждах людей, пеняй на себя, не посмотрим, что фронтовик.

Кулов несколько дней прожил у Абылкасыма. Ненавязчиво, подводя собеседника самого к той или иной мысли, Кулов давал дельные советы, часто вместе с Абылкасымом заходил в дома колхозников, знакомился с семьями фронтовиков, их нуждами и заботами.

Зашли они как-то в школу, и тут выяснилось, что среди колхозников, особенно среди женщин, прошел слух, будто молодых девушек собираются отправлять куда-то. Девушки перестали ходить в школу. Все это рассказала директор школы, молодая учительница Саадат. Она отправилась по домам, уговаривала — не помогло. Матери ссылались на всякие причины: остались, мол, одни старые да малые, пускай девочки помогают по хозяйству. Выдумывали всякую всячину, ставя учителей в тупик. Однако Саадат все же докопалась до истины и теперь пришла советоваться с секретарем райкома, как быть. Она положила перед секретарем список не посещавших школу девочек.

— Абылкасым, а ты слышал об этом? — удивленно спросил секретарь.

— Нет, — ответил Абылкасым.

— А надо бы слышать.— Секретарь рассердился, смуглое лицо его потемнело от гнева.— Ты понимаешь, что это вредные слухи? Очень вредные! Ребят забрали в трудармию, теперь за девушек принялись — вот что это значит. Эти слухи надо рассеять, они только врагу на руку, — сказал Кулов в сердцах, затем уже спокойным голосом обратился к Саадат:— Вы, сестричка, очень верно, очень вовремя заговорили об этом, спасибо вам. Возьмите этот список и ступайте вместе с Абылкасымом из дома в дом, поговорите с людьми по душам, разъясните как следует. О результатах сообщите в районо и в райком. Это опасная шлетня, и, видимо, не только в вашей школе, повсюду она разнеслась. Еще раз спасибо вам, сестричка. Вы случайно не местная? — спросил Кулов с явной симпатией к Саадат.

— Нет.

— Как ваша фамилия?

- Осмонкулова.
- Откуда вы?
- Из Тюпа.
- Что окончили?
- Педучилище.
- Да, маловато.

— Мало. Я еще буду учиться, — сказала Саадат. Не смея взглянуть Кулову в лицо, она опустила глаза. С учебой своей Саадат давно уже как-то запуталась, не могла решить: то ли продолжать, то ли нет. И в конце концов совсем растерялась и охладела к этой мысли. А теперь ей стало стыдно, что она обманывает секретаря райкома. Она стояла молча, не поднимая глаз.

## 15

По натуре своей Саадат была общительной. Со своим открытым нравом она быстро сходилась с людьми, и работа в школе — директорство и учительство — пришлась ей по душе. Саадат быстро перезнакомилась со всеми, и скоро в аиле не осталось не только детей, но и взрослых, которых бы не знала Саадат. Двери любого дома были для нее открыты, в том числе и дом старухи Буурул.

Буурул с детства была болезненной, лечилась у старух и сама скоро получила прозвище старухи, хотя ей было не больше сорока; сейчас она с двумя дочерьми и снохой вела все хозяйство. Муж недавно ушел в трудовую армию, в доме не осталось ни одного мужчины. Когда до Буурул дошли слухи, что девушек забирают в ПЗУ — так она называла ФЗУ, — Буурул стала прятать старшую дочь Шарпат от «постороннего» глаза. Посторонними она считала все глаза, кроме ее собственных, и боялась всякого, кто приходил к ней в дом. Буурул сделалась пугливой как заяц, боялась собственной тени.

Саадат часто бывала в доме Буурул, сблизилась с ней, начала столоваться у нее, а после и совсем перешла жить. Младшая дочь Буурул — Маарипат тоже привязалась к Саадат и не отходила от нее, а вот Шарпат она ни разу не видела. Еще весной старуха отправила ее в горы, к сестре Зийнат, Зийнат-то и привезла весть, что девушек будут забирать куда-то, с плачем рассказала об этом и взяла Шарпат с собой в горы. Когда Саадат, ознакомившись

со школьными списками, стала интересоваться исчезнувшей семиклассницей Шарапат, ей все выболтала маленькая Маарипат, мать об этом и не подозревала. Получив от Кулова задание любыми средствами вернуть девочек в школу, Саадат с помощью Абылкасыма горячо взялась за дело и пачала именно со старухи Буурул.

Вечером, сидя за ужином, Саадат спросила:

— А где Шарапат, тетя Буурул?

— Шарапат? — переспросила Буурул с испуганным видом. — Какая Шарапат?

— Да ваша дочь.

— У меня нет такой дочери, — засмеялась Буурул.

— Как так нет? Шарапат Модокматова числится в седьмом классе, — сказала Саадат.

— Такой дочери у меня нет, — повторила Буурул, будто дразня Саадат.

— Есть, есть, — зачастила Маарипат, — сестру еще весной увезла тетя Алмагул. Говорили, что взрослых девочек заберут в ФЗУ. А что такое ФЗУ? И меня туда возьмут, эдже? Я не поеду...

— Заткнись, балаболка! — попыталась Буурул унять дочку.

— А почему Шарапат отправили, а я тут одна осталась? Как я могу быть одна? Папа в армии, брат в армии! (Сын Буурул тоже был в армии.) Тогда и я уеду в армию. Оставайтесь вдвоем с джене! — не унималась Маарипат.

— В армию, говоришь? И для чего ты нужна там, в армии? Чтоб провалиться тебе, балаболка! — Буурул всерьез испугалась расспросов учительницы.

— Девочки тоже воюют. Я читала о Зое Космодемьянской. Она попала в руки к немцам и умерла. А в ФЗУ я не поеду! — сказала Маарипат.

— Заткнись, говорю! — крикнула мать. — Заткнись! Всякую чепуху читаешь!

— Молодец, Маарипат, почему бы ей и не читать, — вступилась Саадат и тут же решила поговорить с Буурул наедине.

Этой же ночью она вместе с Буурул, Маарипат и Айшой легла спать на дворе. Когда Маарипат уснула, учительница снова заговорила о старшей дочери.

— Почему Шарапат сняли с учебы, скажите мне правду, эдже? — мягко спросила Саадат.

Буурул некоторое время молчала, потом села в постели и заговорила:

— Вот называют ПЗУ. Что это такое? Говорили, что туда их возьмут, потому и спрятала от школы. Кто сказал первый, откуда все пошло, но слух этот принесла мне сестра. Потом и в аиле стали говорить. Испугалась я, что последних своих детей лишусь. Бог пожалел, сестра увезла ее в горы, — сказала Буурул шепотом, будто выдавала Саадат страшную тайну. — А ты почему спрашиваешь о Шаранат? — Буурул относилась к Саадат, как к своей дочери, и учительница была уверена, что уговорит ее.

— Значит, не хотите учить Шаранат?

— Но как? — зашептала Буурул. — Как? Какая учеба в такое время? Пусть пасет лошадей, овец и живет себе. Может, кто и возьмет ее, и заживет она своей жизнью. Ты уж не уговаривай, лучше вот эту балаболку учи. А потом, Шаранат робкая. Все равно до самого верху в учении не доберется.

Помолчали.

— А правда ли, что берут в ПЗУ?

— Ложь.

— Кто тебе сказал?

— Секретарь райкома Кулов сказал.

— Кулов, наверное, схитрил, — сказала Буурул, не веря ни Кулову, ни кому бы то ни было. — Весь народ говорит, что берут. И с Чу берут, и с Рыбачьего, и с Прииссыркуля. Ты разве не слышала?

— Нет, не слышала.

— Еще услышишь, — сказала Буурул, не сомневаясь в своей правоте.

Снова помолчали.

— Эдже, верите вы мне? — спросила Саадат.

— Верю, милая, — сказала Буурул, тронутая вопросом Саадат.

— Если верите, верните Шаранат. Я слышала, Шаранат училась хорошо. Верните Шаранат, эдже. Не берите греха на душу. Послушайте меня. Все эти слухи — пустая болтовня.

— Я испугалась и сказала ей: «Исчезни отсюда», — прошептала Буурул, будто усомнилась в своем поступке.

— А сама-то она согласна была?

— Где там согласна. Плакала, — вздохнув, сказала Буурул.

Саадат на том и закончила разговор. Она поняла, что мать уже раскаивается: напрасно оторвала дочь от учебы и отправила в горы. И учительница решила написать самой Шарарат. Лежала, думала об этом письме и незаметно задремала.

## 16

Жених Саадат учился в институте. Когда медицинская комиссия по призыву в армию начисто забрала его, он вернулся в аил, женился на Саадат и стал работать в торговой сети. Его приглашали в район, он отказался.

Не все получилось, как было задумано. Сговаривались так: Саадат будет работать, Муса учиться, а когда Муса выучится, Саадат поступит в институт. Одним словом, помогая друг другу, оба должны были закончить учебу. За год до окончания института Муса нарушил задуманный план, сделал решительный поворот, как он сам выразился, ушел из института и женился на Саадат. Цель Мусы была простая — не отходить от Саадат. Они слегка даже поспорили по этому случаю.

— Не лучше ли было бы закончить институт, Мусаке, — говорила Саадат, нежно обнимая Мусу. — Закончи учебу... ведь мы же договорились. Помнишь? Я же навсегда твоя.

— Я все помню. Но один человек посоветовал мне не оставлять молодую жену, — ответил Муса, глядя лежавшую на его плече руку Саадат.

— Значит, не веришь мне? — Она смотрела ему в глаза своими веселыми красивыми глазами.

Если Муса уезжал куда-нибудь и хотя бы один день не видел этих блестящих глаз, ямочек на щеках (об этих ямочках киргизы говорят, что у матери при беременности не исполнилось какое-то желание или каприз), когда не видел этих белых зубов и темного пушка на висках, Мусе чудилось, что она уже попала в чьи-то грязные руки. Нет, не может он ответить сразу на этот вопрос: «Значит, не веришь мне?» В эту минуту он терялся, не знал, верит он ей или не верит.

— Давай тогда вместе учиться, — сказал Муса.

— Я согласна. А то у меня получается, как у полумулы. «Полумулла портит религию», — говорят. Теперь надо ждать будущего лета. Поднакопим денег к этому времени,

я всей душой согласна. — Обрадованная Саадат прижалась к нему раскрасневшейся щекой.

Положив голову на грудь Саадат, Муса долго молчал, вдыхая нежный запах. Но и в эти минуты он не забывался в своем счастье, он все думал и думал о том же.

«Мы будем учиться в разных институтах. Может быть, и жить будем в разных местах? Ну хорошо, пусть будем жить вместе... снимем комнату. Хорошо, живем-то вместе, но учимся в разных местах. В разных. Кто не соблазнится Саадат, которая уже стала женщиной? Кто не бросит ей чалму? Споткнется она о чалму не одного, так другого и упадет. Упадет и, может быть, может быть, не сможет встать! Это будет не жизнь, а мучение! И Саадат будет плакать, и я, упустив ее, буду мучиться, отвернемся друг от друга и разойдемся навсегда. Так, что ли? Нет, нет, нет! Я тебя не оставлю одну! Не оставлю, не оставлю!»

«Ты мне не веришь?» — спросил опять ее взгляд.

«Почему я сомневаюсь? Почему не могу ответить на вопрос Саадат, почему мучаюсь и не нахожу себе покоя? Ну что я за человек!..»

— Верю! — ответил он наконец.

Муса крепко обнял жену и поцеловал.

— Верю, — повторил Муса, не в силах оторвать от губ Саадат свои пылающие губы, не в силах унять бьющегося сердца. — Верю, но не отходя от тебя. Ты согласна на это — не отходя от тебя? Не будем разлучаться... если хоть на один день разлучусь с тобой, мне уже кажется, что я на тысячу дней, нет, навсегда, расстался с тобой. От прежнего плапа я отказываюсь. В этом году поживем здесь вместе, а на будущий год поедem учиться. Хоть ненадолго разлучусь с тобой, и уже начинает казаться, что в моем гнезде появился чужой дух...

С грустной улыбкой Муса смотрел ей в глаза.

— Ты верь мне, — сказала Саадат.

Весь этот разговор происходил в доме у Мусы. Дом принадлежал брату, но жила тут мать Мусы с детьми. Брат был на фронте. О замужестве Саадат ни отец с матерью, ни родственники еще не знали. По киргизскому обычаю, тайное замужество или тайная женитьба — грех. Пока молодые не явятся к родителям девушки, ни невеста, ни жених не могут общаться с людьми, они должны ходить словно неприкаянные. Саадат и Муса хорошо знали об этом, но не придали значения, взяли да и поженились. «Потом убла-

готовим», — решили они, по молодости не захотев подчиниться старому закону жизни.

— Дети, почтальон пришел! — крикнула со двора мать Мусы.

Муса выбежал и долго не входил в дом. Саадат осторожно высунула голову. Муса держал в руке какую-то бумагу и разговаривал с матерью. Саадат сразу узнала телеграфный бланк, тихонько подошла к Мусе и незаметно потянула из его рук телеграмму. Муса вздрогнул, хотел было зажать телеграмму в руке, но было уже поздно.

— Похоже, Молдоке болен, тебя зовет, — сказал Муса и отдал ей телеграмму (Муса называл своего тестя по имени).

Сердце у Саадат упало, стыд румянцем залил ее лицо. Ни слова не говоря родителям, потихоньку вышла замуж. С каким лицом появится она перед больным, а может быть, перед умирающим отцом?

Саадат вбежала в дом, бросилась на кровать и разрыдалась.

— Я говорила тебе, сделаем свадьбу... позовем родителей, ты не согласился! — упрекала Саадат, проливая горькие слезы. — Что я теперь буду делать? Как я к ним поеду? С какими глазами явлюсь к ним? С кем поеду? Они меня хлещут, растили, а я их бросила, без разрешения выпла замуж. Зачем я так сделала? Как я теперь посмотрю людям в глаза, лучше умереть! Как мне теперь жить, как быть?

Саадат металась, не зная, что придумать.

Представительная, с белым добрым лицом, седыми волосами, мать Мусы старуха Тенти спокойно вошла в комнату детей, присела молча, потом сказала:

— Без дурного хорошего не бывает... Сами виноваты. Теперь уж нечего плакать. Иди, Муса, беги к Абылкасыму. В такое страшное время все простится. И бог простит. Пригласи одного-двух аксакалов айла, Абылкасыма, и сегодня же отправимся в путь. С божьей помощью сват поправится, той устроим, в худшем случае — буду сидеть у изголовья свата и дам поминальный обед. Плакать будем или смеяться — надо быть возле свата. Была бы кобыла на поводу да деньги в руках. Вставай, собирайся!.. — приказала старуха сыну. — Вставай, Саадат, вставай, детка, готовься!

Саадат перестала плакать, Муса тут же отправился к Абылкасыму.

Абылкасым был дома, он составлял план работ. Люди, поставленные к животноводству, к лекарственному маку, в полеводческие бригады, должны знать свои участки, когда и что им делать. Кроме того, надо было еще выделить людей на строительство дорог к колхозным джайлоо, на строительство зимних помещений на джайлоо, на заготовку бревен для строительства. А людей не хватает. Все, кто способен работать, на фронте, в трудовой армии. Абылкасым сидел, ломая голову, где ему достать людей; пришел почтальон и подал письмо. Не успел прочесть письмо, появился запыхавшийся Муса.

— Дядя Абылкасым... — Муса, торопясь, начал было излагать свою просьбу, но Абылкасым не дал ему говорить.

— Садись сперва, — сказал он.

Муса нахмурился и сел. Медленно, будто боясь, Абылкасым надорвал конверт и стал читать. Письмо было от Кыдырбека. В последнее время Абылкасым получал много писем от своих фронтовых друзей. Но от Кыдырбека это было первое. Уезжая домой, Абылкасым обещал ему часто писать, слать посылки и вообще делать все возможное и невозможное, а вернувшись домой, он написал Кыдырбеку всего одно письмо и чуть не забыл его совсем. «Ну и ну, — Абылкасым стораил со стыда. — Не я ли говорил, что никогда не забуду войны и фронтовых товарищей, — думал он, — никогда, никогда, говорил, не забуду! А теперь... жена и дети рядом, сам сыт. Разжирел и все забыл... Стыд-то какой, позор!»

«Мой сверстник, мой брат Абылкасым, — писал Кыдырбек, — я получил твое письмо. Ты сам знаешь, что значит на фронте и в госпитале письмо... Страшно обрадовался. У меня все хорошо. Только не знаю, где сейчас мои товарищи. А война все страшнее. У всех сейчас на языке Сталинград. Похоже, узел будет развязан здесь. Скоро я двинусь в этом направлении. Свою дивизию потерял, точнее, не имею сведений, где она находится. Где я ее разыщу в такой суматохе? Пошлют куда-нибудь. Ты уж присматривай за моими мамами и отцом.

Был у меня братишка, и он ушел в армию, старикам сейчас, видно, тяжело. Как там у вас? Чем сам занимаешься? Пиши».

«Сдержанно шипит Кыдырбек, видно, обижен,— подумал Абылкасым,— имеет право обижаться, я, дурак, так проштрафился! Сейчас же сяду за письмо, все отложу и напишу, товарищи, которые на фронте, стали мне роднее родных. Ну, чего этот парень прибежал? Зачем он пришел ко мне? погоди, детка, я и тебя запрягу в работу, как бугая!» — погрозил он про себя и повернулся к Мусе.

— Добро пожаловать, мурза! Что прибежал?

Жена Абылкасыма топила плиту, она поставила перед Мусой хлеб и чай. В передней комнате шумели дети, — на улице было холодно. Оттого что Абылкасым не сразу стал разговаривать, Муса рассердился, его задиристый, насмешливый язык зачесался, но посмотрел на Абылкасыма и испугался его сердитого вида. Он покорно рассказал о своей беде. Абылкасым молчал. Муса нахмурился. Снова начал злиться на Абылкасыма.

— А они знают о замужестве Саадат? — спросил Абылкасым наконец.

— Не знают.

— Как же вы тогда поедете?

Муса передал совет матери.

— Да-а... — произнес Абылкасым и снова замолчал.

Муса злым взглядом окинул Абылкасыма и, не получив ответа, вспыхнул.

— Что «да-а»? Специально пришел к тебе, а ты мычишь, как корова. Не хочешь ехать, так прямо и скажи! Поедешь или нет?

— Ты что, с ультиматумом ко мне пришел? Мое дело, поеду или нет, разве я тебе обязан? — спокойно, без обиды ответил Абылкасым. Муса вспыхнул, но сдержал злость. Абылкасым с благодушным видом продолжал смотреть на Мусу. — Комсомолец, — продолжал Абылкасым так же благодушно. — Комсомолец, а поступаешь как тебе взбрет в голову, таким ли должен быть комсомолец? Почему ты не учишься, а занимаешься здесь торговлей? Ты в торговой школе, что ли, обучался? Или раньше торговал? Очень хорошо, что ты сам пришел, давай поговорим, — сказал он и не спеша закурил.

— Я пришел не мораль слушать, — с досадой сказал Муса.

— Не торопись, не торопись, герой, — остановил его Абылкасым. — Не торопись, погоди немного. У меня не

хватает сил читать тебе мораль. У тебя и ума, и знаний больше моего, были товарищами, хоть и не ровесники, не вместе ли ходили к молодухам, помнишь? — Абылкасым уныбнулся.

Муса сидел мрачный, опустив голову и не глядя на Абылкасыма. При этих словах он вдруг усмехнулся.

— Хоть бы джене постыдился!

— А чего мне стыдиться своей джене? Что было, то было. Ну ладно, оставим это... Но твое поведение мне не нравится. Женился, хоть бы собрал по-человечески своих товарищей и устроил той. Ну ладно, не делай тоя, время теперь трудное. Но жену берут на всю жизнь. Кто тебе Саадат, любовница, что ли? Если не народу, то хоть отцу с матерью бы сказал, получил их согласие и уж потом женился, не так ли? Или испугался, что родители калым попросят? Не оказав тестю уважения при жизни, теперь, когда он умирает, кобылу хочешь привести к поминкам? И не один пойдет, а нас поведет, как на оплакивание. Это мать тебя так учит? Раз твоя мать такая умная, почему же она раньше не дала умного совета? Почему же она, соблюдая обычай, не поехала к ним раньше, раз уж вам было стыдно, и не известила, что дети поженились или собираются жениться?

— Об этом мы и сожалеем, и вот пришли к тебе, а ты... Хватит мне нравочений! — Муса направился к двери.

— Пстой, пстой! — Абылкасым тоже встал. — Саадат теперь невестка нашего айла, и не просто невестка, а директор нашей школы, учительница. Вместе должны защищать честь айла. Не станешь же сидеть сложа руки для того лишь, чтобы досадить такому, как ты, ветрогону. Если даже тесть на смертном одре, пади перед ним и получи благословение. Пусть увидит дочь, пусть увидит своего паршивого зятя и умирает умиротворенным. Поедем, вместе поедем, собирайся! — крикнул Абылкасым и начал одеваться.

Когда Молдобраим помирился со своей старухой, а старуха с невесткой, когда родился внук Сапарбек и семья радовалась, на младшего сына Джанара пришла похоронка, или «черная бумажка», как называли киргизы эти из-

вещения о погибших или без вести пропавших воинах. «Черными бумажками» назвали их из-за конвертов с черной каймой. По конверту народ сразу узнавал содержание письма. Поэтому почтальон такие письма не отдавал адресату, а относил председателю колхоза или сельсовета или же кому-нибудь из активистов. Письмо, адресованное Молдобраиму, попало к председателю колхоза Джайнаку. Это была первая похоронка в аиле, и Джайнак устроил в своей конторе совет, кому следует открыть это письмо и сообщить Молдобраиму. Пригласил старых друзей, умеющих складно сказать, умеющих утешить. Мало оставалось людей, у которых сын, брат или родственник не был на войне, поэтому все опустили головы, никто из собравшихся не смел сообщить тяжелую весть.

— Сообщите дочери во Фрунзе, когда дочь приедет, тогда и скажем ему, — посоветовал самый старший из стариков, беззубый Бердибай.

— У него есть еще родственники, Камбаралы и Чотур, что с ними будем делать? Сумеют ли они от табуна уехать? — заметил Джайнак.

— Ты же председатель, пошли гонца, — сказал Бердибай. — И Сулейман обидится, если его не известить. А вот и сельсовет пришел. Поминки надо организовать. Надобно и это обговорить.

Главный человек в сельсовете, огромных размеров рябой Мамбет в своей большой шубе не вошел в дверь прямо, а пролез боком. Колхозов при сельском Совете было много, поэтому Мамбет не раз видел такие похоронки, не раз общал об этом родным погибшего. Нахмурившись, Мамбет молча выслушал всех и только потом заговорил своим низким гортанным голосом:

— Погибших за родину надо проводить с почетом, как если бы мы хоронили их у себя дома, в своем аиле. Молдобраим — почтенный человек, вместе со своей старухой и невесткой лучше молодых работают, надо выдать из колхоза овцу и центнер муки. Что вы скажете, аксакалы, народ согласится на это?

— Еще бы не согласился! Как же народ не согласится! — зашумели старики...

Из Фрунзе приехала Джамалкан, прибыли Чотур, Камбаралы, Сулейман, и только тогда сообщили Молдобраиму о смерти сына.

Бермет вошла в общежитие раскрасневшаяся от мороза.

— О, посмотрите на лицо Бермет! — воскликнули девушки.

— Вот это лицо!.. Подойди сюда, дай я тебя поцелую, — шутливо приказала подруга Бермет Сабира.

— Ну, чего ради? — улыбнулась Бермет и еще ярче разарумянилась.

— Заплачу, — шутила Сабира.

— Назови цену.

— Платье куплю.

— Нет, не выйдет.

— Платок куплю.

— Нет, не выйдет.

— Еще что нужно за один поцелуй? Письмо дам...

— Какое письмо?

— От любимого. Дай поцеловать и пляши.

— Давай неси!

— Дай поцеловать.

— И что это за джигит, не отстаёт, — Бермет сделала вид, что никак не может отвязаться от джигита, и наконец ей пришлось дать поцеловать себя. Сабира обняла Бермет за шею, повернула к себе, поцеловала в щеку и откинулась назад.

— Ах! Как сладко! Спасибо, сестричка, будьте счастливы, пусть тот, кто на вас женится, так же вас любит и так же целует! — сказала она и вздохнула.

— Чтоб тебе провалиться, где только научилась, давай письмо, — сказала Бермет, смеясь и краснея так, будто и в самом деле дала поцеловать себя джигиту.

Сабира подала два письма. Одно было от Кыдырбека, Бермет сразу узнала почерк. Другое — от неизвестного человека. Адрес был написан печатными буквами.

Бермет открыла письмо Кыдырбека и начала читать. Последнее время Бермет ничего не скрывала от подруги, Сабира, прочитавшая все письма Кыдырбека, сердилась на Бермет, когда та утверждала, что Кыдырбек просто уважает ее, относится, как к сестре.

— Плохой человек не напишет такого письма. Напрас-

но отказываешь ему, Бермет, потом пожалеешь, — говорила ей Сабира.

— Я ему не отказывала, Сабира, не было причины отказывать, но боюсь, что у нас с ним разные дороги. Вот и все. Поэтому не хочу обнадеживать.

— Почему тогда пишешь? Разве письмами не обнадеживаешь?

— Я все ему объяснила.

— Нет, Бермет, ты сама себе не веришь. Я заочно влюбилась в Кыдырбека. Говоришь, не влюблена, а сама пишешь ему и ждешь его писем. Сама ты понимаешь свое сердце? Вот подожди, бросит тебя это сердце в его объятия.

Бермет этому не верила, но иногда удивлялась, что очень хотела видеть Кыдырбека, не находила себе места, когда не было от него писем.

На этот раз Кыдырбек писал кратко. Бермет села на кровать и несколько раз подряд прочитала письмо, обиженная тем, что оно так коротко.

«Сестричка моя Бермет, — писал Кыдырбек в конце письма, — сестричка моя! За все, за все тебе спасибо. Я желаю тебе светлого будущего, чистого счастья. Напишу ли еще когда-нибудь и что со мной случится — не могу сказать. Но, как и раньше, настроение у меня ясное, сердце спокойно. Будь здорова. Обнимаю и целую в щечку. Кыдырбек».

Бермет еще и еще раз перечитала эти строки, немного посидела, представив себе Кыдырбека, наконец догадалась о подлинном его состоянии, уставилась в одну точку, из глаз полились слезы. Резко вскочила и выбежала за дверь. Девушки испуганно переглянулись, Сабира бросилась вслед за ней. Бермет стояла в темном углу коридора и плакала.

«Что это значит? Что он пишет? Это же горькое прощальное письмо! Почему он не уверен, будет ли писать и что с ним станет вообще? Почему благодарит? Разве я намекала ему, что пишу из простой человечности, жалея его? Но ведь правда, что я жалела его, писала из сострадания. Не любила, но писала, чтобы не обидеть любящего меня человека. Если бы войны не было, если бы Кыдырбек не был на фронте, рядом со смертью, разве я писала бы ему из жалости и сострадания? Кыдырбек наконец догадался,

что я жалею его и тем самым унижаю. Ах, Кыдырбек, Кыдырбек! Вначале я тебя жалела... Но... но если бы ты увидел меня теперь, что бы ты на это сказал? Теперь я сама тоскую по тебе. Кыдырбек, Кыдырбек! Я потеряла покой. Похоже, я люблю тебя? Кыдырбек, оказывается, я тебя люблю, Кыдырбек! Когда были детьми, ты мне проходу не давал, обижал, заставлял плакать. Я тебя боялась. Заметив еще издали, пряталась или убегала со всех ног. Когда ты стал писать письма, а потом приехал на джайлоо, я испугалась тебя, как в детстве. А потом взяла себя в руки, гордо встала и пошла прочь от тебя. А ты все понял по моим глазам. Я думала, начнешь приставать, умолять. А ты обиделся и ушел. Ах, сумасброд мой, сумасброд! Ты и меня делаешь в конце концов сумасбродкой, потому что я, оказывается... люблю тебя. Люблю! О, как я несчастна! Как несчастна! Я раньше не знала, что люблю, не знала... Гордячка ли я? Нет, я злая, жестокая! Мужчину мужчиной делает женщина, любовь женщины, доброта женщины. Женщина оберегает и гордость, и честь мужчины. Женщина делает мужчину и сильным, и слабым! Ах, женщина, женщина! Столько зависит от женщины! Сколько добрых, чистых, прекрасных дел совершает женщина! Куда меня вдруг занесло? Чего я впустую размечталась? Кто я сама? Может быть, хуже всякой бабы! Не смогла уберечь человека с такой чистой душой. Кыдырбек, Кыдырбек, Кыдырбек! Я не поняла тебя. Я тебя осуждала, а ты оказался выше меня. Ты умеешь любить. Ты протянул мне руку дружбы, назвал сестрой. Сумасброд мой замечательный! Вот я сейчас же, сейчас же напишу тебе письмо, Кыдырбек. Действительно напишу. И напишу всю правду, выскажу сердечную тайну. В этот раз и себя, и тебя не обману. И душа моя, и сердце мое свободны, Кыдырбек: я совершенно чиста. Я еще никого не любила. Какая судьба, какое счастье меня ждут впереди, Кыдырбек? Потому что и счастье мое, и судьба моя только ты, один ты. Ты, ты, ты...

А это письмо от кого? Чужой почерк. Пока не напишу своему Кыдырбеку, не открою этого письма, не буду читать. Может быть, этим письмом хотят испортить наши отношения? Нет, сейчас не буду открывать. Не хочу путать с ним чувства и думы, связанные с тобой. Мои мысли, мои чувства, все мое существо сейчас занимаешь один ты, Кыдырбек. Только ты, ты и ты...»

Обо всем этом Бермет думала, лежа без сна. Комнату окутала темнота. Девушки давно уснули. Бермет тихо встала, зажгла настольную лампу и начала писать Кыдырбеку. Написала все, что передумала сейчас. Все ясно, все решено и бесповоротно встало на свои места. Если бы даже Бермет сейчас ошибалась, оказалась по-детски легкомысленной, поторопилась, все равно дело сделано. Она писала быстро, еле успевая за своими мыслями. Насколько сладок бывает созревший плод, настолько же сладкой оказалась Бермет ее созревшая мысль.

Письмо закончено. Теперь можно прочесть и то, другое. Заглянула в конец: письмо было подписано Мырзабеком. Быстро пробежав исписанную страничку, Бермет облегченно вздохнула: «Как хорошо получилось, что я не раскрывала этого письма, пока не ответила Кыдырбеку! Я оказалась пророчицей. Не отвлекая себя другим чувством, другой думой, высказала все, что хотела высказать!»

«Сестричка! — писал Мырзабек. — Сестричка, не могу предвидеть, какое чувство вызовет в вас это мое письмо. Но я и сам не знаю, что со мной. Никогда со мной такого не бывало. Оказывается, глаза мои были закрыты на мир, и когда я открыл их, мир оказался прекрасным, и в центре этого мира вы. Увидел вас и уже ничего, кроме вас, не вижу. Я растерялся. Кто вы? Что за человек? По-моему, вы то счастье, которое человек ищет на земле! Я протягиваю руку к этому счастью... Не останется ли моя рука пустой, не напрасно ли я потянулся — не знаю. До сих пор я улыбался всем, шутил со всеми и был как-то в стороне от жизни, сейчас узнал, какие, оказывается, бывают люди. И смерть, и жизнь моя теперь в ваших руках. Нет, я, конечно, не пугаю вас своей смертью. Боже сохрани, чтобы я еще навязал вам свою смерть, но душа моя без вас зачахнет и умрет. Я не хотел писать, хотел поговорить. Но понял, что с вами разговор у меня не получится, и был вынужден писать. Закрыв глаза, вручаю себя вам...»

«Показался мне насмешником, балагуром, а судя по этому письму, он слишком уж стеснителен. Интересно, — подумала Бермет, не зная, как отнестись к этому письму. — Бедный Мырзабек, и вы попались в мои сети. И вы оказались одним из тех, кто свое счастье ищет во мне. Верно, думаете, что я счастлива. Нет, счастье мое на войне. Что

будет с моим Кыдырбеком? Что будет со мной? Если бы вы знали, Мырзабек, где я сейчас! Я сейчас не здесь, я сейчас на фронте вместе с человеком, которого зовут Кыдырбек и которого я вижу, но не касаюсь руками. А если бы я получила ваше письмо час назад, нет, если бы я прочитала ваше письмо, стала бы я тогда колебаться, задумалась ли? Возможно, не только бы задумалась, но и мучилась. Потому что вы мне понравились, и сейчас нравитесь. Однако, к счастью, я еще не успела полюбить вас. Но если бы я даже и полюбила вас, смогла бы я отказаться от Кыдырбека? Похоже, что не смогла бы. С тех пор как я сказала Кыдырбеку: «Я твоя», — все как будто встало на место, душа моя нашла покой и мир. Вы простите меня, будьте так добры. С моим горем, с моими ошибками оставьте меня в покое...»

## 21

Бермет будто разговаривала с самим Мырзабеком; она не хотела обижать ни Кыдырбека, ни Мырзабека, оба были ей симпатичны, она дала им разные ответы, словно бы плакала разными слезами. Когда увидела Кыдырбека, Бермет гордо отвернулась. Когда увидела Мырзабека, в сердце ее поднялось, хоть и еле заметное, волнение. Когда Кыдырбек удалился и вовсе потерял надежду, а Бермет не находила себе покоя, она все больше стала тянуться к нему. Но появился Мырзабек, он произвел на нее сильное впечатление, она заметалась и решила не попадаться ему на глаза. Теперь, когда она написала Кыдырбеку свое письмо, будто тяжелый груз упал с плеч, ей стало легко, она уже не боялась ответить Мырзабеку, но все же ей было грустно. И вдруг дьявол прошептал: «Кто из них выше?» Бермет не то что ответить на вопрос — испугалась самого вопроса.

— Бермет!

Бермет испуганно обернулась.

Сабира стояла в накинутах на рубашку пальто.

— Что с тобой? Не ночь ли охраняешь?

— Засиделась.

— Уже светает. Письмо Кыдырбеку писала?

— Писала...

— Сказала правду?

— Какую правду?

— Что любишь.

— Сказала, Сабира, сказала... Кажется, ты и заставила сказать... — призналась Бермет.

— С ума, что ли, сошла? Зачем же ты плачешь? Или уже расканиваешься?

— Не расканиваюсь... Радуюсь...

— А на это письмо ответила?

Бермет долго и пристально смотрела на Сабиру.

— Разве ты знаешь содержание письма?

— Читала...

— Что это значит, Сабира? Чужое письмо...

— Знаю, чужое письмо читать нельзя. Но я не хочу тебя отдавать никому, кроме Кыдырбека, поэтому, когда приходят письма от других, душа у меня болит. Кыдырбек давно любит, может быть, с самого детства. А кто Мырзабек, ты знаешь?

— Нет, — ответила Бермет, пораженная словами Сабиры.

— Тогда слушай: Мырзабек — писатель, я читала его рассказы. Возможно, станет известным писателем. Но тебе нужна знаменитость или друг? — спросила Сабира, взглянув Бермет в глаза.

— Нелегко стать подругой талантливому человеку.

— Знаю, что нелегко. Ему не годится такой человек, как ты. Математика далека от литературы, как земля от неба. Жены писателей носят шубу из выдры, хвалят все, что напишет муж, а кому писание мужа не нравится, с теми враждуют. Ты так не сможешь, характер не тот, — сказала Сабира, теребя свое пальто. — А после... окажешься рабом его денег.

— Ты не права. Но почему ты думаешь, что я склоняюсь в сторону Мырзабека?

— Колеблешься. Дьявол может вмешаться, — заметила Сабира.

— Не вмешается, — Бермет не сказала Сабире правду и не смотрела ей в глаза.

— Потому и сидишь растерянная, что дьявол вмешался, а то бы давно легла, — сказала Сабира, будто прочитала у нее в душе.

— Мне жалко тех, кто в меня влюбляется, — улыбнулась Бермет.

— Тогда выходи за Сарыгула, — вдруг сказала Сабира.

— Сарыгул? Откуда ты знаешь о нем? — удивилась Бермет. — Откуда ты его знаешь?

— Откуда же мне его знать? Сам со мной разговаривал.  
— Разговаривал? Брось врать, наверное, Джамалкан-  
вдже сказала.

— Не с Джамалкан, а со мной он разговаривал, и я решила выйти за него,— без улыбки, обиженно сказала Сабира.— Кого ты оттолкнешь, тех я жалею и влюбляюсь.

Бермет не знала, поверить ли Сабире, смотрела на нее удивленно раскрытыми глазами.

— Я считала тебя подругой и рассказывала тебе все, что у меня на душе, а ты все скрывала,— сказала Бермет, в самом деле обидевшись на Сабиру.

— Я пошутила. Разве можно выходить замуж из жалости? Если утешать всех, кому поправишься, что от тебя останется! Выпроводила его со словами: «Идите своей дорогой!» — засмеялась Сабира.

— Таких я не жалею, жалею тех, кто влюбился,— примирительно сказала Бермет.

— Откуда узнаешь, влюблен или не влюблен? Не то что влюблен, жить, говорит, не могу, и проходу не дает... Ну, хватит, давай ляжем,— сказала Сабира и потащила Бермет к постели.

Бермет подчинилась и, потушив лампу, легла, но они еще долго шептались, обeim не хотелось спать.

— Сарыгул сказал, что умрет?

— Да.

— Лучше бы он умер от стыда, что заставляет жену плакать, а ребенка оставляет сиротой. Ты об этом знаешь?

— Если бы я не читала твоего дневника, может быть, и не знала, и опозорилась бы,— ответила Сабира.

— И дневник читала? Хороша. Ничего от тебя не скроешь.— Бермет не то что дать почитать, даже не показывала его никому.

— Я тебе подруга? — заискивала Сабира.

— Да.

— У тебя нет секретов от меня?

— Нет.

— Но почему же тогда прячешь от меня? Между друзьями не должно быть лжи. Или боишься, что я кому-нибудь выдам твои секреты? Тогда нечего называть меня подругой.

— По-твоему, надо читать тайком интимные записи подруги? Между нами нет лжи, но... у каждого могут быть такие тайны, которых он не скажет даже самому близкому человеку.

— Это верно... но я не хочу ничего скрывать от подружки. А твой дневник спас меня, Бермет.

— Значит, до сего дня ты сама скрывала от меня свою тайну?

— Скрывала.

— Тогда почему же меня ругаешь?

— Бермет, дорогая моя подружка Бермет! — Сабира взяла руку Бермет, стеснительно улыбаясь в темноте. — Ты и вправду обижаешься. И это понятно. Но иногда ведь и с людьми надо посоветоваться. Разве я тебе плохое посоветую? Скажи-ка правду, Бермет?

— Не могу, боюсь, стесняюсь... — сказала Бермет. — Если кто прочитает мои сокровенные мысли, я, кажется, не переживу, умру. Ты понимаешь?

— Понимаю, милая, понимаю, прости меня, я боялась признаться, стыдно было. Но, прочитав твою тетрадь, никому ничего не рассказывала. Это было бы преступлением. В этой тетради ничего такого нет, чего надо было бы стыдиться. Училась у тебя и спаслась от позора. За это спасибо, хорошая у тебя тетрадь, прости меня, — сказала Сабира, ища в темноте руку Бермет.

Долго шептались подружки.

Длинная зимняя ночь кончилась, наступил рассвет.

## 22

Во время весенне-летнего наступления противника в 1942 году в донских степях был ранен Кыдырбек. С помощью товарищей, полуживой, он еле выбрался с поля боя и после долгого путешествия оказался в госпитале в Саратове. Здесь его должны были оперировать. В том месте где застрял осколок снаряда, началась гангрена. Кыдырбек чуть не заплатил кистью левой руки. Но операция прошла удачно, вскоре Кыдырбек поправился и теперь чувствовал себя хорошо.

Товарищи по госпиталю советовали ему попросить отпуск и съездить домой, повидаться с родными. С самого начала войны только и видишь фронт да госпиталь, госпиталь да фронт, просись, говорили они, домой. Начальник госпиталя предложил отпуск, но Кыдырбек не согласился.

— Что мне делать дома? Встретят с надеждой, что совсем вернулся, а провожать все равно придется. Будет тяжело для всех. Пусть уж лучше живут в ожидании. К тому

же и другие расстроятся, почему их дети не приехали. Лучше уж не ездить,— сказал Кыдырбек к удивлению товарищей.

«Ну, приеду. Буду пить водку, есть мясо и мозолить глаза старикам, у которых на фронте сыновья? А соберусь уезжать, две матери повиснут с двух сторон, начнут причитать и плакать... Нет, лучше уж не показываться людям на глаза. Не поеду до конца войны. Что будет, то будет. Или умру, или выживу!..» — решил Кыдырбек.

— Да, таких чудаков поискать, и то не найдешь,— говорили друзья.

Собираясь выписываться из госпиталя, Кыдырбек отправился в Саратовский горвоенкомат.

Принял его полный, по-цыгански смуглый, подполковник в очках — Жиганов.

— Где учились?

— В Ленинградском военно-пехотном училище.

— Звание?

— Лейтенант, товарищ подполковник.

— Где и когда участвовали в боях?

— Под Москвой, на Дону. С 1941 года.

— Сколько раз были ранены?

— Дважды, товарищ подполковник.

— Чем командовали?

— Стрелковым взводом, товарищ подполковник.

— С самого училища в лейтенантском звании?

— С самого училища.

— В каких дивизиях служили?

— В 9-й гвардейской стрелковой и в 142-й дивизии.

— Есть с ними связь?

— Потерял связь, товарищ подполковник. Не отвечают. Если можно, пошлите в одну из этих дивизий, товарищ подполковник.

— Я понимаю ваше желание, лейтенант, но мы не знаем, на каком они направлении. Хотите в отпуск?

— Нет, товарищ подполковник.

— Почему?

— До фронта ближе, чем до дома.

Подполковник Жиганов с удивлением взглянул на Кыдырбека. Вызвал одного из сотрульников.

— Подождем вас отправлять,— объяснил подполковник.— Вам, вероятно, присвоено очередное звание, а может быть, есть и награды. Запросим Москву.— Он посмотрел

на лейтенанта, который стоял перед ним навтыяжку.— Сделайте запрос об этом лейтенанте. Идите, расскажите ему сами,— обратился подполковник к Кыдырбеку.

Кыдырбек отдал честь, повернулся на каблуках и вышел за лейтенантом.

Кыдырбек пришел из военкомата голодный и замерзший, но в отличном настроении. Съел два обеда и, веселый, вернулся в палату. На тумбочке лежали три письма. Он их сразу узнал. «Что они, соревнуются, что ли?» — обрадовался про себя. Одно письмо было из дому, другое от Абылкасыма, третье от Бермет. Кыдырбек подержал в руках увесистый конверт Бермет и, не решаясь открыть его первым, взялся за письмо из дома. Писали, что все живы-здоровы, сообщали о делах колхоза: «Отец, Сулейман, младшая мать, Уулкелди, по-прежнему со скотом (письмо, видимо, писал один из младших братьев Кыдырбека), старшая мать с детьми. Зима трудная. Сена кое-как заготовили. Когда приедешь с войны? Не приедешь ли в отпуск, брат?» (В этом месте братишка приписал от себя: «Когда приедешь? Приезжай скорее, старшая мама говорит, что соскучилась...»)

Письмо было написано так, будто брат стоял тут и разговаривал с ним, но все же нельзя было догадаться, какой же из братьев писал. Он порадовался, посмеялся этому письму, написанному детским языком, затем прочел письмо Абылкасыма. Абылкасым сообщал, что в колхозе дела были плохи и что райком поручил ему руководство отстающим хозяйством. Днем и ночью он занят работой. Пожелав здоровья, сообщал в конце, что выслал ему посылку.

## 23

Письмо Бермет было то самое, которое она писала ночью. Кыдырбек долго не решался вскрыть его, сидел, задумавшись, разволновался, в голову полезли всякие мысли. Кыдырбек вышел в коридор. И здесь людей не меньше. Спустился с третьего этажа на первый, вошел в многолюдный читальный зал, снова поднялся наверх, стал шагать взад и вперед по коридору. Наконец решился. Надорвал конверт, и сразу же бросилось в глаза: «Мой Кыдырбек!..» Первый раз с тех пор как стал взрослым, он заплакал.

Кыдырбек сидел как пьяный. Он ничего не видел перед собой, не заметил товарищей, которые вышли из палаты и, удивленные, стояли перед ним. Веселый, шутник, никогда не унывавший, Кыдырбек сидел растерянный, плачущий, с письмом в руках.

— Что случилось, братишка? Плохую весть получил из дому? — спросил сосед по палате.

Кыдырбек вздрогнул и увидел окруживших его и глядевших с состраданием товарищей. И вдруг громко, по-детски рассмеялся.

## 24

Наутро Кыдырбек получил еще письмо от Турганбая, обрадовавшее его. С тех пор как они разъехались после госпиталя, переписка между ними прервалась, и они потеряли друг друга.

«Кыдырбек, я уже думал, что ты без вести пропал, слава богу, ты еще жив. Спросил о тебе у моих. Сестричка сообщила в письме твой адрес. И теперь с радостью пишу тебе. Самое интересное, что я теперь в твоей дивизии, помнишь 9-ю? Белобородова? Я как раз тут политруком артдивизиона. Тебя здесь еще не забыли. Помнишь Бублика? Он сейчас у меня командир орудия. Не знаю, где он был и как сюда попал. Не устает о тебе говорить. Вместе были, говорит, в пулеметном расчете. Все подтвердил, что ты рассказывал. Дал ему твой адрес, теперь напишет сам. Тебе, наверное, интересно будет узнать, как я сам попал в эту дивизию. Когда немцы гнали нас с Дона, наша дивизия рассылалась на мелкие группы. Где враг, где мы — все перепуталось. Нас было около взвода. Не знали, в какую сторону идти. Со всех сторон немцы. Ночью зашли в деревню, есть нечего. Никого, кроме стариков, нет. «Не то что вам, — говорят, — себе нет. Долго ли еще будете бегать от немцев? Не стыдно вам? Вот сварили борщ из крапивы... Ешьте. Не жалко... В лесу, — говорят, — есть партизаны. Они знают, по какой дороге немцев нет, покормят и путь укажут. Идите!»

Э, Кыдырбек! Когда услышишь такие слова, сквозь землю хочется провалиться. Защитники народа, а сами бегаем от врага. Позор! Позор! До сих пор горит лицо...»

Кыдырбек подумал:

«И у нас так же было, только дивизия наша не рассы-

палась, а вышла из окружения. Как я не попал в руки к немцам? А сколько людей там осталось?!» Кыдырбек задумался, потом снова перечитал письмо. Для Кыдырбека отступление было мучительно. Он сам его пережил, сколько раз видел, как солдаты зубами скрипели от злости, и сколько раз чуть не плакал, когда надо было отступать все дальше и дальше.

«Как вор на собственной земле, днем прятаться от немца, ночью не знать, куда идти,— ничего хуже этого я не видел. С большим трудом нашли наконец партизан, они указали дорогу, и мы кое-как вышли из окружения. Вначале на меня смотрели, как на дезертира. Но таких, как я, оказалось много, поверили. Находился долго в резерве армии, а недавно направили в твою дивизию, теперь немного забыл пережитое и снова почувствовал себя человеком. Артиллерии все еще мало, но самолетов вроде стало побольше. И тем уж довольны. Однако, что бы там ни было, не убегаем от немца, а наступаем. Поддерживающая артиллерия очень сильно помогает. О Сталинграде, наверное, слышал. Похоже, что в скором времени там (если все пойдет удачно) произойдут большие события. Солдаты во все глаза глядят туда и уверены, что мы победим. На нашем направлении, видно, тоже будут сильные бои. У нас в дивизии много киргизов, даже знакомый мой Качике Ормонов (ты его не знаешь). Он был в этой дивизии, после ранения отправлен в госпиталь. Не мог узнать, где он сейчас. Нет ли такого у вас? Сообщи, если есть. Что ты сам поделываешь? Где воевал и когда был ранен? Годен ли к службе или стал инвалидом? Пиши мне. Жму руку.

Турганбай Абайылдаев».

Кыдырбек написал всем письма, на душе стало легче. Через неделю пришел ответ из Москвы. Оказалось, ему присвоено звание старшего лейтенанта и награда — медаль «За отвагу». Подполковник Жиганов поздравил Кыдырбека:

— Можете надеть погоны с тремя звездочками, а медаль надо запросить. Ждать будете?

— Нет, товарищ подполковник, направьте на фронт.

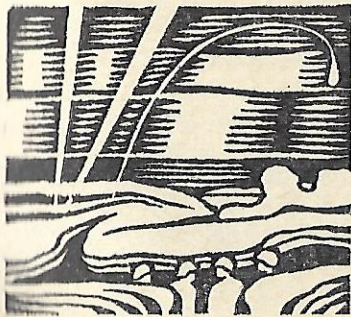
— Тогда по прибытии зайдите в отдел кадров дивизии, оттуда запросят медаль. Доброго вам пути! Назначение получите в Москве, — сказал подполковник, вручил Кыдырбеку документы и пожал руку.

**Часть  
третья**

---

Пятнадцатого декабря Кыдырбек добрался до левобережья Волги. Всюду войска, блиндажи, пушки, непривычная даже для старого фронтовика суета. Воздух дрожит от грохота орудий, трескотни пулеметов, от взрывов мин и гула бомбардировщиков.

Кыдырбек долго бродил, разыскивая штаб армии. К кому ни обращался, или вовсе не отвечают, или отмахиваются — откуда, мол, нам знать. Так ничего не добившись, он вышел к реке. Долго пытался рассмотреть расположенный на правом высоком берегу Сталинград. В черных клубах дыма город едва угадывался. То здесь, то там вырывались из дыма языки пламени. Даже здесь, на левом берегу замерзшей Волги, чувствовалось, как вздрагивала земля. С чувством неловкости, какую ощущает бездельник среди работающих людей, не зная, куда приткнуться, Кыдырбек растерянно ходил среди солдат, орудий, блиндажей, стесняясь даже присесть или спрятаться от снарядов. Кыдырбек много раз бывал в боях, видал всякое, но понять, что здесь происходит, не мог. Где передовая, где тылы? Все смешалось, царила полная неразбериха. Кыдырбек чувствовал себя новичком, впервые попавшим



ва войну. Но, как бы там ни было, ему хотелось поскорее включиться в эту всеобщую суматоху. Он решительно направился к батарее длинноствольных орудий, возле которых стоял капитан в полушубке и руководил стрельбой. Переминаясь, как усталая лошадь, с ноги на ногу, Кыдырбек остро чувствовал собственную неприкаянность. Это ощущение угнетало его. Он стоял и смотрел на работу батареи. Оторвав от глаз бинокль, капитан занялся расчетом.

«Прямой наводкой стреляют, как в наступлении». Стараясь понять, Кыдырбек внимательно вглядывался вперед. Но там, кроме мелкого кустарника, ничего не было видно.

Стрельба прекратилась. В одном из ближайших блиндажей телефонист что-то кричал в трубку, затем оттуда выглянул солдат и позвал капитана. Капитан скрылся в блиндаже, но скоро появился опять. Теперь он заметил Кыдырбека. Вытянувшись, Кыдырбек отдал честь. Капитан небрежно коснулся рукой виска, строго оглядел его. «Новичок, видать, из тыла, ишь как вытягивается», — подумал он и молча пошел к своей батарее. Артиллеристы, вытирая со лба пот, усаживались на станины орудий, собирались закурить.

— Товарищ капитан, разрешите обратиться!

Капитан еще раз окинул его взглядом и охрипшим голосом бросил:

— Спрашивай.

— Вы не знаете, где штаб шестьдесят второй армии?

— Никакого штаба я не знаю, — недовольно буркнул капитан. — Сам кто такой?

Кыдырбек отрапортовал:

— Гвардии старший лейтенант Сулейманов. Из госпиталя. Прибыл в распоряжение шестьдесят второй армии, товарищ капитан!

— Гвардии? Из госпиталя, говоришь? Давно на войне?

— С 1941 года, товарищ капитан.

— Добро, добро, товарищ старший лейтенант... Капитан Попов! — представился в свою очередь капитан. — Отдыхайте! — обратился он к своей батарее. — Ночью снова будем работать. — Он повернулся к Кыдырбеку. — Без передышки сегодня, с утра до вечера. Даем фрицу жару, кагут им будет скоро, вот увидишь! Идем в блиндаж! — и, подхватив Кыдырбека под руку, как старого знакомого, капитан повел его в блиндаж.

Почувствовав себя привычно в этой обстановке, Кыдырбек облегченно вздохнул.

Капитанский блиндаж был одним из прославленных артиллерийских блиндажей: в три наката бревна, внутри пары, устланные соломой, на стене зеркало. Недалеко от раскаленной докрасна железной печки возле телефона сидел связист. Он, не замечая Кыдырбека и отдавая дань уважения только своему капитану, небрежно приветствовал его.

— Где Васька? — спросил капитан.

— Пошел за ужином. — Телефонист с откровенным любопытством уставился на Кыдырбека.

— Тогда порядок! — Капитан сбросил варежки, повесил на гвоздь полушубок и, потирая озябшие руки, повторил: — Порядок! Сейчас подкрепимся. Так, значит, ты ищешь шестьдесят вторую армию?

— Так точно, товарищ капитан, штаб генерал-лейтенанта Чуйкова.

— Так бы и говорил! А то штаб шестьдесят второй армии! Будешь так спрашивать, ничего ты здесь не найдешь, а Чуйкова всякий знает, каждый человек! Немцы пытаются столкнуть Чуйкова в Волгу, а он ни с места, да еще бьет их. Богатырь генерал! Один, можно сказать, держит Сталинград. Но доберешься ли ты до него... — Капитан с сомнением покачал головой.

— Почему ж не добраться?

— Почему? Видишь ли, какое дело. Чуйков, как в аду, поджаривает немцев, а они, словно черти перед смертью, схватили его за ворот и держат. В самом пекле он. Пока ты разыщешь его штаб, тебя или убьют, или ранят, а то еще возьмут в плен. Чуйков к немцам вплотную стоит. Оступишься на шаг — к фашистам в гости угодишь. За пополнением чуйковцы сами приходят, и только ночью. Иначе новички попадут в другую армию, а могут и к немцам.

Капитан говорил правду. Некоторые части генерала Чуйкова вели бои с немцами в полном окружении. Продовольствие и боеприпасы доставляли к ним с левого берега на салазках.

— Доберусь как-нибудь, не впервой, — сказал Кыдырбек.

— Солдат ты стрелянный, но в Сталинграде еще не бы-

вал, поэтому не хвастай. Подожди до ночи в моем блиндаже, придут люди от Чуйкова, с ними и уйдешь. Не то погибнешь, серьезно тебе говорю. Раздевайся, товарищ старший лейтенант, сейчас поедим и того... выпьем! — Он подмигнул.

В блиндаж вошел курносый молодой солдат. Это и был Васька. Увидев капитана разговаривающим с каким-то неизвестным офицером, он удивленно застыл на пороге. Метнув на Кыдырбека недобрый взгляд, Васька осторожно поставил термос возле печки. Затем, сердито поглядывая на наблюдавших за ним капитана и Кыдырбека, небрежно отдал честь, махнув рукой где-то у виска.

В блиндаж ввалились пять или шесть сержантов и с ними старшина. Это были командиры орудий. Они дружно поздоровались с Кыдырбеком, представились. На фронте отношения устанавливаются сразу: или понравился человек с первого взгляда, или не понравился, а там уж поди доказывай. Кыдырбек им, видно, приглянулся, это он почувствовал сразу.

— Тащи, Вася, ужин и давай свой НЗ, — распорядился капитан.

— У капитана нынче гость, бог даст, и мы без угощения не останемся, — многозначительно покашливая, подкручивая желтые усы, сказал высокий старшина.

— Неси, неси! — крикнул капитан, видя, что Вася не торопится с угощением.

Васька чертом посмотрел на сержантов и на главного виновника, Кыдырбека, но все еще не трогался с места.

— Что, Васька, столбняк на тебя нашел или приступ скупости? Вьюном надо вертеться, когда командир приказывает! — не то всерьез, не то в шутку заметил старшина.

— Был бы случай, повод вам найдется! — недовольно буркнул Вася.

— Не ворчи, Вася, артиллеристы с того берега захватили у немца спирт, предлагали поделиться. Сходишь ночью и притащишь бидон. Какая еще капитану от тебя польза! А то возьмет и отправит в пехоту, узнаешь тогда маму, — сказал сержант с едва пробивающимися светлыми усиками.

Капитан первый рассмеялся.

— Бочки вам и то будет мало! — Васька поставил на самодельный деревянный стол стаканы и фляги и стал раскладывать по котелкам ужин.

Было около десяти часов, за столом еще шла оживленная беседа, когда зазвонил телефон. Дремавший связист вскочил, наскоро продрал глаза, покрутил рычаг телефона и взял трубку.

— Орел слушает! Хозяин дома, передаю.

Капитан Попов подошел к телефону. Хмель мгновенно сошел с него. Выпрямившись, он напряженно слушал, потом жестом приказал подать планшет. Сидящий поблизости усатый старшина сорвал с гвоздя планшетку, отстегнул кнопку и положил перед капитаном развернутую карту.

— Записал, товарищ Первый, квадрат...— Капитан отметил на карте.— Все будет в порядке, слушаюсь! — и положил трубку. Командиры орудий молча уставились на карту.— Товарищи командиры! — Капитан говорил теперь совсем иным тоном, веселого добродушия как не бывало. Глаза стали суровыми и холодными, он отчеканивал каждое слово.— Записывайте! Наши координаты...— Он наклонился над картой. Командиры орудий быстро записывали данные.— Орудия привести в боевую готовность! Будем давать жару.— Затем, понизив голос, продолжал:— Чуйкову повезли боеприпасы, продукты и пополнение. Немцы ракетами освещают переправу. Наша задача: пока не пройдут люди и весь груз, так обстреливать немцев, чтобы они голову не смели поднять.— Он повернулся к Кыдырбеку.— А вы как, товарищ старший лейтенант, будете отдыхать или же...— Он нерешительно остановился...

— Спасибо, товарищ капитан, я должен быть на той стороне.

— Добро! Будьте здоровы! Не отставайте от людей Чуйкова. Ну, по орудиям! — все крепко пожали Кыдырбеку руку и покинули блиндаж.— Васька, проводи старшего лейтенанта до переправы,— послышался снаружи голос капитана.

Кыдырбек вышел из блиндажа. Небо вспыхнуло от множества ракет, при их ослепительном свете Волга была как на ладони, сверкала зеркальным ледяным покровом. Пропустив Ваську вперед, Кыдырбек быстрыми шагами пошел к реке. Когда ракеты гасли, становилось так темно, что Васька и Кыдырбек сбивались с утопанной тропинки, попадали в сугроб.

— Тут по всему берегу склады с боеприпасами и блин-

дажи для раненых. И на том берегу есть склад и санитарный блиндаж. Не успевают переправлять раненых, и немцы не пропускают, стреляют, черти.— Не сбавляя шагу, Вася то и дело оборачивался к Кыдырбеку.— Одна дивизия Чуйкова осталась в окружении, месяц уже не могут вырваться. К ним и боеприпасы и продукты везут, вот увидите сами, товарищ старший лейтенант.— Васька говорил не переставая, торопясь выложить все, что знает. И в самом деле, знал он, кажется, немало.

— А кто командует окруженной дивизией? — спросил Кыдырбек.

— Полковник Людников! — быстро ответил Васька. Он был горд тем, что знал решительно все, о чем бы ни спросил его старший лейтенант, и на все вопросы отвечал без запинки. «Спрашивайте, что хотите, мне все известно», — говорил его по-мальчишески самодовольный вид.

— Вы сами к какому же соединению относитесь? — спросил Кыдырбек, действительно пораженный Васькиной широкой осведомленностью.

— Мы никуда не относимся, — гордо заявил Васька. — Мы никому не подчиняемся. Мы — резерв Сталина. Где требуется помощь, там и мы. Наши пушки тракторами тащат. Разве потянет машина? — Расхваливая орудия, которыми командовал его капитан, Васька увлекся, но пушки действительно стоили похвалы, ничего подобного Кыдырбек не видывал прежде. «Пехоте теперь полегче будет», — подумал Кыдырбек.

— А много у наших самолетов здесь?

— Недавно стали летать новые истребители. Быстрее немецких. Вы не видели их?

— Не видел.

— О-о, значит, вы ничего не видели! — с чувством превосходства воскликнул Васька.

Почти одновременно на правом и на левом берегу Волги началась артиллерийская канонада. От грохота задрожала земля. Сквозь гул канонады едва различался дребезжащий шум «кукурузников». Через минуту, как стрекозы в ночном небе, показались силуэты самолетов.

— За ночь эти «кукурузники» покажут немцам где раки зимуют, — сказал Васька, посмотрев вверх, и с убежденностью продолжал: — Как услышат немцы У-2, волосы на себе рвут. Потому что фриц слышит, как падает бомба, но не видит самолета, не знает, куда ему стрелять надо. Го-

верят, что большинство летчиков на «кукурузниках» — женщины. От баб пести такую обиду, каково это немцам, товарищ старший лейтенант? — Васька остановился и повернулся к Кыдырбеку.

— Мы много обид претерпели от немца, и им пора бы получить свое, давно пора. — Кыдырбек вспомнил, как они бежали, как хоронились от немцев.

— Скоро им конец, товарищ старший лейтенант, вот увидите, — не сомневаясь в своей правоте, сказал Васька. Уверенность молодого солдата понравилась Кыдырбеку, стало хорошо на душе.

В каком бы бодром настроении Кыдырбек ни приехал в Сталинград, втайне мучило его одно ощущение. В дни отступлений родилось это ощущение, оставив в душе глубокий след. Чтобы избавиться от него, необходимо было, чтобы в ходе войны произошел перелом. «Победим мы в Сталинграде или нет?» — вопрос этот не переставал мучить его всю дорогу.

Как определить одним словом чувство, которое охватило Кыдырбека при виде города? Сталинград его поразил. Увидев с левого берега окутанный черным дымом город, Кыдырбек ужаснулся. Город походил на человека, который, втянув голову в плечи, подставил врагу спину, а враг по чем попало бьет лежачего, человек весь согнулся от этих ударов. Кыдырбеку показалось, что избитый уже не встанет больше. Но когда Кыдырбек пришел к артиллеристам, поужинал вместе с ними, когда поговорил с Васькой, а потом на правом берегу познакомился с солдатами и командирами, то мучившее его чувство сомнения и неуверенности исчезло, к нему вернулось душевное равновесие и обычное для него состояние веселой готовности ко всему.

Среди обозов и машин, заполнивших переправу, Кыдырбек разыскал людей Чуйкова и вместе с солдатами, под прикрытием артиллерийской канонады, таскал боеприпасы, продукты и вышел наконец на правый берег. Там была та же суета. Грузили и выгружали, в разные стороны сновали машины и целые обозы. Кыдырбек обратил внимание на огромного, крепко сбитого солдата, одетого в стеганые брюки и куртку, в валенках и шапке-ушанке. Никаких знаков различия на нем не было, но видно было, что он руководил здесь. Кыдырбек с удивлением понаблюдав за ним и, поняв наконец, что в этой суматохе ему не удастся с кем-

либо толком поговорить, решил спросить у этого плотного солдата про штаб Чуйкова.

— Эй, товарищ,— Кыдырбек потянул солдата за рукав,— эй, товарищ, ты генерал-майора Чуйкова знаешь? Где мне найти его штаб?

— А что ты в его штабе собираешься делать? — густым и сердитым басом в свою очередь спросил солдат.

— Я прибыл в распоряжение штаба армии генерала Чуйкова.

— Кто ты такой?

— Старший лейтенант Сулейманов.

— Откуда?

— Из госпиталя.

— В каком роде войск служил?

— В пехоте.

— Давно воюешь?

— С сорок первого.

— Отступал?

— Дважды.

Кыдырбек начал подозревать, что этот здоровенный дегтина, поставивший его под допрос, не простой боец, но все же решил поддержать свое офицерское достоинство и одернуть солдата.

— Что ты мне допрос устраиваешь, скажи прямо, знаешь или нет? — сказал он.

— Ты не торопись, не тереби человека старше себя,— ответил солдат и сказал стоявшему с ним рядом человеку:— Вот этого... старшего лейтенанта Сулейманова отправь к Людникову. Пусть поведет пополнение. Дай сопровождающего. Немцы добром не пропустят их к Людникову. Вооружи гранатами, дай автомат, если есть.— Кыдырбек уже понял, что имеет дело с командиром, но с каким? Он попытался разглядеть в темноте его лицо, но отпрянул, услышав голос:— Что рассматриваешь, узнать хочешь? Не пытайся, ты меня не знаешь... Я — Чуйков!

— Товарищ генерал...

Отдав честь, Кыдырбек хотел было еще что-то сказать, но Чуйков перебил его:

— Иди, иди, отправляйся к себе, «генерал»! К немцам смотри не угоди. Воюй хорошо, вы там в окружении,— сказал он и, уже не обращая внимания на Кыдырбека, занялся своим делом.

Как и в сорок первом году, когда внимание всего мира было обращено к Москве, — падет она или выстоит, — так и теперь все желания и надежды приковал к себе Сталинград.

Многочисленной артиллерией, танками, заполнившей все небо авиацией, несметной живой силой, от которой, как говорили в старину киргизы, «земля гнулась», враг наступал на Сталинград. Казалось, вообще невозможно выдержать такой натиск. Наши войска медленно отходили от Дона к Сталинграду. Это было летом сорок второго года, когда Кыдырбека ранило в допских стенах и он едва спасся от плена.

Отрезать от Советского Союза юг, занять богатые природными ресурсами районы, окружить Москву и заставить ее сдаться — таков был первоначальный план Гитлера. Удача летнего наступления немцев должна была послужить сигналом к немедленному вступлению в войну Турции и Японии.

Сталинград был серьезной преградой на пути к цели, потому-то немцы и бросили сюда всю мощь своей армии, потому-то именно здесь решалась судьба войны, судьба Советского государства.

По тем же причинам немец встретил здесь, в Сталинграде, отчаянное сопротивление советских войск. Город не сдавался, каждая улица стала полем битвы, каждый дом — цитаделью. Противники занимали соседние подъезды одного и того же дома, и в них отчетливо слышалась чужая речь. Стойкость наших казалась невероятной, непонятно было, как они держатся. Многие дивизии насчитывали не более ста человек, да и тем не хватало оружия.

Положение 62-й армии, которой командовал генерал-лейтенант Чуйков, с каждым днем ухудшалось. Противник день и ночь бомбил и обстреливал переправу, связь с левым берегом была почти прервана.

С октября сорок второго года, отчаявшись взять город, немцы пытались занять хотя бы основные его районы, прежде всего Тракторный завод. Объединенными усилиями танков, артиллерии, авиации они остервенело рвались к нему. Эти непрерывные, но безуспешные атаки выматывали и обескровили врага.

14 октября на заре противник начал очередную авиаци-

онную и артиллерийскую подготовку и в восемь утра снова атаковал завод. Поддержанная ста пятьюдесятью танками, атака немцев продолжалась четыре часа, врагу удалось ворваться на территорию завода и выйти к Волге.

...В середине ноября немцы отрезали от 62-й армии дивизию полковника Людникова, окружили ее с трех сторон и прижали к Волге. Они закрепились на яру, к воде их не допустили советские артиллеристы, с правого и левого берега обстреливавшие этот участок Волги.

Штаб Чуйкова связывался с Людниковым только по радио. По радио же сообщили ему, что пошло пополнение и необходимо его встретить. Но, что ни предпринимай, дойти до окруженного со всех сторон пятачка Людникова было нелегко. Все-таки Кыдырбек вместе с пополнением, боеприпасами и продовольствием к утру добрался до места. Новых людей сразу же отправили на позиции, на помощь солдатам, вконец измученным долгими, безостановочными боями. Здесь не было позиции в обычном понимании этого слова. Шли бои за каждый дом, за подвал, за первый, за второй, за третий этаж, иногда за одну комнату. В этих боях и с нашей, и с немецкой стороны участвовали только мелкие группы, крупным подразделениям здесь негде было развернуться, кроме того, у полковника Людникова людей оставалось все меньше и меньше.

Руководивший штурмовыми группами капитан Селимов окинул Кыдырбека испытующим, суровым взглядом. Кыдырбеку не понравился взгляд капитана, он вскипел.

— Понимаю,— сказал капитан, догадавшись, чем тот недоволен,— понимаю...

— Что вы понимаете, товарищ капитан? — резко перебил его Кыдырбек.

— Не перебивай! Чего беснуешься? Я тебе... — Он вдруг встал, приложил руку к виску.

— Встать! Товарищ полковник!

— Вольно, вольно! — сказал сильно обросший, ничем не отличавшийся от солдат человек в полушубке без погон. Это был полковник Иван Ильич Людников. Его сопровождали автоматчики. Людников поздоровался с офицерами и солдатами.

— Вас к штурмовой группе определили? — обратился он к Кыдырбеку и, не дожидаясь ответа, продолжал: — Дело вот какое: видите тот дом? — Из широкой щели подвала Людников показал на двухэтажный полуразрушенный дом

метра в двухстах от них. — Покою нам нет с тех пор, как этот дом заняли немцы. Не то что днем, ночью не дают голову высунуть. Немцы там сидят в подвале и на первом этаже. Как нам его взять? — Будто советуясь только с Кыдырбеком, Людников повернулся к нему.

— Чем они вооружены? — Кыдырбек хотел спросить у капитана, но обратился к Людникову.

— Автоматами, ручными пулеметами, минометами, — ответил Людников. — А сколько там может быть людей, капитан?

— Думаю, не больше двадцати.

— Сколько мне дадите людей? — спросил Кыдырбек, по-прежнему обращаясь не к капитану, а к Людникову.

— А надо сколько? — в свою очередь спросил Людников.

Желая опередить ответ капитана, Кыдырбек быстро заговорил:

— По-моему, не больше десяти, товарищ полковник. Двумя группами подойти к подвалу и к первому этажу и штурмовать с помощью гранат и автоматов. Но надо как-то вплотную подобраться к дому, — озабоченно добавил Кыдырбек, будто задание было уже поручено ему.

— Верно, верно, — сказал Людников, — но почему десять человек, почему не больше?

— Убитку больше будет, товарищ полковник. Когда захватим дом, дадим ракету, вот тогда, сколько ни добавите людей и оружия, не стану возражать.

— Правильно, старший лейтенант, желаю тебе удачи! — Полковник развернул на столе карту. — Капитан, вызовите к телефону начальника штаба! — приказал он.

Если солдат впервые попадет на войну и оказывается под командой опытного офицера, он верит своему командиру, как отцу, и надеется на него. Если попадает на войну не воевавший еще офицер и встречается там с бывалым солдатом, он держится за него и, хоть порой готов умереть от уязвленного самолюбия, считается с его мнением, а иногда вынуждает себя подчиниться его мнению. Некоторые это делают из страха, другие же для того, чтобы с пользой для дела употребить знания и опыт бывалого человека.

Кыдырбек помнил об этом, когда подбирая людей для своей штурмовой группы. Он сам еще был неопытен в отдельных боях и в штурме домов — в этих основных видах

боя в Сталинграде. Командирами группы Кыдырбек назначил рыжего сибиряка Чумакова и пожилого Самохвалова.

...Холодной декабрьской ночью, одетые в белые маскхалаты, штурмовики Кыдырбека, разделившись на две группы, подползли к дому. Кыдырбек отказался от поддержки огнем, договорившись о ней лишь на случай отступления. Он рассчитывал на внезапность вылазки и на беспечность врага. Но так ли уж беспечен враг, а может, напротив, во все глаза следит за подступами к дому, никто этого не мог сказать наверняка.

Во всяком случае, оттуда постреливали через короткие промежутки и бросали ракеты, ярко освещая всю окрестность. Но это мог делать один дежурный для остротки противника.

Когда светлело от ракет, бойцы замирали, сливаясь со снегом, когда ракеты гасли, они быстро ползли вперед. Ни командир штурмовиков Селимов, ни командир дивизии Людников, ни Кыдырбек, ни сами солдаты, осторожно подбирающиеся к дому, — никто не знал, что здесь произойдет через пять, десять, двадцать, тридцать минут, а может быть, и через час. Одни терпеливо ждали, другие сосредоточенно, медленно, но верно приближались к врагу, чтобы уничтожить его. У них не было времени задумываться о своей смерти; заранее готовые к ней, они будто перестали ощущать свое тело. Они знали только одно: чтобы остаться живыми, им не надо ни о чем думать. Но кто скажет, может ли ни о чем не думать человек, идущий к смерти.

Впереди всех полз Самохвалов. Поворот его головы означал: «Вперед!» В это время в Сталинграде, как и днем, шла бомбежка, гремела стрельба, бушевали пожары, каждую минуту на той и другой стороне обрывались сотни жизней, лилась кровь. И в это время группа Кыдырбека, не слыша и не чувствуя всего этого, не зная наверняка, они убьют или их убьют, продвигалась вперед.

#### 4

За всю войну Кыдырбек ни разу не встретился с немцем один на один. И сейчас, не видя его лица, он ухватил его сзади двумя руками и стал душить. Немец хотел было потянуться за ножом, висевшим у него на поясе, но сначала решил отбросить душившие его руки, это ему не уда-

лось. А до пока невозможно было уже дотянуться, тогда он, напрягши остаток сил, закинув руки назад, приемом французской борьбы схватил Кыдырбека за шею и перебросил его через свою голову наземь. Пока фашист не пришел в себя, Кыдырбек, как кошка, прыгнул на него, снова схватил за горло и продолжал душить. Он и сейчас, в темноте, не видел фашиста, хотя их лица почти соприкасались. Рослый упитанный фашист поднял Кыдырбека под мышки, как ребенка, свалил, но и сам покатился с ним по полу. Какое-то время они еще возились, хрипя и задыхаясь, затем оба стихли.

— Старшой, старшой... — звал кто-то, посвечивая электрическим фонариком.

Это был боец Косолапов.

Немец сверху, Кыдырбек под ним, они встретились напряженными, остановившимися глазами и словно онемели.

Косолапов с силой опрокинул фашиста.

— Руку, руку... — прохрипел Кыдырбек.

Немец был мертв, а руки Кыдырбека, впившиеся в толстую шею врага, свело судорогой. Косолапов еле оттер их.

— Старшой, дом наш! — доложил Косолапов, готовый обнять и расцеловать Кыдырбека.

— Дай сигнал ракетой, — хрипло сказал Кыдырбек.

Это был приказ, но не только приказ, это был еще удобный повод скрыть свои чувства двум мужчинам, которые только что боролись со смертью, за короткое время узнали друг друга, остались довольны друг другом и почувствовали взаимное доверие.

— Ракету дали, старшой.

— Как люди?

— Все живы. Трое раненых.

— Немецкие минометы?..

— Устанавливают, старшой...

Кыдырбек только сейчас разглядел в темноте, что их окружили бойцы, и увидел среди них Чумакова.

— Немцы сейчас начнут атаку, всем по местам, — сказал он, поглаживая шею и радуясь, что солдаты приняли его и вместо «старший лейтенант» стали ласково называть «старшой», что он врукопашную схватился с немцем и остался в живых. Он стоял усталый, но довольный, хотя и болело сильно горло.

— Старшой, есть пленный немец, плачет, — сказал Косолапов.

— Где он?

— В подвале.

Увидеть немца, да еще взятого в плен своими руками, Кыдырбеку было и приятно, и в новинку.

— Каков гарнизон этого дома?

— Всего было восемь человек...

В это время появился Людников с сопровождавшими его людьми.

— Товарищ полковник...

— Не надо, не надо, — остановил его полковник и в темноте крепко пожал Кыдырбеку руку.

— Тяните сюда провод, здесь будет КП, что вы на это скажете, капитан? — обратился Людников к Селимову, но, уже решив про себя, что перенесет сюда свой КП, не выслушав ответа, приказал: — Покажите подвал.

— Мы вам еще пленного немца покажем, — вставил Косолапов.

— О, и такое есть?

В подвале горела сделанная из гильзы коптилка.

Там были уже повернуты в сторону врага немецкий миномет и пулемет.

— Вражеский пулемет поливал нас со второго этажа, а вы почему поставили здесь? — Людников при тусклом освещении оглядел будущий гарнизон дома.

— Если разрешите, наверху будет наш пулемет и автоматчики, — отдав честь, ответил Кыдырбек.

— И то верно, ну, где же ваш пленный? — спросил полковник и не спеша закурил.

— Товарищ полковник, немцы... — что-то хотел сказать Кыдырбек.

— Знаю, знаю, немцы могут пойти в атаку... — договорил за него полковник и пошел за Косолаповым.

— Вот он, «наш» немец, — показал Косолапов.

У задней стенки подвала, прижав руки к щекам, скулил немец. Рядом стоял автоматчик. Заслышав топот, немец вскочил и застыл как по команде «мирно». Глаза его были мокры от слез, губы дрожали.

— Капут, капут... Гитлер капут... — и еще что-то быстро-быстро бормотал пленный.

— Что он говорит? — полковник повернулся к адъютанту.

— Напрасно нас перебили, мы только что собрались было сдать в плен, — перевел адъютант,

— Понятно. Сами-то не больно нас жалеете. Доставьте в штаб, и чтоб не кончили по дороге. Ефрейтор может пригодиться. Пусть быстрее провод тянут, прикажи, старший лейтенант...— сказал Людников.

— Слушаюсь, товарищ полковник!

— Слышал про «дом Павлова»?

— Нет, товарищ полковник.

— Ну, так слушайте. Есть такой дом. Сержант Павлов отбил у фашистов и уже три месяца держит его, не отдает немцам. Сколько атак было, сколько снарядов выпустили, до сих пор атакуют, до сих пор обстреливают, а «дом Павлова» не дрогнул, так и остается «домом Павлова». Вы поняли, товарищ старший лейтенант?

— Так точно, понял, товарищ полковник.

— Здесь будут наши пулеметчики и минометчики, а пока бейте их из собственного оружия. Вы как, артиллерию...

— Знаю,— опередил его Кыдырбек.

Полковник и его сопровождающие ушли. Немцы только сейчас заметили, что с их гарнизоном что-то произошло.

## 5

Чуйков связался по радио с Людниковым.

— Иван Ильич, как дела?

— Известно как, на пяточке сижу, в кольце. Однако не подпускаем их к Волге, зацепили, как бык рогами, и держим. Как общее положение, Василий Иванович? — Людников говорил, как всегда, спокойно и сдержанно.

— Ничего, Иван Ильич, площади маловато, зато своя, так что не унывай. Недолго осталось, солнце их пошло на закат. Прижмем их скоро... Приуныли небось ребята? — Чуйков спросил это скорее из сочувствия, он-то знал, что ребята держатся.

— В животе пустовато, товарищ командующий, недолго и приуныть. Но пока бог милует. Сегодня пронелся по своему пяточку, доволен остался. Василий Иванович, а тут у нас и Александр Македонский объявился.

— Что за Македонский? Комик, что ли, местный?

— Нет, он не комик, очень серьезный человек и знающий. Рассказывал ребятам про походы Александра Македонского. Имя ему Искандер, вот они и прозвали его Александром Македонским.

- А кто он такой, офицер или политработник?
- Он, оказывается, известный киргизский поэт. А по званию — рядовой. Бывает же... — не договорил Людников.
- Бывает, Иван Ильич. Коммунист он?
- Коммунист.
- А хорошо воюет?
- Спрашивал у командира, — не очень-то умел, зато храбр, самоотвержен и ребят за собой тянет. Значит, хорошо воюет. Капитан Макаров говорит: начнет рассказывать про мужество Ильи Муромца или киргизского Манаса, все рты поразинут и слушают.
- Откуда ты узнал, что он поэт, сам, что ли, говорил?
- Не-ет, сам он молчит. Тут у нас есть старший лейтенант, тоже из киргизов, Сулейманов. Макаров у него спросил, так тот аж разволновался. «Он наш известный, любимый поэт. Стихи его читал, а вот самого не приходилось видеть, где он, покажите мне его», — говорит.
- Показали?
- Показали.
- Добре. Ну, что вы скажете?
- Политруком бы его...
- Правильно, приплыте представление, ну, пока, Иван Ильич. Дай бог скорой встречи! — закончил Чуйков.

## 6

«Дом Кыдырбека», или «дом Косолапова», был тем опорным пунктом, который теперь уже немцам преграждал путь к Волге. Отсюда немцы раньше обстреливали переправу и не давали нашим переправляться с одного берега на другой. После того как штурмовой группе Кыдырбека удалось захватить этот дом, наладилось сообщение с противоположным берегом. Пытавшиеся выйти к высокому обрыву Волги и даже прорвавшиеся к нему на узком участке немцы теперь были прижаты огнем из «дома Кыдырбека».

По радио шифрованным текстом Людникову сообщили, что будут присланы боеприпасы, продовольствие и людское пополнение. Полковник Людников должен был обеспечить переправу. Он связался с Сулеймановым.

Кыдырбек сразу узнал его голос.

— Сулейманов, оставьте «дом» на Косолапова и явитесь в распоряжение капитана Макарова. Сегодня будем воевать за пополнение. Немцы не пропустят его к нам без крови. Надо обстреливать врага с флангов и с тыла. Вы пойдете в тыл, — закончил Людников.

Быстро сдав «дом» Косолапову, Кыдырбек отправился к Макарову.

— А, Сулейманов! — встретил его Макаров и тут же развернул на столе карту. — Давай свою карту, вот это наш квадрат, здесь немец, здесь ты, я с фланга, ты сзади, с тылу, это место ты должен занять без выстрела, понятно? Отметь. Список людей... Аязбеков!

— Товарищ капитан, зачем Аязбеков? — испуганно спросил Кыдырбек.

— Что значит зачем? Он политрук нашей группы. Заместитель... Сами ребята просили. Позови! — приказал Макаров своему ординарцу.

— В тыл нужны люди расторопные, а он тяжеловат, да к тому же... поэт... нельзя его брать на рискованное дело... А когда он успел политруком стать? — удивился Кыдырбек.

— Успел...

— Товарищ капитан, нас же горсточка, если бы много было людей, тогда бы еще понадобился политрук. — Кыдырбек старался приводить всевозможные доводы, лишь бы только не брать с собой Искандера.

— Но он же сам просится, — уже колеблясь, сказал Макаров.

— Он-то просится, а если убьют, с нас с живых кожу сдерут. — Он повернулся к двери и застыл от неожиданности. Искандер стоял у входа и слушал их разговор.

— Я, товарищ капитан, иду на задание не в качестве политработника, а в качестве минометчика, — заговорил Искандер, не глядя на Кыдырбека и обращаясь только к капитану Макарову. — Мы готовы выполнить поручение, товарищ капитан. — Он неуклюже поднял тяжелую руку и, вывернув ладонь с оттопыренными пальцами, отдал честь.

— Тогда будьте наготове, — сказал Макаров.

Когда Искандер вышел, Кыдырбек объяснил:

— Хороший киргизский поэт, может стать большим поэтом, жалко мне его, товарищ капитан.

— Почему же тогда там у вас рядовым его послали?

Хоть бы какое звание дали! — напустился Макаров на Кыдырбека.

Кыдырбек растерянно молчал.

— Видишь, его теперь не переубедишь. Пусть Македонский идет с нами?

— Пусть идет, товарищ капитан.

Операция прошла успешно. Большая часть людей, боеприпасов и продовольствия, посланных дивизии, дошла до места. Это было серьезной поддержкой. Влились свежие силы, пришел хлеб, дивизия словно ожила вновь...

...Группы Макарова и Сулейманова, выполнив боевое задание, ночью сошлись вместе и по сигналу штаба — зеленая ракета, — утопая в снегу и грязи, усталые, измученные, кое-как добрались до блиндажей. Принесли с собой убитых и раненых. Среди раненых был Искандер.

Проверяя свое поредевшее войско и стараясь поддерживать его боевой дух, утром в блиндаж Макарова зашел Людников. С ним были командиры полков и батальонов. Блиндаж сообщался с окопом, дневальный, стоявший у блиндажа, узнав командиров, начал было докладывать:

— Товарищ полковник!.. — но Людников не дал ему договорить.

— Всё, всё, где Макаров?

— Отдыхает, товарищ полковник.

— Люди?

— Тоже отдыхают.

Полковник вошел в блиндаж. Густо, вповалку, лежали солдаты. После свежего воздуха здесь было трудно дышать.

— Тут весь батальон, кроме тех, кто на огневой, — сказал командир батальона.

— Знаю, товарищ капитан, знаю, во всей дивизии остались считанные люди.

Укрывшись шинелью, Макаров лежал на нижних нарах. Вдруг он вздрогнул, схватился за автомат, прислушался. Ясно ощутил, как бьется сердце. Окончательно проснувшись, он вскочил на ноги и, быстро надев ремень, приготовился к рапорту.

— Ладно, ладно, капитан, вы уже вчера отрапортовали, — протягивая Макарову руку, сказал полковник. —

Выйдем-ка, хотел обрадовать ребят, да будить не хочется.

Они вышли из блиндажа в окоп.

— Капитан Макаров,— заговорил Людников,— приведи людей в порядок, как отоспятся, и жди, обойдем полк и вернемся к вам. Сколько раненых?

— Ранено, товарищ полковник, семь человек, они уже в санчасти.

— Убито сколько?

— Трое, товарищ полковник.

— А! — вздохнул полковник и замолчал.

Бойцы Людникова сегодня наконец поели по-человечески, выпили положенные, но давно уже не выдававшиеся сто граммов. Некоторым торжественно объявили благодарность.

## 7

В санчасть, расположенную в блиндажах под самым берегом Волги, раненых едва доставили к утру. Вокруг шла стрельба, иногда доставалось и санчасти.

Всех раненых блиндаж не мог вместить. Поэтому тех, кого задело полегче, после перевязки подняли на транспортеры и отправили на другой берег.

Однако далеко не всем удавалось добраться, одни умирали от вражеских пуль, другие шли ко дну вместе с подбитым транспортером.

Врачи были заняты тяжелоранеными.

Раненый в грудь Искандер, задыхаясь и временами теряя сознание, лежал на операционном столе. При огарке свечи трудно было найти место, куда вошла пуля, но по рваному выходному отверстию определили: пуля была разрывная. Понимая, что в этих условиях не смогут оказать необходимой помощи, врачи очистили рану от осколков, костей и сгустков крови, перевязали.

— Много крови потерял, надо скорее доставить на тот берег и сделать переливание,— сказала начальнику санчасти женщина-врач.

— Я не поеду на тот берег, не поеду, здесь мой дом,— прошептал Искандер и тут же снова потерял сознание.

Врачи вполголоса совещались.

— Пусть останется, хотя тут и нет условий,— сказала та же женщина-врач.

— Кровь есть?

— Найдём сколько-нибудь.

— Хорошо,— махнул рукой начальник санчасти, молодой капитан.

— А вдруг он не вынесет? — усомнился один из врачей.

— Вынесу, все вынесу, что значит... не вынесет,— вдруг сказал Искандер, широко открыв глаза.

— Молодец, молодец,— похвалил его начальник санчасти.— Будь так же тверд, как против немца, ну, давайте начнем.

— Раз, два, три... ну, считайте!

Искандер открыл глаза и посмотрел на обступивших его врачей. Сестра, высоко подняв бутылку в четверть литра, напряженно стиснув зубы, глядела то на бутылку, то на Искандера.

— Раз, два, три, четыре...— считал Искандер, левая рука его начала неметь.

— Где учились? — спросила врач, пытаюсь отвлечь Искандера разговором.

— В Ташкенте...— сонным голосом ответил Искандер.

— Сюда смотрите, сюда смотрите! — испугавшись, что Искандер может заснуть, женщина-врач своей мягкой рукой слегка ударила его по щекам.

На какою-то секунду Искандер словно провалился куда-то в темноту.

— Так-то вы стойки, так-то выносите?! — женский голос звучал резко. Искандер открыл глаза.

В полдень в санчасть пришел Людников в сопровождении нескольких офицеров. Визит сейчас был вовсе некстати. Начальник санчасти вышел навстречу. Вытирая руки, он как бы с удивлением рассматривал сквозь стекла очков начальство.

— Кажется, капитан не рад нашему появлению, товарищ полковник,— заметил командир полка, очень молодой с виду майор.

— Некогда радоваться, времени не хватает. Как дела, товарищ капитан? Хотели бы посмотреть на своих рапелных, если разрешите.— Людников повернулся к своему

адъютанту и, глазами показав на капитана, что-то велел записать.

— Вы правы, товарищ полковник, некогда, но кое-чем и подовольны мы; раненых много, а переправить на тот берег чрезвычайно трудно, такой обстрел, многие не добьются до берега, не знаем, что и придумать... Пожалуй-ста, товарищ полковник, проходите, разрешаю вам, разрешаю.— Капитан улыбнулся.

Полковник вошел в блиндаж.

Помцы, будто увидели командира дивизии,— как знать, может, и увидели,— тотчас стали обстреливать расположено сапчасти и Волгу.

В блиндаже пахло кровью и гнилью давно не обработанных ран. Одиннадцать человек лежали на полу, на соломе.

— Этих надо срочно эвакуировать,— сказал капитан медицинской службы.

— Да, плохо вы живете,— посочувствовал Людников и стал по порядку расспрашивать раненых.

— Как фамилия?

— Каратаев.

— Откуда?

— С Урала.

— Когда ранило?

— Когда ходил с капитаном Макаровым.

— А ты?

— И я той ночью.

— С кем был?

— Со старшим лейтенантом Сулеймановым.

— Фамилия как?

— Байбаков.

— Байбаков? А что это значит — байбак?

— Не знаю, товарищ полковник.

— Байбак, байбак,— повторил Людников. Некоторые раненые ответили слабой улыбкой.

— Дикий зверь какой-то, надо полагать,— заметил сосед Байбакова.

— Возможно,— нисколько не обижаясь, отозвался тот.

— А как твоя фамилия? Шутник ты, вижу,— спросил полковник соседа.

— Долгов я.

— Долгов? Значит, долго жить будешь!

— Н-е-ет, товарищ полковник, отец его всю жизнь не мог избавиться от долгов, потому так прозвали,— заметил Байбаков.

— И так может быть.— Людников широко улыбнулся.— Нашелся Байбаков!

— А этот что, спит? — Людников подошел к раненому, с трудом переводившему дыхание.

Это был Искандер.

— Наш Александр Македонский, товарищ полковник, в самом конце операции ранило, еле довели до санчасти,— объяснил Долгов.

Начальник санчасти что-то прошептал полковнику, тот нахмурился и сказал: «Это уж ваше дело».

Молодой майор объявил о наградах, поздравил отличившихся, разъяснил, что, пока они в окружении, нет возможности вручить медали, но потом, где бы они ни были, получат свои награды. Среди награжденных был и Искандер. Утром Людников сам поздравил Макарова и Сулейманова с Красной Звездой, но тоже не смог вручить ордена, для этого надо было связаться со штабом 62-й армии.

Услышав о награждении, заворочались, оживились даже лежачие больные.

— Воды! Воды! — слабый голос нарушил эту торжественную минуту.

Искандер задвигался, облизнув губы, приоткрыл глаза. Подбородок его дрожал.

— Эх, брат Македонский, к нам пришли командир дивизии и командир полка, с наградой поздравляют, а ты спишь.

Искандер обвел присутствующих мутным взглядом. Узнал ли он командиров, понял ли что-нибудь, трудно было сказать.

Людников и майор поздравили Искандера. Искандер будто очнулся от тяжелого сна и, удержав в своей пылающей жаром ладони руку полковника, отдельно произнес:

— Спасибо, служу Советскому Союзу!..

В блиндаже установилась мертвая тишина, несколько мгновений и командиры, и раненые не могли произнести ни слова.

— Ну ладно, Македонский, скорее выздоравливай,— сказал полковник, еще раз пожав Искандеру руку, резко повернулся и быстро пошел к выходу.

Вечером Искандер в тяжелом забытии скончался.

Свежее пополнение — люди, продовольствие, боеприпасы решили судьбу дивизии Людникова; ей удалось наконец прорвать вражеское кольцо и снова соединиться с Чуйковым.

Чаша весов заметно изменила положение и теперь приблизилась к относительному равновесию сил 62-й армии и противостоящего ей врага.

Кыдырбека назначили командиром роты, а Макаров наменил раненого комбата. Рота Кыдырбека входила в батальон Макарова. Однако людей в дивизии все еще было мало, рота Кыдырбека по количеству бойцов была меньше обычного взвода.

После смерти Искандера в нагрудном кармане его нашли небольшую исписанную по-киргизски тетрадь. Макаров, желая знать, что в ней содержится, вызвал к себе Кыдырбека.

На командный пункт батальона Кыдырбек пришел ночью, наскоро просмотрел тетрадь и тут же начал внимательно перечитывать ее сначала.

— Ну, что там? — спросил Макаров с откровенным любопытством.

— Дневник, товарищ капитан. Очень интересно. Здесь не только мысли о войне, вообще о жизни говорится. Большой был человек!.. Стихи здесь тоже есть. — Кыдырбек листал и читал дальше. — Тут и про вас есть, товарищ капитан, и даже... обо мне, никого он не забыл. Каждое наше действие записано. Да, большим писателем он был. — Кыдырбек вздохнул.

— Что, интересно, о нас пишет? — спросил Макаров.

— «Капитан Макаров, — начал читать Кыдырбек. — Капитан Макаров моложе меня. Кем будет он к сорока годам? Если останется на военной службе (и если не убьют), к сорока годам генералом будет, он достоин быть генералом, думать умеет...»

— О, он меня генералом сделал, — засмеялся Макаров. — Он прав: если не убьют, может, и генералом буду, но уцелеть в этой войне очень трудно, Кыдырбек! Как ты думаешь? А сам-то Искандер, думал ли он о смерти? Наверное, думал, не только думал... — Капитан прислушался. Сначала вдали, потом на позиции, занятой ротой Сулейма-

нова, началась перестрелка. Макаров уловил сразу: — Тебя атакуют, Кыдырбек.

— По третьей роте стреляют,— подтвердил телефонист.

— Косолапов их задержит, уверен,— сказал Кыдырбек. И действительно, стрельба вскоре прекратилась.

— Что с этой тетрадью собираетесь делать? — спросил Кыдырбек.

— Что же еще? Надо написать письмо вдове и послать ее. Если бы по-русски было написано, всю бы прочитал, интересно ведь, а ты-то будешь читать? — Не дожидаясь ответа, Макаров еще спросил: — Да, кстати, есть у тебя жена?

— Нет.

— Правда, нет?

— Что же тут особенного?.. — Кыдырбеку не хотелось рассказывать о Бермет.

— Говори правду. Для тебя есть письмо, женским почерком написано. А рука, видно, твердая.

— Я не знаю, как и ответить вам, девушка у меня действительно есть... — смущенно признался Кыдырбек.

— А чего краснеешь? Командуешь ротой, немцев не боишься, а о женщине говорить стесняешься! Одиночество, старший лейтенант, не хорошо. Когда есть близкий человек, душа спокойнее. У меня вот тоже есть девушка, училась в мединституте, сейчас в госпитале работает, медсестрой.

— Правильно вы говорите, и я так же думаю, это такое счастье — читать ее письма, — смутившись своей откровенностью, Кыдырбек снова покраснел.

— Помнишь стихи Пушкина? — спросил Макаров и начал читать вслух:

Душе настало пробужденье:  
И вот опять явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты.  
И сердце бьется в упоенье,  
И для него воскресли вновь  
И божество, и вдохновенье,  
И жизнь, и слезы, и любовь.

Искандер ваш настоящий, видать, был человек. Такими надо гордиться. Возьми его тетрадь, читай, может быть, и

важных сомнений и мелочной повседневности, но, не находя в себе твердости, готовый махнуть на все рукой, готовый отказаться от борьбы, искать оправдания в успокоительной мысли о бесполезности всякой борьбы. Иными словами, этот Качике боялся жизни, готов был склониться перед нею. Качике сознавал, что двойник его неправ, что он тянет его назад, и тем не менее в минуты душевной растерянности ему необычайно трудно было побороть в себе этого привычного, этого инертного, этого трусливого Качике. Он пытался отделаться от него, убеждал себя, что еще станет полноценным человеком, еще послужит своим идеалам, он бранил своего двойника «Обломовым», издевался над ним, и тогда ему удавалось проще, сердечнее сойтись с людьми, и сам себе начинал казаться сильным, способным прийти к душевному исцелению и обновлению. Но стоило ему почувствовать в себе Качике-Обломова, он переставал верить в реальность первого Качике, считал его призраком, рожденным минутной вспышкой надежды и силы: тогда он начинал ненавидеть того веселого, общительного, сильного, уверенного в себе Качике именно потому, что не верил в его реальность, и тем глубже чувствовал свою слабость и униженность.

«Умереть, умереть бы... — повторял иногда Качике, не находя выхода, в то же время понимая, что о смерти он не смеет даже мечтать. — Что станет с дочерью, если я умру? Это страшнее смерти. Я виноват перед ней, я предал ее...» Качике тяжело вздохнул и невольно застонал.

— Что с тобой, рана болит? — спросил лежавший рядом казак.

— Болит, — коротко ответил Качике. Не станет же он признаваться, что вовсе и не рана у него болит, а душа.

— Потерпеть надо, милый, а то ведь не только рана, но и душа заболит. — Будто догадываясь о состоянии Качике, казак продолжал тихим голосом: — Это уж последнее дело, если душа болит. Так и кажется, что смерть за плечами стоит, только и поджидает, чтобы ударить косою. А кто боится умереть, тот скорее и умирает.

Качике вспомнил свой ответ при вступлении в партию: «Хочу умереть коммунистом». «А ведь о смерти я тогда думал, хотелось хоть умереть по-человечески, неужели из-за страха смерти пошел в партию?» — вдруг подумалось ему, и он снова застонал. Уже от стыда. Потом на ум при-

шел разговор с Натальей в селе Кресты. Рассказ ли Натальи так на него подействовал или духовная близость этой юной девушки, ему стало так легко, будто жизнь ласково баюкала его в своей колыбели. А после Наташи Качике снова почувствовал себя одиноким, снова затосковал. За короткое время он привязался к Наташе, она казалась ему своим, родным человеком. А ему так не хватало близкого товарища, с которым он мог бы поделиться своими печалью, своими мыслями. Теперь он, как никогда, нуждался в таком человеке. Если бы Чынаркан была ему хоть сколько-нибудь другом, уж сейчас-то, в дни тяжелых испытаний, он непременно почувствовал бы это. Не было душевной близости между ними, хотя были они супругами. Чынаркан была ему как чужая, он никогда не решился бы открыть перед ней свою душу.

И вот он снова один в этом дребезжащем красном вагоне.

До самой Москвы ни один госпиталь так и не принял раненых, лишь в Москве, напоив на прощание горячим чаем с конфетами, раздав папиросы, распределили их по госпиталям.

Москва была вся белая от декабрьских морозов и непривычно суровая. Их везли в холодном трамвае, без стекол, по незнакомым улицам. В госпитале их постригли, вымыли под горячим душем, уложили на белоснежные простыни, накормили, дали горячий кофе. Качике и раньше был худой, за последние дни вовсе отощал и стал похож на жердь. Поел он с аппетитом.

Однако через день их снова отправили в какой-то другой город. В досаде, что его не оставили в Москве, Качике бранил все на свете. Ему не нравились санитарный поезд, госпиталь, куда его привезли, и люди, и питание. Все его раздражало. Табак казался гнилым, пища — невкусной, люди — неприятными.

Когда Качике готовили к операции, строгий профессор о чем-то заговорил с практикантами.

— Практиканты! — увидев их, проворчал Качике.

— Что «практиканты»? А кто вас будет оперировать, если профессор умрет? Они и будут! — строго одернул его профессор.

Он с трудом удалил несколько крупных осколков, потом долго возился, но так и не смог ничего больше сделать, лишь замучил себя и Качике, и хваленые практиканты

ему не помогли. Когда стали извлекать мелкие осколки магнитом, Качике, не выдержав, закричал.

— Ну, хватит, остальные сами выйдут, а не выйдут — с ними проживет, — сказал профессор своим ассистентам.

Как только внесли Качике в палату, начали раздавать обед, но Качике было не до еды.

На соседней кровати молодой солдат читал письмо от матери:

— «Братишку Ваню на днях мобилизовали, теперь осталась одна... Выпестовала, вырастила вас, а оглянулась вокруг — пусто, будто и не было никого!.. Скоро вышлю тебе валенки и носки. Храни тебя бог от злой пули...» — писала мать.

«Бедная, многострадальная!» — подумал Качике и тихо вдохнул.

Наконец-то Качике осел в госпитале и начал получать письма. Жена по-прежнему вызывала горечь и досаду. Лишь письма Апсамата, того самого Апсамата, которого ругала Чынаркан (Качике изредка писал и ему), он читал с удовольствием, хотя и недоумевал, почему это вдруг так тепло стал писать ему Апсамат. Искренен ли он или это простая вежливость? Как бы то ни было, вдали от дома Качике радовался его письмам и в своем тоскливом одиночестве искал в них утешения. В этих письмах чувствовалось уважение к Качике и доброе расположение. И это внимание было ему далеко не безразлично. Апсамат не касался ни его семьи, ни прошлого, он писал вообще о жизни, сообщал новости, скорбел, что большинство его товарищей уходят на войну, расспрашивал, как себя Качике чувствует на фронте. В письмах Апсамата Качике ощущал какую-то человечность, тихую грусть. Эта грусть, как нежные звуки скрипки, порой завладевала сентиментальной душой Качике и до крайности трогала его.

Качике поправлялся, и его перевели на третий этаж в другое отделение госпиталя.

— Здорово, братишка! — окликнули его в коридоре. — Не с тобой мы ехали в санитарном вагоне?

Качике сразу его узнал:

— Лейтенант, танкист, а фамилию вашу я забыл...

— Чабанов, — подсказал танкист.

— Раз уж знакомы, тогда берите его в свою палату, — сказала сопровождавшая Качике сестра.

— Веди его к нам, сестрица, веди, как раз свободная

койка есть. А рана твоя как, солдат?.. Хороший человек, здорово рассказывал нам в дороге,— сказал танкист окружавшим его раненым.

«Как это я вдруг в хорошие попал?» — подумал Качике, входя в палату.

Возле окна, окруженный пятью-шестью ранеными, сидел на койке азербайджанец и что-то смешное говорил на ломаном русском языке.

— Эй, Гупай-оглы, откуда, какой нации? — спросил он, как только увидел Качике. Все разом повернулись к двери.

— Киргиз,— ответил Качике, не зная, что значит «гупай-оглы».

— А, гель, гель<sup>1</sup>, садись.— Он пожал Качике руку. Поздоровавшись с каждым, Качике подсел к ним.

— Мы тут его Казбичем зовем. Знаешь, кто такой Казбич? — спросил танкист.

— Лермонтовский, что ли?

— Эй, Казбич, откуда твой турок, не расслышал я? — поднял голову с подушки больной, читавший что-то в дальнем углу палаты.

— Гыргыз, гыргыз,— повторил азербайджанец.

— Киргиз? А с какой местности? — быстро спросил тот.

— Где гыргыз? Я не знаю,— ответил азербайджанец.

— Я-то знаю, я сам из Киргизии, мой земляк, значит,— сказал тот, из дальнего угла, поднимаясь с кровати.

— Выходит, земляка я тебе привел. Вот так дела! — воскликнул танкист.

— У хорошего человека всюду родные,— сказал азербайджанец.— Он мусульман, я мусульман, он гыргыз, я азербайджан, мы родственник, я Кавказ, он кто — я не знаю.— Азербайджанец развел руками.

— Средняя Азия,— подошел к ним, волоча ногу, раненый с дальней кровати.

— Мусульман тебе родной, русский, стало быть, не родной,— засмеялся танкист.

— Все родные. Всякий хороший. Я учился мало, шестнадцать республик знаю, но, где кто живет, не знаю, я нефтяник,— пояснил азербайджанец.

Так Качике познакомился со своей палатой.

Койка Качике оказалась рядом с его земляком: Саша был шахтером из Кызыл-Кия. На войне люди сходятся бы-

---

<sup>1</sup> Иди, иди (азерб.).

стро. В первый же день они разговорились, как старые знакомые, и вскоре стали неразлучны.

В палате были также казахи и узбеки. Жили дружно. Немного попривыкнув к ним, Качике будто забыл о своих горестях, повеселел. «Как же я до сих пор жил? — думал он. — Как я понимал ее, жизнь? Да и понимал ли? Неужели только близость смерти может раскрыть человеку глаза на красоту жизни? Теперь уж надо жить осмысленно, достойно, имея перед собой ясную цель... А ведь и у Обломова была если не цель, то все же свой идеал, и он стремился душой к этому идеалу... Вот именно душой. А делами? Шевельнул ли он хоть пальцем, вышел ли на борьбу за свой идеал? Лежал себе, убаюканный своими мечтами, в пуховых объятиях своих желаний и благих намерений. Чем я был лучше Обломова? Жил как придется, пряча голову в повседневные заботы и страшась будущего. Ну уж зато теперь!» — Качике стиснул кулаки.

Однажды он читал Мате Залку.

— Что читаешь? — спросил Саша.

Качике протянул ему книгу.

— Не знаю, и кто написал, и что там написано, не знаю. — Саша вздохнул и начал перелистывать книгу. — Я очень многого не знаю, хочу знать, да, видно, не дано уж мне...

— И я раньше не читал, у Чабанова взял. Но кое-что об авторе знаю. Венгр по национальности, в первую мировую войну попал к нам в плен и остался жить в России. Здесь вступил в Коммунистическую партию. Потом сражался в Испании, командовал Интернациональной бригадой.

— Где он сейчас?

— Погиб в Испании. Смотри, что он тут пишет. — Качике взял у Саши книгу и открыл страницу: — «Не жалея о прошлом, не оглядываясь на прошлое, надо думать о будущем».

— Хорошие слова, но как не думать о прошлом? Жаль прожитой жизни.

А в углу азербайджанец все что-то говорил и смешил соседей.

— Эй, Казбич, кровь у тебя горячая, не сносить тебе головы, убьет тебя немец, — сказал один из раненых, русский.

— У нас говорят, что смерть сидит между бровью и ресницей. Два раза хотел убить, не убил, теперь положусь на бога. Э, мусулман! — сказал Казбич, будто его собеседник был мусульманином. — Э, мусулман! Много испытала эта головушка, ва-ай, как много!.. Упал с верблюда — не помер, собака укусила — не помер, камнем стукнуло — не помер, два раза немецкая пуля нашла — тоже жив остался, теперь уж не знаю... Конечно, все умрем, если смерть придет...

— Попадет пуля, и умрешь, — заметил кто-то.

— Э, мусулман, отец мой был мерген, меткий стрелок, и я мерген, на одной свадьбе заспорил и сбил на лету ворона, здорово, а? Теперь появились снайперы, выйду из госпиталя, пойду в снайперы, уложу немецкого офицера, что ты на это скажешь, а, мусулман?!

— Сам ты басурман и меня басурманишь. В веру, что ли, свою хочешь обратить?

— Э, мусулман, назову тебя кафиром, — сам кафиром стану, кафир — Гитлер! — нашелся Казбич.

— Верно, верно, Гитлер — кафир.

— Мусульманов сын, есть у тебя жена? — спросил кто-то.

— Э, мусулман, — ответил Казбич, — сел на коня и помчался, нашел девушку и влюбился, но не досталась мне, взял ее за косы и убил. Теперь у меня нет жены.

Все так и покатались со смеху.

— Потому ты и есть Казбич, убийца Бэлы! Какая же девушка, зная это, пойдет за тебя? — сказал танкист.

— Пойти-то пойдет, мусулман моя, только та девушка, которую убил, не пускает, все перед глазами стоит, напрасно я кровь ее пролил... Вай, вай, вай!..

— Эй, кафир-басурман, — сказал тот раненый, — а советская власть тебя не наказала?

— Убежал из аула, поступил на нефть, так и не нашли, может, и нашли бы наконец, да война началась. Если выживу и от суда уйду, обязательно женюсь.

— Если найдут тебя родственники девушки, они и без суда выпустят кровь из твоих жил.

— Кто знает. Останусь жив, сам явлюсь к ним. «Любил я вашу дочь, — скажу, — потому и убил, что любил, что не мне она досталась. Сам пришел, что хотите, то и делайте теперь со мной. Хотите — простите, хотите — убейте! А если простите, то жените меня сами...»

— Ой, Казбич! Как же ты им скажешь, убийца дочери? — Больные слушали недоверчиво.

— Сам стану им сыном, жену приведу к ним вместо дочери, буду звать их отцом-матерью и жену заставлю, — твердо, без улыбки сказал Казбич.

— Ой, Казбич, молодец ты однако! Человеком сделался, пу и пу! — Раненые удивленно, но одобрительно поглядывали на неунывающего товарища.

Саша и Качике, улыбаясь про себя, прислушивались к рассказу Казбича. Вдруг кто-то ворвался в палату с криком:

— Качике, Качике! Ты ли это, не во сне ли я тебя вижу? — Качике вздрогнул и с любопытством уставился на молодого черноглазого джигита с очень смуглым лицом. Тот стремительно приближался, опираясь на палку и слегка прихрамывая. Пока Качике успел встать, тот уже подошел к нему и бросился его обнимать и целовать. — Здравствуй! Неужели живой? Вот не чаял! Как хорошо-то! — восторженно сыпал он восклицаниями.

Качике решительно не узнавал гостя, но, стесняясь признаться в этом, мучительно старался припомнить, сидел красный от смущения.

— Еще один земляк нашелся. — Раненые, не скрывая зависти, смотрели на них.

— Только ли земляк — товарищ, даже не товарищ, а друг! Это наш известный писатель, э-э, вы еще не знаете, на руках его надо носить, большой человек! — снова затараторил вошедший.

— Смотри ты, писатель! — со всех сторон зашептались раненые. Качике не знал, куда деваться от стыда.

«Что за Хлестаков на мою голову обрушился, наговорил всякой ерунды, попробуй теперь отвертеться», — растерянно глядел он на незнакомца.

— Не узнаешь, что ли? — спросил тот тихо по-киргизски. — Я Джолболдуев Шакир, сколько раз встречались во Фрунзе! Жумаалы знаешь? Так я его товарищ, не раз пили вино в ресторане «Фонтан», когда я приезжал во Фрунзе по торговым делам. Разве не так? Сделай хоть вид, что узнал. Я тут искал, нет ли кого из киргизов, вот и попал на тебя. Наш корпус во-он там. Теперь-то вспоминаешь?

Как ни напрягал Качике память, не мог припомнить его. Однако ему стало уже казаться, что он когда-то и где-то действительно видел этого человека.

— Узнал, узнал,— соврал он из вежливости.— Давно ли здесь? Переписываешься с Жумаалы? Где он? Сам в какой дивизии воевал?

— Куда там писать! Чуть не разгромили нас, в 9-й дивизии был, а ты?

— И я там же,— обрадовался Качике.— В каком полку, в каком подразделении?

— В восемнадцатом пехотном был.

— И я в том же полку. Как же мы с тобой не встретились? — удивился Качике и стал расспрашивать о знакомых ребятах.

— Ты, Качике, не выдавай себя, так писателем и оставайся; я вот, назвавшись писателем, послал заявление в Пермское санитарное управление, просил перевести в госпиталь во Фрунзе. Кто сейчас разбираться станет, сказал, что машинки здесь нет на киргизском языке, чтобы печатать рукопись. Уже ответ пришел. Скоро поеду во Фрунзе. Я так обрадовался, что побежал искать по госпиталю киргиза.— Он весь сиял, глаза его бегали от радости.

— Как же они поверили, что ты писатель? — спросил Качике, пораженный предприимчивостью Шакира.

— Эх, Качике, что об этом говорить? Лишь бы вырваться отсюда. А то немцы перебьют всех, как овечек. Как ни хоронился, оторвали все же мякоть на заднице. И ты назовись писателем, заявление подай и уезжай домой. А в тылу найдем способ освободиться. У меня приятели. Если не знаешь, как писать заявление, зайду завтра к тебе и помогу,— сказал он и продолжал уже по-русски:— Мы с ним коллеги, иначе говоря, товарищи по перу. Ну ладно, Качике, до завтра.— Он снова перешел на киргизский язык.— Спешу, надо готовиться к отъезду. Начальника госпиталя просил найти хорошее обмундирование, чтобы офицерское было, не могу же я вернуться во Фрунзе в солдатском рванье, сам понимаешь — стыдно! Ну пока, до свидания, друзья! — Он бойко попрощался и ушел.

После ухода Джолболдуева потрясенный Качике некоторое время лежал неподвижно. Будто неожиданно грянул гром и так же неожиданно смолк. «Ну и ловкач! С таким и стоять-то рядом неприятно, будто грязью вымазался,— думал Качике,— а я и отпор дать этому жулику не гожусь, он в душу мне плюет, а я молчу и слушаю.— Качике был недоволен собой.— А все же какая разница между ним и

мпую? Он делает все что захочет и нахально, нахрапом идет к своей цели, я же собственной тени боюсь...»

Этот проходимец будто отбросил его снова в темный угол.

— Кто это был? — спросил Саша.

Расстроенный Качике в сердцах сказал:

— Он меня, кажется, знает, но я его никогда не видел, и писателя такого не знаю, и сам я не писатель, врет он все.

— А ты расстроился?

— Расстроился.

— Почему?

— Одни способные, да не могут, другие начисто лишены способностей, а лезут, не мытьем, так катаньем добиваются своего. Что им совесть и человеческое достоинство, локти были бы крепки, всех растолкают, ни с чем не посчитаются, лишь бы урвать место под солнцем. Как знать, такой и журналистом, и писателем станет. А я вот способен, может, на что-то, да не умею пробиться. Вот почему я расстроился, — сокрушенно разъяснил Качике.

— Ну и глупо, — мягко возразил Саша. — К чему сравнивать себя с другим, у каждого своя дорога, своя судьба. А этот киргиз твой скоро запляшет, недолго ему ловчить осталось, вспомни мое слово. Чему ты позавидовал? Тому, что он мошенник и подлец? Обманщик и нахал? Бессовестный, бесчестный человек? Я тоже так извожу себя, тоже собой недоволен. Сколько мне попадало в жизни за мою простоту и робость, сколько упреков наслушался, что делаешь. Такой уж есть. Подивлюсь чужой ловкости — и баста! Я, когда работал на шахте, ни к кому не подлаживался, никого ни о чем не просил, работал себе молча и работал. Других хвалили, выдвигали. Я молчал. Вызывал иногда начальник и начинал кричать: «Почему твоя бригада плохо работает?» Я молчу как пришибленный. А начальник знай себе кричит. Я постою-постою, повернусь и уйду, хлопну дверь. Начальник снова вызывает, я опять молчу. Наконец он подзовет и заговорит по-человечески, тут я растуаю и расскажу суть дела. Горло-то зачем драть? Иной криком надеется взять. Рос я сиротой, нужда меня крепко прижимала. И воровал иной раз, попадался и палок попробовался... — Саша грустно улыбнулся. — Сколько лет я в учениках ходил на шахте, уж потом бригадиром сделал. Трудом в люди вышел, а мог бы и вором стать... Как

началась война, ушел на фронт, кое-как обучили нас — и в бой. Дали отделением командовать — командовал, помкомвзвода сделали — стал помкомвзвода, взвод поручили — опять же тянул, поучили три месяца, присвоили младшего лейтенанта. Роту доверили, боялся, что не справлюсь, изо всех сил старался и неплохо вроде командовал, но здоровье подвело, открылась старая рана, решили меня перевести на хозяйственную работу. Все выполнял, что поручали, не прекословил, а тут заупрямился. Раз сказали, два сказали, а я на своем стою. Ну, думаю, укут куда-нибудь, однако, слава богу, оставили в покое. Прихрамывал, но делал свое. Наконец ранили в третий раз, только тут я сдал роту и вот лежу в госпитале. — Он замолчал и потер щеки, будто их свело от разговора. Потом снова заговорил: — Ты думаешь, я смерти не боюсь? Боюсь, но когда столкнусь с ней лицом к лицу, когда она меня за ворот хватает, тут я ее не боюсь, потому что в эту минуту я не замечаю ее, о ней не думаю. Ведь нельзя все время думать только о смерти, только ее держать в мыслях, поневоле тогда испугаешься, и уж не до схватки с врагом будет. И еще, Костя, вот что интересно: «Зачем мне жить? Кому нужна эта жизнь? Какая польза от того, что я живу?» — много я об этом думаю, и чем больше думаю, тем интереснее начинает мне казаться жизнь, после войны хочется работать лучше, чем раньше, больше пользы приносить. — Саша вздохнул и прикрыл глаза. — Вот поэтому нам и надо меньше думать о смерти и лучше работать. Как ты думаешь?

Этот простой шахтер с честной, открытой душой, с правдивыми грустными глазами все больше привлекал Качике, все больше нравился ему и вызывал теплое чувство.

## 10

Качике выздоравливал, настроение заметно улучшалось, и, хотя рана еще не зажила окончательно, он уже начал выходить на физзарядку. Джолболдурев принес ему готовое заявление, но, как только за ним закрылась дверь, Качике в присутствии Саши разорвал его.

— Послушайся ты меня, — уговаривал его Джолболдурев, — не упрячься, любимыми путями постарайся освободиться от армии. Я даже в любви объяснился начальнику

отделения, до женитьбы чуть не дошло. Скрыл, что женат. Собственно, с женщинами и нельзя без обману.

Джолболдуев откровенно, ничуть не стесняясь, рассказывал Качике о своих проделках. Слушая признания Джолболдуева, Качике, сроду не умевший говорить неправды, краснел от стыда, будто сам лгал, сам мошенничал. Нечестность этого типа, жуликоватость, подлость, цинизм были отвратительны Качике.

Когда Качике попал на фронт, своими глазами увидел войну, кровь и смерть, вот тут-то он и уцепился за жизнь, захотел во что бы то ни стало выжить и уйти от смерти. Но убежать от смерти невозможно. Надо или покориться, стать перед ней на колени, или вступить с ней в ожесточенную схватку.

После встречи с Джолболдуевым Качике еще крепче утвердился в мысли, что лучше умереть стреляя, чем недостойно убегать от смерти. Сумеет ли он вести себя так бесстрашно, когда вновь попадет на фронт? Даже для самого Качике это пока было неясно...

— Ну и денек, Костя! Ты же писатель, говорят, не вспомнишь ли что-нибудь подходящее у Пушкина? — крикнул лейтенант-танкист Чабанов, скользя с небольшого пригорка вниз. В это время Саша, ковыляя на костылях, учил Качике, который ни разу в жизни не становился на лыжи, этому нехитрому искусству. Качике, в телогрейке и валенках, в глубоко надетой на голову ушанке, поминутно падая и неловко переставляя лыжи, напоминал ребенка, учившегося ходить.

Он поднял голову и посмотрел вперед.

Слегка покачиваясь, в полной тишине стоял перед ним русский лес. На чистом снегу резко выделялась единственная лыжня. Стройные сосны и ели укрыты белым инеем и будто звенят на утреннем морозе. Сквозь тонкую мглу проглядывало солнце, белое, как луна. Воздух напоен мягким приглушенным светом.

Ясное зимнее утро.

От танкиста, как с разгоряченного бегом коня, поднялся пар, парень стоял часто переводя дыхание и обмахивая шапкой раскрасневшееся потное лицо.

— Тот негодяй соврал, я не писатель, но... — он еще раз посмотрел вокруг. — Пушкин так сказал бы про этот день:

Мороз и солнце, день чудесный..

Еще ты дремлешь, друг прелестный,—

подхватил танкист.

— Танкист, ты сам, видать, поэт, только скрываешь от нас,— улыбнулся Качике.

— Если бы все, кто знает стихи, были бы поэтами! А все же каждый, по-моему, пытался хоть раз высказать в стихах свои переживания. Вот и этот младший лейтенант пописывает стишки, тоже поэт.— Танкист с улыбкой посмотрел на Сашу.

— Нет, нет, это неправда.— Саша смущенно улыбнулся.— Давай, Костя, двигай, а то нос отморозишь,— сказал Саша, пытаясь отвлечь разговор от себя.

— Как только пойдешь побыстрей, нога болит, черт возьми. Кость, что ли, не срослась как следует, как думаешь, поэт? — спросил танкист Сашу.

— У твоего поэта дела совсем плохи, полступни так и не заживает, похоже, всю жизнь ковылять мне, как медведю, переваливаться с ноги на ногу.— Помолчав, он сказал: — Ваня, ну не называй меня поэтом и не рассказывай никому, что стихи пишу, кто-нибудь прочтает и высмеет.

— Стыдишься?

— Стыжусь...

Качике в некотором отдалении от них мучился с лыжами.

— Эх, ты,— упрекнул Сашу танкист,— будто один ты пишешь, я тоже пишу, да будет тебе известно. А этот киргиз, думаешь, не пишет? Когда душа горит, многих тянет к стихам.— Он стал смотреть на лес, сизый сверху и весь занушенный белым инеем.

— Костя, пошли на завтрак! — крикнул Саша.

Сидя за столом рядом с Ваней, Сашей и узбеком Нуруллой, Качике пожаловался, что в последнее время не наедается.

— Еще недавно отказывался есть, а теперь, слышишь, Саша, уже не наедается! Тебе надо поправляться, проси больше хлеба,— сказал Ваня.

— Хлеб мало, мясо надо,— коверкая русские слова, заметил Нурулла.

— В госпитале откармливают свинью, на днях, слышал, прирежут, попроси мяса,— сказал Ваня.

— Вай! — воскликнул Нурулла. — Зачем свинья? Свинья харам, поганый! Лучше баран... Вах!

— А ты как думаешь?

— Буженину я ел.

— Самое вкусное место! Значит, тебе пойдет. Ты, Нурулла, свою порцию уступай ему, но бесплатно. У него ни копейки за душой нет, разве что сахар свой отдаст, — решил Ваня.

— Пусть берет.

Качике каждое утро и после обеда ходил на лыжах. Поэтому или по другой какой причине он чувствовал себя бодрым, хорошо спал, приступы тоски и уныния реже стали посещать его. Он подружился с товарищами по палате, шутил, смеялся со всеми, впервые за много лет почувствовал себя в семье, ощутил свою полноценность. Он много читал и прихотил к чтению всю палату. Нурулла знал наизусть огромные куски из «Кёр-оглы» и с наслаждением декламировал. Качике даже запомнил на слух некоторые строки:

На высоком перевале упустил я лошадь, и след простыл.  
У Кёр-оглы не то что сына, по даже и дочери нет.

Качике с упоением начал перечитывать «Войну и мир», слова его поразили внутреннее богатство Толстого, глубина и сила таланта. Со своими характерами, привычками, манерами герои романа, словно живые, проходили перед ним. Он полюбил, как родных, князя Андрея, Наташу, Пьера, он восхищался поэтом-партизаном Денисом Давыдовым. На какое-то время роман Толстого полностью захватил Качике, каждый день он будто заново открывал эту поразительную книгу.

«Они не лишены ни одного человеческого чувства, они всесторонни, радуются и плачут, любят и ненавидят, бывают рассудительны и вспыльчивы, они борются, они живут. Значит ли, что они не помнят о смерти? Но они не останавливаются на ней, не позволяют ей мешать им жить... Значит, и мне не следует быть односторонним, не о смерти, о жизни больше думать, полнее жить, содержательнее!» Качике обрадовался этой мысли, как открытию. Он долго лежал, закрыв глаза ладонями, боясь шевельнуться, потревожить нахлынувшее неуловимое чувство странного обновления.

— Ты что, спишь? — Саша слегка толкнул его костылем.

— Саша! Я становлюсь толстовцем! — с шутливым пафосом произнес Качике.

— Толстовскую религию принял?

— Хоть бы и религию, что ты скажешь на это?

— Тогда тебе нельзя воевать с немцем, об этом ты подумал?

— Знаю... А «Войну и мир» ты читал когда-нибудь?

— Нет, Костя, только в отрывках, — ответил Саша. — Но об ошибочных взглядах Толстого читал.

— В «Войне и мире» главное — его гениальность, мудрость.

— Я шахтер, Костя, только и кончил ФЗУ, мало учился, слишком мало, а художественной литературы почти не читал. Только было заинтересовался, война началась. Я знаю, что я малограмотный... если бы не моя жизнь... — В голосе Саши послышалось отчаяние.

— Ты, Саша, жизнь не вини. От себя многое зависит. Вот я жалкий, незадачливый человек, но, если сумею и выживу, — начну жизнь сначала, как новорожденный. А ты, Саша, моложе меня, у тебя все еще впереди!.. — Качике хотелось утешить, ободрить Сашу.

— Я тоже так... мне вот хочется посоветоваться с тобой... — Саша замялся.

— О чем? И смогу ли я тебе дать совет? — с доброй улыбкой Качике повернулся к Саше.

— Возьми-ка вот это, почитай... Только никому не показывай... — Саша протянул Качике толстую тетрадь, растерянно улыбнулся и, подхватив костыли, быстро заковылял к выходу.

Это была тетрадка со стихами Саши. Качике, приятно удивленный, начал внимательно читать.

«Где мой бедный друг Искандер? Он-то уж разобрался бы», — думал Качике, перелистывая страничку за страничкой.

Стихи Саши были, конечно, ученическими. Если Качике считал себя малосведущим в стихосложении, то еще меньше понимал в нем Саша. Стихи изобиловали патристическими лозунгами, но в них были и размышления о жизни. Правдивость, искренность Сашиных стихов и привлекли Качике. Что касается техники стихосложения, Саша тут хромал на обе ноги.

Вечером они долго стояли в коридоре.

— Ты показывал стихи еще кому-нибудь? — спросил Качике, не зная, как начать разговор.

— Кое-кому.

— Продолжаешь писать?

— Пытаюсь...

— Сашенька, — сказал Качике, — я с интересом прочитал, но как это, плохо ли, хорошо, сказать не могу, не умею разбирать стихи. Читать читал с интересом.

— Все так говорят, — ответил Саша. — Я же не собираюсь быть поэтом, просто хотелось рассказать о своих переживаниях.

После этого разговора Саша все, что писал, показывал Качике. Качике прочел стихи всем в палате, и Саша был признан местным поэтом. Слушать заходили сюда даже из других палат. Радости Сашиной не было конца.

В палате, как всегда, было оживленно. Слушали Сашины стихи, рассказывали о прочитанных книгах, смеялись побасенкам Казбича. Вошла сестра Люся, ей тоже здесь нравилось.

— Вот вы какие веселые, — сказала она, улыбаясь своей доброй улыбкой, отчего милое лицо ее становилось еще приятнее.

— Это я сделал всех веселыми, — похвастался Казбич.

— Ты молодец, Казбич. Если бы я не боялась, что ты и меня можешь ножиком чикнуть, я бы влюбилась... — Люся рассмеялась вместе со всеми.

— О, когда ты любишь, резать не надо, когда я любишь, а ты нет, тогда другой дело...

— Я тебя люблю, Казбич, люблю. — Люся подошла к нему, погладила по голове и поцеловала в лоб.

— О, ни один женщин не целовал меня, я стесняйся, — горячо заговорил Казбич, будто и в самом деле опьяненный прикосновением женской руки и поцелуем.

Истосковавшихся по женской ласке раненых разволновала эта невинная шутка.

— Ормонов, — Люся подошла к Качике, — пойдем, милый, тебя начальник госпиталя зовет.

После ухода Качике и Люси палата загудела.

— Зачем, интересно, позвал?

— Может быть, демобилизуют и домой отпустят.

— Значит, заявление все-таки подал?

- А что же, все возможно.
- Не гадайте, никуда его не отправят, кроме как на фронт. А заявлений писать он не станет. Не такой человек, — сердито одернул их Саша.
- Это верно, Костя не такой, — подтвердил танкист. Качике вернулся мрачнее тучи.
- Зачем вызывали? — прямо спросил танкист.
- Прощусь на фронт, а они свое...
- Домой, что ли, посылают? — перебил кто-то.
- Куда домой? Есть ли у меня дом? — в сердцах вырвалось. — В училище велют ехать.
- Значит, офицером хотят сделать. И что ты ответил? — танкист подошел к стоявшему возле Саши Качике.
- Не поеду я, — обиженно сказал Качике.
- Почему?
- Из меня офицер не получится. Слаб я для этого.
- И дурак же ты, Костя. — Танкист хлопнул его по спине. — Ехать надо, ты грамотный. О слабости не говори, как начнут гладить против шерсти да девяносто девять раз заставят пропотеть, думать забудешь о своей слабости. Я в тебе уже разобрался. Ты просто сырой, закалки настоящей нет. Такого, как ты, надо гонять как следует, не давать покою, девяносто девять шкур спустить с тебя, да чтобы пот на спине не просыхал — вот тогда ты человеком станешь и офицером. Не хитро быть солдатом, какая у солдата забота? Сам да винтовка. А ты и воевать хочешь поспокойнее? Не-ет, герой, не выйдет, начальник госпиталя отлично тебя разгадал, правильно он тебя вызвал. Что же он, промолчал или сказал что-нибудь?
- Велел подумать, в военкомат, сказал, поедешь.
- Костя неделю будет думать и ни до чего не додумается.
- Раз так, иди ложись на койку и думай, иди, иди. — Саша, подталкивая в спину, повел его к кровати.
- Качике не знал, на что решиться. Солдату, конечно, спокойнее, но так ли уж спокойно солдату? Испытал ведь на собственной шкуре. Как крот, грызет землю. Все делает солдат. Всюду солдат. Без солдата ничего не обходится. На заре впряжется в лямку и так до ночи. Правильно говорят: ночь для несчастных, только ночью и приходит в себя солдат. Да и то нет ему покоя. То вспомнит про винтовку, которую забыл почистить, то еще что-нибудь. Сорок раз проснется, а не проснется — разбудят. Где же солдатский

покой? День и ночь под огнем, в жару, в холод, недоедая, недосыпая, солдат рядом со смертью. Какой уж покой для солдата? А офицер? Разве Качике не видел офицеров! Где солдат, где офицер — и не различишь. Ест вместе с солдатами, спит вместе с солдатами, вместе с солдатами воюет. Хуже того. Когда солдат ест, офицер не ест, следит, все ли поели. Когда солдат спит, офицер не спит — проверяет посты, чтобы обеспечить солдату спокойный сон, на каждый шорох вскакивает, вечно озабочен. Спит на сырой земле, недоедает, одевается в солдатскую одежду. Он в ответе за живых и мертвых, за лежащих и стоящих, даже за то, как у солдата завернута портянка. Нет, офицеру не лучше! О солдате заботится, солдаты же и ругают его.

Долго думал Качике, лежа на койке, но, как и предполагал Саша, ни до чего не додумался. В последнее время нет писем из дому. Почему? Как они там? Что с дочкой? Что с ней станет, если он умрет? Пуля не разбирает, офицер ты или солдат. Ей все равно. Чынаркан не понимает Качике. Даже здесь, на фронте, не оставляет его в покое, нищет ему что взбредет в голову, по настроению. О, если бы Качике был спокоен за семью, он бы ничего не боялся. Раз ты солдат, будь солдатом! Генерал — тоже солдат. А хотел бы ты стать генералом? О, не то что генералом, младшим лейтенантом боишься стать, где уж тебе мечтать о генерале!

Вошла Люся.

— О чем задумался, Костенька? — улыбаясь, она подошла к Качике. — Порадовать тебя? — спросила она, держа руки в карманах халата.

«Какая она приветливая. Вот если бы жена моя была такая!» — подумал Качике, любуясь ее открытым лбом, каштановыми волосами и глядя в добрые карие глаза.

— Чего молчишь, порадовать, что ли? — повторила Люся, перехватив взгляд Качике.

— Большой радости, чем видеть ваше лицо, ваши глаза, у меня не будет, — ответил Качике, не отводя глаз от Люси.

Люся просияла, разрумянилась, стала еще привлекательней.

— Вот письмо, из дому, наверное, от жены, — сказала она. — Все-то вы мне одинаковы, не знаю, кого и любить. Только привыкнешь, а вы уезжаете, живого места в сердце

не осталось...— С грустной, милой улыбкой Люся протянула Качике письмо.

Качике сразу узнал руку жены. Сердце почему-то сжалось.

— Это письмо меня не порадует, сестричка...— Качике вздохнул.— Но ваша рука...

— Сколько пустых комплиментов выслушиваю, если бы все это была правда...— Люся кокетливо улыбнулась.

— Я бы никогда не сказал вам неправды...— Качике, держа в руке нераскрытое письмо, по-прежнему продолжал смотреть на Люсю.

— Ой ли? Все будто сговорились, одно и то же повторяете. Мне всем хочется верить. Все вы мне нравитесь, всех мне вас жалко...

Саша, танкист, вся палата молча наблюдали за ними.

— Слышишь, Саша, раньше Костя никогда так не говорил, у него язык развязался, будь осторожен, как бы без Люси не остался! — улыбаясь одними глазами, сказал танкист.

— Тоже человеком хочет стать,— заметил Саша. Он внимательно прислушивался к разговору, потому что ему самому Люся давно нравилась, но он стеснялся признаться ей в своих чувствах; он даже посвятил ей стихи, и Качике знал это.

— Если бы Люся меня полюбила, я бы никогда не умер, потому что и после смерти живой образ мой сохранился бы в ее сердце. Будете меня ждать до конца войны, сестричка? — Саше казалось, что Качике говорит его словами, как бы от его имени.

— Буду ждать, уже жду... Поэтому всех вас и люблю,— ответила Люся и вдруг стала опять далекой и строгой.

— Саша! — крикнул танкист.— Саша, пиши стихи, пиши горестные, печальные, трагические стихи, напрасно ты надеялся! Люся другого ждет.

— Саша? Пишет стихи? Нет, Саша, я пошутила. Ты мне нравишься. Не пиши грустных стихов, пиши любовные.— Ласково улыбувшись ему, Люся вышла.

— Вот это женщина! — воскликнул танкист.— Когда она шутит, когда говорит правду, не поймешь, однако шутить-то шутит, но к себе не подпускает. Ну, Саша, что будем делать дальше?

— Иди-ка ты, кто тебя просит вмешиваться.— Саша рассердился и заковылял к двери.

— Почему Саша? Люся меня целовала, меня будет ждать. Ты смотри, Саша, не тебя любит Люся, а меня, а-а! У меня кинжал кавказский, а-а! — Казбич подлетел к Саше. В палате вновь вспыхнул смех.

Вернулась Люся.

— Тише, начальник идет! — предупредила она.

— Люся, они уже за нож хватаются, выбери же кого-нибудь! — сказал пожилой усатый казах.

— Что он говорит? — Люся сделала непонимающее лицо и улыбнулась.

— Он говорит, что очень любит тебя, Люсякан! — ответил Нурулла.— Люся, я тоже люблю.— Нурулла подошел к Люсе и, поднимая брови, играя глазами, закружился перед ней и зацел по-узбекски:

Бросил яблоко я милой,  
Что спала в саду под сливой.  
Не сердись, что тебя обниму я  
И немножко тебя поцелую, у-у-у!

Хоть и не понимали, о чем он поет, один вид Нуруллы вызвал новый взрыв смеха.

— Вот черти! Да тише, сейчас начальник придет! — прикрыв ладонью рот, еще раз предупредила Люся.

## 11

Нехорошее письмо от Чынаркан. Качике с трудом дочитал его до конца, скомкал рассерженно и чуть было не разорвал. В самом деле, невозможно было спокойно читать такое. Как только рука повернулась так писать! Качике расстроился, глаза его потемнели, будто свет померк перед ним.

«В последнее время ты заважничал и редко стал писать... С чего бы это? Чем ты меня пугаешь? Чем ты гордишься? Зажирел, наверное, на казенных харчах! «Дурная лошадь, если зажиреет, не дает бурдюк привязать», так и ты, понав в тепло да на даровой хлеб, отрастил брюшко и решил забыть нас! Последние твои письма совсем не похожи на прежние. Ты, видно, что-то задумал. Плохой человек быстро забывает хорошее и легко нос задирает. Когда

был рядом со смертью, днем и ночью помнил меня и лебезил, а теперь, попав в госпиталь, решил, видно, что ушел от опасности. Погоди, еще поедешь на фронт, снова небо с овчинку покажется, затрусись передо мной, заластишься. Вот тут-то я тебе и отомщу, тут-то я позлорадствую, ни строчки от меня не получишь. Ты еще пожалеешь обо мне...

Пишешь, что рана заживает, мне нет дела до твоей раны, ты лучше напиши, как сам переменялся. Оправившись от раны, как бы не заболел подлостью, не охладел ко мне... Ты скажи мне прямо: кто я тебе? Прислуга, убажжающая твои прихоти, или жена? Я знаю, одно лишь и привязывает тебя ко мне, это твоя любимая дочь! Нечего тебе о дочери беспокоиться. Жирна, как прежде, кормится от меня, да со мной еще и препирается. Терплю от нее, чего от своих детей не терплю. Пусть это тебя тоже не удивляет, что правда, то правда. Но если тебя связывает со мной только твоя негодная дочь, пощады от меня не жди. Знай заранее. Не ставь между нами дочь. Или дочь, или я. Не могу я из любви к тебе угождать твоей дочери, не могу делить тебя с дочерью!

Заходил ко мне какой-то Джолбулдуев, сказал, что видел тебя, подал добрый совет, сказал, если послушается, скоро придет, но разве ты сделаешь что по-людски, будто я не знаю тебя. Чуть поднимешь голову, уже думаешь о чем-то другом. Ну что ж, попробуй, если сумеешь. Но помни: коли умрешь, одна я поплачу по тебе. Кому ты еще нужен? Одна я у тебя и есть на свете. Если будешь помнить об этом, тебе же будет лучше...

Враг льстит, друг правду говорит, не обижайся на мои слова. Увидим, что из тебя получится...»

Письмо ошеломило Качике. «Хоть бы умереть! Хоть бы исчезнуть!» — повторял он себе, задыхаясь от горя, и целый день бродил один по двору. Он пытался ответить жене, но не смог, не знал, что писать. Опять ходил по двору, тут-то и заговорил с ним Сапа.

— Что, дома плохо?

— Дома все спокойно, я не спокоен, разве будешь спокоен с такой женой! — вырвалось у Качике. Сапа задумался и молча зашагал рядом с ним. — Вот, Сапа, пусть моя жизнь будет тебе наукой. Помни русскую поговорку: «Семь раз отмерь, один раз отрежь», трезво все обдумай, иначе попадешься, как я. О-о, собачья жизнь!

Саше было жалко Качике. Не зная, чем утешить, он решил отвлечь его разговором.

— А что ты о Люсе скажешь? — спросил он с тихой улыбкой.

— Люся хорошая девушка, очень хорошая, но, верно, ждет кого-то, ты не узнавал? Ты совсем голову потерял. Женись на ней, если сумеешь. — Качике решил смолчать, что он сам неравнодушен к Люсе.

— Не знаю, ждет ли кого, нравится мне она очень, а вот поговорить не смею, — смущенно улыбнулся Саша.

— Поговори, Саша, поговори. Полюбить такую девушку нетрудно, ты сумеешь поговорить с ней.

Другим-то советовать он мог, а вот сам себе... слишком поздно приходили к нему самому здравые мысли... Качике был недоволен собой, вздыхал, хотелось плакать от обиды. Саша понимал, что ему тяжело сейчас, хотелось помочь другу, но чем?

— Ты не переживай очень, — сказал он наконец, — вернешься жив-здоров, все уладится, лучше побереги себя. А я вот сегодня же поговорю с Люсей.

Из корпуса вышла Люся, в пальто и теплой шапочке.

— Куда торопишься, Люсенька? — спросил Качике.

— На свидание, — мило улыбаясь, Люся ответила, как всегда, шутливо.

— Пусть наш Саша проводит вас.

— А Казбич? Не боишься? — рассмеялась Люся, подойдя к ним. — На днях Саша сбросит костыли, тогда посмотрим. Ну ладно, проводите немного, домой тороплюсь, надо же и старикам помочь. — Она рассказала, что дома у нее одни старики, отец да мать.

— Иди, Саша, один, поговори по дороге. — Качике подтолкнул Сашу.

— От имени кого он должен говорить?

— От имени всех нас.

В тот день Саша вернулся поздно, поел холодный ужин — его припас Качике — и рассказал ему о разговоре с Люсей.

— До самого дома проводил. Дома старики-родители, брат на фронте. Отец на заводе работает. Живут справно, чаем угостили.

— А кого-нибудь ждет?

— Никого не ждет. Она училась здесь в институте, ну и пошла в госпиталь работать сестрой. Уж и не знаю, как

я сегодня усну, совсем разволновался, — улыбаясь до ушей, рассказывал Саша.

В эту ночь он улыбался во сне. Качике же долго ворочался, вздыхал, уснул только к утру.

Наступил март. На суровом северном Урале повеяло весенним теплом. Качике стал собираться в дорогу. Через несколько дней Саша и Люся проводили его на вокзал. Соединив Люсину и Сашину руки, Качике крепко пожал их.

— Пусть так будет навеки! — пожелал он им.

— Да будет так, только примет ли она шахтерскую руку? Не выставит ли в один прекрасный день? — как всегда, Саша смущенно улыбнулся.

— Будем переписываться, не забывайте меня, счастливые забывчивы! — сказал Качике, пожимая им руки.

— Родной ты мой землячок! Нет у меня другого подарка, кроме этого украинского кисета, — сказал Саша, вытащив из кармана расшитый кисет. — Бери вместе с табаком. Каждый раз, когда будешь закуривать, вспоминай обо мне.

— А это от Люси — носовой платок. Тоже вспоминай, когда поднесешь к лицу. — Люся радостно улыбалась.

Качике не ожидал от Люси подарка, разволновался. Он обнял Сашу, поцеловал Люсю в лоб и вошел в вагон. Поезд тронулся, Качике стоял у окна, вытирая Люсиным платком глаза, потом махал рукой, пока не потерял их из виду.

## 12

Начался разгром окруженных в Сталинграде немецко-фашистских войск. Страна радовалась, предвидя скорый перелом на фронте. В эти дни Бермет получила от Кыдырбека письмо, он вложил в конверт и тетрадку Искандера. Не понимая, что может означать такой толстый конверт, Бермет, прижав его к груди, бегала по институту, ища свободную аудиторию, наконец нашла и уселась в самом темном углу. Сердечко колотилось, будто повторяло: «Что за письмо? Что за письмо такое?»

Читала, перечитывала, плакала и целовала письмо,

прижимала его к глазам. «Кыдырбек мой, Кыдырбек! Вокруг тебя рвутся снаряды, земля ходит ходуном, а ты такое письмо, такие слова написал! Милый ты мой, родной ты мой!..» Она закрывала глаза и (о чудо!) будто обнимала Кыдырбека, будто чувствовала на своих плечах его руки. Потом долго сидела не шевелясь, чтобы не вспугнуть его образ. Когда успокоилась немного, открыла тетрадь Искандера. Бермет слышала об Искандере, читала его стихи, несколько раз встречала его на улице и, вместе с подругами, с восхищением глядела ему вслед. Тетрадь начиналась стихами:

Кто бы ты ни был, я руку тебе подаю,  
Будем знакомы, и ты протяни мне свою.  
Давай посидим, потолкуем вдвоем  
О прошлом далеком, о доме родном.

Сестра ль фронтовая, любившая эти стихи?  
Иль критик, кто ищет в стихах лишь грехи?  
Джигит ли, что ищет любимой своей,  
Уставший от страшных бессонных ночей.

Кто бы ты ни был, лишь был бы с душой,  
Лишь горе мое разделил бы со мной.  
Но, если ты скрытен, завистлив и зол,  
Не лезь ты к друзьям моим верным за стол.

«25.8. Писал сегодня Аруке. Мы с ней попрощались в саду, она стояла, прислонившись к березе, и молча плакала. А при людях не показала слабость, слез не показала, даже не обняла. Верно, постеснялась провожавшего меня народа. Сегодня я послал ей эти стихи. (Я, конечно, преувеличил тут немного.)

Помню, упала на грудь,  
Заплакала слезно и горестно.  
Больно мне, больно, не в силах вздохнуть,  
Лишь милые глажу я волосы.  
Хоть слово б какое сказать,  
Но думы клубятся тучами,  
И только целую, целую глаза  
Родные мои, плакучие...»

С волнением, забыв все на свете, Бермет страничку за страничкой листала тетрадку, щеки ее горели, сердце колотилось. Будто никогда ничего такого не видела, но все написанное здесь как будто относилось к ней. В каждом слове Искандера находила свою боль, свою любовь.

«26.8. С непривычки и солдатом быть, оказывается, трудно. Сам над собой посмеиваюсь. Читаю Лермонтова. Он стал офицером совсем еще мальчишкой. Но храбро сражался. Я начал солдатом. Ко всему надо привыкнуть. Что может быть лучше — своими глазами увидеть эту войну и остаться в живых! Вот уж тогда писать...»

«...Едем на фронт. Скорее бы! Хочу посмотреть, что такое война. Смерти не боюсь. Почему-то даже не вспоминаю о смерти, не представляю ее себе. Петефи говорит, что надо жить, как молния».

«Какими жалкими сейчас на фоне войны кажутся наши литературные завистники и карьеристы. А чего греха таить — есть они. Напишут серые пустые стихи и воображают себя Пушкиновыми. Бедный Пушкин, кто только не претендует на твою славу! Мне подумалось, не из таких ли зазнавшихся и Апсамат? Говорят: «У дурака нос на небе, да голова на земле», — но Апсамат умен, хитер. Конечно, можно быть умным, но бесталанным... А сам я какой?..»

Дойдя до этого места, Бермет остановилась. «Читать дальше или нет? — думала она. — Кыдырбек пишет: здесь много такого, что ему непонятно и, может быть, не нужно. Но он, наверное, не читал все полностью, послал мне, чтобы только не пропали стихи и мысли поэта. Но кто эта Аруке? Где она? Как я смогу отдать ей эту тетрадь? Что я ей скажу? Поэт умер, кто должен отдать близким его тетрадь? Нет, я не имею права читать его дневник. Отнесу-ка я в комитет комсомола...»

Тихо открыв дверь, вошла Сабира.

— Что здесь делаешь, барышня? — крикнула она. — Вечно ты прячешься по углам! Ночь уже на дворе! Весь институт обегала. А это что? — она с любопытством уставилась на тетрадку Искандера. Бермет не хотела никому показывать ее, даже и Сабире. Она собралась было спрятать тетрадь в портфель, но подумала, что Сабира — ее преданная подружка, не решилась и оставила тетрадь на месте. Сабире заглянула Бермет в глаза и, заметив, что та недавно плакала, молча села в сторонку. — Письмо от Кыдырбека? Жив-здоров? — спросила она тихо.

— Получила. Здоров.

— Плакала?

— Плакала...

Сабира терпеливо ждала. Бермет всегда давала Сабире читать письма Кыдырбека. Но в этом был рассказ об Ис-

наидере, и Бермет раздумывала, что показать Сабире раньше — дневник или письмо, наконец она протянула ей письмо Кыдырбека.

Сабира читала, молча вытирая ладонью слезы. Бермет впервые видела Сабиру плачущей.

— Ах, какой был поэт!.. — вздохнула она, кончив читать.

— Ты знала его?

— Он часто приходил к нам, с братом моим дружил. Брат писал недавно, что потерял Искандера, не знает, где он. Какой поэт, а ко мне хорошо относился... — сказала Сабира с грустной улыбкой.

— И Аруке ты знаешь?

— Аруке? Кто она?

— Вот здесь, это дневник Искандера, он все время ее называет. Наверно, любимая его.

— Дневник читала?

— Начала читать, но мне кажется, что мы не имеем права. Отдай ты его в комитет комсомола. — Бермет передала тетрадь Сабире. Сабира стала перелистывать, вслух читала стихи. Потом вдруг вскрикнула:

— Здесь о Кыдырбеке!

— Где?

— Вот послушай: «Я сегодня видел киргизского офицера. Старший лейтенант, по фамилии Сулейманов, звать Кыдырбеком. Сам меня разыскал. Познакомились. Впервые в Сталинграде увидел офицера из киргизов. Страшно обрадовался. Он слышал обо мне как о поэте. Говорят, что комдив наш хвалит его. С будущим человек, выжил бы только».

— Ну, а кто же Аруке? — Бермет хотела отвести разговор от Кыдырбека. Ей было приятно увидеть имя Кыдырбека в дневнике поэта, а тем более услышать похвалу в его адрес, знать, как его уважают на фронте. Она сделала вся красная, радостная и смущенная.

— А почему ты не решилась читать? — удивилась Сабира.

— Не могу я, понимаешь, совесть не велит. Он высказывает свое личное мнение о разных людях. Надо разыскать через комитет комсомола Аруке и передать ей, — предложила Бермет. — Кыдырбек советует отдать писателям. Как ты думаешь? Или хочешь прочесть?

— Ну чего уж мне читать, раз так! Сделаем, как ты

говоришь.— Сабира схватила Бермет за руку. Хотела что-то сказать, но замялась.

— Что ты? Говори!

— Не отстаёт от меня твой Сарыгул, так и ходит следом. Ты знаешь, что я ему ответила, но боюсь, как бы силой не увез. Приедет с приятелями и...

— Да перестань ты, ничего он с тобой не сделает. Хотя он на все способен. И что ты предлагаешь?

— Что мне сказать, решила предупредить тебя,— естественно засмеялась Сабира.— Одобришь или ругать будешь?

— Чего ты мямлишь? Не понимаю тебя. Уж не замуж ли за него собираешься? Воля твоя!

— Не знаю... сама не знаю... А тебя искала потому, что сегодня на вечере будет Мырзабек. Пошли, наверное, уж все собрались.— Она подхватила Бермет под руку и потащила к выходу.

У Сабиры были основания не отвечать прямо на вопрос Бермет. Сабира тайком встречалась с Сарыгулом. Она никому не говорила об этих встречах и особенно тщательно скрывала их от Бермет. Понимала, что это нечестно по отношению к подруге, мучилась про себя и все же не решалась открыть свою тайну. Собственно, она и не могла иначе поступить.

Как-то, в одну из встреч, Сабира услышала:

— Сестричка,— Сарыгул по-своему обращался к Сабире на «ты».— Ты, сестричка, о своем будущем подумай. Почему я отказался от Бермет? Она бессердечная. Такой человек других не уважает, с другими не считается. Я не заметил этого вначале и чуть не ошибся. Она точно как моя прежняя жена. Один раз уже ошибся, если бы второй раз это случилось, пропасть бы мне совсем. Вот у тебя другой характер, ты открытая, ты добрая, веселая, я сам такой. Потому-то, как увидел тебя, так и потянуло, так и привязался к тебе. Как в песне получилось: «Я мотылек, а ты огонь». Ты уж меня не обижай. Чем с мрачным человеком тоскливую лямку тянуть, лучше с веселым весело прожить. Киргизы называют этот мир «печальным миром», но это неправильно. Помнишь, как говорил Николай Островский: жизнь дается человеку только один раз, и прожить ее надо без сожалений! Помнишь, сестренка? — Сарыгул посмотрел на Сабиру. Сабира боялась, как бы он не стал ее расспрашивать об этой книге, слышать-то она

слышала о ней, но прочесть не удосужилась. Но Сарыгул и не собирался пытаться Сабиру, он и сам в руках не держал этой книги и говорил о ней с чужих слов, для пущей убедительности. Довольный произведенным впечатлением, Сарыгул продолжал: — Сестричка моя, ты должна меня понять, в жизни и женщина ошибается, и мужчина. Недаром говорят: «Скотина о четырех ногах, и то спотыкается». Я ошибся, может быть, и жена моя ошиблась, по молодости сошлись мы с ней, хорошенько не узнав, не испытав друг друга. Вот и результат. Свою замкнутость, молчаливость, суровость она почитала за ум. Ты же понимаешь, сестричка, как мог ужиться с ней такой открытый, общительный человек, как я? Сколько ни пытался ей объяснить, она не хотела понимать, только злилась. Там, где злость, разве может быть доброта? Я и близко боюсь подойти к злым людям. Если бы моей прежней жене попался человек такой же замкнутый, суровый, такой же сердитый, может быть, они и нашли бы общий язык. Вот вы подруги с Бермет, делитесь друг с дружкой, скажи-ка мне, ведь правда, что она скрытна, молчалива, сурова, недоброжелательна? Так ли я сужу о ней? Только в общении с другими человек становится человеком. Бермет никогда откровенно не поговорит с людьми. У Бермет есть тетка, что ли, по имени Джамалкан, такая легкомысленная особа, хохотушка, из-за нее я и попался, уж так она расхваливала Бермет, что я чуть не связал себя с ней. Вот мы с тобой сидим и говорим с глазу на глаз, откровенно. Если даже мы и разойдемся в разные стороны, это не так обидно. Потому что честно поговорили, честно объяснились. Не Бермет мне отказала, я сам вовремя опомнился и отошел от нее. Гордая она девчонка, гордая! Нос больно задирает, все не по ней. Бог с ними, с гордячками! Такие из гордости от счастья отказываются.

Бывают люди, которые ничего из себя не представляют, но на людей менее развитых умеют производить впечатление, кажутся умными и красноречивыми, случается, что и умных вводят они в заблуждение. «Лучше не связываться!» — говорят о таких серьезные люди и отступаются. Сарыгул как раз из этих ловкачей, умел он заговаривать человека.

Сабира была неглупая девушка, но и она поддавалась красноречию Сарыгула и стала сомневаться не только в Бермет, но даже в Кыдырбеке, которого в глаза не видела.

Разве Сабира не знает Бермет? Знает, но разве не правда, что ее подруга замкнутая, скрытная? Правда. Она и Кыдырбеку пишет, будто тот в чем-то виноват, — ведь и этого не скроешь. Бермет и с Сабирой не была откровенна, мало того, она не доверяла ей, пренебрегала ею. Не она ли скрывала свои отношения с Кыдырбеком, не она ли прятала от Сабиры свой дневник? Только открытым и веселым характером Сабира сломила скрытность Бермет, а когда прочитала ее дневник, зная, что не имеет на это права, что стыдно читать чужие дневники, выпуталась из этой неловкости с большим трудом, обратив все в шутку и забросав Бермет упреками, сто раз заверив ее в своей скромности, в своей дружбе. Что верно, то верно — Бермет слишком придирчивая, слишком осторожная. Сабира об этом и раньше знала, даже пеняла самой Бермет, так что Сарыгул прав, он быстро распознал Бермет. Прав-то прав, но не сама ли Сабира хулила перед Бермет Сарыгула, не она ли отговаживала от Бермет и Мырзабека, превознося Кыдырбека? А что оказалось? Оказалось, что Сарыгул лучше других. Но как теперь повернется язык хвалить перед Бермет Сарыгула?

Все эти соображения заставили Сабиру задуматься. Она знала, что не может равняться с Бермет ни по уму, ни по рассудительности. Ей будет трудно оправдать свое отношение к Сарыгулу. В его присутствии Сабире казалось, что она выше Бермет, лучше, человечнее, что именно она может стать той идеальной женой и невесткой в доме, о которой мечтает каждый джигит, о которой поется в песнях. Ей было приятно думать о себе так и немного стыдно, неловко. Оставаясь же с глазу на глаз с Бермет, Сабира менялась; все, что думала о себе, о Бермет и что представлялось ей безусловным, в присутствии подруги теряло свою убедительность и требовало доказательств, а что-нибудь доказать Бермет было ей не под силу.

Но случилось еще кое-что, чего Сабира уже никак не могла рассказать Бермет. Сарыгул приезжал в город не с пустыми руками. Ласковые слова, льстивые речи он подкреплял щедрыми угощениями. Представив Сабире своим квартирным хозяевам как сестру, он уводил ее к себе, поил водкой и пивом, угощал всевозможным домашним печеньем и мясом, изображая щедрого, преданного друга. Сабире нравились эти ужины вдвоем, ей льстило внимание взрослого мужчины, она стала с нетерпением ждать приезда

Сарыгула, Однажды, когда Сабира, слегка опьянев от выпитого стакана вина, сидела румяная, расслабленная, Сарыгул будто в шутку обнял ее и, все крепче прижимая к себе, как бы случайно повалил на диван. По всему телу Сабиры разлилось пламя, сознание помутилось, но какая-то сила, стыд ли это был или страх, помогла ей прийти в себя, она вырвалась — тут уж было не до девичьей мягкости, — грубо, отчаянно крикнула:

— Бесстыжий!

Сарыгул, опьяненный близостью скорой победы, вмиг отрезвел от этого дикого крика.

— Я вас человеком считала, — дрожащим голосом сказала Сабира. Ее полные слез глаза с упреком и страхом неподвижно смотрели на Сарыгула.

— Я не виноват, виновата любовь, виновата твоя красота, — оправдывался Сарыгул. — Прости, забылся! — Он упал на колени и заплакал. Сабиру потрясла эта сцена, она не сомневалась в искренности Сарыгула, была готова простить ему, уже хотела, ей хотелось прижать его голову к груди и, как ребенка, утешать.

— Встаньте же... — ласково попросила она. Умиленная раскаянием Сарыгула и своей добротой, она стояла просветленная, красивая, улыбаясь грустной, всепрощающей улыбкой.

Увидев ее такой, Сарыгул вздрогнул.

— Жизнь моя, светик мой! — воскликнул он, бросился к ней и с чувством обнял. На этот раз Сабира уже не кричала, не сопротивлялась, она молча гладила его волосы. И опомнилась, когда было уже поздно.

Как она расскажет об этом Бермет?

### 13

Сарыгул чувствовал себя победителем. Дело было не только в Сабуре. Сабира была близкой подругой Бермет. Сарыгул не мог забыть позор и обиду, которую нанесла Бермет, он жаждал хоть как-нибудь отомстить ей. Сарыгул разлучит Сабиру с Бермет. Бермет, конечно, тяжело будет переживать потерю подруги, так рассчитал Сарыгул. Все знали, что Бермет прогнала Сарыгула, а ведь он повсюду хвастался, что заполучит ее, этот позор можно было смыть, лишь женившись на девушке еще лучше, еще кра-

ше Бермет. Тем самым Сарыгул плюнул бы в лицо Бермет, ну, если не в буквальном смысле, то хотя бы в переносном, но уж во всяком случае, встретив Бермет на улице, он бы гордо прошел мимо нее, презрительно поджав губы. Победа над Сабирой была началом его мести. У Сарыгула было еще одно, тайное, желание: он чуть не молился о смерти Кыдырбека. Он понимал, что это нехорошо, но жажда мести брала свое! Пусть Бермет, отвергнувшая его, останется старой девой! А уж он-то без жены не останется. Его будут звать «счастливым», он заранее предвкушал удовольствие от общей зависти и восхищения его особой. Поэтому Сарыгул не удержался и намекнул Сабире на свое заветное желание.

— Попомни мое слово, Сакиш, хоть и грешно так думать, Бермет останется незамужней вдовой. Вот увидишь. Сабире перепугалась.

— Разве можно так каркать! Откуда вы знаете? — воскликнула она, раскрыв рот от удивления. Ей самой не могла прийти в голову подобная мысль.

— Живым с такой войны не возвращаются, — с видом прорицателя изрек Сарыгул.

— Да оставьте вы, род людской переведется, что ли, из-за этой войны? Мой брат тоже на фронте. Не пугайте! — Сабире не на шутку расстроилась.

— Кто он, солдат или командир?

— Солдат.

— Я о командирах говорю. Нравился мне Кыдырбек, жаль его. — Сарыгул притворно вздохнул.

— А вы почему не на фронте? — вдруг спросила Сабире.

— Я же единственный ветврач в районе, как меня могут отправить? У меня бронь, нужных людей оставляют по брони, — ответил Сарыгул. Он, конечно, смолчал о том, что ветеринары очень нужны и на фронте и что он лишь благодаря ловкости остался в тылу.

Сарыгул хотел смерти Кыдырбека еще и потому, что боялся встретиться с ним после войны.

Сколько раз Сабире собиралась сказать Сарыгулу о том, что это она отваживала женихов от Бермет, защищая интересы Кыдырбека, но так и не собралась; сколько ли пыталась и сама порвать с Сарыгулом, так и не смогла. Почему? Разве она не понимала, кто такой Сарыгул? Она же все знала о нем из дневника Бермет и все-таки не ожи-

данно для себя самой сошлась с человеком, которым вместе с Бермет возмущалась, которого ее подруга оставила с посом. Она вынуждена была скрывать это от Бермет, начала лгать, лицемерить, хотя по-прежнему считала Бермет своей подругой.

Вся беда была в податливости Сабиры. Она не могла сдержать свой открытый, веселый нрав, своего легкомыслия, к тому же ее пугало остаться после такой войны без мужа.

Сабира сама себе поражалась. «Как быстро человек может перемениться! Я связалась с тем, кого еще вчера осуждала, — думала она. — Как я теперь посмотрю в глаза Бермет, которую сама учила жить?.. — Но, не привыкшая долго страдать, Сабира тут же находила себе оправдание: — Мы иногда поспешно осуждаем людей, не видя их, не поговорив с ними, ничего не зная о них толком. А когда ближе познакомишься, оказывается, что это совсем другой человек. Сарыгула я совсем не знала и все же считала его недостойным Бермет, не только Сарыгула, даже Мырзабека (ах, Мырзабек!) не подпускала к ней. Я тогда по своему была права. Но откуда я знала, что Сарыгул не такой, каким я его представляла? Разве я виновата, что ошиблась в нем? Нет, жизнь виновата!»

«Жизнь! Жизнь! — насмешливо шептал ей внутренний голос. — Во всем хочешь обвинить жизнь. А ведь все зависит от самого человека. Ты не могла оказать сопротивления, теперь винишь в этом жизнь! Каждый сам хозяин своей судьбы».

Устав от этих раздумий, Сабира наконец на все махнула рукой.

Встреча Мырзабека со студентами была короткой, но интересной, веселой. Студенты засыпали его вопросами о войне. Отвечая им, Мырзабек вдруг заметил в последнем ряду Бермет. Выпуклые глаза его вспыхнули и погасли, он вспомнил вежливое, но не оставляющее никакой надежды ответное письмо Бермет. Когда глаза их встречались, Бермет опускала голову и, пошептавшись о чем-то с Сабирой, улыбаясь, исподлобья взглядывала на Мырзабека, но, застеснявшись его упорного взгляда, снова опускала

глаза. Сабиру Мырзабек видел впервые. «Озорная, видать!» — подумал он и постарался больше не смотреть в их сторону. «Веселая, хоть и грубовата лицом, — продолжал он думать о Сабире, — ничего, со временем остепенится...»

— Кому поручить рассказать о дневнике поэта? — спросил, откинув со лба жесткие волосы, председательствовавший на вечере секретарь комсомольского комитета. Его смуглое лицо было молодо и необычайно симпатично.

Мырзабек, метнув быстрый взгляд на Бермет и Сабиру, сказал:

— По-моему, на этом собрании не стоит поднимать этого вопроса. Надо было пригласить сюда Аруке, но оказалось, что никто из нас не знает жены поэта, а без нее проводить такое собрание неудобно. Искандер был замечательным комсомольским поэтом, думаю, и вечер, посвященный ему, надо проводить торжественно, пригласить и другие комсомольские организации.

— Это правильно, так мы и сделаем, — согласился секретарь комитета комсомола.

Когда вечер закончился, Мырзабек задержал секретаря.

— Надо бы поговорить с девушками, которые получили тетрадь поэта, не часто такое случается.

Мырзабеку захотелось поговорить с Сабирой. Конечно, это неудобно при Бермет, но, как говорят русские, попытать счастья не грешно. «А вдруг, вдруг...»

— Бермет, Сабир, члены комитета! Все в деканат, в деканат физмата! — крикнул секретарь.

Приглашенные собрались в деканате. Притихшие, они ждали, что скажет Мырзабек. Мырзабек негромко заговорил:

— Почему-то дневник поэта доставлен не через военкомат жене. Это просто удивительно! Тот, кто посылал, вероятно, ведь думал, что тетрадь должна попасть в верные руки. Скажите, если не секрет, кто его прислал? Если не хотите сказать кто, скажите хотя бы, зачем этот человек вам его посылал?

Мырзабек стеснялся смотреть Бермет в глаза, но бросал вопрошающие взгляды в сторону Сабиры. Он был доволен собой, тем, что, увлеченный Бермет, заинтересовался Сабирой, которую только увидел, считал это признаком испорченности и поражался себе.

— Разве девушки скажут, с кем переписываются! — заметил один из молодых людей.

Бермет метнула на него сердитый взгляд и мысленно заговорила с Мырзабеком: «Что вам от меня надо? Хотите знать имя моего любимого? Разве вам легче от этого будет? Почему вы настаиваете, чтобы я тут исповедовалась перед вами? Ведь это дела не меняет. Но я не боюсь назвать его имя, мне печего стыдиться, совесть моя чиста перед людьми и перед вами...»

— Бермет! — позвал секретарь, видя, что она не торопится отвечать.

— На наш взгляд, — заговорила Бермет спокойно, хотя про себя очень волновалась, посмотрела на Сабиру, давая понять, что говорит и от имени Сабиры, — тут нечему удивляться. Дневник поэта, видимо, читали некоторые его фронтовые друзья. И решили, что тетрадь надо доставить кому следует. Ее нам прислал человек, с которым мы переписываемся. Но послал не за тем, чтобы мы могли его прочесть, он просит разыскать жену поэта и передать ей. Вот мы и решили с Сабирой обратиться с этим в комсомольский комитет. Вот и все, что мы можем сказать.

— Вы обе переписываетесь с одним человеком? — засмеялся секретарь.

— Значит, обе влюблены в одного? — поддел другой.

— Или один сразу в двух, — вставил и Мырзабек.

— Ах, оставьте, пожалуйста, письма приходят к Бермет, от ее друга... — выпалила Сабира и закрыла лицо ладонями.

— Мы вместе читаем письма, ничего друг от друга не скрываем, советуемся, значит, письма приходят нам обоим, и товарищ наш общий. — Бермет покраснела от смущения.

Тем самым Бермет одернула Мырзабека и других. Она удивилась, что Сабира так поспешила заявить, что не занята. «Конечно, ради Мырзабека стараешься, — подумала она неприязненно, — будто я собираюсь отнять его у тебя. Пожалуйста, буду только рада. Но зачем было так выдавать себя, выворачиваться перед Мырзабеком?..»

— А вы ни с кем не переписываетесь? — вытянув губы, засмеялся Мырзабек, будто читая в мыслях Бермет.

— Нет, нет, — быстро ответила Сабира.

— А, значит, еще не занята, — заметил кто-то.

— Не могу сказать, что не занята, разве незанятые

девушки бывают! Но ни с кем не переписываюсь. — Сабира рассмеялась и кокетливо взглянула на Мырзабека.

«Чтоб тебе пропасть! — выругала ее про себя Бермет. — Ну и бесстыжая ты! Вот уж не знала, не знала!»

— Значит, без переписки занята, — подытожил другой.

Все, кроме Бермет, рассмеялись. Бермет рассердилась на ребят, и на Сабиру, и на Мырзабека, на всех и стояла бледная от гнева.

— Чтоб тебе провалиться! Ты что, в самом деле занята? Скажи правду, с каких это пор? Говоришь, чтобы ничего не скрывали друг от друга, а сама скрытничаешь? И с Мырзабеком кокетничала напропалую. Удивляюсь я тебе, Сабира, удивляюсь! — упрекала подругу Бермет.

В коридоре они были вдвоем. Сабиру задел резкий тон. Она молча, без смущения, холодно и независимо смотрела в лицо Бермет. Красная от сдерживаемой ярости, она решила дать отпор, только не знала, с чего начать. Обе напоминали сейчас двух взъерошенных цыплят, готовых ринуться в бой.

— А чему ты удивляешься, Бермет, чему? — вызывающе спросила Сабира. — Разве мне и пошутить нельзя с джигитами, обязательно надо ходить насупившись, как ты? К слову пришлось, я и сказала, ну и что, что в этом плохого? Кто мне запретит говорить, что думаю, и делать, что хочу? Кто?

— Никто тебе не запрещает, но почему ты сегодня выскочила вдруг? — уже сдержаннее спросила Бермет.

— Я не обязывалась смотреть тебе в рот! — Сабира все больше горячилась и, видимо, не намерена была кончить разговор миром.

— Как ты так можешь, как ты так можешь?

— Что могу?

— Да вот так... — Бермет волновалась, удивляясь тому, что внезапно Сабира стала словно чужая, но все еще не теряя надежды объясниться с ней. — Ты, Сабира... ты сама хорошо знаешь. Одна у меня к тебе просьба, держи себя иначе с Мырзабеком...

— А как же я себя держала с ним? — перебила Сабира, ей не хотелось, чтобы Бермет договаривала. — Или пожалела о Мырзабеке? Так бери его себе, пожалуйста, я таких, как Мырзабек, и на завязку к штанам не возьму. Что больно беспокоишься о нем? Что в нем нашла хоро-

Шарапат? Если директор школы поставил вопрос перед самим секретарем райкома, значит, дело не в одной Шарапат, значит, таких девушек много?..»

В тяжелых шубах, с заиндевевшими бородами колхозники заполнили тесную комнатку. Абылкасым знал, зачем они пришли, но делал вид, будто не догадывается, и, чтобы не показалось, что он не рад им, хотел заговорить, но не мог придумать о чем. Колхозники видели, что Абылкасым сегодня мрачен и чем-то расстроен: может, во Фрунзе поругали, может, неприятность какая. Они тоже молчали.

— Сыннок, Абылкасым, с доброй ли вестью приехал из столицы? — прищурился глаза, заговорил наконец седобородый старик как бы от имени всех.

Абылкасым невольно вздохнул, и его вздох прошел по комнате, как ледяной ветер, все опустили глаза. С трудом Абылкасым все же овладел собой и виновато улыбнулся в усы. Сидящие оживились и тоже вздохнули, теперь уж с облегчением.

— Дай, господи! — сказал кто-то.

— Не знаю, что вам сказать, старики, вот улыбаюсь, а небось сами догадываетесь, — отозвался Абылкасым.

— Спасибо, хоть улыбаешься, а то ведь не знаешь, как и подойти к тебе, — посмеялся один из стариков.

— Улыбаются и от растерянности, — заметил вошедший Муса.

— И это верно, растерялся малость, — Абылкасым недобрый взглядом смерил Мусу, у которого смуглое лицо лоснилось. — Вот ты уж никогда не теряешься. Народ не знает, как жить дальше, а тебе все трын-трава...

— Я не объедаю народ, как ты, — ответил Муса, не дав Абылкасыму договорить. — Я..

— Ты, ты... ты пока выйди, раньше я поговорю с этими людьми! — сердито приказал Абылкасым. — Но далеко не уходи, есть разговор!

Несдержанный на язык Муса хотел что-то ответить, но пока собирался, задыхаясь от злости, те из стариков, кто помоложе, вывели его за дверь.

«Народу есть нечего, а этот водку глушит, аж пар с него идет! И где только берет? Ну погоди!.. — подумал Абылкасым и посмотрел на колхозников. — И старики убывают, трудовой фронт...» А вслух произнес:

— Так о чем говорить будем?

— О чем же еще, тебя пришли послушать,— ответил седой старик.

— Если меня... сверх плана зерно требуют,— спокойно и тихо произнес Абылкасым, вопросительно глядя на колхозников.— Еще надо сдавать хлеб... Но как ни прикидываю, не получается... Боюсь, ни с чем останемся. Не сдавать — тоже нельзя, не можем не давать фронтовикам, и сами... сами что будем делать?

— Государство нам должно за мак. Не скостит ли немного в счет долга? — спросил кто-то из стариков.

— Было бы хорошо! — поддержал другой.

— Абылкасым,— заговорил седой,— нам нечего от тебя скрывать, ты свой человек, не посторонний какой, сам хорошо понимаешь. У людей последние штаны износились. Чесотка замучила, мыла нет, чтобы стирать, грязное в щелоче кипятим. Но и щелок из ничего не сделаешь. Не то что хлеба, жармы<sup>1</sup> не видят некоторые. Я говорю об одиноких стариках. Если все они перемрут, некому станет ни хлеб давать фронту, ни даже хоронить умерших! И о народе надо подумать! А таких вот, заживевших... — он махнул рукой и замолчал.

— Разве не сказал этот парень, что я колхоз объедаю? — обиженно, глядя вниз, проговорил Абылкасым.

— Мы сами знаем, кто объедает, а кто добавляет. Так может сказать только чужой человек. А этот хлюст только и знает, что жеребцом скачет возле молодух! — снова сказал седобородый.

— Теперь молодухи и от старых не отказываются,— заметил старик с огненной бородой и усами, с бельмом на одном глазу.

— Если такие, как ты, заигогают наподобие слепых жеребят, то иная молодуха, наголодавшись, может, и закроет на все глаза. Где нет стыда, там все может случиться,— возразил седой.

Старики помоложе, подталкивая друг друга локтями и хлопая себя по бокам, давились от смеха.

— Можно? — Саадат заглянула в дверь и уже хотела закрыть снова, но Абылкасым крикнул:

— Заходи, заходи, директор!

Старики, многозначительно переглянувшись, притихли.

— Так вы поняли, почему я тут мудровал своим умиш-

---

<sup>1</sup> Джарма — похлебка из дробленой пшеницы или ячменя.

ком да на счетах прикидывал? Сейчас вот закончу с директором, потом посоветуемся, согласны?

— Ладно, ладно,— раздались голоса, и колхозники пошли к выходу.

— Ну, директор, что скажешь?— спросил Абылкасым и снова вспомнил о девушках.— Мерзнете, что ли? Знаю, внаю, видишь, и сам в шубе сижу. Торф сожгли?

— Сожгли. Ребята из дома притащили, и тот кончился.— Глаза Саадат покраснели от холода. Абылкасым пристально смотрел на нее. «Удержит ли парень такую жену или из-за беспутной жизни лишится ее в один прекрасный день? Или сломает...»

— Торф я тебе найду,— сказал он, сам не зная, где он его найдет.

— Как-то раз угорели от торфа, чуть живы остались. Если бы дрова...— нерешительно сказала Саадат.

— Не то что дрова, торф не знаю где достать, хоть бы машина была...— Абылкасым задумался, руки его сжались в кулак.

— Дайте лошадь, сами навезем еловых веток,— сказала Саадат.

Собственно, за этим и зашла она сюда.

Абылкасым удивленно посмотрел на нее.

— Ельник-то где, знаешь? На вершине. И то, если разрешат еще. Ведь рубят его и увозят на военные нужды.

— Украду!— упрямо сказала Саадат.

— Украдешь? Как украдешь? Ведь свалишься с дерева.— Абылкасым понял, что Саадат умеет не только улыбаться.— Или думаешь, для тебя там лежат сваленные ели?

— Не все, что рубят, идет на войну, кое-что и остается. Разве не слышали, как потихоньку растаскивают? А я, если и украду, то одни ветки...— Саадат еще что-то хотела сказать, но не сказала, только улыбнулась Абылкасыму.

«И правда, почему бы и нам не привезти, раз на то пошло, только где бы трактор раздобыть? Пусть потом судят, паташу-ка я им хотя бы лапника...» — решил про себя Абылкасым и твердо пообещал Саадат подвезти топлива.

— Узнала, где Шарапат? Что с другими девушками?— спросил наконец Абылкасым, он все время думал об этом.

На этот вопрос не просто было ответить. Тут крылась какая-то тайна. Саадат дважды писала Шарапат, но не получила ответа. Если судить по осторожным рассказам

Маарипат, вокруг девушки творились какие-то темные дела. Саадат чувствовала это, но докопаться до истины не могла. Потому и не знала, что ответить Абылкасыму. Она сама собиралась спросить его, как со всем этим быть.

— Все, кроме Шарапат, вернулись и учатся, но Шарапат, верно, уже решила... иначе... — будто не находя нужного слова, еле выговорила Саадат. — Точно не знаю, но подозрительно это...

— Так уж трудно выяснить? А что ты подозреваешь? — спросил Абылкасым, сам подумав про себя, уж не замуж ли девушка вышла.

— Может, табунщиком хочет стать?

— Табунщиком? Каким образом?

— Вот и я не пойму. Так получается, если судить по болтовне сестрички Шарапат. Ведь у них зять и тетка табунщики. Шарапат сейчас с ними. Действительно ли собирается табунщиком стать или тут что-то другое кроется... — сказала Саадат.

— Любопытно, любопытно, — всерьез задумался Абылкасым. — Очень интересно. А не надумал ли Бакдавлет в токолы<sup>1</sup> взять свояченицу? С него, бессовестного, станет! Детей у них нет, вот и уговорит жену положить к нему в постель Шарапат. Видел я на днях, как жена его Зийнат заходила к старухе Буурул. Ты не видела ее?

— Нет.

— Она ей сестра по мужу. Надо срочно вернуть Шарапат. — Абылкасым вскочил.

Они не знали, что судьба Шарапат уже давно решена.

— Ты, парень, совсем распустился, ну, что у тебя, говори, — сказал Абылкасым. Муса не присел на скамейку, а, привалившись к стене, стоял в углу комнаты, косился на Абылкасыма, готовый сцепиться с ним. Абылкасым заметил воинственное настроение Мусы и выжидающе смотрел на него. — Ну, что не говоришь?

— Вы же велели не уходить, говорите сами.

— Неужели я при аксакалах стану разговаривать с таким шалопаем! Учили тебя, к порядку приучали, в комсомол принимали! Где же совесть твоя? Народ в старых шубах ходит, чего сроду не бывало, шерстью наготу прикры-

---

<sup>1</sup> Токол — младшая жена.

васт, из сил выбивается на работе, а ты чуть свет, уже пьяный! Ну, что это, скажи!

Абылкасыму было стыдно и обидно, что он не может справиться со своим родственником. «Что мне с ним делать? Как поступить?— мучительно думал он про себя.— И жена-то попалась хорошая такому щенку! Везет ему, вот и загордился. Где он водку достает? Может, ворует? Позор-то какой! И это студент? Позор!»

Муса молчал.

— Если так будешь вести себя, без жены останешься, парень!— сказал Абылкасым, собираясь уходить.

— Ну, так и бери ее себе,— не моргнув глазом, ответил Муса.

— Вижу, совсем стыд потерял! Уходи с моих глаз!

Абылкасым потянулся за палкой. Муса хоть бы шевельнулся. Абылкасым едва сдержался, чтобы не ударить его. Он так и не понял, чего от него хотел Муса.

Тогда спокойно, как о чем-то самом обычном, Муса спросил:

— Ты чего обхаживаешь мою жену?

— Обхаживаю?

— Да-а.

— Лучше бы ты умер, чем сказать мне такие слова.— Все еще сжимая в руках палку, Абылкасым тяжело опустился на стул. Оба некоторое время в упор смотрели друг на друга. Абылкасым наконец понял, почему Муса в последнее время так ведет себя. Он сразу успокоился. «Кто-то насплетничал, кто-то хочет натравить нас друг на друга. Не зря, значит, он пришел ко мне»,— подумал он про себя и улыбнулся.— У жены-то спросил?— сказал Абылкасым, заметив, как Муса изменился в лице.

— Не спрашивал! Разве женщина скажет об этом? Вот я морду набью тебе, тогда и она признается...— Он открыл дверь и выглянул наружу.

— Ты, парень, не спеши,— сказал Абылкасым, боясь, как бы Муса сгоряча не наделал чего, однако сказал спокойно, недрогнувшим голосом:— Не спеши! Аксакалы говорили, будто ты балуешься с их невестками, это правда?

— Правда!

— Значит, при молодой жене? Зачем ты это делаешь?

— Моя жена гуляет, а мне что, смотреть, что ли?

— Дурак! Кто бы ни говорил тебе, он с пути сбивает тебя! Это от нее идет, от любовницы твоей. Сегодня же заставь ее признаться, сумеешь заставить, приходи вечером ко мне домой. Если водка есть, захвати,— совершенно спокойно сказал Абылкасым и встал.— Голова пухнет от дела, тут еще тобой занимайся, дурью твоей. Иди! Иди, к ней, самый раз в буран идти. Если это потаскуха Салкынай, у нее и в доме, наверное, тепло, а может, и в казане не пусто.

Абылкасым, опираясь на палку, прихрамывая, пошел к двери. Муса, мрачный, нахмуренный, пошел за ним.

17

В тот же вечер, сунув за пазуху две бутылки водки, Муса явился к Абылкасыму. Абылкасым в тесной комнатке сидел на полу с детьми.

— Пришел, герой?

Муса молча выставил на стол бутылки.

— Идем,— накинув шубу и прихрамывая, Абылкасым направился в чистую половину дома, Муса следом.

Здесь было светло, просторно, стены обшиты тесом и покрашены, на стенах висели нарядные кошмы, на полу постелены ширдак и шкуры, у одной стены горой сложены одеяла и подушки. Если бы не холод, уходить бы отсюда не хотелось: помимо чистоты во всем чувствовалась заботливая, умелая, аккуратная рука хозяйки.

Некоторое время сидели молча. Абылкасым в упор смотрел на Мусу, Муса же смущенно уставился вниз.

— Ну и как?— не выдержал наконец Абылкасым.

— Вы правы оказались,— вздохнув и не смея поднять головы, пробормотал Муса.

— Скажи уж лучше, и тепло-то у ней, и сытно, и водка на столе, и постель мягкая, и речь сладкая,— насмешливо заметил Абылкасым. Он сразу догадался, что сплетня исходит от Салкынай.

— Именно так,— подтвердил Муса, не меняя позы.

— Эй, Мээримкан!— крикнул Абылкасым, повернув голову к двери.— Не слышит из-за детей, позови-ка, Муса, но смотри не обнимайся, а то я тебя знаю.

Муса не знал, рассердиться ему или засмеяться. Он

метнул на Абылкасыма быстрый взгляд и, открыв дверь, крикнул:

— Джене, председатель зовет!

— Ну и голосина! Как тебя жена выносит!— Абылкасым рассмеялся.

Улыбаясь, вошла Мээримкан, женщина пригожая собой, но с рано прорезавшимися морщинками на лбу.

— Если кончили разговор, может быть, в ту комнату выйдете?— спросила она.

— До конца еще далеко. Этот парень, кроме «э», «ме», «е», ничего пока не сказал. Принеси чего поесть,— сказал Абылкасым.

— Молчишь, непутевый, понял, значит. Бог, он терпит, терпит, да проучит раз, если по кривой пойдешь.— Хлопнув парня по плечу, Мээримкан вышла.

— И джене знает?— испуганно спросил Муса.

— Знает ли? Старики заговорили, как же не знать женщинам! Даже твоя собственная жена знает!— сказал Абылкасым, хотя в этом как раз и не был уверен.

Муса вздрогнул и растерянно заморгал. Мээримкан растолкала скатерть и поставила на нее блюдо с мозговой костью, разбросала лепешки.

— Ну давай выпьем, что ли?— сказал Абылкасым, довольный тем, что пронял все же Мусу.

Муса много пил, почти не закусывая, и угрюмо молчал.

— Наелся, видать, у своей потаскухи,— заметил Абылкасым, опрокинул полный стакан самогона и больше не стал пить.

Муса промолчал.

— Как заставил Салкынай признаться?— спросил Абылкасым уже совсем не сердито.

Почувствовав, что Абылкасым заговорил по-дружески, Муса выложил все начистоту. Выпитый самогон тоже располагал к откровенности.

— Ты знаешь, что Салкынай промышляет черным бычком?

— Нет,— удивился Абылкасым.— Что это за бычок? Черный бычок, говоришь?

— Как же ты, управляешь целым колхозом и не знаешь, что значит черный бычок, под носом у тебя такие дела делаются, а ты дурень дурнем! Похвалят тебя, ты и раскинешь. У нее есть свой человек, дезертировал с фрон-

та. Салкынай одна знает, где он скрывается. И деньги, и продукты доставляет ей. Сама она только и занимается что черным бычком. Я пришел к ней неожиданно и накрыл их. Теперь-то я знаю, что значит черный бычок. Это опиум.

— Чтоб им провалиться! — вскрикнул Абылкасым.

— Я с Салкынай гулял, когда она была девушкой. Потом женился на Саадат, и Салкынай чуть не умерла от горя. Ну, самогон, да еще сплетне ее поверил, ну и бес попутал, все снова началось... Теперь пошел к ней, выпил самогону и прижал, чтобы правду сказала. Пригрозил выдать про черного бычка. Призналась.

— А зачем сплетничала?

— Поняла, говорит, что иначе не оторвать тебя от Саадат.

— Ну, а потом?

— Потом ударил ее... Сперва заскулила, потом притихла... «Ладно,— говорит,— убей меня, убей! Девочкой легла с тобой, ласку твою испытала, любила тебя больше жизни, теперь и умереть от твоих рук согласна, убей меня, убей!..» Из рта, из носа кровь пошла... рука больше не поднялась, не могу в лицо ей глядеть, так и ушел... Догнала, сунула вот эти бутылки...— Муса громко вздохнул и разом опрокинул полный стакан самогона.

Они глядели перед собой и молчали.

— И ты взял. Ну, а совесть-то мучает?

— Мало сказать, совесть мучает, кровавыми слезами плачу, кровавыми!— надрывно прохрипел Муса, будто готов был заплакать.— Я погубил Салкынай, если бы не я, она бы не стала такой, я подрезал ей крылья... Теперь уж не знаю, как посмотрю Саадат в глаза. Ты говоришь, что Саадат знает?

— Все об этом знают, не тот, так другой мог ей сказать. Да и сама могла дагадаться по твоему поведению. Разве не спрашивала еще?— сказал Абылкасым, думая совсем о другом.

— Юсится, но молчит, ни слова не говорила,— сказал Муса, снова наливая в стакан.

— Ты, парень, иди сейчас домой, упави перед женой на колени и вымоли прощение. Расскажи правду. А потом брось свою торговлю, берись за другую работу. И перестань преследовать жен фронтовиков! Совесть надо иметь, если не исправишься, руки-ноги свяжу и отправлю куда сле-

дует. Это первое. Второе: надо поймать того дезертира. Салкынай надо допросить, нет, не только допросить, а наказать ее надо за такое преступление. Ты будешь свидетелем! — закончил Абылкасым.

— Свидетелем?! — от страха Муса сразу отрезвел.

— Не пугайся, если нужно будет, если будет необходимость, говорю, — поспешил успокоить его Абылкасым, будто хотел исправить случайно вырвавшееся слово.

— Абылкасым, Абылкасым! — Муса как бы умолял и требовал одновременно. — Абылкасым! Можешь голову мне оторвать, но я не могу быть свидетелем против Салкынай. Испортить Салкынай жизнь совсем еще молоденькой, а теперь предать ее, разве это не подлость будет? Скажи-ка? Ты лучше меня арестуй! Не смогу я тогда жить на свете! Как я могу ее выдать? Как? Как я могу?! — Муса в отчаянии сжал голову руками, понимая, что совершил непоправимое. — Кто тебя дернул за язык! — по-бабьи запричитал Муса. — Отрезать бы тебе язык! И с чего я сказал про этого черного бычка? За язык, что ли, тянули... чтоб подавился ты со своей водкой, а-а!..

— Ай, Муса, иди-ка ты лучше домой; уж очень ты сильно расстроился. Найдем выход и без тебя. Мне тоже мало радости судить да наказывать, жизнь портить солдатской жене, ведь муж у нее на фронте. — Абылкасым, неуклюже опираясь, встал.

Муса налил в стакан остаток, выпил и вышел впереди Абылкасыма.

Абылкасым потушил свет, постоял, подумал и вошел к жене. Он улыбнулся Мээримкан, подошел и шепнул ей на ухо:

— Избавился от потаскуна, — и рассказал все как было.

— Отправь ты Мусу отсюда, — предложила Мээримкан.

— Без жены он опять споткнется, а Саадат в середине учебного года переходить в другую школу не годится. Надо будет поговорить с районо. Знаешь, что я надумал, Мээримкан? Хочу на зиму для колхозников резать скот и раздать хлеб, что ты на это скажешь?

— Ох, и порадуешь ты людей, — ответила Мээримкан, расплывшись в улыбке.

— Колхозники-то порадуются, а вот что со мной будет?

— Скот зря погибает, Абылкасым. В чем женщины-то

виноваты, ведь они работают? И от мужей ничего нет, и за работу ничего не получают, вконец износились, отощали! Не бойся, делай, что задумал, за всех колхозников тебя прошу.

— Хорошо, согласен, я уж подсчитал сегодня, не обижу народ, но вот что мне делать с черным бычком? Ты знаешь, что это такое?

Мээримкан не знала. Абылкасым объяснил.

— Вот проклятье! — выругалась Мээримкан. — И как назвали-то, черный бычок!.. Сколько Салкынай может продать? Оставь-ка ты ее в покое да займись ими.

— А самогон?

— Тот, что вы сегодня пили?

— Да.

— Может быть, и продает понемногу, но гонит она, конечно, для Мусы. Своего толстомордого поит. Что делать, иначе не привяжет к себе, девушкой еще была влюблена в него.

Абылкасым удивленно уставился на жену и, желая подшутить, сказал, пряча улыбку в углах рта:

— А у тебя был любовник? Скажи правду, не то, как Муса, заставлю кровью умыться.

— Ой, нет! — Мээримкан громко рассмеялась. — Хорошая жена не станет огорчать хорошего мужа, но уж если...

— Тогда она убивает его, да?

— Что там убивает, она просто за человека не будет его считать. Ну ладно, кончим с этим, что ты завтра собираешься делать?

— Каждому звену дам по овце. Раздам зерно. — Абылкасым сел возле жены и обнял ее.

— Вот тогда и не будут подобные Салкынай промышлять черным бычком, и в голову им такое не придет. Если бы поймали того дезертира, все остались бы довольны. — Мээримкан широко улыбнулась и сразу похорошела.

— Ты сегодня такая красивая! — сказал Абылкасым, любуясь разрумившимся лицом жены и целуя ее.

— Когда ты меня любишь, я всегда такая, только не всегда ты замечаешь. — Мээримкан нежно улыбнулась, будто старалась казаться еще краше.

Вдруг Абылкасым схватился за сердце и вскрикнул:

— И-и-и!

— Что такое? — перепугалась Мээримкан.

— Я же совсем забыл про Кыдырбека, — сказал Абылкасым. — Говорил, умирать буду, не забуду. Вот я какой человек! В теплом местечке, возле жены, обо всем забыл. Ай-й-й-й! Мээримкан, завтра из нашей доли мяса сварить что-нибудь повкуснее. Пошлю посылку. А сейчас напишутка я письмо. — Он встал и, прихрамывая, пошел к столу.

18

Когда Саадат объявила, что придется привезти Шарapat, Буурул запричитала: на дворе зима, а у нее больные ноги, и ей такая поездка не под силу. Тогда Саадат сама взялась за дело, но путь был не близким. Пока искали человека, который согласился бы проехать зимой через перевал, тайна Шарapat раскрылась сама собой. Звездочка Шарapat блеснула разок на горизонте, затем начала, как эхо, отдаляться...

Летом 1942 года, когда Шарapat приехала к тетке на джайлоо, киргизской девочке, выносливой и с детства привыкшей к лошади, здесь все было по душе. Тихое ржание кобыл, резвые жеребята, схватки жеребцов, да холмистые поля, да голубеющая вдаль трава, густой запах цветов и плеск реки — все это опьянило Шарapat. Бывают люди, которых одарила природа, которых коснулась рука providения. Шарapat была именно такой. Но смерть уже подбиралась к ней, она с отчаянным криком уцепилась за жизнь, но песня ее была уже спета. И все же это был крик жизни, крик надежды. Он долго звенел и дрожал в ушах людей, подобно скрипичной струне...

Как только Шарapat переступила порог новой юрты, юрты своей тетки Зийнат и дяди Багдавлета, тоскливый дом бездетных супругов наполнился веселой суетой, звонким девичьим смехом и шутками, будто заря засияла над домом.

Оседлать ли лошадь, кобылу ли подоить, или сложить под самый потолок постели — все это она делала ловко, красиво. На коне сидела как влитая, а черную войлочную тюбетейку — теткин подарок — носила лихо, заломленную набок. Не было на джайлоо человека, который бы не восхищался ею.

— И послал же бог на землю такую благодать...— шептали старики.

— Вот девка, кому же она достанется!— с тоской поглядывали на нее молодые парни.

— Счастлив будет дом, куда она войдет невесткой,— подкручивали усы и причмокивали губами взрослые мужчины.

Пригнали с гор лошадей, Шарапат глядела-глядела, как они с хрустом рвут сочную траву, и сказала:

— Дядя, поймашь мне того гнедого?

Крепкий, с окладистой черной бородой, мужчина лет пятидесяти повернулся на ее голос, взглянул на коня и удивился:

— Откуда ты узнала, что это добрый конь?

— Догадалась, дядя, статная лошадь, разреши мне сесть на нее?

— Ой, Зийнат, Шарапат просит поймать гнедого, твоя племянница знает толк в лошадях,— рассмеялся Бакдавлет.

Вышла из юрты Зийнат.

— Это же дикий скакун, чужих не подпускает. Сбросит, до конца дней не расплатишься с твоей матерью,— сказала Зийнат, но было видно, что возражает она лишь для порядка.

— Садись, раз так загорелось, только сумеешь ли...— подзадорил Бакдавлет.

— Если сумею, отдашь его мне насовсем? — Шарапат подбежала к дяде, она вся дрожала от нетерпения, глаза метали молнии. Увидев девушку такой, Бакдавлет вздрогнул, и тут тайная думка запала ему в душу, он лукаво усмехнулся и некоторое время молча, восхищенно разглядывал ее.

— Оставь это, еще что случится с девочкой,— заволновалась Зийнат, заметив, что Бакдавлет не прочь подвергнуть Шарапат испытанию.

— Ну, дядя, попробую! — задорно крикнула Шарапат, быстро отвязала стоящую у юрты лошадь, молниеносно вскочила на нее, подняла с земли прислоненный к юрте укрюк и повесила его на плечо.

— Пойди сюда, дядя, укороти стремяна,— сказала она повелительно.

Хоть и знал Бакдавлет, что теперь уж ее ничем не остановишь, все же выдал из себя:

— Оставь эту затею, дочка!

Как пику, прислонив укрюк к правому плечу и крепко сжав в руке его конец, левой рукой она подобрала повод, сама подалась влево, взмахнув поводом и ударяя стремянами в бока лошади, понеслась в степь.

Шарапат с ходу врезалась в табун и, не дав опомниться коням, хотела перехитрить гнедого, но гнедой, до этого лениво, с полузакрытыми глазами жевавший траву, вдруг встрепенулся, молнией зыркнул на Шарапат, наострил, как собака, уши и уставился на нее своими красивыми, широко открытыми глазами.

— Ты только погляди, укрюк держит впереди себя, не прячет, не боится, что лошадь увидит,— удивилась Зийнат.

— Она соображает...— почти прошептал Бакдавлет, не только любясь посадкой Шарапат, но, весь напрягшись, невольно повторяя ее движения.

Как и предполагала Зийнат, гнедой заметил укрюк и, немного потоптавшись на месте, будто увидел волка, попелся вокруг табуна. Преследуя гнедого, Шарапат ровным ходом обошла табун, затем раз за разом ткнула карюху концом укрюка и, изо всех сил ударяя стремянами, замахнулась укрюком на гнедого. Гнедой, будто предугадав ее движение, рывком подался назад, повернулся и, оторвавшись от табуна, умчался. Шарапат погналась за ним. Гнедой бежал ровно, спокойно. Карюха же мчалась во весь опор, пригнув к земле голову, но догнать гнедого не могла. Как только она начинала настигать его, гнедой ускорял ход, затем снова бежал ровным, спокойным шагом, будто издевался над девушкой.

Шарапат поняла, что ей не догнать гнедого, и, повернув взмыленную лошадь, волоча укрюк по земле, поехала к юртам.

— Что надумала, чертова девка!— засмеялась Зийнат.

— Уморилась немного,— заметил Бакдавлет,— но как знать...— Он не договорил.

— Аркан дайте, аркан быстрее!— еще издали крикнула Шарапат. Вся взъерошенная, потная, она быстро приближалась, дышала тяжело, с частыми придыханиями.

— Спокойнее, спокойнее, дай ей остыть,— Бакдавлет прятал улыбку в усы и сам приходил в волнение при виде возбужденной, раскрасневшейся девушки.

— Погубишь ты девчонку, свернет она себе шею! — сказала Зийнат, однако аркан подала.

— Пусть потешится немного, так и так судьбы не обойдешь, — спокойно отозвался Бақдаулет.

Гнедой вернулся назад, но перед табуном остановился.

Шарапат взяла аркан в правую руку, конец перебрала на левую и поскакала низом.

— Что-то задумала, беговая девка! — по-бабьи взвизгнула Зийнат и с бьющимся сердцем стала глядеть ей вслед.

— Догадалась! — Бақдаулет потряс бородой. — Нашла все же подход, если сумеет бросить аркан, попался гнедой... если удержит... если в руках силы хватит... — Бақдаулет, не отрывая взгляда, следил за гнедым, он волновался и никого, кроме Шарапат и гнедого, не замечал.

Шарапат появилась из лощины и оказалась позади скакуна. Гнедой быстро оглянулся, заметил Шарапат и, прижав уши, легко поскакал. За ним неслась Шарапат, вдруг она сильно ударила в бока лошади, туго натянула повод и, стоя в стременах, откинувшись назад, забросила петлю. Скакун вздрогнул, почувствовав на своей шее аркан, встал на дыбы и рванул вперед. Шарапат вывернула лошадь и, намотав на руку, успела затянуть аркан. Напрасно гнедой пытался вырвать аркан из ее рук, еще и еще раз он вставал на дыбы, наконец покорился. Шарапат сошла с лошади. Натягивая и подбирая аркан, ведя карюху в поводу, она медленно подходила к гнедому. Гнедой дрожал и храпел. Шарапат тоже дрожала, и дыхание ее было громко и прерывисто. Правой рукой осторожно поглаживая гнедого по холке, левой слегка освободила затянутую петлю, потом пропустила конец аркана под недоуздок, быстро вскочила на свою лошадь и помчалась к юртам.

— Девушка Джаныл<sup>1</sup> едет, девушка Джаныл, девушка Сайкал<sup>2</sup> едет, девушка Сайкал! — возбужденно кричал Бақдаулет, радуясь так, будто это он получил самый лучший приз. Подбежал к Шарапат и сам снял ее с лошади.

— Дьявол ты, не девка! — Зийнат бросилась к Шарапат и чмокнула ее в потное, пылающее лицо.

— Что и говорить, молодец, просто молодец! — повто-

<sup>1</sup> Джаныл-мырза — легендарная девушка-воительница.

<sup>2</sup> Сайкал — одна из героинь «Манаса».

рил Бакдавлет.— Но где ты научилась кидать петлю? — пораженный, спросил он.

— Видела,— коротко ответила Шарапат.

— Садага, садага! — удивленно причитал Бакдавлет. — Зийнат, принеси седло и сбрую, я обещал, я отдаю Шарапат гнедого, я проиграл.

— Отдать-то отдашь, что ответишь Чечебай? Он тут же отберет у нее. Вот он уже несется,— предупредила Зийнат. Чечебай был молодой табунщик, пасший этих коней.

— Отберет? А пусть попробует! — Будто угрожая ему, Бакдавлет быстро стал седлать гнедого. Кожаный потник с серебряными украшениями, киргизское седло тоже с серебряной насечкой, в серебре же уздечка и нагрудник, тюфячок из рубчатого бархата — все это пришлось впору гнедому. Чуя неладное, конь кусал удила и бил копытом.

— Крепче затяни подпругу, дядя, чтоб не ослабла,— сказала Шарапат, надевая на руку кнут с ручкой из оленьей кожи, готовая вскочить на скакуна.

Твой конь со звездой на лбу,  
Оседланный, ждет тебя.  
Покажи свою удаль, а я погляжу...—

продекламировал Бакдавлет и, не договорив последнюю строчку — «И в алые губы поцелую тебя», — подвел к Шарапат статного гнедого. В упор, будто заклиная, Бакдавлет взгляделся в лицо Шарапат, сунул ей за теплую пазуху руку, провел по твердой девичьей груди и посадил на гнедого.

Простодушная Шарапат не понимала значения этого жеста, да и не обратила внимания, занятая только конем. Она схватила повод, привстала, изо всех сил ударила плетью и без того рвущегося вперед коня и понеслась.

— Куда же она теперь? — спросила Зийнат, еле приходя в себя от удивления.

— Ветер хочет обогнать, разве не видишь?! Лучше джигита девка!.. — восторженно прокричал Бакдавлет.

Чечебай бросился ей наперерез.

— Стой, стой! Путь добрый, девица!

— Спасибо! — ответила Шарапат, остановив разгоряченного коня.

— Ответь мне, куда ты летишь? Вижу, понравился тебе конь? — спросил обозленный Чечебай.

— Может быть, и понравился, а вам что?

— Как что? Конь-то мой! — закричал еще более разъяренный Чечебай.

— Кто сед, того и конь. Вернее бы сказали, из вашего табуна!

— Так ты еще препираешься? Слезай с коня! Не для баб этот конь!

Чечебай хотел посмеяться над девушкой. Но шутка получилась не только неуклюжая. Назвать «бабой» девушку, у которой по спине спускались две тяжелые косы, а на голове воинственно сидела тибетейка, было грубо и оскорбительно.

Шарапат бросила на Чечебая ненавистный взгляд и застыла в ярости.

— Я — баба?

Табунщику ничего другого не оставалось, как стоять на своем. Началась словесная перепалка.

— Разве не знаешь, что ты баба? Конечно, баба...

— Ты что, проверял меня? — яростно крикнула Шарапат, наскакивая на Чечебая и замахиваясь плетью.

— Не наскакивай! Хоть и не проверял, все равно не джигит. Слезай, пока я тебя не проучил!

— Сними!

— Снять? Обниму и сниму, иди сюда, бабочка, иди! — грязно подхихикнув, он протянул руки.

Табунщик дважды оскорбил ее, первый раз словом, второй раз действием.

«Пусть хоть треснет его рука, теперь все одно», — подумала разгневанная девушка, склонилась над лошадью, схватила протянутую руку Чечебая и ударила гнедого стремями. Возбужденный конь рванул и понес. От неожиданности табунщик и не заметил, как слетел с лошади и плюхнулся о землю. Но для Шарапат этого показалось недостаточно, плетью подцепила она упавшую на землю тибетейку Чечебая и, как при козлодрании, потащила за собой. Свалившись с лошади и потеряв головной убор, табунщик стоял всем на посмеяние, как опростоволосившаяся женщина. Весь аил табунщиков был свидетелем этой схватки. Поднялись смех и улюлюканье. Больше всех старался Бакдавет. Он выкрикивал обидные слова, хлопал себя по бедрам и оглушительно хохотал.

Опозоренный табунщик, не торопясь, забрался на свою

лошадь, с удивлением посмотрел на девушку, которая разыгрывала козлодранье с его тюбетейкой, во весь опор помчался к ней навстречу. Люди перестали кричать и молча ждали, что же еще будет.

Пока Чечебай скакал, Шарапат стояла на месте, сдерживая рвущегося вперед гнедого. Когда табунщик был уже близко, она бросила ему тюбетейку.

Оскорбленный табунщик, вместо того чтобы поднять головной убор, погнался за Шарапат и изо всех сил стегнул ее плетью. Шарапат не осталась в долгу, она замахнулась и резанула его по голове. Сначала они хлестали друг друга, потом Шарапат вдруг ударила плетью гнедого, подхватила с земли тюбетейку и, положив ее под себя, поспешила к юрте. Это было самое страшное оскорбление для мужчины. Ее встретили торжествующими криками. Шарапат бросила тюбетейку за тюндук и хотела уже соскочить с лошади, как подбежал Бакдавлет и бережно снял ее с седла.

Дядя все время повторял:  
— Баракелде, баракелде!<sup>1</sup>

С приездом Шарапат на джайлоо Бакдавлет чаще стал горевать о ребенке и упрекать жену. И Зийнат поняла намеки мужа. «Неугомонный старик! — Она поворчала, попереживала про себя, затем, еще утирая слезы, стала размышлять: — Неужели он так и проживет без детей? Раз сама не могу рожать, не посчитаю за грех... У восьмидесятилетних стариков жены рожают и Сексенбаем<sup>2</sup> нарекают ребенка. А мой что? Еще в самом соку. Женю его на Шарапат, а сама стану байбиче, детей буду нянчить. Куда от меня денется Шарапат?» Она начала осаду девушки. Каждый день над ухом у Шарапат жужжало одно и то же: «Шарапат... да буду я жертвой за тебя, Шарапат... Шарапат, Шарапат...» Шарапат, как дикая кобылица, бежала от этого непрекращающегося шепота в горы, отнекивалась, плакала, вырывалась. Но над ней не переставало гудеть: «Шарапат, Шарапат, Шарапат...»

Счастье девушки в джигите. Но где сейчас джигиты? Того табунщика, что ли, за джигита будем считать? Боишь-

<sup>1</sup> Баракелде — возглас одобрения, восхищения.

<sup>2</sup> Сексенбай — восьмидесятилетний.

ся, что он в отцы тебе годится? Уж мне можешь поверить: он лучшему джигиту не уступит. Любимицей нашего дома станешь. На все будет твоя воля, делай что хочешь. Только роди ребенка. Мне ничего другого не нужно. За ребенком буду сама смотреть, сама баюкать, сама буду растить. А ты живи себе, как прежде. Не отказывайся от своего счастья, Шарапат, Шарапат, Шарапат...»

19

В один из февральских дней Сулейман получил известие, что Кыдырбек пропал без вести. Получая «черные письма», киргизы обычно принимались громко выть при всем аиле — таков обряд, такова традиция. Однако страшная весть буквально подкосила семью. Гибель сына ошеломила, оглушила родителей, обряды были позабыты. Потрясенные женщины, еле живые от горя, совсем извелись от непресыхающих слез. Сулейман же возненавидел свой дом, целыми днями носился на коне по горам, там, один, плакал навзрыд, как ребенок. Но когда односельчане и еще человек, приехавший из военкомата, разъяснили, что означает «пропал без вести», Сулейман и его жены, боясь искушать судьбу и прогневить бога, перестали плакать. И даже если к ним приходили с соболезнованиями, они уже не рыдали и не причитали, а молча плакали, молча вздыхали, хотя выдержка давалась трудно. Каждый, кто приходил с сочувствием, будто заново воскрешал горе родителей; истощался запас терпения, который был необходим, чтобы верить и надеяться.

В это же время Джамалкан получила похоронку. Ей-то нечего было надеяться. Вот теперь Джамалкан по-настоящему поняла, что значит смерть, ей казалось, что она одна осталась на всем белом свете, она безутешно плакала, горе ее было безысходно. Солтонкул и Салима, друзья и знакомые приходили к ней, старались не оставлять Джамалкан одну. Если бы не сочувствие, дружеская поддержка, Джамалкан умерла бы от одного страха перед смертью. Помогло и то, что отец — Молдоибраим сейчас же приехал и не отходил от дочери. Джамалкан понемногу стала приходить в себя.

Однажды она посмотрела на своих детей и запричитала:

— Несчастные вы мои сиротки! — уже готовая тут же снова разрыдаться.

Молдообраим недовольно хмыкнул и стал мягко выговаривать ей:

— Не обижай их, дочка, не называй несчастными. Пока ты жива, они не сиротки. Если ты им хорошая мать, крепись, наберись мужества и воспитывай ребятишек за двоих. Бог тебя не оставит...

В последних словах Молдообраима был скрытый смысл. Он искоса посмотрел на нее, желая узнать, поняла ли она его намек. Джамалкан чуть покраснела. «Умрет жена, взмахни плетью — мужчине жена найдется, а вот овдовевшей женщине не просто найти мужа, и все же хороший человек не засидится, будь достойной, дочка, безмужние женщины нередко сбиваются с пути, ты будь осторожна, детка, осторожна», — так мысленно разговаривал Молдообраим с дочерью, уставившись в пол. Незаметно для себя задумался о собственной жизни. Первой жене Молдообраима, которую он взял девушкой, долго не везло: бог не посылал ей детей. Он иногда бил жену за это. Жена молча переносила побои. В дни, когда приходил домой трезвым, он часто заставлял жену тихо плачущей в углу.

— Чтоб ослепнуть тебе, чего плачешь? — спрашивал он.

— Хворой я стала, кажется, от твоих побоев, хоть бы умереть скорее, — отвечала она.

Тогда ему становилось жалко жену, и он пытался ее утешить.

Карлыгач проливала слезы, но бог снизошел к молитвам несчастной женщины и послал ей первенца, сына.

С тех пор у Карлыгач один за другим пошли дети. Молдообраим больше не корил жену, палка навсегда вышала из его рук, и он склонил голову перед своей хозяйкой.

Но хворь не оставила Карлыгач, она без жалоб переносила болезнь и так же молча, тихо умерла. Молдообраим не показал людям слез, но, оставаясь один, горько, безутешно плакал, долго тосковал по жене, мучил себя поздним раскаянием, упрекал, что не берег ее, и совсем забросил дом... Когда он женился на этой бранчливой бабе, не то что палку поднять, пикнуть не смел перед нею. «Бедная моя Карлыгач, видно, на мое счастье ты явилась на свет!

Лучше бы мне не жениться второй раз, сохранить тебе верность. Поздно я одумался. Человек — что скотина, бабы ему захотелось. Не разобрался толком и женился, попался на улыбочивость ее. Вот теперь и дочь одинокой осталась. Говорят, что вдове за хлопотами да заботами некогда тосковать. Пустое это, живой человек не может не тосковать, живому с живым надо быть. О господи... спаси нас, грешных, от искушения!»

Пока Молдообраим сидел, думая о своем, вошли Солтонкул и Салима, они каждый вечер после работы заходили. Молдообраим всегда был рад им. Ему самому уже нечего было сказать своей горемычной дочери, нечем утешить ее.

— Молдоке, Гитлер объявил трехдневный траур, — сообщил Солтонкул, раздеваясь и приглаживая рукой поредевшие волосы.

— Как они траур отмечают? Как мы, что ли? — спросил, усевшись поудобнее, Молдообраим.

— Женщины одеваются в черное, а мужчины повязывают на рукав черную ленту.

— Мы-то уже не три дня, а три недели оплакиваем, будто ночь сомкнулась над нами. Пусть и они траур наденут, пусть и они поплачут! Пошли им, господи, погибель, чтоб света им никогда не видать! Столько народного горя не пройдет Гитлеру даром. Америка и Англия не открыли еще второго фронта?

— Кто знает, пока что-то молчат, — ответил Солтонкул, то и дело оглядываясь на дверь, куда ушли Джамалкан с Салимой. Ему не терпелось выпить хотя бы немного из того, что они принесли с собой. — Когда собираетесь домой, Молдоке?

— Можно бы уже поехать. Хозяйство-то без меня осталось. Вот за Джамалкан беспокоюсь, — сказал Молдообраим, радуясь, что Солтонкул заговорил об этом.

— Чем вы тут поможете? Его уже не вернешь, и ей пора выходить на службу. На жизнь зарабатывать, детей растить. За умершим не пойдешь. — Тут открылась дверь задней комнаты, женщины остановились на пороге, прислушиваясь к разговору. — Народ всегда говорит в таких случаях: надо держаться.

— Молодец, правильно говоришь, — ответил Молдообраим, довольный Солтонкулом. — Плакать — только бога

гневить. Против судьбы не пойдешь. Пусть даст нам бог силы.

Вся радость Молдообраима была в детях. На них иногда больше, чем на бога, надеялся и рассчитывал. Иметь детей, увидеть внуков и угощаться из их рук чаем — для киргиза самое большое счастье, самое желанное благо. Молдообраим и жил этими надеждами и уж начал было вкушать от этого счастья, как грянула война. Война хуже того дракона взялась пожирать детей и близких Молдообраима. Как ни верил он в судьбу, как ни склонял голову перед богом, как ни объяснял все божьим провидением, жизнь часто сбивала его с толку.

Если считать войну божьим наказанием, то почему же это наказание божье коснулось ни в чем не повинных, безгрешных, как ангелы, детей его дочери? В чем их вина? Если бог был бы справедлив, разве эти крошки катались бы по земле, словно мышата, в горьких рыданиях? А его дочь? Только поверила в свое счастье, как потеряла мужа и осталась вдовой. Добро еще, если бы умер своей смертью, а то ведь пуля вражеская сразила! Погиб и сын его, не успевший изведать радостей жизни. Кто знает, сколько еще умрет? Где же эта божья справедливость?

Чем больше думал Молдообраим об этом, тем больше терялся. «И в этой жизни и в той, видно, так и пройдем мы без счастья!» — думал он, начиная дремать.

— Эй, Молдоке! — позвал его Солтонкул.

— А... — встрепенулся Молдообраим, голова его уже склонилась на грудь.

— Задремали, Молдоке?

— Столько ночей без сна!

— Нет, крепок еще Молдоке. Не успеет положить голову на подушку, уже спит. А мы то на один, то на другой бок переворачиваемся и не можем уснуть. Сколько вам исполнилось, Молдоке? — спросил Солтонкул и поддал знак Джамалкан принести и открыть бутылку. — Мария Петровна, давайте сюда! — громко позвал он.

Мария Петровна хотя и не рыдала в голос, все же тяжело переживала смерть Джаманкула. Она плакала одна, когда никто не видел, а потом принималась хлопотать, встречая и провожая всех, кто приходил разделить их горе. Она заметно похудела.

— Солтонкул, что это значит «пропасть без вести»? — спросил Молдообраим.

— На войне, что ли?

— Да, на войне.

— Может, в плен попал, может, еще что. Когда тела не нашли, когда не знают, жив человек или умер, тогда и говорят: «Пропал без вести», — разъяснил Солтонкул, не понимая, о ком говорит Молдообраим.

— И-и, это же еще хуже. Не жив и не мертв, так и мучаешься сомнениями. Нашему Сулейману пришла такая бумага про Кыдырбека. Поеду к ним. Война эта многих завьет веревочкой! — сказал Молдообраим и не удержался, тяжело вздохнул.

— И-и, тот самый Кыдырбек, джигит Бермет? — выдохнула Салима.

Джамалкан уже слышала о Кыдырбеке, но, занятая собой, в последнее время совсем забыла о нем.

— Бедненькая! — вскрикнула она, будто впервые узнала эту новость, и на какую-то минуту забыла даже о собственном горе.

Установилась тишина.

— Всем, видно, достанется... — проговорил Молдообраим. Он сидел сгорбившись и низко опустив голову. — Доченька, хорошо говорил давеча Солтонкул. Прикинь своим умом. У тебя дети. Солтонкул и Салима не смогут каждый день ходить к тебе. У них тоже свои заботы. Добро и зло не по книгам узнают. Все надо пережить самой. Я тоже не смогу часто приезжать. Не обижайся, сама о себе заботься. Умершего не вернешь, живому человеку жить надо. Крепись, крепись, дочка... А я завтра тоже тронусь в путь, — закончил отец свои наставления.

«Вот и отец... и отец завтра уедет, — вздыхает Джамалкан. — Как птенец, выпавший из гнезда в злой ветер, остаюсь одна. Джаманкул не вернется. Упаду — никто не поднимет. Одна-одинешенька я осталась. И некому мне высказать свое горе. А если бы и было кому, разве выскажешь все? Это невозможно! Одному мужу можно высказать все, да и то если он товарищ тебе и друг. Такого мужа я потеряла...»

Совсем недавно была маленькой девочкой, пела «Забойщика» Джоомарта Боконбаева<sup>1</sup> и растопыренными ру-

---

<sup>1</sup> Джоомарт Боконбаев — известный советский киргизский поэт.

нами изображала паровоз, а сегодня уже называюсь вдовой и безутешно рыдаю. Разве я могла думать, что так случится? До сих пор, даже имея двоих детей, я была ребенком. И ребенком неразумным. Что будет дальше? Поумнею ли, бог знает. «При нужде и кобылица иноходцем скачет», — говорят. Вот и ко мне прокралась нужда. Да еще какая! Огромная, как гора, смерть... смерть, смерть вошла в мой дом. Мне казалось, что я не как все, что я никогда не умру и близкие мои никогда не умрут. О глупое детство, не умеющее мириться со смертью...»

Наутро Молдоибраим засобирался домой. Мария Петровна зашла будить Джамалкан.

— Вставай, детка, — сказала она мягко, как мать, — вставай, займись домом, никто, кроме тебя, не позаботится о нас. Женя уже не вернется. Даст бог, не хуже людей будем жить. Только будь смелее, не бойся. Вставай уж, вставай, моя бедная девочка. — Она не выдержала и расплакалась. Джамалкан вскочила, накинула халат и, тронутая до слез, обняла Марию Петровну.

— Спасибо, Мария Петровна, родная моя!

Через несколько дней Джамалкан вышла на работу. Детям назначили хорошую пенсию. Джамалкан стала серьезней, в глазах появилась грустинка, но жизнь постепенно вошла в свою колею, товарищи по-прежнему навещали, не забывали ее.

У киргизов есть суровая поговорка: «Смерть — беда умершего». И правда, живой поплачет, погорюет, сколько может, иногда и повоет на людях, чтобы не подумали о нем плохого, а в конце концов успокоится. Иначе бы человек всю жизнь проводил в слезах. С некоторыми так и бывает, но это уже особые люди, особой чувствительности, особого характера.

Услышав о несчастье с Кыдырбеком, Бермет не выдержала — потеряла сознание. Сколько пролежала так, она не знала, только очнулась от страшной головной боли, в ушах звенело, она с трудом встала, сделав несколько неверных шагов. Это случилось в доме отца. Мать и невестка тут только и узнали о ее тайне. Чтобы избежать причитаний матери и невестки, она прошла в заднюю комнату. Тяжело

опустилась на стул. Долго сидела, бессмысленно глядя перед собой.

Косые вечерние лучи проникли в комнату. Скоро и они исчезли, оставив после себя синеватый сумрак.

Тихо открылась дверь, вошла Айдайкап.

— Что творится в этом доме? Там мать льет слезы, тут дочь, словно столбняк на нее напел. С чего это ты вдруг сознание потеряла, что за причина, может быть, объяснишь?

— Оставь меня, джене, со мной ничего,— слабо ответила Бермет. «Какая же она нечуткая,— подумала про себя,— неужели не понимает? Ведь еще молодая, неужели забыла, как любила, как тосковала? Может быть, и не любила вовсе? Вышла замуж, потому что пришла пора, народила детей, и живет себе, и считает, что все так должны жить. И это жена моего дяди? Она-то уж должна была меня понять. Мать — другое дело, нехорошо получилось что я при матери потеряла сознание. Как ей теперь объясню?»

Бермет встала, взглянула на невестку и повторила:

— Не беспокойся, со мной ничего не случилось.

— Как не случилось? Услышала имя Кыдырбека и грохнулась на пол. Еле привели в чувство.

— Иди, джене, оставь меня,— взмолилась Бермет.

— Не оставлю, разве я чужая в этом доме? Ты забыла, чья ты дочь? Ты единственная дочь Чотура! Если сама потеряла стыд, подумала бы об отце. Словно вдова по мужу убивается. Что люди скажут?! Или ты уже спуталась с Кыдырбеком? Когда успела? Слыхано ли такое, и это девушка?!

— Замолчи, джене, не твое это дело! Замолчи, раз ничего не понимаешь! — гневно сказала Бермет. Она чувствовала, что вот-вот разрыдается.

— Где уж мне понимать! Ты ученая. Хоть бы человек-то был, а то нашла по ком плакать. Стоит себя позорить из-за какого-то шалопаю. Не он, так другой найдется, почище его.

— Уходи отсюда, оставь меня, пожалуйста,— задыхаясь, выдавила из себя Бермет.

— Не уйду, а ты слушай! Не любишь, когда тебе правду в лицо говорят? Вот она, гордая Бермет! — Айдайкап распалилась все больше.

Калышайым давно с беспокойством прислушивалась к голосам за стеной. Когда до нее долетел визгливый голос Айдайкан, она поспешила на выручку к дочери.

— Айдайкан, дочка, затопи-ка очаг, поздно уже, и отец скоро придет... А я ребят приведу, замерзли небось...— Она говорила обычным голосом, будто ничего особенного и не случилось в доме.

Айдайкан ушла, хлопнув дверью, мать и дочь остались одни. Мать не знала, что сказать дочери, как утешить. Она подошла к ней и молча стала гладить волосы.

— Не переживай так, доченька, потерпи...— тихим, ласковым голосом заговорила мать.— Пятнадцать дней месяца бывает темно, но пятнадцать дней светло... Надо надеяться, милая, надо верить. Как знать, может быть, обойдется, может, и плакать тебе незачем.

Бермет боялась, что и с матерью рассорится. Но она, ее умная, ее добрая мама, поняла сердце дочери, горе дочери и нашла слова утешения. Бермет обняла мать, прижалась. Так они стояли и молча плакали.

— Мама,— сказала Бермет,— мама, я у вас одна, не обижайте меня, не вынуждайте плакать. Я сама себе слово дала не плакать, и вы не заставляйте меня. Мама, скажи джене, пусть оставит меня в покое... ты одна меня поняла, мама, ты у меня хорошая, умная...— Бермет поцеловала мать и заглянула в глаза.— Пусть никто не знает, мама, даже отец... слышишь, мама? Предупреди джене, пусть не болтает, хорошо, мама?

— Хорошо, милая, хорошо,— улыбнулась мать и концом рукава вытерла слезы.

Вскоре после печальной вести о Кыдырбеке пришло письмо от Турганбая. Он писал, что жив-здоров, но давно не получает писем от Кыдырбека, просил сообщить, не знают ли они чего-нибудь о нем. Айдайкан, которой мать запретила болтать о Бермет и которая не привыкла держать язык за зубами, все и выложила в письме к мужу: и про Кыдырбека, и про то, как Бермет упала без чувств, про ее отношения с Кыдырбеком и что она сама думала по этому поводу. Облегчив свою душу, она успокоилась и стала относиться к Бермет по-прежнему ровно и сердечно.

Чотур был в горах с табуном и ничего не слышал о Кыдырбеке. Увидев побледневшую, исхудавшую дочь, он перепугался, не заболела ли опять. Узнав, в чем дело, он проводил дочь во Фрунзе и поехал к Сулейману, чтобы разделить навалившееся на семью горе. У Сулеймана шло угощение всех айльчан, пришедших к нему с сочувствием, по этому случаю он заколол жертвенную овцу. Среди гостей сидел и Сарыгул, он запивал жертвенное мясо спиртом, который принес с собой.

Из намеков Молдообрайма Чотур знал, что Сарыгул имел виды на его дочь. Поэтому он не захотел с ним здороваться, а когда Сарыгул без всякого стеснения сам обратился к нему с приветствием, Чотур в ответ еле слышно пробурчал что-то невнятное. При виде Чотура и Сулеймана, и две его жены запричитали. Молдообраим дал им понять, что дочь Чотура, видимо, будет их невесткой. Сам Чотур об этом ничего не знал и поэтому удивился поведению родителей Кыдырбека.

— Ай-яй-яй... нельзя так, еще неизвестно, умер ли он, даст бог, жив-здоров вернется домой, — сказал Чотур, потерявшись при виде громко плачущих женщин.

Первым опомнился Сулейман и остановил своих жен, бормоча в их оправдание:

— Близкий человек растравляет горе, увидев тебя, не выдержали.

Жены Сулеймана тоже вспомнили, что Чотур ничего не знает о тайне своей дочери и их сына, устыдились и замолчали.

## 21

Вслед за Качике в тамбур влезли два парня с тяжелыми мешками. Вагон был набит битком. Качике с трудом пробрался к середине вагона и, разыскав свободное место на второй полке, положил туда вещмешок, накрыл его старой шинелью. Парни рты разинули, увидев на левом рукаве Качике нашивку о ранении. Поношенная гимнастерка тоже произвела впечатление. В глазах этих деревенских ребят Качике сразу же вырос. То, что они из деревни, Качике не сомневался. Это видно было и по объемистым мешкам, набитым, конечно, сухарями и прочей

домашней снедью, и по их старой одежонке, в какой колхозники обычно выходят на работу. Они молча и с уважением смотрели на Качике, не смея приставать к бывалому фронтовику. Фронтовик наконец решил снизить и поговорить с ними.

— Куда, ребята? — спросил он, еле сдержав добрую улыбку. Оказалось, что ехали они в то же самое военное училище. — Ну, значит, вместе. — Широко улыбнувшись, он подал им руку.

Парни разом сдернули с головы шапки и по правилам деревенского благонравия, с почтением и чуть церемонно покажи протянутую руку.

Один из них, узколицый и худой, был говорун, веселого, открытого нрава, провожала его шумная толпа девушек. У другого, напротив, все было круглое: и пышущее здоровьем лицо, и толстый нос. Весь он был плотный, крепко сбитый. Когда говорил, словно выдавливал из себя каждое слово. Его провожали одни старики.

— Тебя Ваней зовут, а тебя Сеней, так, что ли? — спросил Качике.

— Откуда вы знаете? — удивился Ваня. Семен промолчал.

— Ну, это нетрудно было, — Качике рассмеялся. — Позле тебя девушки вились и щебетали: «Ваня, Ваня!» А тебя мамочка так уж ласково называла Сеней.

— Третьего провожают. Остались теперь вдвоем, — пробасил Семен.

— Как вдвоем? — не понял Качике.

— Отец с матерью.

— А!.. — Оживления Качике как не бывало.

«Подумать только!.. — вздохнул он. — Три сына на войне».

Качике сидел задумавшись. Парни, не зная, что сказать, смотрели на замолчавшего вдруг спутника и тоже притихли.

— Дяденька, рассказали бы нам про войну, — попросил по умевший долго молчать Ваня.

— Уж не знаю, о войне ли тебе хочется поговорить или о своих девушках, — попытался пошутить Качике.

— О войне, хочешь — не хочешь, думается. О девушках, конечно, куда приятнее. — Ваня заразительно рассмеялся. Даже Семен сдержанно улыбнулся.

— Любишь, видать, девушек?..

— Как же их не любить, дяденька? Весело с ними, легко. А вот этот, — он показал на Семена, — встретит девушку в укромном месте, пойдет на нее, как медведь. Девушки его за сорок верст обходят. Сами видите, как есть медведь! — Ваня вздохнул, будто с сожалением. Семен, догадавшись, что весь вагон смеется над ним, отвернулся, будто и не о нем шла речь. Чем больше он мрачнел, тем оглушительнее смеялись кругом.

— Думай не думай, братишка, а на фронт, может быть, и не попадешь. Если и дальше так пойдут военные действия, будут тебя учить без спешки, основательно. Пока выучат на кадрового офицера, года два пройдет. А там и война кончится, — сказал Качике.

— Это как же? Без нас война кончится? — встревоженно воскликнул Ваня.

— Ну и что? Чего тебя туда так тянет? — Качике искренне удивился.

— Да как я посмотрю в глаза своим девчатам? Разжирел в тылу, скажут, и разговаривать не захотят. Нет, нет, это невозможно!

— А ты как?

— Не знаю. — Семен пожал плечами. — Пошлют — пойду, нет — так нет.

— И это не медведь?! Что медведю война! Знай скачет по своему лесу. Заберется в берлогу да посасывает лапу. Ему и на девушек ваплевать. Зато уж попадется ему в лапы бедняжка какая-нибудь, долго не будет раздумывать, сразу навалится. Я так не могу-у! — протянул Ваня, вызвав новый взрыв смеха.

«Молодость, молодость, — думал Качике. — Не о смерти размышляет, а беспокоится, как девушкам в глаза будет смотреть. Вот что заботит! А тот и в самом деле медведь. Попадись этому медведю немец, несдобровать немцу».

— Эх, Ваня, Ваня! — сказал Качике. — Ты весельчак, он медведь, оба вы, однако, хорошие ребята. Был бы я молод, может быть, и я был бы таким же. Думал бы только о девушках да о славе молодецкой. Сижу вот и завидую вам.

Ваня даже подпрыгнул, предвкушая удовольствие.

— Не знаю, как медведь, а я вот давно вам завидую.

Да будь у меня такая нашивка, как у вас, все девчата Урала были бы мои, — сказал он.

— Что твои девушки станут делать, когда на фронте оторвут тебе голову? — прохрипел «медведь».

— А сам ты не догадаешься? Если мне голову оторвут, реветь будут девушки, да еще как реветь! С песнями, с причитаниями. А кто по такому медведю будет плакать? Разве что мать зарыдает, да отец самогону с горя напьется. По мне прольются девичьи слезы, в сырой земле буду лежать и слушать их причитания. Чего такому парню горевать! О-о, медведь в берлоге! Разве ты можешь понять такое счастье? — Ваня надвинул Семену на лоб шапку и ткнул кулаком в бок.

— Ты будешь лежать в сырой земле и ждать, а девушки вдруг начнут меня оплакивать. Что станешь делать? Не выбегай из могилы голышом, смотри ж ты!

— Убил, убил! С потрохами съел! — зашумели вокруг.

— Ладно, ладно, медведь, твоя взяла. Иная девушка перемигивается с такими, как я, а в душе предпочитает втаких вот молчунов. Видали мы таких!.. А все же, — снова повеселел Ваня, — чем быть букой, лучше быть весельчаком.

— Что это вы про могилы разговорились? О жизни надо... А моей нашивке завидовать не спешите, — тихо говорил Качике. — Войны на всех хватит. Не только нашивку, орден нацепите на грудь. Дождемся, даст бог, победы, петушками забегаете перед девчатами. И победа ваша, и девушки будут ваши. За вами будущее! — Качике незаметно вздохнул.

Установилась грустная тишина. Ее снова нарушил Ваня.

Ребята балагурили. Среди шуток, разговоров Качике и не заметил, как доехали.

В военном училище он попал во взвод подготовки младших командиров. Перед этим произошла интересная встреча. Лейтенант Яшин построил новоиспеченных курсантов и стал вызывать добровольцев в этот самый взвод. Вошел комиссар батальона. Комиссар был высокого роста, худощавый, очень подвижный, несмотря на возраст. Знакомясь с бойцами, он дошел по строю до Качике и спросил, откуда он. Услышав ответ, комиссар обрадовался.

— Так вы мой земляк! — воскликнул он. — Я долго

жил в Киргизии, с басмачами дрался. Фамилия моя Кавалеров.— Радостно улыбаясь, он не по-уставному подал солдату руку. Качике тоже обрадовался, как родному.

После этой встречи Качике сразу записался во взвод по подготовке младших командиров. Командиру взвода едва перевалило за двадцать, он был краснощек, как киргизская горяпка, этот лейтенант Кузнецов.

По прибытии в училище Качике тут же написал Саше и Люсе. Скоро от них пришел ответ, одновременно он получил два письма из дома, пересланные ему Сашей из госпиталя. Ничего хорошего не ожидая от писем жены, Качике все же решил начать с них: «Пусть сперва плохое. И он не ошибся. Чынаркан была верна себе, она всячески поносила его, упрекала за старые и за будущие грехи. Больше всего возмутило Качике то, что она выштыывала, о чем ему пишет Апсамат. «На днях встретился мне Апсамат и сказал, что послал тебе письмо,— писала Чынаркан.— Никогда бы не подумала, что он может тебе писать, а у вас, оказывается, налаженная переписка. И почему ты скрыл это от меня? Это нечестно, это подло по отношению ко мне, это... ладно уж, не скажу, еще взорвешься. Сообщай мне каждый раз, когда Апсамат тебе напишет, еще лучше — отсылай его письма». «Чынаркан боится, что Апсамат настраивает меня против нее,— подумал Качике.— Пусть даже и так. Как же можно требовать, чтобы я посылал ей его письма? Ни во что меня не ставит, как рабом своим командует... Ну, а если в самом деле отослать ей несколько писем Апсамата? Вместо ответа. Пусть успокоится. Пожалуй, еще хуже разозлится, за гордость примет, а ведь она ждет унижений от меня и покорности». Качике вздохнул и вскрыл письмо Люси.

«Дорогой Костенька,— писала Люся,— нам тебя не хватает. Особенно скучает по тебе Саша. Он по-прежнему пописывает стихи, но мне не показывает. Саша на днях уезжает к себе на родину, какие-то родственники, он сам их толком не знает, пригласили его. Раньше он собирался остаться работать здесь. «Потом вместе поедем»,— говорил мне. А тут заторошился. И меня это тревожит. Что станет с бедной Люсей? Вернется ли Саша ко мне или его там женят и не видать мне его больше? Как вы думаете, Костенька?»

Саша же писал: «Я, Костенька, еду домой, но я вернусь, непременно вернусь. Люся — моя, и я ее никому не отдам.

Но боюсь, как бы в мое отсутствие Люся не увлеклась кем-нибудь. Пиши, пожалуйста, ей, поддерживай ее, поручаю ее тебе, хоть ты и далеко...»

Качике повеселел. Ему было приятно, что такие хорошие ребята, как Люся и Сапа, советуются с ним, скучают, поверяют свои сердечные тайны.

## 22

Командир артдивизиона майор Савчук вернулся ночью. Войдя в жарко натопленную землянку, сразу спросил у сидящего возле телефона связиста:

— Где политрук?

— На батарее пошел, — ответил связист.

— Позови. Нет, погоди-ка, ты не знаешь, почему наши не ответили, когда немцы затеяли пальбу?

— Политрук запретил, — сказал связист.

— Ну ладно, иди. А не осталось у нас чего-нибудь, я что-то проголодался, — снова остановил майор связиста. Связист поставил перед ним котелок и вышел.

Когда замерзший на морозе майор уписывал за обе щеки горячий борщ из котелка, вошел политрук Турганбай Абайылдаев.

— Садись, Турганбай, — пригласил его майор, кивком ответив на приветствие. — Чего молчали, когда немцы огонь открыли?

— Решили приберечь патроны на завтра, — ответил политрук, пытливо всматриваясь в лицо майора, который в это время вытащил из котелка большую кость и как ни в чем не бывало начал грызть крепкими зубами.

— А завтра что? — спросил майор подчеркнуто безразличным тоном.

— Судя по вашему виду, завтра наступление, — с лукавой усмешкой ответил политрук.

— Мой вид говорит об этом? — удивился майор.

— А как же, — засмеялся политрук.

— Ну и дьявол, угадал! Есть раненые?

— Нет. Ранило лошадь в обозе, так я разрешил ребятам зарезать ее на мясо. Наши любят конину.

— Значит, у твоих киргизов праздник сегодня? Ел я конину, в сорок первом, когда остались в окружении. А не-

плохое мясо. Небось сам налопался, а мне не догадался взять.— Майор с надеждой посмотрел на Турганбая.

— Повара еще варят. А вот чучук у меня есть. Знаете, что такое чучук?

— Что это?

— Не скажу, сперва попробуйте.— Турганбай вытащил из кармана что-то длинное и толстое, завернутое в полотенце.— Вот это и есть чучук,— сказал он, развернув полотенце.

— Так это же колбаса?

— Копская. Мы зовем ее чучук.

— Отрежь скорей, попробую, пусть даже это смертельно. А вы тут не снаряды, видать, жалели, а кониной были заняты. Как бы ребята понос не заработали.

— Желудки у них привычны к мясу, ничего не будет. Вот попробуйте,— сказал он, подавая майору толстый круг колбасы.

Майор с удовольствием съел и причмокнул языком.

— Вот это еда, чуть язык не проглотил. Вижу, вы, азиаты, не дураки поесть.

— Ночь на исходе, Турганбай,— заговорил майор,— командиры орудий — ребята надежные, но и нам надо быть начеку. По очереди будем проверять часовых. Не проникли бы немецкие автоматчики. Да и начальство может пагрнуть с проверкой.

Зазвонил телефон.

— Легко на помине, определенно он! — Майор вскочил. Молча выслушал приказ и положил трубку.

— Значит, так. Артподготовка в шесть ноль-ноль, мы идем вместе с пехотой и поддерживаем ее огнем.

— Новая тактика,— заметил Турганбай.— Значит, много у нас стало артиллерии.

— Еще какая! Пусть попробует он устоять против нашего огня. С нами участвует и усиленная авиадивизия. Ну, пошли, старший лейтенант.— Майор зашагал к выходу. У двери он остановился, повернулся к Турганбаю и спросил: — Как называется у вас эта чудесная колбаса?

— Чучук.

— Чю-чюк! Язык сломаешь.— Майор и Турганбай вышли. В землянке остался один связист.

Наши молчали. Немцы, будто спросонок, время от времени постреливали и освещали передний край висячими фонарями.

Ровно в шесть дальнобойная артиллерия начала ураганный обстрел вражеских позиций. Над головой пролетали и снова возвращались самолеты. Наступал ясный, морозный день. Майор Савчук и Турганбай лежали на снегу и разглядывали в трубу видневшийся вдали, сквозь утреннее марево, город Великие Луки. Наши войска уже три месяца держали его в осаде, три месяца вели непрерывные бои за этот старинный русский город и не могли взять его. Теперь, слушая буйные раскаты дальнобойной артиллерии, вой «катюш», Савчук и Турганбай с трудом сдерживали свою радость.

— Слышь, политрук, кажется, прижмем нынче немца! — крикнул Савчук, повернувшись к Турганбаю.

— Что? — переспросил тот, не расслышав ни слова. Он лежал, прикрыв уши ладонями.

— Будет, говорю, и на нашей улице праздник! — прокричал ему в самое ухо Савчук.

— Давно пора! Что мы, пасынки, что ли, у бога? — весело крикнул ему в ответ Турганбай.

— Да, да, — закивал головой тоже ничего не расслышавший в сплошном грохоте Савчук и вынул часы. — Артподготовка будет длиться час и пятнадцать минут, сколько у нас еще времени?

— Сорок пять минут, — сказал Турганбай.

Дивизионная артиллерия, находясь в укрытии, была готова в любую минуту последовать за пехотой. Она ждала своего часа, связисты в ожидании команды не отходили от телефонных аппаратов.

— Я пойду, — сказал Турганбай, вставая.

— Политрук! — Майор взял Турганбая за полу шинели. — Иди, политрук, побудь с бойцами, всех обойди, мы должны сегодня взять город... — и добавил: — Будь осторожен.

Турганбай сбегал вниз, взял с собой ординарца, скупавшего возле телефонистов, и исчез с ним в лощине.

— Майора к телефону! — крикнул внизу телефонист.

— Товарищ майор, вас к телефону, — передал лежавший несколько поодаль от майора его ординарец.

Правой рукой придерживая болтающуюся на боку кобуру, левой прижав к груди висевший на шее бинокль, Савчук почти что скатился вниз.

— Третий слушает! — задыхаясь, проговорил он в трубку.

— Бежал? — спокойно спросил его знакомый голос.

— Бежал, — все еще тяжело дыша, подтвердил Савчук. — На НП сидел, товарищ подполковник.

— На НП? Он у вас что, в открытом поле?

— Да нет... это так... понаблюдал малость... — растерянно оправдывался Савчук.

— Надо быть на своем месте! — строго сказал артначальник дивизии. — Комдив увидел вас в открытом поле и сделал мне выговор! А я вам за это даю два.

— Товарищ подполковник, я же не командир орудия... я... видеть должен, — пытался оправдаться Савчук.

— Прекратить разговоры! С НП тоже хорошо видно, — прервал его начальник артиллерии. — Как дела?

— Ждем.

— Не отставайте от пехоты и поддержите ее как следует. Генерал на вас надеется. Чтоб краснеть не пришлось, — уже мягче сказал артначальник.

— Есть, товарищ подполковник!

Обстрелив передний край и закрытые позиции противника, дальнобойная артиллерия перенесла огонь в глубь вражеской обороны.

Взвилась синяя ракета, это был условный сигнал. Пехота поднялась в атаку. Неизвестно откуда появились танки. С грохотом, стреляя на ходу, двинулись в сторону противника. Пошел вперед и артдивизион Савчука. Артиллеристы на руках выкатывали орудия на открытое место и бежали рядом с пехотой. Забегали с телефонными катушками связисты. На поле боя снег быстро стаял, обнажилась почва, летели вверх черные комья земли, поднимался теплый пар. Противник открыл огонь. Пахло дымом и порохом. Все смешалось — люди, танки, пушки. Казалось, никто никем не управляет. Однако в этой кажущейся суматохе был свой порядок, там и тут раздавались команды и подбадривающие выкрики:

— А ну, орлы, вперед! Русские богатыри, вперед, за Родину!

— Товарищи, товарищи!

— Давай, давай!

— Вперееед!

— Ура! Ура-а-а!

Артиллеристы Савчука, толкая впереди себя пушки, бежали тоже, останавливались, выпускали несколько снарядов по заданной цели, снова бежали, снова стреляли.

— Снаряд, снаряд! — слышались требовательные крики, когда ящичные не успевали подавать заряжающим снаряды. Турганбай перебежал с батареи на батарею, подгонял отстающие расчеты, помогал вытаскивать застрявшие пушки. Лицо его стало черным от копоти и дыма, в горле пересохло и першило от бега, от запаха гари, он на ходу хватал снег и поспешно запихивал в рот. Майор Савчук совсем охрип и подавал команды через своего ординарца или связистов. Пролетали самолеты, обстреливая поле боя из пулеметов, тут и там взрывались крупнокалиберные снаряды, поднимаемая в воздух куски металла, кучи земли и пыли, останки людей и орудий.

Не выдержав шквального огня, передние ряды атакующих дрогнули, остановились, на них налетели другие, началась сумятица. Раздались крики:

— Куда!

— Назад! Назад!

Как раз в это время оказались рядом Савчук и Турганбай, они встретились взглядами и сразу поняли друг друга.

— Артиллеристы, вперед! Вперед! — крикнули они и побежали к разным флангам.

— Артиллеристы, вперед! Бей прямой наводкой! Офицеры, к орудиям! — надрывался Савчук. Ему показалось, что он кричит очень громко, но, вспомнив, что голос его сорван и он сам себя не слышит, разогнал с приказом связистов и ординарца.

На поле боя откуда-то появился светло-серый броневик. Он остановился как раз в том месте, где сгрудилось в беспорядке больше всего солдат. Из броневика вышли трое в желтых полшубках.

Один из них, невысокого роста смуглый человек, закричал:

— Орлы! Богатыри! Вперед! Город наш!

— Мы с вами! Вперед, вперед! — кричал второй.

— Вперед, ребята, вперед!.. — раздавались возгласы.

Столпившиеся солдаты, увидев бегущих вперед генералов и уже забыв о страхе смерти, побежали за ними. Впе-

ред вырвались танки; прячась за танками, бежала пехота. Атака возобновилась с новой силой, солдаты уже приближались к окопам противника.

— Ура! Ур-ра-а-ра-а-а! — Крики «ура» на какое-то время перекрыли грохот орудий, шум движущихся танков, трескотню автоматов.

Теперь повернули назад немцы. Наши с ходу заняли первую линию окопов, затем вторую. Разгоряченные боем, не чувствуя ни страха, ни опасности, солдаты бежали уже к третьей линии.

— Ура!

— Бей их!

— Бей гадов! — раздавались крики.

Немцев потеснили в город. Бой шел уже на улицах Великих Лук.

## 23

Немцы заперлись в домах и отстреливались из окон, с чердаков, крыш. Подвижная дивизия Савчука, переходя с улицы на улицу, обстреливала дома, в которых засели фашисты, пробивала пехоте дорогу и вместе с пехотой вступала в рукопашные схватки с противником. Начались пожары, густые клубы дыма поднимались над городом, все смешалось, трудно было разобрать, где свои, где чужие. Всю ночь шли бои, лишь к утру следующего дня удалось выбить немцев из города. Но отдельные дома долго еще не сдавались, в перестрелке погибло много солдат с той и другой стороны.

Турганбай с одной батареей обстреливал дома. Немцы вели огонь из миномета и из пулеметов, не давали пехоте поднять голову. Батарея разрушила здание, подавила огневые точки, но из миномета враг успел выстрелить, мина упала прямо на орудие, возле которого стоял Турганбай. Поднялся столб огня и земли. Когда Савчук подошел, чтобы собрать свой дивизион, на месте пушки и орудийного расчета стлался по земле лишь горький черный дым. Увидев ужасную картину смерти, Савчук вздрогнул и застыл на месте, как парализованный. Затем он медленно снял шлем, опустился на одно колено и склонил голову. Артиллеристы окружили своего командира.

Рядом с Савчуком стоял командир батареи с шапкой

в руке. Когда майор встал, тот хотел о чем-то доложить ему, но майор остановил его:

— Молчи! — Потом взглянул на растерянного младшего лейтенанта и спросил: — Где политрук?

— Здесь был.

— Ищи его, — тяжело процедил Савчук.

Можно подумать, что, не первый день воюя, ежедневно, а то и ежечасно встречаясь со смертью, видя кровь, перешагивая через трупы, солдат привыкает к смерти, черствеет сердцем. Может быть, в этом и есть доля правды. Но люди, думающие так, поразились бы, увидев сейчас плачущего Савчука. Уж кто-кто, а Савчук должен был бы привыкнуть ко всему. С первого дня войны на фронте, отступая с войсками, попал в окружение, колесил по бело-русским лесам, едва избежал плена, а сегодня плакал. Вот он стоит у изголовья Турганбая, слезы текут и текут по его лицу.

— Где санитары? Позовите санитаров! Расстрелять мало этих санитаров! Когда надо, днем с огнем не сыщешь. Не надо, без санитаров обойдемся. Несите плащпалатки. Заверните в них и сами отнесите в санбат. Живого места не осталось... Придет ли в себя?..

Савчук пытался прощупать пульс Турганбая, затем положил руку на сердце и ощутил под ладонью еле заметное биение.

Турганбая далеко отбросило взрывной волной. Он лежал плашмя, весь в крови, раскинув руки и ноги. Лицо было черным от копоти, неузнаваемым.

— Санитары идут.

Савчук повернулся и увидел за собой не одну батарею, а чуть ли не весь дивизион. Рослые артиллеристы окружили плащ-палатку.

— Сами отнесите политрука в санбат. Разрешаю. Сапоги разрежьте. Одежду разрежьте, так не снимайте. Видно, весь изранен. Несите! — приказал он, повысив голос. — Остальным к орудиям! Все по местам. — Покачиваясь на ходу, усталым шагом Савчук пошел проверять свою дивизию — кто жив, кто погиб, кто пропал без вести.

— Собрать останки, все, что осталось от артиллеристов, — приказал Савчук своему адъютанту. — Похороним с почестями. И чтобы в донесении не было графы «без вести». Наши артиллеристы сражались мужественно. Пред-

ставим к награде живых и мертвых, пиши репортажи. А по-литрука... Ты меня понял?

— Понял, товарищ майор!

— Сегодня же! — добавил майор.

— Есть! — Аджютант отдал честь.

## 24

Качике получил от Саши длинное письмо. «Не потому, что ты земляк, я выполнил твою просьбу, а потому, что ты мой фронтовой товарищ, боевой друг», — писал он и подробно рассказывал, как посетил родных Качике, двух его сестер и брата. «Когда собрался уходить, она крепко схватила меня за руку и поцеловала в щеку, — писал Саша о его старшей сестре. — Самое интересное, сестра твоя повязала мне на пояс большой платок. Я удивился и начал было отказываться от подарка. Но мне объяснили, это у вас обычай такой — дарить на счастье близким людям и тем, кто принес в дом хорошую весть. Я приехал от тебя, и они приняли меня, как если бы это был ты, как брата своего. Так что помни, теперь мы с тобой побратимы...» Саша сообщал, что и брат, и сын старшей сестры в трудармии. Муж младшей сестры на фронте. Живут неважно, по военному времени. Везде его встречали радостно и что-нибудь дарили на память. «Когда жена твоего брата поднесла мне платок, я уже не делал большие глаза, как в первый раз, поблагодарил и сунул в карман», — шутил Саша.

«Похоже, что ты не был в своей родной деревне лет 15—16, а здесь тебя помнят и любят, даже твоя маленькая племянница, никогда тебя не выдавшая, знает о тебе по рассказам матери и ждет не дождется в гости. Что же это такое, а, брат? Ты сам говорил, что киргизы строго соблюдают законы родства, я своими глазами убедился в этом. Какой же ты бесчувственный, если не ценишь таких родных. Извини, брат, и не обижайся на меня. Помню, говорил ты, что это от твоей проклятой жизни, что стыдно тебе было показываться в родной деревне. Горько мне стало за тебя, плохо же, я вижу, было тебе. Коль выживешь в этой войне, берись-ка, брат, как следует. А то век своих родных не увидишь. Что мне объяснить да уговаривать, ты же умнее меня и учнее, сам знаешь...»

Был мертвый час, все спали. Один Качике сидел на своих нарах и читал письмо Саши. Письмо его растрогало и расстроило. Дойдя до этого места, Качике невольно задумался о себе, о своей жизни, о дочери, о родных в далеком киргизском аиле, непрошенные слезы текли и текли по его лицу.

— Ормонов, подойдите сюда!

Качике вздрогнул и поднял голову. Недалеко стояли лейтенант Кузнецов и помкомвзвода. Качике вскочил и молча стал перед лейтенантом.

Уже вечером Качике дочитывал, как он назвал, «знаменитое» Сашино письмо.

«Расскажу теперь о себе, — писал Саша. — Как ты знаешь, у меня, кроме двух сестер, нет больше родственников. Узнав, что на Урале осталась у меня невеста, они аж подскочили, стали уговаривать, чтобы я женился здесь, девушек предостаточно и незачем за ними ехать на Урал. Ну, я бы и слушать их не стал, ты знаешь, Люся мне нравится, да вот сама жизнь заставляет думать. Я простой малограмотный шахтер, она учится в институте, потом врачом станет, найдем ли мы с ней общий язык? Она в белом халате будет, а я явлюсь к ней черный, как сатана. Захочет ли она возиться с шахтерской грязью, не станет ли отворачивать нос? Да если еще приду выпивший, с ребятами? Какая же у нас жизнь получится, если она будет свое гнуть, а я свое. Не лучше ли жениться на шахтерской дочери и жить, как все? Подумаю, Костенька, и оторопь берет. Доктор и шахтер, уживутся ли они в одном гнезде? Начнутся скандалы, и, рано или поздно, все равно разойдемся. Не лучше ли расстаться сейчас, по-хорошему, сохранив друг о друге добрую память? Голова идет кругом, Костенька, не хватает у меня соображения решать эти вопросы. И жалко-то Люсю, и боязно. Напиши ты мне, брат, что делать...»

У киргизов есть поговорка: «Не умеющая рожать коза пошла к овце в повивальные бабки». Так киргизы смеются над людьми, которые, сами ничего не умея, берутся поучать других. «Я и есть та самая коза, — подумал Качике. — Но пусть сам я не добьюсь ничего, — рассуждал он, — пусть останусь пищей для языкастых баб, но почему же отказывать в совете, когда его просят у тебя? Люся и Са-

ша — оба молодые, она будущий доктор, он же... углеком. На первый взгляд — не пара и неразумно им соединять свои судьбы. Но ведь Люся же знает об этом и все-таки любит Сашу. Люся веселая, смелая, трудностей не боится, будет добиваться своего да еще потянет за собой нерасторопного и стеснительного Сашу. Она и учиться его заставит, уговорить сумеет, объяснить, если он сам не поймет. И все с лаской, с улыбкой, не задевая Сашиного самолюбия. Она умна и сердечна, проста и обаятельна. Что может быть лучше для Саши? Да и сам он заслуживает любви такой девушки. Саша хороший парень, искренний, простодушный».

Качике сел за ответное письмо.

## 25

Прошло больше трех месяцев, как от Турганбая не поступало никаких известий. Все, включая и самого Чотура, волновались, жили в тревоге. Айдайкан часто плакала, кляла свою судьбу, Канышайим приходилось одергивать, даже покрикивать на нее. Почему-то не было писем и от Бермет. Помня, как дочь тяжело переживала грустную весть о Кыдырбеке, Канышайим совсем потеряла голову.

— Съезди ты в город, узнай, что с Бермет, не заболела ли... — стала она приставать к мужу.

Чотур, не подозревавший о переживаниях дочери, всячески отмахивался:

— Икзам, наверно, сдает, что ты зря баламутишься и мне покою не даешь.

Но разве Канышайим успокоится — будет бубнить, пока своего не добьется. Чотур приехал во Фрунзе, остановился у Джамалкан.

После гибели Джаманкула Чотур еще не был в этом доме. Помолившись за упокой души, он послал Каныш за дочерью в институт.

Были теплые весенние дни. В черном костюме Бермет казалась выше ростом, возмужавшей, тихая грусть делала ее лицо еще красивее. Увидев дочь, Чотур успокоился. «Правда, похудела немного, но, слава богу, хоть здорова», — подумал он, разглядывая Бермет. Дочка же, думая,

что отец уже знает о ее отношениях с Кыдырбеком и даже о том, что она падала в обморок, боялась взглянуть ему в лицо. Она подозрительно посматривала на Джамалкан, не проболталась ли.

Но Джамалкан стала теперь совсем другая, редко смеялась, была серьезна и сдержанна. Она только и спросила Чотура о здоровье домашних, часто выходила на кухню, а когда возвращалась, больше слушала гостя, чем говорила сама. Чотур рассказал ей о своих тревогах насчет Турганбая.

— Здоровы ли мама, джене, как дети? — спросила Бермет и, взяв стул, присела возле Джамалкан. Чотур сидел на полу, скрестив ноги и положив под себя поверх ширдака поданный хозяйкой пуховик.

— Бермет, погляди за супом, — попросила Джамалкан, — старушка ушла гулять с детьми, может, и в магазин пойдет, по карточкам не успеваем вовремя получать. Как жизнь в деревне? Народ не голодает? — повернулась она к Чотуру.

— Если уж в городе, с пайком, не больно сыты, про деревню и сказать нечего, на трудодни-то вовсе не дают. Жить становится все трудней. Даже говорить об этом тяжело. Одеться не во что, едят что придется. У кого был старый запас, тем еще куда-никуда... — Чотур с досадой махнул рукой и замолчал.

— Нам нынче земли дали, посадите, говорят, что-нибудь, а я и ума не приложу, что делать с этой землей, по есть-то надо, хочу попробовать... — Джамалкан грустно улыбнулась.

Пока Чотур ждал удобного момента сказать дочери о Турганбае, Бермет сама спросила:

— Нет ли от дяди писем?

— А я и сам хотел спросить, не пишет ли он тебе, давно уже нет вестей, — сказал Чотур, не глядя на дочь. — Да что там дядя, ты вот близко, и то не пишешь, — с упреком заметил он.

— Потому и приехали? — улыбнулась Бермет.

— Я бы не приехал, мать заставила, плачет: «Может, заболела», — говорит. «Икзам у ней, — говорю, — некогда», — а она свое бубнит, прожужжала все уши, настояла на своем. — Чотур говорил неторопливо, спокойно, но мысли его были с Турганбаем, он очень беспокоился.

Бермет знала, что Турганбай воевал на Великолукском направлении и что там были жестокие бои. Она тоже боялась за дядю, потому что домой не писала. Бермет догадывалась, о чем сейчас думает отец, но сама-то она не столько о Турганбае, сколько о своем Кыдырбеке думала, о нем горевала. Она удивлялась, что о Кыдырбеке думает больше, чем о родном дяде, но, как ни старалась, чтобы было наоборот, Кыдырбек казался ей ближе, чем дядя, дороже даже отца с матерью. Убедившись наконец, что никакая сила не сможет изгнать из ее сердца Кыдырбека, что никто другой не сможет занять там его места, Бермет перестала упрекать себя и, постоянно занятая мыслями о нем, лишь иногда вспоминала Турганбая и даже родителей.

26

Мырзабек, неожиданно уехавший на фронт, так же неожиданно вернулся. Первой из горьких новостей была для него смерть Джаманкула. Он отправился к Джамалкан с соблезнованием. По дороге, однако, оробел и потому страшно обрадовался, когда повстречалась ему Чынаркан.

— Джене, джене, — затормошил он ее, — проводи меня к той джене, боюсь я один. Джене, ну, джене, ну, пожалуйста, — Мырзабек улыбался, смешно оттопыривал губы, заглядывал ей в глаза.

Джене, джене черноока,  
Расстели постель широко, —

пропел он и, склонив набок голову, лукаво и просительно уставился на нее.

— К какой джене? — кокетливо спросила Чынаркан, хорошо зная, что Мырзабек имеет в виду Джамалкан.

— К молодой джене, муж у нее погиб, пойдемте. Можно взять вас под руку? — Мырзабек не давал Чынаркан вставить слово. Подхватив ее под руку, потащил с собой.

— Нет, нет, я не люблю, когда меня под руку берут, — игриво сказала Чынаркан и ловко выскользнула.

— Я человек безобидный, вы тех бойтесь, кто сожмет, так уж сожмет — кровь выступит, или вы и таких не бойтесь? А что Качике? Слышал, что на Урале, в военном училище. Пишет? Или... — Мырзабек усмехнулся.

— Что «или»?— спросила Чынаркан несколько настороженно, однако с ободряющей улыбкой, желая, чтобы Мырзабек высказался до конца.

— Или... не пишет, увлекся уральскими красавицами?

— Пусть попробует!

— И до Урала достанете?

— Доста-ану. Все узнаю.

— О, какой вы страшный человек. Глаза у вас всевидящие, уши всеслышащие, а руки загребущие... Да-а, от вас не уйдешь!— сказал Мырзабек, явно намекая на Качике.

Чынаркан будто вся сжалась, длинные ресницы ее дрогнули, потом она вскинула голову и бросила на Мырзабека взгляд, не предвещающий ничего хорошего.

— Что вы можете знать об этом, старый бобыль? Жениться бы лучше, чем портить жизнь девушкам.

— Боюсь, вдруг попадется зубастая.

— Пока женские зубы не обработают, мужчина не человек, всего лишь жеребец и кусака, вроде вас.

Мырзабек был наслышан, да и сам кое-что знал о ядовитом языке Чынаркан, и все же ему стало неловко за «жеребца», но что означало «кусака», он не понял. Если к этой женщине, как говорят киргизы, «попадет на зубок белая собака, то обратно выйдет уже черной». «Бедный Качике!»— подумал Мырзабек.

— Все, все, джене, не договаривайте, пожалуйста, виноват, сдаюсь,— поспешил он успокоить ее. «Лучше не связываться с ней, без вины виноватым сделает»,— подумал он про себя.

— Совсем вернулись?— спросила Чынаркан, уверенная, что проучила Мырзабека как следует, и теперь решив отвлечь его. А Мырзабек был полон неприязни к этой злой женщине, с которой и шутить-то опасно. Он даже не расслышал ее вопроса.

— Что?— спросил он, вздрогнув от ее голоса.

Чынаркан повторила вопрос.

— Пока вернули, что будет дальше, не ведаю.

Комиссия забраквала Мырзабека из-за покалеченной на фронте руки.

У Джамалкан сидели Солтонкул, Салима и Бермет. Увидя Бермет, Мырзабек покраснел как рак, глаза его увлажнились. Солтонкул и Салима подумали, что Мырза-

бек оплакивает Джаманкула, а Джамалкан, увидев его таким, всхлипнула. Никому не пришло в голову, что краснел он перед Бермет. Перед ней он смутился, и глаза его замечали здесь только одну Бермет, даже Джамалкан отошла на второй план. Никому не было известно, что он писал девушке и получил вежливый отказ. Лишь когда обнял он Джамалкан и, утешая ее, ласково потрепал по плечу, а на глаза ему навернулись слезы, он вспомнил, зачем пришел сюда. Бермет тоже чувствовала себя стесненно, и бледнела, и заливалась румянцем, то и дело отлучаясь на кухню. Однако о ее состоянии также никто не догадывался. Даже Джамалкан она не заикнулась о письме Мырзабека.

О Кыдырбеке и вовсе молчала. Когда Джамалкан сказала как-то при ней: «Бедный Кыдырбек, пропал без вести...» — Бермет лишь заметила: «Знаю, дже...» — и на этом оборвала разговор. Джамалкан знала, что Бермет не любит, когда лезут к ней в душу, потому и не решилась расспрашивать. Мырзабек же сидел сегодня какой-то растерянный, не смея поднять глаз на Бермет. Куда девались его обычная веселость, острословие, пасмешки? Однако подавленность эта могла быть легко объяснена той горькой причиной, которая привела его в дом Джамалкан. Одна Бермет понимала Мырзабека и старалась отвлечь от себя его внимание, хотя это было и не так просто.

— Сестренка, не подашь ли мне холодной водички, — попросил Мырзабек, прямо посмотрев Бермет в глаза, — пить захотелось. — «Хоть воды поною из твоих рук», — с горечью подумал он про себя. Бермет поняла его. Она тщательно вымыла пиалу, наполнила ее холодной водой и поднесла Мырзабеку. — «И вода твоя чистая, как ты сама. Поцеловал бы я эти руки, дающие мне воду, прижал бы их к сердцу...» — мысленно говорил он, уже повеселев, уже улыбаясь глазами. Мырзабек глядел на Бермет, чтобы продлить счастливое мгновение, не спешил взять из ее рук пиалу с водой.

— Возьмите же, у девушки руки устали, — сказал Солтонкул.

— А? Извините, виноват, — смутился Мырзабек.

— Принеси ему да еще выпить упрасивай, — засмеялась Салима.

— Имею право, — будто в шутку пробормотал Мырзабек и протянул руку. Коснувшись пиалы, рука его задрожала, вода из пиалы плеснулась на пол.

«Несчастный ты человек! Даже пиалу не можешь как следует взять из девичьих рук, воду пролил и жажду не утолил... Ничего-то ты не умеешь»,— сам себя упрекнул Мырзабек.

Даже Джамалкан не выдержала, улыбнулась.

— Так вот и проливают люди свое счастье. От такой девушки надо бы двумя руками принимать,— сказала Салима.

— Где ему, кусаке, в этих тонкостях разбираться,— поддела Чынаркан.

— Договаривайте, джене, вы же меня еще и жеребцом обозвали.

Солтонкул переглянулся с Салимой, Салима пожалала плечами.

— Значит, не суждено нам, молодая джене. Против судьбы не попрешь, обижаться на нее нет смысла. Одно остается: потуже затянуть пояс и жить как живется.— Мырзабек тяжело вздохнул и вернул девушке пиалу. Бермет молча вышла из комнаты.

Когда Чынаркан и Бермет ушли, Солтонкул, подмигнув жене, сказал:

— Ай, Мырзабек, какой же ты джигит, если с девушкой не сладишь.

— А если у девушки есть хозяин?— улыбнулась Джамалкан.— Правда, он далеко...

— Кто же он?— будто из простого любопытства спросил Мырзабек.

— И-и, как же его? Запоматовала...— сказала Салима.

— Кыдырбек,— подсказала Джамалкан.— Но я не уверена, действительно ли они помолвлены, Бермет скрытная девушка. Недавно написали из части, что он препал без вести. С тех пор и ходит она как пришибленная. Хотела допытаться, что и как, да у нее не больно-то допытаться.

«Молодец Бермет!»— подумал про себя Мырзабек.

— Значит, любила его,— заметила Салима.

— Видно, что да. Стала как каменная. Когда Мырзабек заговорил, хоть бы бровью повела. Не до шуток ей,— сказала Джамалкан.

— Да, трудно ей...— Выпуклые глаза Мырзабека покраснели. Чтобы не выдать свою боль, он опустил голову.

Мырзабек помолчал, затем привычными словами почувствовал Джамамалкан и заторопился домой.

— Что с ним? — удивились все.

— Кажется, из-за Бермет, жалко ее стало, — предположила Салима.

## 27

В своей неуклюжей солдатской одежде, в стоптанных сапогах Мырзабек шагал вверх по бульвару Дзержинского. Горел закат. Теплый мартовский день кончился, подул ветер, стало прохладно. Красноватое солнце играло на вершинах просыпавшихся от зимней спячки дубов и карагачей, сквозь их ветви виднелись окрашенные в ярко-красный цвет снежные вершины Ала-тоо, подножья гор были подернуты темной синевой, лощины темнели, будто лежали в них черные тучи.

«Сверху гора пылает, а снизу утопает во тьме — какой чудный контраст для художника, — рассуждал сам с собой Мырзабек. — Вершину напишет он яркими, радостными красками, подножие сделает темным. Но, может быть, на той самой вершине, где играют лучи, бушует сейчас ураган и холодный ветер гонит сухой снег. Это солнце делает вершину такой красивой. Она сияет, переливается красками потому лишь, что на нее падают лучи солнца. Так и в душе человека. словно в горном озере, плещутся, вздымаются волны, бушуют бури. И если бы не освещало ее нечто подобное этим лучам, душа человека была бы как ночь темна. Это нечто — вера человека, его мечты и цель, к которой он стремится. Бывают и горные вершины тихими и спокойными, как долины. Вот я думал... Нет, не думал, был убежден... что избранник Бермет живет себе здесь, в тылу, спокойно, безбедно. А он, выходит, на фронте, он в бою, рядом со смертью. И на вершине души его сияет солнце, это его светлая мечта, его вера. Его солнце — Бермет. А сама Бермет? Любовь ее тоже нелегка, сердце ее постоянно в тревоге, в нем тоже бушуют бураны, в нем соседствуют вера и отчаянье... Что может быть выше такой любви?

На фронте я видел мужа и жену, они воевали рядом. Киргизы говорят: «В радостях и в беде». Что это значит? То ли, что в жизни бывают не одни радости, но за радо-

стью следуют и печали, или тут заключена мораль: умеи радоваться, умеи и горе пережить. Сколькo в этом мудрости, сколькo понимания людского величия. Жены декабристов! А Ленин с Крупской!

У Бермет сейчас горе. Но и горе горю рознь. Как она переживает, я не могу знать, но кажется мне, как я это себе представляю, Бермет не просто горюет. Она человек, в этом я убедился по ее письму, и какой, настоящий, орлица, богатырь среди женщин. Да, я полюбил Бермет, но полюбил, не зная, что ее сердце отдано другому. И я не жалею. Пусть она не любит меня, пусть! Но она и не презирает меня. Человеческая душа неделима, только одному она может быть отдана, если же ее делить между одним и другим, пусть даже из доброты, она измельчает, она теряет свою красоту.

Кыдырбек пропал без вести. Пусть даже умер. Значит, потух огонек, что согревал душу Бермет. У нее пропала надежда на встречу с любимым. Что станет делать Бермет? Как она поступит? Как должна она поступить? Я не знаю. Жизнь ли одолеет ее, и, поддавшись жизни, полетит она вниз, не сегодня, так завтра растает, словно облако? Или, по опуская рук, будет продолжать борьбу, стремиться выше? С окровавленным сердцем, но будет карабкаться на вершину скалы? Или же...

Если Бермет действительно любила Кыдырбека и не хочет его забыть, она должна остаться на высоте, иначе невозможно.

А если в эту минуту кто-то другой признается ей в любви? Хоть бы и я. Это бы значило видеть человека раненым и, вместо того, чтобы перевязать рану, разбередить ее... нет, нет, простая человечность не может этого допустить, нет, не может...»

— Мырзабек! — раздалось сзади. Ему кричали уже давно, Мырзабек же, поглощенный думами, услышал только теперь.

— А? — вздрогнул он и повернулся.

— Оглох, что ли? — сказал стоявший по другую сторону дороги человек в пальто, в шапке, с теплым шарфом на шее. Это был товарищ детства Джапаркул, поэт. С недавних пор они жили вместе.

— Поэт — и задает такой вопрос. Не знаешь разве, когда говорит сердце, ухо не слышит? — засмеялся Мырзабек.

Джапаркул улыбался, тяжело дыша. Он был болен туберкулезом.

— Куда путь держишь? — спросил Мырзабек.

— Куда я могу идти? Просто гуляю. Дома холодно, начал было работать, да не выдержал... — Он закашлял.

— А работается?

— Поэму начал.

— Почитаешь?

— Нет, нет! Смеяться будешь. А с тобой что?

— Со мной? Скажи-ка, похож я на влюбленного или нет? Правду скажи!

— Во-первых, я не был у тебя в душе, во-вторых, только тот, кто сам сомневается или только хочет показаться влюбленным, бегаёт как ошалелый по улицам и каждого встречного спрашивает: «Как я? Похож на влюбленного?» — Джапаркул от души рассмеялся.

— Значит, я еще не влюблен. Кажется, ты попал в точку. Ну, а похож я на задумавшегося?

— Похож. О чем же ты задумался?

— Не полюбить ли, думаю, кого?

— Кого-нибудь?

— Да, кого-нибудь.

— Хочешь кусакой быть?

— Да что значит «кусака»? Одна женщина меня уже называла так, — спросил Мырзабек.

— Ты что, приставал к кому-нибудь?

— Да нет же. Жена Качике меня так обозвала.

— А-а! Языкастая баба! Когда жеребец, не разбирая, нагулянная кобыла или нет, бросается на нее и кусает, мучает, его называют «чайнакы», то есть кусака, я это в деревне слышал.

— Но я ни к кому не лезу, почему же она обозвала меня жеребцом и кусакой?

— Женщины ругают так холостяков.

— И тебя ругают?

— Меня не могут. Я как-никак испытал остроту женских зубов, — сказал Джапаркул и засмеялся. Он недавно развелся с женой.

— Похоже, ты брал уроки у Чынаркан, — насмешливо взглянул на друга Мырзабек. — У вас с ней один язык, она говорит: «Кто не испытал женских зубов, еще не человек». Что за слова? Ты ведь по пьянке любил поволочиться за

бабами, не от джене ли услышал их? Говорят, женщина в ярости не то что искусать, изжевать может мужчину.

— Ну знаешь, джене эту ты не приписывай мне. Таких молокососов она и близко к себе не подпускает, волчица издали узнает жертвенного коня,— засмеялся Джапаркул.

— Ох, как я голоден!— вдруг воскликнул Мырзабек.— Ну просто умираю. Можешь ты меня понять?

— Понимаю тебя, понимаю, как же мне не понять, если сам никогда сытым не бываю. Ну пойдем, съедим мой ужин.

— Ужин, которого одному мало, для двоих все равно что ничего. Не успел никуда прикрепиться, понимаешь, денег немного есть, но где что найдешь,— всерьез озабоченный, сказал Мырзабек.

— И про любовь забыл?— засмеялся Джапаркул.

— Сытый голодного не разумеет, ему лишь бы посмеяться. Сейчас ничего не найдешь, даже спекулянты с их топочами<sup>1</sup> с верблюжий глаз сидят уже по домам, ресторанов нет, где еще достанешь? О, нашел! Нашел место,— сказал Мырзабек.

— Что за место? Возьми и меня с собой.

— Было бы хорошо, но захочет ли он накормить двоих?— заколебался Мырзабек.— Я подумал об Апсамате. Пойдешь?

— Ой, нет, он и в самом деле плохо может подумать, да и не жалуется он меня.— Джапаркул замахал руками, будто его собирались тащить силой.— Не могу, я его хорошо знаю, а жена его, если и есть что, пожадничает, иди один. Желаю удачи. Приходи домой пораньше, будем жечь кирпич.

— Кирпич? Какой кирпич? Разве его можно жечь?— удивился Мырзабек.

— Приходи скорей, увидишь, как жгут,— ответил Джапаркул и пошел своей дорогой.

## 28

Мырзабек столкнулся с Апсаматом в передней, тот был в короткой стеганке и чем-то гремел.

— А, солдат, проходи, проходи,— приветствовал его Апсамат и, прислонив что-то к стене, подал руку.

<sup>1</sup> Точок — пресная лепешка.

— Сельхозорудия?— удивился Мырзабек, увидев кетмень и лопаты.

— Благодаря им и живы. Пойдем в дом,— пригласил Апсамат и ввел Мырзабека в стловую. Здесь царил беспорядок, вещи валялись как попало.

— Кто там?— послышался голос.

Мырзабек посмотрел по сторонам, но так и не понял, откуда говорили.

— Не реви, как медведь, лежа на боку, гость пришел,— ответил Апсамат, потом повернулся к Мырзабеку.— Крестьянством занялись, Мырзабек-батыр, не прожить иначе, всем нарезали земли под огороды, завтра выходной, если погода не подведет, надо поехать покопаться.

Повязав нечесаную лохматую голову платком, невесть откуда появилась жена Апсамата Шакан.

— А, это ты,— неприязненно улыбнулась она одними губами.

— Вот пришел к вам, джене, не ругайте,— виновато сказал Мырзабек, будто им было известно, что он пришел голодный.

— Какое она имеет право ругать? Пусть только попробует!— сказал Апсамат спокойно, однако тоном, не допускавшим возражений.

— Что толку, если и поругаю?— будто про себя заметила Шакан и вышла.

— Рассказывай, Мырзабек, как твои дела. Совсем освободили?

— Вроде совсем, просил оставить хотя бы на политработе, да не вышло, всему надо учиться. Иной раз подумаешь, мало руководители наши заботились об армии. Ведь никто из нас не обучен военному делу. Вот ты, например, умеешь что-нибудь делать?

— Какое там! Винтовки сроду в руках не держал,— ответил Апсамат, время от времени оглядываясь на дверь.

— Вот видишь. А если вдруг воевать придется, так и будешь стоять с раскрытым ртом. У немцев же все — от писателей до колбасников — обучены военному искусству,— озабоченно сказал Мырзабек.

Шакан все не появлялась, у Мырзабека урчало в животе, он то и дело глотал голодную слюну. «Завтра выходной, военкомат будет закрыт, умру же я с голоду, если не куп-

лю чего-нибудь. Вот она, беспечность моя!» — сокрушался про себя Мырзабек.

— Эй, Шакан, неси же, что у тебя есть! — крикнул Апсамат, обеспокоенный долгим отсутствием жены.

— Ну что такое? — перепачканная в муке Шакан заглянула в дверь. — Ведь куска хлеба не осталось, сейчас испеку немного катырмы<sup>1</sup>. Что мне, жалко, что ли? Что я, по принесла бы, если бы хоть что-нибудь было? Вот приготовлю и принесу. — Она хлопнула дверью и исчезла.

— Ну, хватит, хватит, целый короб наговорила! — крикнул Апсамат вслед жене. — Повезло же бабам: скажет «нет» и глазом не моргнет. В других домах так и вовсе хоть шаром покати. А если и есть что подать, все равно несчастенькими прикинутся. Вот когда жадность-то сказалась. Ты куда прикрешился?

— Еще не успел. — Мырзабек покраснел, как будто его уже разоблачили, как будто уже знали, что пришел сюда специально поесть.

— Значит, святым духом питаешься?

— Да вот получил кое-что в военкомате, — соврал Мырзабек. На самом деле он и в военкомате не был.

Мырзабек был поражен. «Это ли дом Апсамата? Как же гордо и спесиво держался он в тот раз у Асылкан! Нельзя было и предположить, что сам-то ничего другого, кроме катырмы, не видит. Почему так живет? Ведь получает паек по первой категории? Как это понимать? Жена ли жадничает или в самом деле ничего нет? Неужели и до этого дома докатилась нужда? Можно ли поверить? Вдове Джамалкан можно бы еще поверить, но даже у нее нет такой нужды, как здесь. Ведь она уговаривала остаться пообедать. Поражительно! Слова Апсамата, кажется, относились к его собственному дому».

Шакан постелила на стол скатерть, поставила блюдо с катырмой, принесла чай.

— Могла бы что-нибудь и кроме катырмы приготовить, — упрекнул ее Апсамат.

— Мне разве жалко? Ничего не смогла достать в магазине, а он не верит, скажи пожалуйста! — вспыхнула Шакан.

<sup>1</sup> К а т ы р м а — тонкие хлебные лепешки.

— Заткнись лучше! Слова жалко на тебя тратить. Ну и собака, иди в другой комнате лай! — отчитал он жену.

Шакан поворчала про себя и ушла.

Мырзабек покраснел, будто слова эти касались его. Хлопая рыжими ресницами, теребя конец скатерти, сидел он смущенный, не поднимая глаз.

— Бери, Мырзабек, бери, ей никогда не хватает. Если не достанем чего в магазине, сидим голодные, а зло срываем на женах, — говорил Апсамат, будто оправдывая себя и жену.

Мырзабек отламывал кусочки катырмы и запивал чаем.

— Бери сахару, — угощал Апсамат, но сахару в сахарнице было немного, на самом доньшке.

Катырма плохо пропеклась, полусырое тесто было не вкусно, Мырзабек с трудом проглатывал. Несмотря на это, он бы набросился и на это тесто, так он хотел есть, только стыд и удерживал его. Апсамат не то не замечал, что катырма полусырая, не то помалкивал, он отламывал и ел, и потчевал Мырзабека, и все повторял: «Бери, бери!» — и подливал ему чаю.

Мырзабек, стесняясь и робея, немного поел, потом отодвинулся и сказал, что сыт.

— Толку мало с этой катырмы, идем, надо тебя покормить как следует. Я только оденусь. — Он встал и вышел в другую комнату.

Мырзабека удивило убожество квартиры Апсамата. В комнате, где его принимали и которая именовалась столовой, кроме сложенных на сундуке постелей, решительно ничего не было. А ведь хозяйки больше всего и стараются украсить столовую. «Неужели они дошли до распродажи мебели? Мебель мебелью, но в этом доме не было никаких следов заботливых рук хозяйки. Странно. Неужели эта женщина ни на что не способна? Даже убрать разбросанные по всей квартире вещи?.. Может быть, Апсамат не любит свою жену? — предположил Мырзабек. — Спят в одной постели, а душою врозь».

Ему показывали иногда красивых женщин, якобы любовниц Апсамата. Он верил и не верил. Значит, это была не сплетня, а правда? Нет, не здесь Апсамат ищет себе отдохновения от трудов, душой и сердцем он где-то в другом

месте. Здесь хуже, чем в холостяцкой квартире. Их с Джарпаркулом комната, если не считать холода, намного уютней и симпатичней. Будто ветер войны проник сюда, ни тепла в этом доме, ни уюта, ни радушия... Он был недоволен собой за эту неприязнь. «Нехорошо осуждать людей,— думал он,— за то, что они вместе со всем народом испытывают трудности. Не от хорошей жизни Апсамат собирается копать землю и сажать огород, а у жены изможденный вид. Мне показалось все плохо потому только, что они, как и полагал, должны жить лучше других, а живут так же, как все»,— решил он, обвиняя себя в несправедливости. Появился Апсамат в новом костюме, шляпе, макинтоше и стал неузнаваем.

— Пошли,— сказал он.

— А-а, заходите, заходите!— радушно встретили их Асылкан и ее муж.

— Гостя к вам привел,— сказал Апсамат, раздеваясь.

— Что стоишь столбом, не проходишь? И не поздоровашься?— Перебивая друг друга, хозяева приглашали гостей, подошли к Мырзабеку, шумно поздоровались, ласково подталкивая, повели с собой.

— И-и, когда приехал? Хоть бы повидаться зашел,— Асылкан своими красивыми белыми руками несколько раз мягко ударил Мырзабека по спине.

— Посильнее ударь, посильнее, вот здесь!— воскликнул Мырзабек и, подставив спину, положил голову ей на плечо.

— Смотри ты, понравилось! Даже спину подставил и ластится, как теленок. Ну и ну!— захохотал муж Асылкан.

— Оставь их, они же из одного колодца воду пили, когда росли, пусть поласкаются,— заметил Апсамат.

Мырзабека растрогал неожиданно теплый прием.

## 29

Единственной радостью Качике были письма Люси и Апсамата. Из дому же приходили по-прежнему то теплые, то злые письма; хорошим Качике радовался и в своих ответах превозносил за них жену, называл «умницей», злые письма расстраивали, нарушали душевный покой и надолго выбивали из колеи. Чынаркан тоже не находила себе покоя, она боялась и возвращения Качике после войны, боялась и его смерти, мучила и себя и его. Когда же и та-

ких писем не бывало из дому, Качике начинал тревожиться за дочь, ему снились всякие несчастья, он худел, терял аппетит и жил словно в полусне. В один из таких дней он провалился на экзамене на младшего командира и с позором вернулся обратно в свою роту.

Размахивая руками, словно косой, Качике шел напряженным строевым шагом. Он был уверен, что идет хорошо, а поверив в это, успокоился и, механически отстукивая шаг, задумался о своем, привычном. Принимавший экзамен капитан Шевчук еще издали махнул рукой и что-то сказал стоявшему с ним рядом лейтенанту Кузнецову.

— Хватит, достаточно, идите в свою роту! — сказал капитан, когда Качике, весь взмокший от пота, подошел к нему.

Качике ничего не понимал. Лейтенант растерянно пробормотал:

— Товарищ капитан. Ормонов хорошо учился... видно... может быть...

— Нет, нет, нет! — отрезал капитан. — Идет и думает о чем-то постороннем. Что с того, что хорошо учился, твердости нет, собранности, измученный какой-то, не могу, не могу пропустить. О чем вы думали, когда шли ко мне? — спросил он густым басом, чуть наклонив голову к Качике.

— О жене... — выпалил Качике, тупо глядя перед собой.

— Идите в роту к лейтенанту Яшину, может быть, письмо есть от жены, — чуть насмешливо сказал капитан. Все, кроме жалевшего его Кузнецова, дружно рассмеялись.

Качике будто обдало жаром, он постоял, словно оцепенев от обиды, и спросил:

— Разрешите идти?

— Идите! Следующий! — позвал капитан, не замечая больше неудачника.

Когда опозорившийся Качике пошел к выходу, он услышал за собой приглушенные голоса и смех выдержавших экзамен курсантов.

Командир его прежней роты, лейтенант Яшин, был молодой образованный москвич с густыми рыжими, нависающими бровями.

— Что, не прошел? — мягко спросил он, увидев Качике.

Сочувствующий голос лейтенанта несколько приободрил вконец расстроенного Качике. Он все рассказал по порядку.

— А, ладно, бывает и хуже, не расстраивайтесь, идите к помкомвзвода Кабалову, пусть примет вас обратно, — сказал Яшин.

Взвод только что вернулся с полевых занятий, вычитил оружие и под наблюдением вспыльчивого, крикливого помкомвзвода Кабалова ставил винтовки в пирамиду.

— Товарищ старший сержант, снова явился в ваше распоряжение! — отдав честь, доложил Качике.

— Снова явился? Командиром, что ли? — насмешливо спросил Кабалов.

— Нет, курсантом... — прошептал Качике, стыдясь ребит и боясь, что они услышат.

— Скажи громче, не слышу, — рассердился Кабалов. Качике надулся и молчал. — Чего молчишь? — Курсанты притихли, прислушались. — Командир! Слова вымолвить не может, а командовать собрался. Ефрейтор Зюльганов, возьми в свое отделение этого командира! — крикнул Кабалов.

Подшел маленький, ростом ниже Качике и вдвое моложе его, беленький, голубоглазый ефрейтор, улыбаясь, отдал Качике честь и шуточно произнес:

— Товарищ «командир», торжественно принимаю вас в свое отделение!

Взвод покотился со смеху.

В это время быстро вошел нахмуренный Яшин и сердито спросил:

— Что за смех? Старший сержант Кабалов, ко мне!

Курсанты замолчали, Зюльганов подошел к Качике и тихо сказал:

— Мы пошутили, не сердись, идем, письмо тебе есть, — взял его за руку и повел с собой.

Яшин знал, что во взводе Качике поднимут на смех, потому и поторопился сюда. И не ошибся. Отругал Кабалова, который в отместку до самого вечера придирался к Качике.

После ужина Качике собрался прочитать письмо. Оно было от Люси. Качике и не открывал его до сих пор, чтобы насладиться им в свободное время. Помкомвзвода был уже в благодушном настроении и сам подошел к Качике.

— Вот старый черт! Из-за тебя от ротного попало. Ну ладно, ты хоть толком скажи, почему не прошел? Учился ведь лучше других.

— Да я почти что прошел. — Качике уже забыл о сво-

их обидах и рассказал о своем разговоре с капитаном Шевчуком.

— Ну что ты скажешь! Вот умора! — Кабалов долго еще не мог успокоиться.

— И правда, задумался о жене? — спросил один из курсантов.

— Я уж и сам теперь не помню, — ответил Качике, он развеселился и начал шутить со всеми.

— Значит, ничего хорошего от жены ты не жди, Костя, — говорил Кабалов. — Она тебя до добра не доведет. Разве порядочная жена может призраком явиться именно в ту самую минуту, когда муж собирается стать командиром? Много еще неприятностей доставит тебе эта женщина. До беды доведет или подведет под немецкую пулю. Брось ты ее, беги от нее, это же настоящая ведьма.

— Нет, нет! Эта женщина и раньше ничего хорошего тебе не сделала, словно пути на ногах, шагу ступить не давала, вот ты и прихрамывал. При доброй-то жене разве так бы опозорился человек, разве не прошел бы в командиры, не-ет, не простая у тебя жена, совратительница, может, она сама сатана?

Курсанты продолжали смеяться, а Качике, как пораженный, стоял с открытым ртом. Вид Качике еще больше развеселил ребят.

— Ты погляди на него, погляди! — подзадоривали они друг друга.

— Хватит вам смеяться над моим стариком, — одернул командир отделения Зюльганов.

— Без тебя знаем, кто он такой. Старик он славный, но со странностями. Видно, много думает. Ну ничего, мы женим его здесь на русской, он забудет свою ведьму и станет человеком, — заключил Кабалов и одобряюще хлопнул Качике по плечу.

### 30

Люся благодарила Качике за советы. «Саша и правда вроде не уверен, об этом нельзя не подумать, — писала она. — И я полностью согласна с вами. Если бы Саша не заикапризничал вдруг и приехал ко мне, я бы всю свою жизнь посвятила ему, чтобы сделать его человеком...»

Дойдя до этого места, Качике замечтался:

«Если визирь хорош, то и хан хорош; если жена хоро-

ша, то и муж хорош». Значит, недаром у киргизов есть такая поговорка. Бывают такие женщины, Люся например. Как я могу ей не верить? Добрая, чистосердечная, умная, такие женщины способны на самопожертвование...»

«Я это говорю только вам, Сапа мог бы заупрямиться на глупого самолюбия, у людей безвольных оно особенно болезненно. И вы ему прямо не говорите... В наш госпиталь привезли офицера Турганбая Абайылдаева. Голова вся в повязках, даже глаза. Одной ноги нет, другая нога и обе руки в гипсе. Видала я разных раненых, но такого встречаю впервые. Весь изуродован. Но врачи не теряют надежды, и правда, ему с каждым днем становится лучше. Любит, когда я захожу к нему, зовет дочкой. Интересовался как-то, нет ли в госпитале киргизов. Когда назвала нас, чуть не подпрыгнул от радости, еле успокоила.

— Где он, где? — спрашивает.

Я рассказала, что вы в военном училище и что я переписываюсь с вами.

— Уж не влюбились ли в него? — пошутил он.

— А можно в него влюбиться? — спросила я.

— Можно, — ответил он, — хороший человек...

Долго мы с ним говорили в тот день, видимо, он утомился, после обеда спал крепко и спокойно.

Назавтра у меня был выходной, я сходила домой и снова вернулась к Турганбаю. Он уговаривал меня уйти отдохнуть, но я настояла на своем и предложила написать письмо его родным.

— Охо-хо! — вздохнул он. — Уж и не помню, когда я писал домой. Счет дням потерял. Жена моя больно слаба на слезы. У меня есть племянница, студентка. Звать ее Бермет, значит «жемчужина». Молода, но рассудительна. Напишем лучше ей, она как-нибудь объяснит моим.

Турганбай продиктовал письмо и, видимо, устал, лежал молча, а потом велел написать вам привет от него и сообщить адрес Бермет. Он просит вас написать Бермет».

## 31

Бермет получила, одно за другим, два письма: от Турганбая, написанное Люсей, затем от Качике. Качике раскрыл полную правду о ранении Турганбая. Бермет поняла, что дядя вернется, хотя и инвалидом, но приедет с войны.

Пример с дядей вселял надежду и на возвращение Кыдырбека.

Слухи об этих письмах, переходя из уст в уста, дошли до Чынаркан. «Пишет кому-то письма, а от меня скрывает». Подозревая недоброе, Чынаркан отправилась к Джамалкан. Ведь у Джамалкан она слышала о Бермет, как-то даже видела ее здесь мельком.

Чынаркан, применив всю женскую хитрость, начала расспрашивать Джамалкан:

— Говорили, давно нет писем от Турганбая Абайылдаева, теперь, говорят, пришло, что ли? Будто не сам, другой кто-то за него написал? Правда?

— Правда, джене, правда, и от вашего мужа есть письмо к племяннице Турганбая, — ответила простодушная Джамалкан.

— А кто его племянница? — будто впервые слышит о ней, спросила Чынаркан.

— Красивая такая девушка, ходит к нам, Бермет, вы должны знать ее, — продолжала откровенничать, ничего не заподозрив, Джамалкан.

В это время открылась дверь и, сияя свежестью, появилась по-весеннему легко одетая Бермет. Лицо ее слегка округлилось, на щеках играл свежий румянец. Увидев Бермет, Чынаркан вздрогнула, взгляд стал недобрый.

— Вот и сама! Здравствуй, Бермет, как раз вовремя: ты ведь получила письмо от Качике, расскажи об этом джене, она пришла справиться о здоровье Турганбая, — сказала Джамалкан.

— Видите, джене, настоящими колхозницами стали, руки уже не те, каждый свободный час в поле, в огороде копаемся, — Бермет показала Чынаркан потрескавшиеся руки.

— Ноготочки-то были розовые, с маникюром, теперь мозоли будут на ладонях, — будто посочувствовала Чынаркан, а про себя злорадно подумала: «Пусть бы они у тебя совсем отвалились». У Чынаркан руки еще не прикасались к земле, ее участок обрабатывала приехавшая из деревни родственница.

Бермет наслышалась о Чынаркан, о недоброем отношении к Качике и не очень-то жаловала ее, не любила встречаться с ней. Чынаркан и внешне была ей неприятна.

Не выдавая своей неприязни, Бермет учтиво поздоро-

вала с гостьей, но руки не подала. Каким-то чутьем она поняла, что Чынаркан сама не своя и еле сдерживает ярость. «Ах ты, бедненькая!» — насмешливо сказала про себя Бермет, ей стало смешно. Говорят, что женщины по глазам угадывают, что у другой на душе, и Чынаркан по презрительно сжатым губам Бермет догадалась, о чем та думала сейчас.

— Я бы прочитала вам, джене, письмо вашего мужа, да, к сожалению, успела домой его отправить, — остановив на Чынаркан пристальный взгляд, сказала Бермет.

«Если бы эта женщина прочитала его, не то чтобы расстроилась, взорвалась бы на месте! И чего она бесится? Качике такой добрый, человечный и грустный какой-то. Если уж его письма не в силах смягчить ее сердце, то оно, должно быть, у нее каменное. Нет, у этой женщины свои соображения, корыстные, недобрые. Иначе чего бы ей беспокоиться и подозревать? С таким человеком, как Качике, можно быть спокойной, живи себе и радуйся. Нет, это нехорошая женщина. Недобрые люди, говорят, бывают мрачны. Как она смотрит. О господи, не дай попасться этому человеку в руки, душу вымотает, живьем съест! Она и улыбается-то, наверное, редко, раз в год. Мужа ее называют «бедный Качике». Говорят, это она своим ядовитым языком довела его. А он, судя по письму, человек мягкий, безответный, так и живет, перенося брань, скандалы, не смея и шагу шагнуть самостоятельно. Вот почему он «бедный Качике»...»

«Чтоб тебе ослепнуть!» — выругалась про себя Чынаркан, не выдержав прямого, дерзкого взгляда Бермет.

— Госпитальная сестра написала по-русски, пришлось мне самой еще написать отцу и джене, а для убедительности послать и письмо вашего мужа. Он очень хорошо пишет. Джене у меня плакса; прочитав его письмо, успокоится. Вот какая незадача, хоть бы пораньше пришли, непременно дала бы вам почитать, — говорила Бермет, нарочно дразня Чынаркан.

— Он напишет! — вырвалось у Чынаркан, но, заметив свою оплошность, она тотчас же постаралась переменить разговор. — А как дядя себя чувствует? — спросила она.

— Судя по письму вашего мужа, состояние у дяди тяжелое, но он поправится. Поверьте в это и ждите его до-

мой, пишет он. Руки и ноги у дяди в гипсе, поэтому не смог сам написать. Кажется, и говорить начал недавно. Контужен был. Одним словом, удивительное письмо. Ваш муж так пишет, будто разговаривает с тобой, будто в душу к тебе смотрит. Очень довольны остались, джене, спасибо ему большое.

Бермет внимательно следила за Чынаркан: ей было интересно, какое впечатление произведут на нее все эти слова.

Чынаркан понимала, что Бермет поддразнивала ее, и была настороже, старалась говорить спокойно, сдерживала злобу и от этого сидела бледная, напряженная.

— Пусть скорее поправляется, Качике хорошо сделал, что написал вам, — с трудом проговорила она и старалась больше не смотреть на Бермет.

Бермет с удивлением взглянула на Чынаркан и направилась в заднюю комнату за своими книгами.

— Я пошла, эдже, будьте здоровы! — Она даже не посмотрела в сторону Чынаркан, с силой захлопнув дверь, ушла. Чынаркан понимала: это по отношению к ней Бермет вела себя так вызывающе. Не сдержавшись, она процедила сквозь зубы:

— Где эта девушка учится?

— В пединституте, — быстро ответила Джамалкан, молясь в душе, чтобы гостя поскорее ушла и дала ей возможность сесть за уроки.

— Вы уже сговорили ее?

— Какой толк от нашего сговора, она и смотреть ни на кого не хочет, упрямая, но, кажется, есть у нее суженый, если это, конечно, тот самый, что...

— А он где? — прервала ее Чынаркан.

— На войне, пришло известие, что без вести пропал. Совсем было осунулась, подурнела, да вот, получив письмо от дяди, воспрянула духом, — рассказывала Джамалкан, не соображая, что каждое ее слово змеиным жалом вливается в Чынаркан.

«Чтоб сдохнуть тебе, девка! — проклинала ее Чынаркан, быстро шагая к дому. — Это не простое письмо! Турганбай лишь ширма, Турганбай меня хорошо знает, он и надоумил, видно, Качике. У Бермет, мол, джигит без вести пропал, ты, мол, напиши ей, повод для этого вполне подходящий. Это он подучил моего дурака. А она и рада, уже влюбилась по письму! Ах ты, бесстыжая!..»

Вспомнив, как гордо вошла Бермет и как хлопнула дверью, Чынаркан побледнела, в глазах ее все помутилось, она пла, не зная, на чем сорвать свою ярость.

И сорвала на дочери Качике. Услышав пронзительный крик ребенка, соседи пооткрывали двери, но, убоявшись мести Чынаркан, махнули рукой и, повздыхав, разошлись.

32

Качике получил письмо от Чынаркан и несколько дней после этого ходил как обожженный, не мог прийти в себя. «Сколько еще терпеть?» — вздыхал он, отвечая жене и оправдываясь перед нею. Потом решил быть твердым и на какое-то время замолчал. Чынаркан тоже отмалчивалась. Качике нетрудно было бы держаться, но он беспокоился о дочери и уже не знал, как ему быть дальше. Однажды его вызвал к себе командир взвода младший лейтенант Щербань. Комвзвода был совсем молод и очень нравился Качике. Стройный, подтянутый, ходит, отчеканивая шаг, скажет — как отрежет, молодое румяное лицо пышет здоровьем. Щербань с отличием окончил училище и совсем недавно принял взвод.

— Я все время присматриваюсь к вам, Качике. Не замечали? — однажды спросил Щербань.

— Нет, не замечал, но вас я помню еще курсантом, много раз видел, — удивившись такому вступлению, сказал Качике.

— Так вот, я присматриваюсь, наблюдаю за вами.

— Чего ради?

— Это не важно. Но, кажется, я вас понял. Можно ведь и без слов понять человека. Вы согласны со мной?

Качике сам любил молча наблюдать за людьми.

— Вполне возможно, — ответил он.

— Не спрашивайте меня, как я думаю о вас, лучше перейдем к делу. Учиться вы хотите?

Вопрос был неожиданным. Качике замялся, не сразу нашел ответ. Щербань предупредил:

— Только говорите правду.

— Учиться хочу... хочу, — пробормотал Качике.

— Хотите?

— Да, хочу, — уже более твердо ответил Качике.

— Впрочем, я так и думал, — скороговоркой заметил

младший лейтенант. — Ребята вас любят, уважают, но вы не заслуживаете этого. Вы лентяй из лентяев. Согласны? — Качике молчал, соглашаться ему не хотелось. Его очень обижало, когда ему в лицо указывали на его недостатки. — Значит, не хотите признаться в лени. Вы видели, как молодые ребята держались на экзаменах? Орлы, а у вас язык заплетается. Мне стыдно за вас. Все время боюсь, что будут смеяться над вами. Что вы, не понимаете баллистику или не разбираетесь в геометрических углах? Разбираетесь, понимаете, но заниматься не хотите, потому что ленивы, не хотите себя утруждать. Если человек боится себя утруждать, он ничего не добьется, так и будет болтаться. Вам надо бросить все это и начать как следует учиться. Хотите?

Видно, подействовал азарт молодого офицера, — Качике заверил, что будет учиться по-настоящему.

— Вы часто получаете письма, это хорошо, но говорят, что после некоторых писем вы ходите расстроенный, как будто больной, правда ли это?

— Кто говорит? — спросил Качике, не желая в этом признаться.

— Не все ли равно. Думаете, ребята не знают вас? Или я не вижу, когда и как вы себя чувствуете? Все видят, все замечают. Только виду не подают. Жалеем вас, а иногда и неловко говорить такое человеку старше себя. Но на пользу ли вам наша жалость, наша перешительность? Боюсь, что нет. Вы догадываетесь, о чем я хочу сказать?

— Нет, — словно поглупев, ответил Качике.

— У нас, конечно, нет прав вмешиваться в ваши семейные дела, но все же стоять в стороне мы тоже не имеем права, потому что вы гибнете на глазах. То вы человек как человек, а то вдруг становитесь ватным каким-то, вроде пьяного недотепы. Так из вас офицера не выйдет. А мы хотим, чтобы вы офицером стали и, прежде всего, человеком стали. Решили вмешаться, посоветовать вам, хоть вы и старше нас. Так думает и командир роты. Капитан Кавалеров тоже за вас. Но сначала мы сами решили поговорить, а уж если не поможет, обратиться к нему. Не думайте, что никто вас не видит, не прячьте голову. Что это? Обломовщина или боязнь прямо смотреть фактам в глаза? Будьте наконец человеком, разберитесь в своих семейных делах, не мучайте себя, да и нас вместе с собой.

Если говорить правду, вы сами должны быть ребятам наставником, а этого нет, вынуждаете учить вас уму-разуму. Извините, я с вами разговариваю сейчас не как командир, а как человек. Если хотите сказать что — скажите. — Щербань посмотрел прямо в глаза своему подчиненному, который был намного старше его, закурил.

Щербань и Качике пошли в сторону полигона. Время было позднее, уже стемнело, но приближались уральские белые ночи, и сквозь темноту уже сочился едва заметный рассвет. Тихо, тепло, лишь слабый ветер навевал ночную прохладу.

Качике вспомнил, как он вступал в партию. Ведь и в партию пошел он против воли жены. Она до сих пор не знает об этом. Изменился ли в чем-нибудь Качике после того, как стал партийным, оказало ли это на него какое-то действие? Нет! Для чего же он пошел в партию? Не для того ли, чтобы перестать бояться жизни и склонять перед ней голову, не для того ли, чтобы, находясь впереди, научиться смело глядеть в глаза жизни и стать человеком? Не об этом ли он мечтал тогда в лесу, возвращаясь в казарму? Не говорили ли тогда: «Теперь уж, теперь пусть гром, пусть буря! Я... Я... Я...» — и бил себя в грудь. Где же его планы, надежды? Так и остались сладкими надеждами, пустой мечтой. Вспыхнув раз, тут же погасли? И вот теперь его поучает молодой офицер, комсомолец. Не обидно ли это? И все-таки отбрось стыд и послушайся этого юного младшего лейтенанта, пожми ему руку. «Пустая гордость голову ломит», — говорят киргизы. Отбрось гордость, признайся в позорности своей жизни, вспомни, для чего ты вступал в партию, бедный, несчастный Качике...

Качике нашел Большую Медведицу, постоял, посмотрел на Полярную звезду, повернулся к молодому офицеру, молча дымящему папирсой, и, сам не слыша своего голоса, сказал:

— Товарищ младший лейтенант, мне хочется пожать вам руку, если позволите.

Салкынай добилась своего — между Саадат и Мусой пролегла тень. Саадат не понимала, что случилось с мужем, мучилась про себя, Муса же ревновал ее к каждому

встречному, следил за любым шагом, подозревал, устраивал скандалы и перессорился со всеми. Но самое главное, стал неприятен собственной жене. Саадат начала относиться к нему почти равнодушно. Трещина в их отношениях все ширилась. Если не склеить, если не связать вместе две ветки, они будут расти в разные стороны и все больше отдаляться друг от друга, и тогда разрыв станет неизбежным.

Саадат всю зиму была занята школой: то дрова, то бумага (о тетрадах давно уже позабыли). В какие только двери не стучалась, какие только пороги не обивала. Она обносила, пришлось попросить у Буурул немного шерсти и вы ткать себе на платье. Все теперь делали так. Раньше Саадат только удивлялась и посмеивалась над Буурул и ее младшей дочерью Маарипат, над другими женщинами в колхозе. Некоторые с головы до ног были одеты в шерсть. Шерстяной платок, шерстяное платье, штаны или брюки из шерсти, носки и даже чок<sup>1</sup> делали из шерсти. Приспособят на подошвы кусок ремешка или резины и ходят себе.

— Ты, дочка, не смейся, у некоторых и того нет,— говорили Саадат.

Теперь она сама стала носить шерстяную одежду. Одежда есть одежда, из чего бы ни была. Но удивляло Саадат то, что все, мужчины и женщины, всюду, на работе или дома, днем или ночью во время сна, все непрестанно чесались. Саадат объясняла это тем, что шерсть раздражает. Но оказалось, что люди обовшивели. Когда стала сама чесаться, до крови расцарапала тело, обнаружила и у себя вшей. Она вскрикнула от ужаса и сбросила шерстяное платье.

Надела платье из шерсти,  
И ночную рубашку из шерсти,  
Бессменное платье из шерсти,  
Вшивую рубаху из шерсти.

Вспыхнула эпидемия тифа, завшивевшие, полуголодные люди умирали от тифа. Мыло исчезло, стирали по стародедовскому обычаю в щелоче.

---

<sup>1</sup> Чок<sup>1</sup> — род грубой самодельной обуви, обычно из сыромятной кожи.

В это самое время Абылкасым и вытряс колхозные амбары, чтобы раздать народу зерно, поддержать его мясом. Весной сорок третьего года женщины и старики, да и тех осталось немного, с помощью лошадей, у которых ребра торчали от худобы, едва справились с севом. И одно это было большой победой.

Абылкасым с ног сбился, наконец, в последней надежде, пришел к Саадат.

— Помоги, Саадат, отпусти детей в поле, иначе пронадем.

— А как же учеба?

— Потом доучатся, народ изнемогает, и фронту надо помогать, надо же что-то делать. Да и что за учеба на газетных обрывках, без бумаги! Выходите на работу с детьми, — не отставал Абылкасым. Все от мала до велика вышли в поле, и поле было засеяно.

Узнав о разладе между Мусой и Саадат, Абылкасым снова пришел к ним. Муса оставил свою торговлю, работал в районе, но жил дома, в деревне. Чтобы как-то начать разговор, Абылкасым справился о Шаранат.

— Что я могу сказать? Разве сами не слышали? Шаранат стала табунщиком, не слезает с коня, подаренной ей стариком, — ответила Саадат.

Саадат распарывала стеганое одеяло.

— Да, в такое время, когда беда навалилась на всех, некоторые с жиру бесятся! — сказал Абылкасым, прямо намекая на Мусу. — Зачем ты его порешь? — спросил он у Саадат. Ему хотелось по душам поговорить с Мусой, но не удержался от резкого слова и теперь боялся, что Муса начнет скандалить.

— Распорю и сошью рубашки для себя и для Мусы, — засмеялась Саадат.

— Хорошо тем, у кого есть хоть одеяла, распороть можно, а другие совсем оборвались. — Абылкасым вздохнул, потом спросил, не зная, как приступить к нужному разговору: — Что же теперь собираетесь делать?

— А что мы должны делать? — Муса догадался, что неспроста пришел Абылкасым, и это рассердило его.

— Муса, — спокойно начал Абылкасым, стараясь не раздражать его. — Муса, вы молодые, счастливые, но я боюсь, как бы вы сами не растоптали свое счастье. Умирать легче, чем жить, ты сам это говорил, да еще цитатами

подкреплял. Я не поучать вас пришел. Мне бы жить спокойно да детей учить, а меня вот председателем сделали. Поверишь ли, днем и ночью нет покоя. Иногда куска не могу проглотить, а почему? Я-то ем, а народ? Разве я могу есть, когда народ голодает? Подумай-ка!

— Но ведь ешь все-таки, — вставил Муса.

— Иногда сам на себя злюсь. «Уж лучше б воевал», — говорю, забывая, что инвалид. Куда было бы легче, чем видеть, как народ живет. Живым нечего надеть, а умершим не из чего саван сшить. А уж еда! Случится — поедят, а нет — пробавляются джармой, пустой джармой, на одной воде. И молчат. Сжав зубы, терпят. Как не болеть за такой народ, как им не гордиться. Недавно навалились в районе разные зазнавшиеся начальники. «Почему, — говорят, — роздал зерно, резал скот, необходимый для фронта? На вредительство, — говорят, — пошел?» Чуть не арестовали как вредителя. А кто же фронту дает? Что же, люди с голоду должныдохнуть? И так чуть дышат. Да еще работают. Те этого не видят. Секретарь райкома еле отстоял. Вспомнили и про хворост, что привезли для школы. Не Саадат ли с детьми натаскали его, несмотря на мои уговоры? А елки до сих пор лежат. И гниют, белые, как кости человечьи, гниют. Об этом они молчат, а две-три елки, привезенные для школы, не дают им покоя. Бывают же люди! Саадат молодец, не побоялась, когда даже я трусил. Я так разозлился на них. «Есть, — говорю, — у нас молодая учительница Саадат, директор неотапливаемой школы, и дети, ее ученики, их, — говорю, — и арестуйте!» Замолчали. Вот, герой, как приходится за жизнь бороться. Кстати, того дезертира наконец поймали. Больше десяти килограммов черного бычка нашли, говорят. Вот так живут и богатеют некоторые. А про ту молодуху — как ее, Салкынай, что ли? — смолчал я. Муж на войне, что с нее возьмешь, жить как-то надо, вот она и сбилась с пути, жадность обуяла.

Муса сидел молча, опустив голову. Абылкасым заметил, как Саадат краем глаз взглянула на мужа.

— Меня радует, что в такое время вы живете в согласии... — заключил Абылкасым.

Саадат чуть не прыснула. Муса подумал: «Ах ты, хитрец! Будто ничего не знает! Хитрюга несчастный! Ну говори, говори, уж на том спасибо тебе!..»

— Да, радуюсь... в такое время легко сбиться с пути.

Теперь даже старики некоторые, увидев молодуху, начинают беситься...— Абылкасым бросил исподлобья взгляд на Саадат, склонившуюся над одеялом, надвинул шляпу на глаза, ущипнул себя за щеку и посмотрел на Мусу.— Все ты, собачий сын, виноват, легче отрезать себе язык, чем с тобой разговаривать,— сказал он и пошел напрямую.— Ребята, послушайте меня, уезжайте вместе во Фрунзе и поступайте учиться. На фронте дела неплохие. Немцы поджали хвост, крепко им досталось. Не теряйте напрасно время, учитесь. Ты, Саадат, поступай в институт, нечего оставаться полуобразованной, и ты тоже заканчивай учебу. Что вы на это скажете?

Саадат и сама подумывала об учебе. Чувствуя, что охладела к Мусе, она не знала, чем спасти угасающую любовь. Мысль, которую подал им Абылкасым,— уехать вместе на учебу, была спасительной, и оба они в душе были согласны с Абылкасымом.

— Ну как, Саадат, поедем, что ли? — спросил Муса.

— Поедем...— не поднимая головы, ответила Саадат.

— Вот молодцы! Вот это дело! — Абылкасым, прихрамывая, пошел к выходу.

### 34

Саадат сказала правду: Шарapat почти не слезала с коня. Правдой было и то, что она стала все-таки женой человека, грудь которого украшала огромная черная борода, но который не потерял еще свою мужскую силу. «Роди же, роди и сделай нас счастливыми, на старости лет поддержку на руках ребенка, буду за ним ухаживать, не ты — ты будешь жить без забот, окруженная нашей любовью и лаской. Роди...» — не переставала твердить тетка. Шарapat сперва странно и неприятно было слышать такие речи, сколько раз она убегала от приставаний тетки, но наконец подумала, а почему бы ей и не осчастливить двух одиноких стариков, и после долгих уговоров решилась.

Прошло время, и Шарapat неузнаваемо изменилась. Она уже не носилась на коне, как прежде, гневной ей надоев, навязанная мечта осчастливить двух добрых стариков, родить им ребенка, больше не радовала ее, она как-то увидела, стала грустной и безразличной ко всему.

— Что я наделала, что же я, дура, наделала? — сокрушалась она, в одиночку изливала свое горе в стихах:

Возьму в руки перо,  
Выскажу горе свое...  
И жить не жила, а узнала  
Зло и добро.

Конечно, это были не настоящие стихи, всего лишь импровизация, но в них были глубокая печаль, слезы и сожаление, они были искренни, как крик души. Шарапат никому их не показывала и унесла с собой в могилу, не удалось отыскать их после ее смерти.

Ненавидела сплетни и ложь,  
Ненавидела я пытье.  
Как же ты оступилась,  
Бедная Шарапат?

На ветру развевая косы,  
Носилась на скакуне,  
Поддавшись дурной мечте,  
Оступилась я, сбилась с пути.

Нет, стихи не помогали, горе все крепче сжимало ее, она худела день ото дня. Ей не с кем было поделиться горем, не с кем поговорить. Измученная одиночеством, вспомнила наконец о письмах Саадат, перечитала их и еще большей ощутила свою ошибку и безнадежность запоздалого раскаяния. Написала Саадат, хотелось объяснить ей все, хоть раз отвести душу.

«Саадат-эдже!

Наконец я решила вам написать. Простите меня, бедную. Не могла раньше, так уж получилось. Вы подали мне голос, вы искали меня, звали. Вы пытались удержать меня от ложного шага, вы предвидели мои слезы и сожаления. Я это поняла слишком поздно. Теперь уж ничто мне не поможет. Я не могу идти на ваш зов, не могу встать, если вы даже протянете мне руку. Я больна, эдже, и больна безнадежно, у меня зил... Если бы я надеялась на выздоровление, я бы не стала вам писать. Перед смертью мне хочется рассказать вам, что случилось со мной. И мне хочется поблагодарить вас за все, что вы сделали для меня, за ваши советы, которых я не послушалась, за вашу доброту. Я никого не виню в том, что случилось. Я сама себя

погубила и упрекать других не собираюсь. И к чему? Упреками горю не поможешь. Я выпустила свою птичку, и она не вернется больше ко мне. Я только взглянула на светлый мир и, споткнувшись, покатила вниз. Ничто меня уже не спасет.

Прощайте, дорогая эдже. Желаю вам счастья.

Ш а р а п а т.

Письмо потрясло Саадат. Она побежала к матери Шарпат, старухе Буурул. По дороге ей встретились Абылкасым и Муса, оба верхом.

— Какой толк теперь ехать к ней, уже ничего не исправишь, — заметил Абылкасым.

— В этом письме она прощается с жизнью, как бы чего не сделала с собой. Схожу к Буурул, расспрошу ее. Если не знает, покажу письмо.

— Буурул-джене сама погубила свою дочь. От этой болезни нет спасения! Не ходи к ней. — Муса, видно, тоже был взволнован. — Не ходи! Мать сама уговорила ее выйти замуж. «Времена тяжелые, не упускай свое счастье, устрой свою судьбу», — сказала ей, говорят, сама во всем виновата!

— «Времена, времена...» Натворят всякого и на время кивают, на войну, — тоже разозлилась Саадат. — Я так не оставлю этого дела! — запальчиво крикнула она и побежала домой.

Но разозлилась Саадат не только на Буурул, а и на себя, на весь женский род. «Почему женщины сами себя обрекают на несчастья, сами себя губят? Вот я, например. Связалась с Мусой, поддавшись его льстивым речам, а потом самой стало стыдно показаться родным. Муж стал дороже родителей. Девочкой злилась и плакала от обиды, когда взрослые пренебрежительно говорили: «Какая корысть родителям от девочки. Станет женой кому-то и вспоминать перестанет отца с матерью». Значит, они были правы. А как любил, как баловал меня отец, одевал мальчишкой и всюду таскал с собой. И такого отца забыть! И кого я ему предпочла? Мусу, который отворачивается от меня и бежит за чужими бабами. Куда я денусь, если уйду от Мусы или Муса сам прогонит меня? В отчий дом вернусь, куда же еще! В дом отца. Не лучше ли умереть, чем пережить такой стыд!

Говорят: «Запоздалое раскаяние — что враг за спиной». Ах, если бы мы меньше раскаивались! Вот и Шарапат. Умница, судя по письму. И ее мучит раскаяние. Что и говорить! Несчастливая! Понимает, что сама погубила свою молодость. «Печаль сушит, нет хуже печали, печаль в могилу сведет», — говорят в народе. От печали, от горя, от отчаяния болеют зилом. Неужели эта болезнь неизлечима? Что же делать? Как помочь Шарапат? Но не поздно ли? Эх, мать! Хотела спасти родную дочь от воображаемой опасности, а сама толкнула ее в пропасть. Что делать? Как же спасти ее?..»

— Где ты, дочка? — позвала ее свекровь, входя в дом.

Саадат лежала в задней комнате на кровати, закрыв голову подушкой. Не то что в доме, на улице было уже темно.

— Здесь я, мама, — откликнулась Саадат и нехотя встала.

— Надо засветить лампу, что валяешься, болит что-нибудь? И где Муса шатается... — Она вдруг замолчала.

Старуха была недовольна сыном, но не смела говорить ему об этом, опасалась, не охладели бы молодые друг к другу, и, спросив сейчас невестку о сыне, тут же спохватилась, боясь расстроить ее еще больше.

— Я здорова, мама, но от дум голова трещит, — откровенно призналась Саадат. Она зажгла самодельную лампу, сделанную из жести в виде трубки, вместо стекла была надета узкая банка с отбитым дном.

— Плюнь ты на думы, дочка, начнешь думать, полезет такое в голову, что недолго и помешаться. У Осмона сейчас была (Осмон, брат Мусы, находился на фронте), совсем распоясалась сноха, чтоб ей провалиться...

Саадат слышала от Мусы, что жена Осмона Саргалдай погуливает.

— Мама, холодно дома? — спросила она, чтобы переменить тему разговора.

— Чтоб провалиться... — Старуха пошла к выходу. — Курая немного собрала, сырой, еле дотащила, аж поясицу заломило.

— Ведь курай еще есть, мама, зачем же вы... — смущенно упрекнула ее невестка.

— Живой дождется весны, говорят, дочка. Вот и март наступил. Мы-то перебежмся, а вот каково ребятам на фронте!.. Как они там живы? Вот и Токтомуш получил похорошку на сына. И к нему заходила...— Старуха завздохала и повернула от дверей обратно.

— Бедняжки! Тяжело старикам. Ведь у них есть дочери, мама...— Саадат посмотрела на свекровь, ей хотелось узнать, как та отнесется к ее словам.

— Дочери!..— Свекровь вздохнула и пошла к выходу.— Разведи, дочка, огонь.

«Ее проклиняет, а ко мне не знает как подступиться. Бедная старушка, и меня ей жалко, и сына боязно поругать. Если бы ты знала, старая, что у меня на душе... Если бы знала, что я готова на все махнуть рукой и уйти куда глаза глядят, что бы ты тогда сказала? О жизнь! Я ли не была простодушной девчонкой и хохотуньей? А теперь? С первым встречным готова уйти, какие только мысли не приходят в голову. Блажь и стыд! Добро бы полюбила кого, еще куда ни шло!.. А так... Лучше уж состариться со своим мужем!..» — решила Саадат и стала искать бумагу, чтобы написать Шарапат.

### 35

Возвращаясь от чабанов, Абылкасым остановился у выхода из лощины. Отсюда Иссык-Куль и родной аил были видны как на ладони. Голые, как мышата, метисные барашки, тощие овцы всю дорогу маячили перед глазами Абылкасыма, не давая покоя. «Вдруг ударят морозы — что с ними будет? Много ли укроешь их в юртах и теплых помещениях, а те, что останутся во дворе, под открытым небом? Хоть бы сена было вдоволь... А какая нужда в людях! Просто нет их», — размышлял Абылкасым, покачивался в седле, ничего вокруг не замечая. В лучах мартовского солнца, блистая яркой синевой, открылся перед ним Иссык-Куль, дальние берега были окутаны белесым маревом. Земля пробуждалась, пробились нежные зелены, высоко в небе заливался жаворонок.

«Мой Иссык-Куль! — мысленно произнес Абылкасым.— Мой несравненный Иссык-Куль, как я скучал по тебе там, на войне, не чаял увидеть тебя вновь... Хоть и больной, а

стою перед тобой, хожу берегом твоим. Но много ли мне от этого радости! Полон забот и тревог. Издали посмотришь на тебя: все празднично, ярко, и женщины, работающие в поле, издали кажутся нарядными. Подойдешь близко: темные от пота платья, заплата на заплате, некоторым и залатать-то нечем, голое тело светится. Молодухи стыдливо прикрывают прореху рукой. Кто в домотканых шерстяных платьях, те ходят расцарапанные до крови от невыносимого зуда. Где тракторы, где машины? Где веселая молодежь и крепкие джигиты — мужчины? Все на войне, все на фронте! Погляди же, с чем мы остались! Вместо машин на поля вернулась соха, а за сохой ходят ребяташки, которых пришлось оторвать от школы. Как мы вспашем, засеем, оросим эту землю, как уберем урожай с такими силами? Как фронт обеспечим продуктами? Когда голоден, на войне даже о смерти не думаешь, хочется наестся как следует, а потом хоть и умереть. А народ? Раздет, полуголоден, и, главное, душа беспокойна. Почти у каждого кто-то погиб, кто-то пропал без вести или... или еще что-нибудь вроде этого. И все же, не разгибая спины, работает народ, без жалоб, молча перенося трудности и горе. Верит в завтрашний день, в этой вере черпает силу и твердость. Мой Иссык-Куль! Помоги своему народу пережить горе, прими слезы народные, Иссык-Куль мой, Иссык-Куль!..»

Хоть и худая была под ним лошадь, но из киргизских карабаиров, разгоряченная ездой, она нетерпеливо перебирала ногами и рвала поводья. Проехав по горным тропинкам и спустившись на ровную дорогу, что вела к озеру, Абылкасым остановился перед этим великолепием природы, увидел пеструю толпу работавших в поле женщин. Вдруг подул ветер. Ущелье покрыли сумерки, на вершине черной горы скапливались черные тучи.

«Дождь собирается, да и нога заныла, пусть себе льет, дождь сейчас кстати, весна нынче ранняя, и уже землю подсушило. Лишь бы не снег», — подумал он и отпустил повод.

Председатель вернулся и весь день просидел дома, грея ноющие в непогоду кости. Сначала поднялся сильный ветер, с шумом пронесся дождь, потом все стихло, и дождь сменился мокрым снегом. Обычно спокойный, Абылкасым нервно заходил по комнате, не находя себе места.

— Проклятая погода! Проклятая погода! — бормотал он в отчаянии. — Скот пропадет, пропадет скот! Погибнут метисные барашки, начисто побьет их! — сам с собой разговаривал он, не замечая стоящего рядом с ним пожилого парторга. — Без присмотра остался, вовсе осиротел скот, вовсе осиротел! Осиротел! Где людей найду? Постой, а если... — Он вдруг остановился, опустил голову, о чем-то напряженно размышляя.

Заведующего овцеводческой фермой призвали в армию, некого было назначить на эту должность.

— Я могу поехать со своей старухой, — сказал парторг.

— Зовешься парторгом, а коммунистов у тебя почти что нет, как генерал без армии. Хоть бы женщин вовлек, что ли, в партию. Женщина — это сила! Она и детей воспитывает, и хозяйство ведет, и в поле работает, да еще выслушивает ворчанье мужа. — Абылкасым поуспокоился и заговорил как обычно. — Если бы ты был свободен, а то с утра до вечера в поле, в работе, нет ни отдыха, ни передышки, а вечерами еще беседуешь с колхозниками, с такими же усталыми, как и сам, как же ты можешь поехать? Здесь же будет работать? — Он махнул рукой.

— А кто у тебя есть другой?

У парторга было изможденное морщинистое лицо. Жена Абылкасыма поднесла ему чашку с джармой.

— Мээримкан, пошли детей за Мусой и Саадат, — сказал Абылкасым.

— Когда холодно, и джарма холодит, не согревает, — заметил парторг, возвращая чашку.

— Как бы не залихорадило от такой джармы, вишь, как он отоцал. Подала бы чаю горячего, и я что-то замерз, — сказал Абылкасым. Он уже совсем успокоился, даже малость повеселел.

Когда он поделился с парторгом своим планом, у того морщинки будто разгладились, он улыбнулся.

— Сумеешь ли уговорить?

Они сидели за горячим чаем, когда явились Муса и Саадат. Уже темнело. Дав им выпить по пиале чаю, Абылкасым будто невзначай спросил Мусу:

— Муса, ты, кажется, учился в сельхозинституте?

— Давай без подхода, будто сам не знаешь. — Муса сердито посмотрел на Абылкасыма.

- Скажи все же.
- Ну учился, и что?
- На зоотехника?
- Да.

— Езжай тогда на ферму! — Лицо Абылкасыма стало суровым. — Возле скота твое место, займись своим делом. Не надоело мотаться с одной работы на другую?! Вдруг ударят морозы, скот может замерзнуть. Киргизским овцам ничего не будет, а новорожденные метисные барашки могут не выдержать, погибнут, возможно, уже гибнут. Прими неокотившихся овец Осмона и становись сакманщиком<sup>1</sup>.

- Я? — Муса вытаращил глаза.
- Ты, — спокойно подтвердил Абылкасым.
- Сынок, — заговорил парторг, предупреждая отказ Мусы. — Сынок, нам сейчас нужен не завфермой, если бы он не ушел на фронт, мы и его перевели бы на время в сакманщики. Не бойся, для мужчины не бывает хорошей или плохой работы, бери жену и езжай. В такое трудное время нельзя выбирать работу.

— А школа? Закрывать будете школу?

Муса словно попал в западню, искал защитника, оглядывая сидящих. И не нашел. Даже Саадат, как бы в знак согласия, молча опустила голову.

— Спаси приплод, потом дадим ферму, самое большее через два месяца, — сказал парторг.

— А школа? — еще раз спросил Муса, не найдя другого довода.

— Разве школа твоя?

— Нет.

— Школу не закроем, есть другие учителя, они заменят Саадат. Как сама думаешь, Саадат? — спросил Абылкасым, решив послать Мусу одного, если Саадат не согласится.

— Я привыкла за скотом ухаживать, я согласна, — ответила Саадат. Ни Абылкасым, ни парторг, ни разливающая чай Мээримкан не ожидали такого ответа.

— Вот молодец! Ну и молодец, — обрадованные и довольные, заговорили все сразу. Муса же вскочил, буд-

---

<sup>1</sup> Сакманщик — человек, ухаживающий за поворожденными ягнятами.

то собираясь бежать, потом снова сел и с азартом крикнул:

— А я что, среди собак вырос, овец не видел? Сказала тебе!..

Все громко рассмеялись, Абылкасым хохотал, потирая живот:

— Ну, убил, убил, собачий сын!

Саадат тоже смеялась звонко, сияли два ряда белоснежных зубов.

— Значит, договорились. Если бы не Саадат... А ведь сам же уговаривал ехать на учебу, — вспомнил Муса недавний разговор.

— Уговаривал, не отказываюсь, но ведь надо считаться с обстоятельствами. На войне даже генералы иногда свой собственный приказ нарушают. Вот поправим дело, чтобы насмарку не пошли наши старания, эх, война, война! — Абылкасым тяжело вздохнул. — Вот дела закончим, и учеба от вас не уйдет.

— Когда ехать?

— Сегодня уже поздно. Поезжайте завтра как можно раньше. Мы с парторгом нашли одну юрту, увезете на двух быках. Нет, нет, вы поезжайте, а мы с аксакалом отправим ее вслед за вами. Так, что ли? — Абылкасым посмотрел на парторга. — Может быть, сам отвезешь, помотришь, как там дела? Только сена не забудь для подстилки в юрте.

— Оденьтесь потеплей и сейчас же отправляйтесь на коношню, получите коней и сбрую. Мы еще до рассвета тронемся с юртой, — сказал парторг.

Молодые ушли собираться в дорогу.

— Лошадей не забудь назад привести, парторг. Завтра пахать начнем, — предупредил Абылкасым.

Парторг не мог порадоваться удачному исходу дела.

— Ну и Саадат, ну и молодец, без нее Муса, пожалуй бы, уперся.

— Сгоряча-то согласилась, боюсь, не заплакала бы через день-другой, — заметил Абылкасым.

— Привыкнет, она ведь женщина, из гордости не сдается. А Муса за ней будет тянуться. Правильно ты придумал, — довольный, похвалил парторг.

— Хорошо, что отправили. Болтался бы тут Муса. Пусть-ка на своей шкуре испытает настоящий труд, — встала Мээримкан.

Когда Саадат оделась, чтобы отправиться в горы, ее нельзя было узнать. В старой свекровиной шубе, туго подпоясанная, в старом платке, в поношенных валенках с галошами из автомобильной шины, лицо покраснело на морозе, Саадат вполне сошла бы за молодуху, давно уже привыкшую бегать за овцами и ягнятами. В таком виде и предстала она в это утро.

— Ты погляди, погляди на нее! На кого похожа! — Муса так хохотал, что едва не упал с лошади.

— На кого?

— На ведьму, на старую ведьму! — смеялся Муса, а про себя думал, что Саадат выглядит неплохо, такую и старая одежда красит. Жена показалась ему непривычно забавной и милой, он то весело смеялся, то наклонялся с седла и целовал ее.

Пастбище для окотных овец находилось недалеко, в солнечном, защищенном от ветров месте. Чабан встретил Мусу и Саадат мрачно, подумав, что Муса приехал заменить ушедшего на фронт заведующего фермой. Едва ответив на приветствие, он молча ушел в юрту. Там блеяли и возились ягнята.

После вчерашнего мокрого снега похолодало и земля обледенела.

— Старик за бездельников принял нас, что ли? — сказал Муса, соскочил с лошади, привязал свою и лошадь Саадат к колышку на краю загона. Вошли в юрту.

— Благополучного окота, — поприветствовал Муса. — Здоров ли скот, здоровы ли сами, аксакал?

— Затолкают друг дружку до смерти, чтоб им пусто было! — выругался Осмон и, не ответив на приветствие, пошел разнимать новорожденных. — Здоровы ли, спрашиваете? — отозвался чабан немного погодя. — Сами-то ничего, скоту трудновато. С прибытием вас! — прибавил старик, но не повернулся к гостям, а продолжал заниматься ягнятами.

Саадат подошла к ягнятам, которые постарше. Они были привязаны к длинной веревке. Саадат проверила, не душат ли петли, немного поослабила привязь. Осмон краем глаз следил за ее ловкими руками.

— Вот молодуху привез вам в сакманщики, — лукаво улыбнувшись, сказал Муса.

— Что за молодуха, я что-то не признаю? — ответил Осмон. Он был большим и неуклюжим, лицо багрово-красное, борода с проседью.

— Разве всех узнаешь, время-то ваше прошло, когда молодух узнавали, — заметил Муса, не сдержав усмешки.

— Ай, сынок, ты что, взбесился, что ли, аксакала при молодухе позоришь? — сказал Осмон, спрятав в усы улыбку. — Чья же все-таки сноха?

— Учительница она, — сказал Муса.

— Учительница? Зачем смеешься, как же она, ничего не державшая в руках, кроме бумаги, станет сакманщицей? И захочет ли пачкаться в овечьем помете, хотя по одеже судить... — заколебался Осмон.

Тут вошла жена Осмона, держа под мышкой двух черных ягнят.

— С приплодом, матушка Тоту! — встретил ее Муса.

— Да будет так, сынок, двойняшки ведь, — ответила Тоту и опустила ягнят на мягкое сено. Ягнята не хотели ложиться. Пошатываясь, они стояли на слабых ножках и силились сделать первые неуверенные шажки.

— Матушка Тоту, облизать-то дали матери? Пососать успели? — спросил Осмон.

— А как же? Сосали. Чуть всю не высосали, мать отцала, еле жива. Киргизские ягнята!

— Матушка Тоту, мы с женой приехали к вам сакманщиками. Юрту парторг привезет, соломы и сена тоже захватит.

— Добро пожаловать, милые. — Тоту поцеловала Саадат в щеку.

— А мне, старику, голову морочил, учительница, говорит, окоlesiцу нес какую-то, — сказал Осмон и засмеялся беззубым ртом.

— Учительница, аксакал, правда, учительница. Как сказал...

— Замолчи, чертов сын! — прикрикнул Осмон, не желая, чтобы Муса повторил свою «шутку». — Пойду-ка я нашего сакманщика проведу, да и к овцам загляну, там еще одна вот-вот на подходе, как бы не замерз маленький... А ты, матушка, напои их чаем... — Осмон оделся.

— Пока будет чай, мы тоже взглянем на овец, пошли, Саадат,— позвал Муса жену, и оба они вышли.

Домик в четыре окна с плоской крышей стоял чуть в стороне от дороги, за ним юрта Осмона, а дальше еще одна юрта. С тех пор как выпал снег, все, кроме каменного помещения, было забито ягнятами. Ягнята и люди жили под одной крышей.

По дну лощины, разделив ее на две части, текла небольшая быстрая речка. Замерзшая лишь с берега, она шумела, как и летом, только теперь над нею клубился белый пар. Зимнее пастбище лежало на правом, широком и солнечном, склоне. Левый, теневой, склон весь был в снегу, а здесь, под лучами солнца, все уже стаяло и обнажилась земля. Осмон пощупал еще зеленую снизу прошлогоднюю траву, окинул взглядом отару, по краям которой лежали настороженные собаки, увидел подходивших к склону Мусу и Саадат и скрылся во второй юрте.

Давно не бывала Саадат на пастбищах и теперь любовалась весело прыгавшими возле матери ранними ягнятами; они напомнили ей маленьких детисшек, захотелось потискать, поиграть с ними; она стояла рядом с Мусой и не могла оторвать от них взгляда.

— Гляди, как резвятся, а ведь им не больше пяти дней от роду,— засмеялся Муса.— А твой, когда родишь, и в два года не будет так прыгать.

Саадат поежилась от этих слов и, чтобы переменить разговор, громко спросила:

— Почему он называет свою жену матушкой Тоту?

Муса не ответил, он вдруг задумался. «Первая смерть женщины — роды», — говорят в народе. Она рождает в муках, пока разродится, как бы на том свете побывает. Женщина — продолжатель рода человеческого, она делает человека человеком...

— Ай, Саадат, взгляни вон на ту овцу, ай, бедняга! — крикнул Муса и побежал.— Ярка никак разродиться не может.

Подбежала и Саадат. Ярка стонала, как человек. Она лежала на спине, обливаясь потом, глаза ее были мутны, в уголках выступили слезинки, будто она плакала.

У Саадат сердце сжалось от жалости.

— Надо тащить ягненка. Я никогда этим не занимался. Ты же говорила, что выросла среди скота, попробуй, а? — растерянно говорил Муса.

— Растить-то росла, но тащить ягненка тоже не приходилось,— вдруг умрет. Не позвать ли дядю Осмона? — сказала Саадат, однако засучила рукава.

— Что ты собираешься делать?

— Тащить буду.

— Оставь, ягненка погубишь. О-ой, дядя Осмон! — громко позвал Муса.

— Показался, ягненок показался! — Саадат опустилась перед яркой на колени и почему-то начала гладить ее по животу.

— Не гладь, ягненка задушишь! — Муса схватил ее за руку.

Ярка стонала чуть слышно, глаза ее широко раскрылись, она очень ослабла.

Саадат, ничего не видя перед собой и почти не отдавая себе отчета, положила руку на курдюк...

Оказавшись после теплого материнского брюха на холодном воздухе, розовый ягненок дрожал, мать, блея, облизывала своего первенца. Мокрое и липкое, как клей, брюшко ягненка под языком матери быстро просохло, но ягненок продолжал дрожать.

— Батюшки! Как мышонок, розовый, скорее в юрту его, не простудился бы! — сказал Муса. Саадат стояла потная и красная. Сунув ягненка за пазуху, она пошла к юрте. Мать с обвисшей шерстью, блея, бежала за Саадат, бросалась ей под ноги.

— С приплодом тебя, не успела приехать, уже ягненка песешь? — встретил ее удивленный Осмон. — Дай бог тебе счастья, дочка, а по виду твоему и не скажешь.

— Сама вытащила,— радостно сообщил Муса.

— Ну? — испуганно воскликнул Осмон. — Сама? Учительница, а со скотом, видать, умеешь обращаться! Такая молодая... и-и-и, ну, молодец, вот вы какие... а я-то подумал о вас... — не переставая говорить, Осмон потопал вслед за Саадат.

Она застеснялась вдруг и, не оборачиваясь, прибавила шагу.

— Счастья тебе, доченька, роди мальчика, аминь! — крикнул Осмон ей вдогонку.

— Скорее поднеси к матери, а то не подпустит потом, и ягненок замерзнет без молока. — Матушка Тоту положила ягненка возле матери.

Ярка снова принялась облизывать своего первенца, не твердо стоявшего на ножках. Ягненок не брал соска.

— Ему, верно, челюсть свело? — воскликнула матушка Тоту.

Саадат подняла маленького, раздвинула ему челюсти и вытянула язык. Малыш пошевелил ртом, облизнулся, пожевал губами и, когда его поднесли к соскам, с трудом высунул язык и стал сосать.

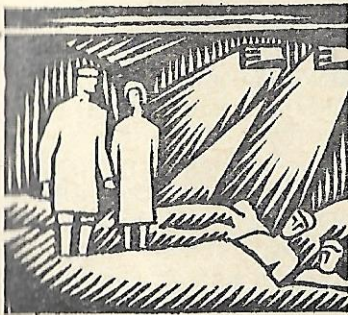
— Ну и ну! Да ты настоящая скотница! Чего, думаю, Осмон благословляет ее? Вон оно что... Ну, дай бог тебе счастья, милая... — запричитала матушка Тоту.

**Часть  
четвертая**

---

**К**ыдырбек открыл глаза. Сплошная темень, и тихо как в могиле, лишь в ушах звенит и голова кружится.

«Что со мной? Где я? Где моя рота, а капитан Макаров? Неужели немцы всех перебили, почему я здесь лежу один?» Кыдырбек попробовал шевельнуться, но не смог, будто чем-то тяжелым придавило его к земле, не двинуть ни рукой, ни ногой. Резким усилием он все-таки высвободил руки; сжимая и разжимая, размял занемевшие пальцы. Теплая кровь проталкивалась к кончикам пальцев, руки оживали, становились податливыми. Он осторожно стал шарить возле лица по шуршащей плащ-палатке. С трудом отыскал конец и, неловко сдвигая его, высвободил лицо. Его сразу обдало ледяным ветром, в рот и в ноздри сыпануло сухим снегом. Ветер успел уже наместе на Кыдырбека целый сугроб. Кыдырбек попробовал встать — не удалось. Тогда, опираясь на руку, он приподнялся, толстой овчиной рукавицей сгреб с себя снег и попытался встать на ноги. Застывшие ноги плохо слушались. Он отчаянно задвигался, сидя в снегу. Снова попытался подняться, но опять не получилось: острая боль поднялась до самого сердца,



будто пога треснула. Лицом вниз он упал в сугроб, застал, потом сделал еще одну попытку подняться. «Ноги, кажется, целы, болят оттого, что замерзли...» — подумал он, еще и еще раз силясь встать. В конце концов поднялся, сделал несколько неверных шагов и, пошатываясь как пьяный, разгребая валенками глубокий сыпучий снег, пошел. Куда, он еще не знал, но шел, подчиняясь тлеющей в душе слепой надежде. Где немцы, где свои? Кыдырбек нащупал на дрожащей руке компас, с трудом сориентировался. «Ну, а если там уже немцы? — подумалось опять. — Пойду к своим, а угрожу прямо к немцам в лапы!» Минутный страх сковал душу. Кыдырбек постоял, настороженно вглядываясь в даль, и все-таки медленно побрел.

Еле передвигая ноги, забыв про холод и голод, боясь только одного — как бы не попасть к врагу, спотыкаясь, падая, снова поднимаясь, Кыдырбек шел, оглохший в этой жуткой тишине, напряженно вглядываясь, и тут в белесом свете зари заметил двухэтажное здание. Дальше, к горизонту, угадывался окутанный черным дымом Сталинград.

Сжимая в руке пистолет, пошатываясь, Кыдырбек с решительностью отчаяния двинулся вперед.

— Стой, кто идет? — Он не отозвался на крик, упрямо продолжая приближаться к зданию.

— Стой, стрелять буду! — громче крикнул тот же голос. Кыдырбек и тут не остановился, лишь взгляд стал сосредоточеннее.

Раздалась короткая автоматная очередь. Но Кыдырбек шел и шел, будто ничего не замечая. Стрельба прекратилась, зато перед Кыдырбеком выросли откуда-то два силуэта. И он остановился, только теперь сообразив, что впереди свои. Он ничего не смог произнести, силы оставили его, он упал на снег без сознания.

Когда очнулся, понял, что лежит в тепле на мягком сене, разостланном на полу блиндажа. Руки и ноги забинтованы. Полоски света из маленького окошка едва освещали блиндаж. Вместе с Кыдырбеком лежало здесь не меньше десятка раненых.

Вошли двое в белых халатах — женщина и пожилой мужчина. Обходя раненых, они остановились возле Кыдырбека, поговорили о чем-то между собой, что-то сказали Кыдырбеку, но он их не слышал. И сам говорить не мог. Что-то еще пояснили ему знаками, он их не понял, потом ушли.

Направляясь в свою дивизию, Кыдырбек чувствовал себя так, будто возвращается с того света, будто едет домой после долгих лет разлуки. Кто раньше всех увидит его, кто первый ему встретится?..

Шла весна, в лесу становилось тепло, земля парила, во всем чувствовалась весенняя истома.

Кыдырбек вошел в расположение дивизии, но вместо того, чтобы разыскать штаб и сразу же явиться туда, он остановился, стал озираться кругом, словно заблудившийся ребенок, и думать о своей роте, о капитане Макарове, о том, что произошло и остался ли кто в живых из его роты, а может быть, и нет уж никого, все погибли... Сердце его билось от этих мыслей, от волнения, от неизвестности. Потом заметил столпившихся у пруда солдат. Кто без рубашки, кто в одном белье, солдаты мылись, стирали немудреную свою одежду. Они не заметили Кыдырбека, разговаривали, шутили, громко смеялись или с хохотом начинали тужить друг друга.

Кыдырбек подошел к ним сзади, постоял, пытаясь опознать кого-нибудь из них, но, никого не узнав, громко поздоровался:

— Здравствуйте, ребята!

Солдаты быстро обернулись и с удивлением уставились на незнакомого старшего лейтенанта. Потом один из них, тот, что с рыжими, огненными усами, быстро вскочил и закричал:

— Старшой, дорогой, ты ли это? Неужто жив? — Это был Косолапов. Не думая о том, что один из них солдат, другой офицер, они крепко обнялись и, со слезами на глазах, трижды, по-русски расцеловались. — Жив, значит? А мы-то думали... Ну, слава богу... вот... хорошо!.. — бормотал он. Людям, потерявшим и вдруг снова нашедшим друг друга, трудно сразу найти слова, способные выразить их радость. Кыдырбек стоял смущенный почему-то и обрадованный, что видит первого человека из своей роты.

— А эти кто? — спросил Кыдырбек, показав на солдат, разглядывавших его и Косолапова.

— Молодежь. На пополнение прибыли. В моем взводе, — ответил Косолапов.

Кыдырбек отвел его в сторонку, но долго не мог решиться спросить, о чем хотел. Всего навидавшийся в жизни, ум-

ный, бывалый старый солдат и сам угадал, что так тревожил сейчас Кыдырбека.

— Рота ваша в порядке.— Косолапов перешел на «вы».— Пока заменяет вас младший лейтенант Пушкарев. (Пушкарев был командиром первого взвода.) Потеряли вас, стыд-то какой! Капитан Макаров до сих пор нам житья не дает.

— Капитан? — обрадовался Кыдырбек.— Жив-здоров?

— Здоров. Осколком задело, но дальше санчасти не пошел. Сами-то как? Бледный вы какой, и-и, сколько крови госпиталь-то высосал! — говорил Косолапов, то и дело с ног до головы оглядывая Кыдырбека.

— Что, очень изменился? — Кыдырбек поправил пилотку, подтянул ремень и расправил складки на шинели.

— Изменились. Потому не сразу и признал... И морщинки появились, постарели, туго, видно, пришлось...

— Где я найду капитана? — спросил Кыдырбек, смутившись под всепонимающим взглядом Косолапова и желая переменить разговор.— В землянке он или в доме?

— В землянке. В доме полковой штаб и дивизионный. Идемте, я провожу вас.— Косолапов повернулся к солдатам, все еще глядевшим на них с откровенным любопытством.— Вы чего рты разинули? Человека не видали? Как бы ворона в рот не залетела...

— Нет, нет, я сам найду, останьтесь с ними,— и по указанной Косолаповым тропинке пошел разыскивать штаб батальона.

Разговор с Косолаповым немного успокоил Кыдырбека, но перед встречей с капитаном сердце его вновь заколотилось.

Когда доложили, что пришел старший лейтенант Сулейманов, капитан Макаров не поверил и выбежал из землянки.

— Ах ты, черт, ты ли это? Без вести пропавший!.. — приговаривал капитан, сжимая его в крепких объятиях.

Спазм сдавил горло, Кыдырбек и капитан крепко обнялись. И всем, кто знал Кыдырбека, и тем, кто видел его впервые, было радостно смотреть, как встретились два боевых товарища.

— Ну говори, где пропал, что было с тобой? — Вводя Кыдырбека в землянку, Макаров забрасывал его вопросами.— Мы тут переживали, думали, попал к немцам

или погиб, остался под снегом. Потом прослышали, что он оказался у контрразведчиков... Значит, думаем, живой, но в толк не возьмем, как ты попал в контрразведку. Оказывается, был шпионом! — Капитан оглушительно засмеялся.

— Да-а, чуть в шпионы не угодил, вот что обиднее всего. Уж я и не знал, что со мной станет. Хорошо, что подоспело письмо от вас. Если бы...

— Что «если бы»? Пустое говоришь! Тебя не только штаб полка, сам генерал Людников знает.

— Людников генералом стал? О, я рад!

— Давно уже. Кажется, и тебя, и меня представил к награде, и к повышению тоже. Так что и тебя поздравляю! Но главное — живой вернулся, это просто здорово. Вот с чем тебя сейчас же надо поздравить. Эй, Серега, тащи что у тебя есть... — крикнул капитан. — Рассказывай, что было, — снова обратился он к Кыдырбеку, — пусть послушают.

Пришли офицеры батальона, знавшие Кыдырбека. Прибежал и связист Миша и теперь не отходил от него.

Беседа затянулась далеко за полночь, и Кыдырбек остался почевать у капитана Макарова.

### 3

Сорок третий год. Советская Армия широким фронтом шла в наступление.

При военных училищах вновь создавали краткосрочные курсы, а трех-, четырех- и пятимесячные курсы реорганизовались в годовичные и полугодовые. Будущие офицеры имели теперь возможность получить серьезное военное образование.

Училище, в котором обучался Качике, также расширило учебную программу. Была создана отборочная комиссия. Комиссия должна была отобрать наиболее способных, образованных, имеющих данные и склонность к тому, чтобы стать офицерами.

Возвращаясь с занятий, Кабалов, как всегда, начал подтрунивать над Качике, вышучивать его.

— Костя от собственной жены чуть не помешался, как же он может на фронте выдержать? Сразу испустит дух.

— А сам-то ты хоть краем глаза видал фронт? — спросил Качике.

— Не видел, но и так знаю, моряк никогда не дрогнет,— ответил Кабалов. Он не упустил случая прихватить.

— У киргизов есть поговорка: «Если ишак и на сухом месте кричит, то что же будет с ним в болоте?»

— Говори, да не заговаривайся, сам ты ишак! — Кабалов будто и засмеялся со всеми, но в голосе слышалась обида.

— Я просто привел поговорку.

— Знаю, куда метит твоя киргизская поговорка.

Наутро рота проходила комиссию.

Перед этим командир роты лейтенант Яшин вызвал Качике к себе.

— Я хочу, чтобы теперь вы окончили училище, не кисните перед комиссией, стойте прямо, держитесь смело,— попросил он его.

Открылась дверь, и оттуда крикнули:

— Курсант Ормонов!

У Качике душа ушла в пятки, сердце забилось, он потрогал поясной ремень, быстро расправил гимнастерку, поправил пилотку и тихо открыл дверь.

— Товарищ подполковник, курсант Ормонов явился на комиссию! — доложил Качике, строевым шагом подошел к столу и отдал честь.

Тут сидел старый, с морщинистым лицом, подполковник Хохлов. Он был помощником начальника училища по строевой части и, по слухам, служил офицером еще в царской армии. Жена его заведовала библиотекой, и Качике много раз ходил к ней за книгами. Слева и справа от подполковника сидели командир батальона майор Сергеев, офицеры штаба и лейтенант Яшин. Подполковник, в очках с золотым ободком, смотрел на Качике.

— Кажется, я с вами уже разговаривал однажды, но не помню, о чем, вы не подскажите? — спросил подполковник.

— Так точно, товарищ подполковник, во время занятий вы приказали мне командовать взводом, я командовал, вы наблюдали, а потом сделали замечание. Это было на нашем плацу, товарищ подполковник,— отчеканил Качике, будто кто-то шептал ему на ухо нужные слова, и все же он боялся, что сказал не так.

— Да, да, теперь вспомнил. Какое у вас образование?

— Образование высшее,— ответил за него лейтенант Яшин.

- Кем работали?
  - Научный работник.
  - Сколько лет?
  - Тридцать пять.
  - Выглядите значительно моложе, как учитесь?
  - Хорошо, — снова ответил за него лейтенант Яшин.
- Увидев красную полосу на левой груди Качике, подполковник сказал:
- А, вы уже воевали? Ну, так продолжайте учебу!
  - Есть продолжать учебу.
  - Идите!
  - Есть идти!

Качике, приложив руку к виску, круто повернулся и твердым шагом вышел из комнаты.

#### 4

Летние лагеря училища. Ночь. Качике сидит один в землянке у дрожащего света лампы и пишет письмо своей сестре. Ребята ушли заступать на пост. Маленькая железная печка пылает, в землянке тихо. Сестра, маленькая сестренка его, маленькой он помнит ее до сих пор. Вдруг память воскресила рядом с ней другую девочку, постарше — Наташу из села Кресты. Бледненькая, печальная, молчаливая Наташа как живая встала перед ним. Качике задумался: «Наталья, Наталья! О чем ты сейчас думаешь, что делаешь? Может, как тогда, сидишь на пороге, прислонясь к дверному косяку, и смотришь в горящую печь? На столе перед тобой медная, без стекла, лампа, и ты, уставившись на неверный свет ее, сравниваешь этот дрожащий огонек со своей жизнью? Хоть бы не потух этот огонек, пусть хоть тускло, но горит, не тухнет, как и надежды и мечты твои! И мои надежды, и мои мечты, тускло мерцавшие, все же не погасли».

Думы о Наташе смягчили душу Качике. Оказаться бы сейчас возле Наташи, глядеть в ее грустные глаза, поддерживать руку и молчать вместе с нею. Только открыла глаза, только собиралась идти по жизни, но тут будто небо вдруг опрокинулось на нее! А моей сестричке и не приснится то, что пришлось пережить Наташе. Кто из них сейчас ближе Качике? Кто постоянно перед его глазами?

Мысли его от Наташи незаметно перескочили к себе самому. Думать о себе значило прежде всего думать о Чы-

наркан. В последнее время Качике ощущал явную перемену в себе, все больше росло в нем чувство освобождения. Кто был виновником такой неожиданной для него самого и конечно же для Чынаркан перемены? Он сам или жена? Может быть, Чынаркан ошиблась в расчетах? В то время когда Качике больше всего нуждался в поддержке, в ласке, когда ласковым словом можно было добиться от Качике решительно всего, она вдруг перешла в атаку. С горькой улыбкой вспомнил Качике письма Чынаркан, те самые, которые еще совсем недавно так сильно расстраивали его, выбивая почву из-под ног.

Теперь он понимает, это даже лучше, что Чынаркан пошла в открытую. Она писала, что любит его, а еще больше ненавидит и желает смерти, цинично разъясняла, за что ненавидит, почему ждет его смерти. Это был вызов, решивший будущую судьбу Качике: или он подчинится Чынаркан и станет ее вечным бессловесным рабом, ее пленником. Или выдержит бой. Борьба эта уже шла в нем, скрытая, подчас незаметная для него самого, и Качике в какие-то моменты начинал чувствовать, что прежний Качике постепенно в нем умирает. Он был рабом в душе. Такого Качике и подобрала тогда Чынаркан, такой он и нужен был ей. А теперь может ли он попытаться найти себе настоящего друга? Может и должен. Но не в пустых мечтах, как прежде, а в жизни, среди живых людей. Не жить иллюзиями, а быть реалистом, не бояться жизни, а идти по ней, как равный. Именно так: как равный. Эта мысль вдруг поразила его, будто что-то прояснилось в голове, пелена спала с глаз. Друга он найдет только среди равных. Значит, чтобы не быть одному, ему надо подняться на ноги, стать настоящим человеком, свободным, сильным.

Качике задумался. Не слова ли это опять? Разве не рвался он раньше из своего болота? И не раз. Сколько раз он вскакивал, как Обломов, полный решимости покончить со своим прозябанием, но, как Обломов же, остывал и снова погружался в сон и мечты. А сегодня сидит вот и вспоминает Наташу и от всей души желает ей новой, хорошей жизни. Жизнь, которую он желает Наташе, это жизнь и для себя, для него самого. Поэтому-то Наташа так близка ему сейчас. Кто-то погиб, кто-то ранен, кто-то еще воюет с врагом, а он тут со своими нудными печальями возится. Ему стало стыдно. «Нет, это уже не слова, и не Чынаркан вино-

вата в том, что я стал другой». Причину этой перемены не хотелось отдавать Чынаркан, не хотелось в чем бы то ни было быть обязанным ей. «Не она, сама жизнь меня повернула, я столкнулся с нею по-настоящему в сущности первый раз, только на этой войне. А Чынаркан, конечно, догадалась об этом, оттого и разозлилась, потеряла равновесие и сделала неверный ход. Все к лучшему...» — подумал он и словно груз сбросил с плеч.

5

Когда Качике и Захаров прибежали к театру, билетов в партер уже не осталось, они с трудом достали места на балконе. Эвакуированный из Ленинграда театр показывал «Тартюфа».

— Все из-за Кабалова! Затянул с увольнительными... а то бы в партере сидели, — сказал всерьез раздосадованный Качике.

— Зол он на тебя, со мной-то ничего не может сделать, потому что моряк моряка видит насквозь. Не расстраивайся, пехоте и балкон сойдет, — засмеялся Захаров.

— А ты себя все еще моряком считаешь?

— Еще бы! Тельняшка матросская, душа морская. Если бы форму да сесть в партере, не до театра было бы девушкам, на меня бы глазели... — пошутил Захаров.

— А чего же ты пешим стал?

— Война, Костя, война. Много моряков сейчас пехотят.

— Эй, вы, пехотинские моряки, не шепчитесь! Начинается, — повернулась к ним пожилая женщина.

Поднялся занавес, спектакль начался.

В антракте, стоя у стены в фойе, стали наблюдать за публикой. В городе было много эвакуированных, по-особому одетые женщины и пожилые мужчины сразу выделялись среди коренных уральцев. Немало было военных.

— Погляди-ка на своего земляка, — сказал Захаров, кивнув головой в сторону.

В толпе выделялся рослый, с пышными каштановыми волосами алмаатинец Москвичев. Курсантский мундир ловко облегал его стройную фигуру, новый ремень обхватывал тонкую талию. Москвичев держался в толпе совершенно свободно и разговаривал с какой-то симпатичной девушкой. При виде офицеров он вытягивался в струнку, опускал руки по швам и стучал каблуками. Это тоже шло

ему. Сдержанная улыбка, спокойный разговор, размеренные движения — все привлекало к нему взгляды.

— Он будто специально создан быть офицером, — заметил Качике, любуясь Москвичевым.

— Умеет себя держать в обществе, и фасад подходящий, знает это и важничает, хорошо, если таким же будет в деле, а то из этих смазливеньких больше пустышки выходят, а моряков ему все равно не переплюнуть, — скептически отозвался Захаров.

— Хвастать вы любите, моряки, вот и Кабалов вроде тебя, — улыбнулся Качике.

К ним подошел Москвичев.

— Ну как, дружище, получаешь из дому письма? Слышал, тебя оставили в училище, правда это? — спросил он, поздоровавшись.

— Да вот — велели продолжать учебу. Много еще трудного впереди.

— Давай, давай. Офицеры понадобятся, до Берлина еще далеко. Так что готовься, друг.

— Боюсь, Москвичев из меня все равно не получится, — сказал Качике.

— А для чего тебе быть Москвичевым? Ты будь Ормоновым, а если станешь подражать каждому встречному... Чудак человек. Ну, а письма все-таки получаешь? — еще раз спросил Москвичев.

— Изредка, — нехотя ответил Качике, ему не хотелось вспоминать сейчас о доме.

— Мне три месяца нет ответа, устал писать, не пойму, что там могло случиться, — разведя руками, сокрушенно сказал Москвичев.

— Разгуливаешь тут с красотками, да еще письма тебе пиши! — засмеялся Захаров.

— Ну, насчет девушек и вы не дураки. Вот этот самый Ормонов при имени Наташи чуть не плачет. Если человек с человеком не поговорит, он одичает от тоски. Девушка эта актриса, училась в Ленинграде, приехала с родителями. Она будет играть сейчас, увидите, я специально ее игру пришел посмотреть. До войны я сам учился в Московской театральной студии, — сказал Москвичев и отошел от них.

— Ах, он актер, то-то он такой! — воскликнул Захаров.

— А ты думал, одни твои моряки «то-то»? — посмеялся Качике.

Ленинградцы играли хорошо. После спектакля зал долго им аплодировал.

Выйдя на улицу, Качике и Захаров стали шарить по нармапам — очень хотелось курить. Махорка была, а вот бумаги, как назло, не оказалось ни клочка. Но тут прямо перед ними выросли три девушки.

— Кажется, у меня есть, — сказала одна и вытащила из сумки парезанную тонкую белую бумагу.

— Ой, девушки, да вы курите? — спросил Качике, обрадовавшись такому случаю.

— Нет, нет. — Девушки, улыбаясь, переглянулись друг с дружкой.

— Значит, для своих любимых приготовили? — Качике уже обо всем забыл и, как истый донжуан, завел разговор с милыми собеседницами.

— Пусть так, — рассмеялись девушки.

— О, тогда удачи вам! Спасибо, красавицы. — Качике отдал им честь и зашагал радостный, раскрасневшийся, будто охьянев от одного только разговора.

— Москвичев прав, тебе почаще надо бывать с девушками — ты, вижу, женолоб, то-то, когда жена не шьет, ходишь как в воду опущенный, — сказал Захаров.

— Гляди-ка сюда, гляди! Тот самый мальчуган, — сказал Качике, потянув Захарова за рукав.

— Какой мальчуган?

— Здравствуй, юный труженик тыла! Как жизнь? — окликнул Качике мальчика и протянул руку. Это был двенадцатилетний подросток в залатанной шубе и теплой шапке.

Мальчик ответил.

— Значит, работаешь? А это кто с тобой? — спросил Качике.

— Моя мама, — ответил мальчик. — Пока война, надо работать, потом будет видно, смогу ли в школу вернуться или без отрыва буду учиться.

— Смотри ты какой, как настоящий взрослый рассуждает! — сказал Качике Захарову. — Ты что, не узнал его?

— А, это тот паренек, желтый, как пчела?

— Он самый.

Как-то Захаров и Качике вдвоем патрулировали по городу и встретили этого паренька в брезентовой спецовке. Маленький, он шел навстречу степенной походкой, а когда

увидел за плечами у них винтовку с кинжальными штыками, остановился и долго глядел.

Одежда и руки ребенка были желтые, и сам он, маленький, кругленький, напоминал сидящую на желтом цветке пчелу.

— Эй, паренек, почему такой желтый? — окликнул его Качике.

— Так требует родина, — с достоинством ответил мальчик.

Они расхохотались.

— Вот они, дети военного времени! И они воюют! — сказал тогда Качике.

За время войны Качике впервые побывал в театре, да еще пошутил с девушками, и верпулся веселый и довольный собой. Он долго не мог заснуть, настроение было слабое, на душе хорошо и ясно, он лежал, улыбаясь самому себе, а потом спокойно задремал.

## 6

Как-то вечером Бермет сидела на скамейке во дворе института и перечитывала любимый роман «Анна Каренина». Ребята и девчата натянули волейбольную сетку. Их возня и веселые голоса отвлекали от мыслей, ей тоже захотелось поиграть.

— Эй, Бермет, давай сюда, хватит тебе зубрить! — крикнули ей.

К Бермет подсел секретарь комсомольского комитета. Он посмотрел на обложку книги.

— Ну как?

— О чем ты?

— Как Анна, говорю?

— Анна не нашла своего места в жизни, потому ее жизнь и окончилась трагически, — задумчиво проговорила Бермет. — Мне кажется, Толстой был беспристрастен к ней.

— Ну ладно, Анна — Анной, я о Сабире хотел с тобой поговорить.

— А что она такого сделала? — спросила Бермет.

— С женихом сбежала.

— Сбежала? Несчастная. От кого же ей было бежать, разве кто запрещал ей замуж выходить? Подождала бы только конца учебы, немного ведь оставалось, — сказала

Бермет, огорченная и тем, что Сабира вышла за Сарыгула, и тем, что бросила институт.— Но что ее толкнуло? Или у нее с учебной стало хуже? — недоумевала девушка.

— Декап говорит, раньше училась хорошо, а в последнее время стала пропускать занятия. Она же твоя подруга была, ты лучше должна знать, — с упреком заметил секретарь.

— Была подругой, да еще какой, разве я знала, что так может все кончиться. Но дело тут не во мне, тут что-то другое кроется. Хорошо, если она своего добилась, — сказала Бермет. И, не желая больше говорить об этом, встала. Секретарь тоже встал.

— Доклад твой готов? — спросил он.

— Нет еще. — Бермет была убита своим горем и не думала о докладе.

— Месяц прошел, сколько же тебе еще надо? — спросил секретарь.

Комсомольцы знали о ее горе, Сабира, не скрывая злорадства, шепнула кое-кому о Кыдырбеке. Бермет не стала ни плакать, ни обижаться. «Пусть знают, чего скрывать, разве это преступление? — успокоила она себя. — Лишь бы с соболезнованиями не лезли».

Они и не лезли, но придумали это задание, чтобы отвлечь ее. Бермет не торопили и лишь напоминали время от времени. Это было своего рода испытание: замкнется она в своем горе, уйдет от людей и сломится или, ухватившись за предложенное дело, вновь станет на ноги. Товарищи внимательно наблюдали за ней. Не без цели и подошел к ней секретарь, чтобы напомнить о поручении. Напоминание о докладе застало Бермет врасплох. Она задумалась, собрала силы и пообещала секретарю взяться за подготовку доклада.

— Не думай много об Анне, — улыбнулся секретарь и ушел.

Конечно, не об Анне говорил он, — не надо думать так много о своем горе, не мучить себя. Бермет поняла это и долго сидела, рассматривая книгу, не то Анну жалея, не то себя. Хотелось плакать. Потом потихоньку стала успокаивать себя: «Перестань, перестань, трудно горевать молча. Если бы заплакать... но я же обещала себе не плакать пока, не забывать Кыдырбека. Еще рано...»

Бермет прочитала доклад. Одни хвалили ее, другие были сдержанны, третьи спорили, равнодушным никто не

остался. Это был первый ее доклад, и Бермет немало поволновалась, пока прочла его. Доклад был как будто рубежом, который она перешла. За неделю, прошедшую после доклада, Бермет подтянулась в учебе, взяла себя в руки. Она решила сходить в общежитие мединститута, где жила Аруке. Судьба Аруке была сходна с ее собственной судьбой.

Собравшись по поручению комсомольцев передать дневник Искандера его жене, Бермет обратилась в Союз писателей, но оказалось, что Искандер вовсе не женат, а его одинокая мать живет на Иссык-Куле. Аруке никто не знал. Пока раздумывали, послать дневник матери или отнести в Союз писателей, неожиданно появился друг Искандера Джапаркул. Узнав, что тетрадь находится у Бермет, стал просить ее отдать ему дневник.

Бермет не знала, что сказать молодому поэту. Она была наслышана о нем, но видела впервые. Бермет стояла растерянная.

— Я не прочь вам передать, раз вы его друг, что может быть лучше, но Аруке...— начала Бермет, запинаясь, не зная, как объяснить ему, в тревоге, что он может подумать, будто она не хочет отдать тетрадь... хочет оставить ее себе.

— Аруке...— перебил он,— я знаю Аруке, отдайте мне тетрадь.

— Погодите,— рассердившись и потому сразу успокоившись, сказала Бермет.— Не торопитесь. Если вы знаете Аруке, то скажите, кто она поэту? Мы собирались вручить ей или отдать в Союз писателей.

— Аруке — жена Искандера...— выпалил Джапаркул и вдруг зажал рот ладонью, потом улыбнулся, показав крупные зубы, попросил прощения.— Аруке — невеста Искандера, учится в мединституте. Ее никто, кроме меня, не знает. А в Союз писателей дневник нельзя отдавать!

— Вот так и скажите, спасибо вам, Аруке нашлась. Теперь уж торопить меня нечего. А почему в Союз писателей нельзя отдавать? Кому, по-вашему, следует отдать? Помните: тетрадь послана мне, и я имею полное право сама разобраться в том, кому лучше отдать ее, я должна сама найти этого человека и передать в собственные руки. Грамотна ли мать поэта? — Бермет теперь говорила в повелительном тоне.

— Упрямой вы оказались девушкой,— улыбнулся Джапаркул.— Слушайте же меня. У поэта, кроме матери, нет

близких. Самой близкой после матери была Аруке. Об Аруке и мать знает, мало сказать знает, когда она получила похоронную на сына, сама приехала и сообщила об этом новости и вместе с ней оплакивала его. Аруке на последнем курсе мединститута. Значит, так: тетрадь следует отдать Аруке, а уж Аруке передаст мне. В Союзе писателей никто так близко не знал поэта, как я, там тетрадь может попасть в чужие равнодушные руки.

— Тетрадь не была в чужих руках,— поспешила Бермет успокоить Джапаркула.— Тоже кое-что соображаем. Мы рады, что у поэта есть такой близкий друг, как вы. Теперь все ясно. Значит, без всяких собраний тетрадь отдаем Аруке, так, что ли? — Бермет улыбнулась и пытливо, с ног до головы, оглядела поэта. Одет он был неважно и имел нездоровый вид.

— Правильно вы рассудили. Если бы Искандер успел жопиться на Аруке, то можно было бы и на собрании ей передать тетрадь. Искандер дождался, когда Аруке кончит институт. Значит, пошли, пошли вместе к Аруке,— стал он торопить Бермет.

— Нет, постойте, так нельзя. Хоть Аруке только новости ему, все равно хоть несколько человек должны к ней пойти. Горе у Аруке большое, может быть, ей с нами будет легче пережить его. Пусть почитает сперва сама, там и стихов много. А потом уж делайте что хотите,— настаивала на своем Бермет.

— Ну и упрямая же девушка,— повторил Джапаркул и склонил перед Бермет голову.— Там общежитие, как вы туда пойдете, переполох же начнется!

— А где Аруке оплакивала Искандера? — спросила Бермет.

— К тому же вы еще коварная, у меня оплакивала. Не хотел выдавать, думал, возьму тетрадь и уйду, ну, хорошо, согласен, пусть будет по-вашему, запишите адрес и сегодня вечером приходите ко мне, коварная, упрямая вы девушка, ну, я пошел,— сказал он, в упор посмотрел на Бермет, смутившись, хотел что-то добавить, но так и ушел, ничего не сказав.

Вечером члены комсомольского комитета пришли к Джапаркулу. Крепко сжав в кулаке платок, Аруке сидела с покрасневшими от слез глазами. Джапаркул что-то говорил ей.

И смуглое лицо Аруке, и то, как она сидела, произвели

на Бермет сильное впечатление. Образ измученной и печальной Аруке долго стоял потом перед ее глазами. «Вот она какая, невеста поэта!» — залюбовалась ею Бермет.

Когда они вошли, Аруке медленно встала и поздоровалась со всеми. Бермет поразила необычайная мягкость ее руки. «Наверное, мягкая, добрая», — подумалось ей.

Быстро и просто разговорились. Аруке говорила с грустью, улыбалась с грустью и всем очень понравилась. Джапаркул тихонько взял из ее рук тетрадь и, быстро перелистывая, стал ходить взад и вперед по комнате.

Когда собрались уходить, Джапаркул задержал их.

— Мне тут попалось одно четверостишие, прочту-ка вслух:

Полночь. Скрипку беру я в руки,  
Струны хотят о чем-то поведать.  
Не плачь же, не плачь же, моя Аруке,  
Это ведь песни победы.

У Аруке глаза наполнились слезами, она тихо поднялась и сказала:

— Спасибо вам всем, спасибо, милая Бермет, будь счастлива. — Она крепко обняла ее и поцеловала.

## 7

На этот раз встреча с Аруке была для нее более трудной, потому что тогда она шла к ней с ее горем, сегодня несла свое. По исхудавшему, побледневшему лицу Бермет Аруке догадалась: с девушкой что-то случилось, спросить же не посмела, успокоила себя тем, что весной люди обычно худеют, да тут еще экзамены, возможно, что ничего особенного и не произошло. Они сидели на скамейке во дворе общежития. Весна была в полном разгаре. Молодая листва чуть шелестела на тихом ветру, с чириканьем возлилась воробьи, отбивая друг у друга добычу, дружно взлетая и стремительно падая на землю, словно бы кто-то бросал сверху горсть камешков.

Бермет, будто забыв, зачем пришла, а на самом деле не зная, с чего начать, сидела вся в напряжении и, стараясь скрыть свое состояние, перебрисывалась с Аруке незначительными словами. Как бы догадавшись, что девушка пришла педаром, Аруке сама осторожно втянула ее в разговор.

— Хотела прошлый раз спросить тебя, да не посмела

при людях, скажи мне, ты читала тетрадь Искандера? — Она исподлобья, с улыбкой посмотрела на Бермет.

— Правду сказать? — Бермет тоже с лукавой улыбкой посмотрела на Аруке.

— Что лучше скажется, то и говори, — ответила Аруке. Обе рассмеялись.

— Некоторые так соврут, что нельзя не поверить. А я вот не умею, язык заплетается, сразу запутаюсь.

— Ну, в таком случае говори правду!

Снова засмеялись.

— Если правду сказать, — уже преодолев смущение первых минут, продолжила Бермет, — с интересом начала читать, но бросила, заставила себя бросить. Потому что вначале подумала, что тут стихи только да заметки о войне, но оказалось там много другого... Дошла до Апсамата, до каких-то еще имен и отложила. Не для меня писал, получалось, вроде я подслушиваю чужой разговор. Да и не поняла бы все равно. А вот почему он так много пишет об Апсамате? Вам это понятно, Аруке? Апсамат известный литератор, а Искандер вроде осуждает его за что-то?

— Откуда мне знать? Хорошо, что не стала дальше читать, еще больше бы запуталась. Но Джапаркул говорит, что Искандер прав. — Аруке поправила волосы.

— У кого сейчас тетрадь? У вас? Или у этого... поэта? Пристал с тетрадью, дай да дай, — засмеялась Бермет.

— Сам до сих пор еще смеется, на всю жизнь, говорит, проучила, правда это?

— Как знать, — пожав плечами, Бермет ушла от прямого ответа. — Так тетрадь у него?

— Тетрадь-то? Да, у Джапаркула. Сначала сама прочитала, потом отдала ему. С собой носит. Заходит и всегда что-нибудь растолковывает. — Аруке настороженно ждала, что еще скажет Бермет.

— А сам он что за человек — Джапаркул? — неожиданно вырвалось у Бермет.

— А зачем тебе знать? — Аруке с улыбкой, но подозрительно посмотрела на нее.

— Просто так. Хорошо, если он беспристрастный человек. — Бермет удивил испуг Аруке.

— По-моему, Джапаркул беспристрастен. Читая тетрадь Искандера, я поняла: Апсамат претендует на роль руководителя, считает себя самым умным и свое мнение единственно верным, ну, вроде вождя, что ли. А кто не призна-

ет его вождем и не идет за ним, тех он считает своими врагами и пытается обвинить в том, что они идут по неправильному пути. Такие, как Искандер, напротив, доказывают, что они идут по правильному пути, а неправ Апсамат, им руководит карьеризм и зависть к тем из молодых, кто талантливее его. Я так поняла их споры, спросила Джапаркула, он говорит, что правильно поняла. Потому я решила, что Джапаркул, видимо, беспристрастен.

— Жаль, что Апсамат не любит молодых, не дает им дороги. Выходит, он консерватор?

— Любой остановившийся в своем росте человек не любит тех, кто растет.

— «Быстроходную собаку лисица не любит», говорят, — Бермет рассмеялась.

— Видимо, так.

— Значит, много кое-чего есть в тетради дяди Искандера. Интересно, кто эти люди, которые окружают Апсамата?

— Их ни я, ни ты не знаем, откуда нам и знать их! Джапаркул говорит, что они прихвостни Апсамата, а Искандер их называет угодниками. — Имя Искандера Аруке произносила с какой-то особой теплотой.

— Лучшего из людей, честнейшего, чистейшего из поэтов любили вы, Аруке! — восторженно, с сияющей улыбкой воскликнула Бермет.

— Ах, Бермет, что и говорить! Беркута упустила, да еще какого, полного сил, смелого, бесстрашного, ах, война, война! — Глаза ее наполнились слезами. — И Кыдырбеку твоему, и тебе самой большое спасибо. Будьте вы счастливы...

Аруке не поняла, что ей послышалось: крик или стон. Она быстро повернулась и не узнала Бермет: лица на ней не было.

— Что с тобой, милая? — Аруке испуганно схватила ее за руку. Бермет закрыла глаза и повалилась на скамью. — Бермет, Бермет! Миленькая... Что случилось? Господи! Бермет, Бермет же! — Аруке трясла девушку, сама побледнела и дрожала.

Бермет медленно открыла глаза, невидящим взглядом посмотрела перед собой и застонала, она еще плохо ображалась, в ушах звенело, кружилась голова.

— Бермет, милая, Бермет, — суетилась Аруке, заглядывая ей в глаза. «Чуть сознание не потеряла, что с ней?

Или... Кыдырбек?..» — вдруг озарила ее догадка. — Да мы же с тобой обе сироты? Что за судьба, что за судьба такая! — Аруке обняла Бермет. — Бермет, слышишь, Бермет, я не хочу сравнивать мою судьбу с твоей, слышишь? У тебя осталась еще надежда, а мне, сама знаешь, не на что надеяться. Не то что пропавшие без вести находятся, иногда думают: умер, а он живой, я много раз о таком слышала. Я и сама рада бы такому чуду поверить, но ведь люди собственными руками похоронили Искандера. Как жизнь сложится, не знаю. Но что бы ни было, Искандера я никогда не забуду. Он всегда будет живой в моей памяти. Я не могу представить его себе мертвым и не хочу. Джапаркул говорит, что скоро выйдет его книга, он сам ее составитель. У меня тоже есть стихи Искандера, даже Джапаркул о них не знает. Отдам ему, все отдам... но некоторые стихи мне тяжело отдавать. Вот послушай:

Другого найду я друга,  
Любовь ты найдешь в другом.  
В счастье забудем друг друга  
Иль нашу судьбу проклянем.

Вот еще:

На прощанье прошу поцелуя,  
С моих губ эту сладость не смыть.  
Пропадет мое сердце тоскуя,  
Оттого что не сможет забыть.

Эти стихи, Бермет, предназначены только близкому другу, ведь правда? Можно включать их в сборник или нет, я не знаю. Будто чувствовал, что расстанемся. — Аруке вопросительно смотрела на Бермет.

— По-моему, это хорошие стихи и касаются не одного человека, а всех. Разве все любящие достигают цели? Поэт прав. Жалко, конечно, но что поделаешь. Если бы в жизни были одни удачи... Недаром киргизы жизнь называют «юдолью печали»! Не так ли, Аруке? — волнуясь, закончила Бермет.

Аруке внимательно посмотрела на Бермет и сказала:

— Дай-ка пульс, послушаю.

— Не надо, — грустно улыбнулась Бермет. — И так знаю, учащенный. В последнее время часто случается, а потом ничего, само собой проходит. Не знаю, что со мной сегодня, при других держусь, а вот при вас... распустилась, назвали Кыдырбека... будто в самое сердце попали.

— Любила ты Кыдырбека своего, по-настоящему любила, бедная моя девочка... И от меня скрывала...

— Вот пришла и не знала, скажу или нет. Нет, неправда, пошла, чтобы повидать вас, чтоб душу отвести. Но как сказать, не знала. Сидела как в воду опущенная. И вдруг вы сами Кыдырбека помянули... сердце и не выдержало. — Бермет смущенно замолчала.

Аруке не отрываясь смотрела на Бермет. Бермет подняла глаза. Улыбнулись друг другу, обнялись и долго сидели так, как две родные сестры.

— Называй меня на «ты», Бермет, а то уж очень как-то пеловко получается. Я ведь не такая еще старушка, — ласково попросила Аруке и улыбнулась.

## 8

Как-то Апсамат зашел к Зулнукару и Асылкан. Он здесь был свой человек и мог прийти в любое время. Разговор у них зашел о диссертации Зулнукара.

— Я бы ее уже закончил, кабы не война, — оправдывался Зулнукар, — а то в животе пусто, вот и не пишется — приходится вместо этого на огороде копать.

— Уж лучше не ссылайся на войну, причина, чтобы не работать, пайдется. Вот Искандер и на войне стихи писал, это тебе не огород... Какой поэт был Искандер! И какой был парень... — Да-а! — вздохнул Апсамат, что-то записывая на бумагу. — Унесла война молодого поэта. Что-то еще будет.

— Говорят, одной студентке прислали фройтовой дневник Искандера, — заметил Зулнукар.

— Что за студентка? Сестра, что ли? — Апсамат резко повернулся и посмотрел на Зулнукара.

— Просто девушка какая-то, есть ли у нее на фронте кто-либо, не знаю, но дневник прислали ей. Асылкан говорит, что она учится у нее. Надута, как сыч, но учится хорошо. Расскажи сама, Асылкан, — попросил Зулнукар.

— Прислал девушке по имени Бермет ее жених, комсомолец посоветовали ей передать дневник жене и рассказали об этом Мырзабеку, а Мырзабек, как вы знаете, живет сейчас у Джапаркула. Вот через Джапаркула нашли невесту Искандера Аруке и тетрадь отдали ей. Вот как было дело, и это все, что я знаю.

Апсамат задумчиво ходил по комнате.

— Мы тут расхваливаем Мырзабека, а он нас, оказывается, и за людей не считает, — сердито заговорил Апсамат. — Хорошо, пусть мы плохие, но почему в Союз писателей не принес тетрадь Искандера? Он же не только геолог, еще и прозаик, рассказы пишет, как же он так безразлично отнесся к дневнику поэта? Кто такая Аруке? Никому она не известна, а Джапаркул вечно всем поперек дороги становится. Потому ли, что болен, или характер такой, говорят, со всеми ссорится. Ну, считает себя другом Искандера. Но что он может сделать? Искандер был сложный поэт, я читал некоторые его стихи. И знаю слабости его и достоинства. Я прямо ему сказал: «Ты же декадент». С тех пор он не показывался мне на глаза. Стихи покойного надо бы отдать понимающему человеку и отобрать. Об этом не подумали и отдали тетрадь какой-то Аруке и Джапаркулу. Ну, как не досадовать? Асылкан, ты что, глупенькая, надо было опередить эту девчонку и отобрать тетрадь! — Чтобы скрыть свою досаду, Апсамат улыбнулся Асылкану. — Не обижайся, так уж вышло. Ты, конечно, не шишовата здесь. — Он замолчал.

Асылкан стало стыдно, будто все это относилось только к ней, Зулнукар же молчал, не зная, что сказать. Апсамат беспрестанно курил, бросал одну папиросу, начинал другую, нервно шагая по комнате.

## 9

— Мырзабек, есть же у тебя своя комната, ушел бы ты от меня, — сказал Джапаркул. Он лежал на кровати и непрерывно кашлял.

Едва успев войти, Мырзабек услышал эти слова и от неожиданности остановился, не зная, обидеться на Джапаркула или отшутиться. Стоял, мигая ресницами. В последний свой приезд с фронта Мырзабек остался жить у Джапаркула, но ни теперь, ни раньше, когда они были просто товарищами, он не слышал от Джапаркула такой грубости...

— Что это с тобой? Пожалуйста, я уйду, — сказал Мырзабек, обиженно выпятив губы и смешно улыбаясь. — Уйду, но прежде попробуем вот из этого пайка. Что скажешь, ес-

ли я чай вскипячу? Из твоего пайка я пробовал не раз, теперь давай мой... а?

Джапаркул рассмеялся, но тут, закрыв рот платком, совсем зашелся в кашле и отвернулся к стене.

Мырзабек понял: Джапаркул боится заразить его, потому и гонит. Стало до боли жалко товарища. Но, кроме шутки, ничего тут не скажешь. Мырзабек загремел чайником.

— Мечтал быть дружкой на его свадьбе с Аруке, а он из дому гонит. Пойду к хозяйке, чаю попрошу вскипятить, откажет, сам вскипячу...

— Эй, ты, не можешь ли заткнуться? — побледнев, перебил его Джапаркул.

— А? — Мырзабек застыл с раскрытым ртом и опять замигал. Вид Мырзабека рассмешил Джапаркула.

— Ну и собака же ты! — Он спрятал голову под подушку и затрясся в смехе, боясь нового приступа кашля.

Немного спустя Мырзабек принес горячий чай, нарезал хлеба, колбасы и позвал Джапаркула.

— Ты не смей заговаривать об Аруке, — мрачно предупредил Джапаркул за чаем.

— И пошутить нельзя?

— Нельзя! — отрезал Джапаркул.

— А если всерьез?

— Нельзя.

— Почему?

— Потому.

— А? — будто не расслышал Мырзабек.

— Сам-то не поговоришь ли с Бермет? Аруке тоже считает ее хорошей девушкой. Если выпученные глаза примет твои... женись, хорошая будет жена. — Джапаркул коварно улыбался.

— Откуда ты узнал, что будет хорошая? — Дуя на горячий чай, Мырзабек исподлобья посмотрел на Джапаркула.

— Поговорил и узнал.

— Ну и что?

— А ничего. Умница, может проучить даже таких бешеных, как я. Один урок я уже получил, — сказал Джапаркул, улыбаясь более открыто, мрачное настроение его, видимо, стало рассеиваться.

— Все жены, наверное, таковы? А как Аруке? — серьезно спросил Мырзабек.

— Аруке? Совсем другая, мягкая, ласковая...

— Облизываешься?

— Дурак! Искандер мой товарищ... Я и думать не смею, ведь она его оплакивает сейчас.— Джапаркул вначале рассердился, потом снова улыбнулся.

— Душой-то ведь тянешься к ней?

— Мало ли что! Душа — она такая штука, любит витать в облаках, а жизнь... швыряет ее на землю. От земли никуда не денешься.

— Аруке тоже умнее тебя?

— О, о ней нечего и говорить. На несколько голов выше.

— Начнет поучать, как Бермет, что тогда?

— Что, что? — Джапаркул отодвинул стакан и встал. — И умей-то ты, и хитер, сам все понимаешь, а пристаешь. Не выводи меня из терпения, характер мой знаешь... Ты в Москве учился и мало знал Искандера, а он такой был человек! — поуспокоившись, продолжал Джапаркул. — И внял, что они дружат с Аруке, но не видел еще ее. А когда увидел, поверишь ли, с первого взгляда влюбился... И с тех пор, куда бы они ни шли, я за ними увивался. Видал ты такого оболтуса? — Джапаркул стал бледен как смерть.

Мырзабек молча слушал.

— Чего молчишь? — спросил его Джапаркул.

— А что я должен говорить? Тут трудно что-нибудь сказать. Искандер-то знал? Или...

— Не знал, я сам признался... — Джапаркул закашлялся и закрыл рот платком. Мырзабек молча смотрел на него. Джапаркул заговорил вновь: — Рассказал Искандеру, а он, не хочешь, да согрепишь с ним, смеется. «Ну, тогда ходи с нами, говорит, сам Тургенев влюбился в знаменитую актрису, у которой был муж, да и прожил с ними всю жизнь, так и не женившись. Чем ты хуже Тургенева, ты тоже поэт».

— Это он всерьез так сказал? — не выдержал Мырзабек.

— Всерьез.

— Брось ты! — не поверил Мырзабек.

— Ничего не «брось», — возразил Джапаркул. — Я, конечно, не согласился, да и не смог бы, на это разве что гений способен, а не такой простофиля, как я. Они-то умели любить хороших женщин...

Рассказ Джапаркула поразил Мырзабека.

— Хороший был, видно, у Искандера характер!

— Не то что хороший, — необыкновенный! Я пошел провожать Искандера. Слово за слово, вдруг спрашиваю: «Переспал хоть с Аруке?» — «Нет», — ответил. «Ах ты, — говорю, — собачий сын, почему?» — И удивился я, и разозлился на него очень.

«Уговорились ждать, — говорит. — Пусть она останется чистой. Если погибну, ей легче будет найти свое счастье...»

Я аж взвыл и ругал его всячески. «Выйдет за другого и думать про тебя забудет», — говорю. «Пусть, зато чиста будет перед своим избранником, не в чем будет ему упрекнуть ее. Если муж будет хороший парень, то еще вспомнят меня добром...» — Вот что он ответил. Я ругаю его, ты дурак, ты такой, сякой, ты не мужчина! Оскорбляю всячески, а он хохочет себе, тем и взял меня, — закончил Джапаркул.

— А как ты сейчас думаешь, прав был Искандер или...

— А ты как считаешь? — перебил Джапаркул.

— Как я считаю? — переспросил Мырзабек, он не мог найти для себя ответа. — Не знаю... Человечность это или напрасная жертва?

— Вот и я до сих пор не могу разобраться. Иногда думаю: неужели любовь такое святое чувство? А теперь ты, или я, или еще кто-нибудь будет себе пользоваться его святой, нетронутой любовью... И вместо того чтобы благодарить Искандера, может быть, еще... нет уж, не скажу, моему, Искандер все же напрасно так поступил... — Джапаркул, обессиленный, еле волооча ноги, ходил по комнате.

В дверь тихо постучали, показалась голова Аруке и тотчас скрылась.

— Заходи, заходи, Аруке, — позвал ее Джапаркул. Аруке снова нерешительно заглянула в комнату. Она впервые видела Мырзабека и испугалась его.

— Войди же, Аруке, этого солдата пучеглазого испугалась? — еще раз позвал Джапаркул и, закашлявшись, закрылся платком. — Познакомься, фронтовик, мой товарищ, кто знает, может, и сам себе прострелил руку. — Джапаркул расплылся в улыбке.

— Сам прячется от войны да еще обо мне гадости говорит. Здравствуйте, сестричка, — Мырзабек. — Мырзабек медленно встал со стула, поклонился и предложил девушке сесть.

— Ты надо мной смеешься, а у нас действительно есть такой. Языком на собраниях словно мельница мелет, и по-русски, и по-киргизски соловьем заливается, а когда приехали в армию, вмиг стал глухим на русскую речь. Слышал ты о нем? — спросил Джапаркул.

— Не ври! — не поверил Мырзабек.

— Провалиться, если вру. «Мы посылаем вас на политработу, согласны? — спрашивают его. — Поедете учиться?» «Что он говорит? Я по-русски не понимаю, дайте переводчика», — отвечает.

— Брось, брось! — не поверил Мырзабек, но сам покашлял с хохоту.

— Ничего не «брось», так и есть. О таких говорят: «Языком жнет, а во время жатвы с поля вон бежит».

— Симулянт он и дезертир! — Уже серьезно сказал Мырзабек. — Но кто же он?

— Потом скажу... Ну, так как же, Аруке?.. — произнес Джапаркул и посмотрел на Мырзабека. — У нас тайный разговор, не обижайся, выйди пока, — попросил Джапаркул, таинственно и в то же время смущенно улыбаясь.

— Раз такое дело, пойду, поговорите наедине, мешать не буду, — ответил Мырзабек, понимающе улыбаясь.

— Как хочешь, можешь и остаться, но мы недолго, — Джапаркул улыбнулся, сморщив нос, будто ему вовсе и не хотелось скрывать свою «тайну».

Когда Мырзабек вышел, Аруке сказала с недовольным видом:

— Почему вы ставите меня в неловкое положение? Я же к вам... как к брату... — Губы у нее задрожали, голос осекся.

— Прости, Аруке, — сказал Джапаркул, увидев ее изменившееся лицо и сам побледнев. — Прости меня, не могу и иначе, пойми же... Аруке! Не хочу, чтобы он знал, что ты мне лекарства таскаешь. От всех хочется скрыть свою болезнь...

Аруке посмотрела в его расстроенное лицо, на котором уже лежала печать обреченности, и, испугавшись, быстро заговорила:

— Вот здесь все написано, как принимать... Это редкое лекарство. Вам... уехать бы из города... В аил... на свежий воздух... попить кумысу... попытаться... — убеждала она, сама не веря, что все это возможно.

— Аруке!..— с горечью сказал Джапаркул.— Может быть, и найдутся родственники, когда я умру... но пока что... горевать обо мне некому. На Иссык-Куле есть у меня одна русская старушка, может, к ней поехать, сколотив деньжат. И писать бы надо. Здесь теперь потеплело, на Иссык-Куле еще холодновато. Ну, ехать так ехать... я... — Джапаркул хотел еще что-то сказать, но остановился. Несколько минут ждал, что скажет Аруке, потом встал, молча заходил по комнате.— Все, все! Довольно об этом,— почти сердито сказал он.— Счастье мое такое! Принесла стихи Искандера?

— Принесла...— покраснев, ответила Аруке.— Уж очень... интимные они... Для большинства людей, наверное, неинтересны будут...

— Давай, давай, большинство составляется из отдельных людей и только потом становится большинством, обществом. Пушкин что, специально для общества писал? То, что он писал одному человеку, миллионы людей читают и получают наслаждение. Дело в самих стихах. Если хорошие — всем понравятся.— Изнемогая от слабости, Джапаркул взял протянутую ему тетрадь.

— У меня стихи его были на отдельных листочках, я все переписала сюда,— сказала Аруке, с волнением и смущением ожидая, что скажет Джапаркул о стихах.

— А где твои листочки? — спросил Джапаркул, перелистывая тетрадь.

— Со мной... — Аруке испуганно посмотрела на Джапаркула.

— Еще правила небось? — сказал Джапаркул, остановив на ней строгий взгляд.

— Одно... два места,— не сумев соврать, виновато промолвила Аруке.

— Тогда возьми свою тетрадь, а мне дай то, что написано собственной рукой Искандера,— сердито сказал Джапаркул.

Аруке вытащила из кармана аккуратно сложенные, чуть примятые листы.

— Себе хотела оставить,— чуть слышно прошептала она.

— Оставь себе то, что переписала, почерк хотела сохранить, так, что ли? — Джапаркул с улыбкой взглянул на Аруке.

Аруке молча смотрела в тетрадь.

Джапаркул разложил листочки и пробежал по ним глазами.

— Я сама разметила страницы, — сказала Аруке.

— Позову-ка я Мырзабека? — Джапаркул вопросительно посмотрел на Аруке.

— Я лучше пойду.

— Ну, как хочешь. Вот, только послушай стихи. — По лицу Джапаркула пошли красные пятна.

Снилось мне колечко золотое.  
Я спросил тогда: — К чему бы это?  
Девушка с такой же красотой  
Приходила полюбить поэта.

Где ж она, зачем она приснилась?  
Отзовись и стань моей любимой,  
Все зову, но ты во сне явилась  
И ушла, прошла куда-то мимо.  
А болльное сердце кто-то мне загубит,  
Если не придет она и не полюбит...

«Молодым уйдет, бедный Джапаркул. Недолго ему осталось жить...» — подумала Аруке, но тут же рассердилась на себя за такую мысль. Она удивленно смотрела на разгоряченного чтением Джапаркула, и жалея его, и любуясь им, и в то же время, сама не зная почему, испытывая к нему какую-то неприязнь.

— Я пойду, заждался, видно, тот дяденька? — тихо сказала Аруке, боясь обидеть Джапаркула тем, что преврала.

— А, уже идешь? — сразу помрачнев, сказал Джапаркул. — Хорошо, хорошо. Еще придешь? — совсем уже ослабев, спросил тихонько.

## 10

Мырзабеку Джапаркул показался озабоченным и расстроенным. «Как он сразу изменился!» — подумал Мырзабек.

— Долго же ты разговаривал. Если это «мы скоро» всегда будет так продолжаться... — пошутил Мырзабек.

— «Тот дяденька» — про тебя сказала, за пожилого видно, приняла, — засмеялся в ответ Джапаркул. Он уже начал приходить в себя.

— А ты не сказал, что я джигит?

— Как я могу, если сама «дяденькой» назвала? — пошутил Джапаркул и вдруг серьезно спросил: — Ты бы мог полюбить Аруке?

— А ты?

— Ах, мой друг! Где уж мне девушек любить? Спроси лучше, когда умру! — Джапаркул вдруг тяжело вздохнул. — Где уж мне...

— Ты это оставь! — испугался Мырзабек.

Пока Мырзабек стоял, не зная, как ответить на тяжелый вздох Джапаркула, пока соображал, уйти ли ему или молча улечься на диван, Джапаркул, полуобернув к нему улыбающееся лицо, как ни в чем не бывало заговорил:

— Аруке молодец. Что я? Она такому джигиту, как Искандер, была бы достойной парой. Чуткая душа... Ах ты, черт, — решительно переменял разговор Джапаркул, — есть к тебе разговор. Почему не напишешь что-нибудь о войне? — Джапаркул разгорячился и сразу закашлялся. — Почему? Если бы Искандер был жив, он написал бы поэму, стихи, может быть, даже роман. У него на все хватило бы таланта. А ты вел заметки, может, у тебя есть записная книжка? Или ты пустопорожний человек, способный лишь других критиковать, вроде Апсамата? Нет в тебе писательского огонька, не захватывает тебя ничто, и вообще, кто ты есть? — Джапаркул прошел к дивану и надрывно закашлялся.

— Признаю, никто я есть, — сказал Мырзабек.

— Вот я тебе прочитаю строфу из стихотворения Искандера:

Умри, по капле кровь пролей,  
Чтоб спасена была свобода.  
Кто плачет о душе своей,  
Когда горит душа народа!?

Ты можешь написать такое стихотворение?

— Не знаю, наверное, нет.

— А почему?

— Потому что я не поэт.

— Есть у тебя что-нибудь написанное?

— Нет...

— Значит, ничего у тебя нет? Значит, написал когда-то несколько рассказов и нос задрал? Толстой о войне как писал! А ты?..

— Не задрал я, — серьезно ответил Мырзабек. — За кого ты меня принимаешь? Я-то буду писать. Обязательно буду.

— Наговорил я много, устал, кажется, — с трудом про-  
изнес Джапаркул.

— Говорить-то наговорил, но не совсем я разобрал, что  
ты хотел сказать. Аруке, Апсамат, Искандер, Толстой,  
Мырзабек — все у тебя перемешалось. Устал ты, отдохни  
немного...

— Отдохни! А себя после Толстого поставил, амины! У  
нас ведь как? Перечислят тех, кто метит в классики, потом  
добавят: и другие. К этим «и другим» относятся такие, как  
и да Искандер. Похоже, ты не хочешь себя отнести к  
«и другим», так, что ли? — Джапаркул рассмеялся.

— Те, кто привык быть в начале списка, возможно, и  
перед Толстым хотели бы стать, я же себя в самый конец  
поставил, — тоже улыбнулся Мырзабек.

— Значит, за Толстым все-таки ты идешь?  
Оба засмеялись.

— Теперь оставь шутки и расскажи толком, — сказал  
Мырзабек.

— Об Аруке хочешь послушать? Хитер ты, все вы, хит-  
рецы, одинаковы, поджидаете, когда другому откроется  
благодать, и шмыг туда. Словно лиса... Я с Аруке разгова-  
ривал о сборнике Искандера. Скоро сдам в издательство.  
Надо было кое-что уточнить. А ты уж... — Он не мог продол-  
жить, лицо его порозовело, глаза лихорадочно заблестели,  
в них появилась смертная тоска, щеки начали подерги-  
ваться.

Что бы ни говорил, как ни рассуждал, о чем бы ни ду-  
мал Джапаркул, все равно все его помыслы после Искан-  
дера сводились к Аруке. Когда он думал о себе, ему каза-  
лось, что жизнь его получит смысл и интерес, если он же-  
нится на Аруке. «Почему бы мне не жениться на невесте  
своего товарища, почему бы не поговорить», — думал он. Но  
тут же вспоминал о своей болезни, и все рушилось, жизнь  
снова становилась бессмысленной, он сравнивал себя с де-  
ревом, которое засохло именно в тот момент, когда на нем  
только что завязались плоды. Если в таком настроении он  
встречался с Аруке, все становилось ему не мило, он мог  
думать только о смерти. Вот и сегодня после ухода Аруке  
настроение его испортилось, он не знал, на чем и на ком  
сорвать зло. Вдруг приревновал Мырзабека к Аруке, сам  
же выдумал и сам расстроился. Мырзабек сразу понял это.  
Значит, все, что говорил он об Аруке, было неспроста, Джа-  
паркул все понимал и в то же время ничего с собой не мог

поделать. Мырзабек поклялся себе, что никогда не заговорит с ним об Аруке и не сделает ему больно.

Мырзабек лежал без сна на диване. Болезнь Джапаркула обострилась, подремлет немного и зайдется в мучительном кашле. Теперь и захочешь — не уйдешь к себе, как оставить его одного в таком состоянии...

Мырзабек думал о своей жизни. Кто он? Куда идет? Есть ли у него идеалы и какова цель его существования? Кажется, все ясно, жизнь, как спелое яблоко, перед ним, протяни руку и сорви, но рука встречает пустоту, опора уходит из-под ног, вокруг пусто, ничего, что грело бы душу, и дел, сделанных его руками, не видеть. С чего он должен начать? Сначала учился и только было собрался жить, только хотел взяться за дело, пока еще примеряясь, как ученик, с какого бы конца подступиться, грянула война. Мырзабек воспринял ее как испытание судьбы. Эта война была войной за жизнь, за право жить, за право быть свободным и самостоятельным вместе со своим народом и своей страной. Его идеалы, к которым он стремился еще со школьной скамьи, цель, которая, казалось, светила ему еще с детства, оказались в опасности, на них посягнул враг. Мырзабек одним из первых отправился на войну и был в числе тех, кто раньше других понял, какая страшная беда, какая трагедия обрушилась на страну и как много придется испытать и вытерпеть нашему народу. Людей, которые жили в стороне от великих идеалов века, тонули в мелочных житейских заботах, не умели быть выше интересов своего желудка, которые спасали свою шкуру, Мырзабек с первой же минуты начинал ненавидеть. Это чувство ненависти и презрения к подобным людям укрепились в нем на фронте, когда он взял в руки оружие.

Война еще продолжается. Она вступила в ту фазу, когда вот-вот решится судьба родины, и в такое время Мырзабек выпал из игры, оказался негодным для фронта и приехал домой. Чем он теперь должен заниматься? С чего начать? Учился, получил высшее образование. Хоть сколько-то воевал. И остался живым. Кому все это нужно и для чего: и то, что он учился, и то, что воевал и остался живым? «Счастливчик! Отвоевался уже, валяй теперь дальше, если способен на что-нибудь... — читает он в каждом взгляде. — Любая работа только и ждет тебя. Писателем хочешь быть — все журналы твои. Путь к славе для тебя открыт. Никто тебе рук не свяжет и не станет поперек до-

роги. Жениться пришла охота — выбирай по вкусу. С чего хочешь начинать, воля твоя. За тобой дело...»

Мырзабек так ни до чего и не додумался. На фронте все казалось проще, готов был горы своротить, драться до конца. Куда девалась эта уверенность и жажда деятельности? Мырзабек ворочался с боку на бок, а рядом ворочался и кашлял его товарищ. Вот он тяжело застонал. «Ах, чтоб тебе!.. И где ты подобрал эту болезнь, такой еще молодой? Как ему помочь? Военное время, умрет же, если не поддержать! О чем они говорили с Аруке? Не одни стихи она принесла ему. Может быть, лекарства? Такие не любят показывать свою болезнь. Аруке... Бермет... девушки, обе несчастные. Нет, почему несчастные? «Умирает — умирающий», — говорят киргизы. У живого живые заботы. И все в конце концов забывается, стирается в памяти. Чего я тут голову ломаю? — рассердился вдруг на себя Мырзабек. — Когда смерть теню ходила за мной, я любил жизнь и все живое, мечтал долго жить. Вернулся живой, теперь все в моих руках. С чего начать, говоришь? Чему ты учился? Геология! Вот и начни с нее, копай землю! Рассказы, литература, а разве одно другому помеха?» — решил Мырзабек и уснул.

## 11

Невестка Молдообраима, Бубукан, как уехала к матери после родов, «пока не поправится», так больше и не вернулась. В аиле стали шушукаться, что свекровь выжила невестку. Мало было сплетен, к тому же еще перестали приходить письма от Болотбека, и Молдообраим совсем приуныл. Колхозных стариков собрали в особую группу и во главе поставили Молдообраима. В работе да хлопотах Молдообраим, хоть и не переставал оплакивать сына Джанара и зятя Джаманкула, все же немного рассеялся; не то чтобы он был толстокожим, а просто крепился и на людях держался молодцом. Когда мир в семье нарушился, он, ссылаясь на работу, вовсе редко стал бывать дома. Вернется поздно, молча поест и ляжет, со старухой почти перестал разговаривать.

Бранчливая Калыча вроде притихла малость, не то из чувства вины, не то оттого, что повода не находила для ссоры; на детей, правда, набрасывалась, если Молдообра-

има не было дома, но, когда появлялся старик, ходила молчаливая, присмирившая. Ни он, ни она не заикались пока о том, чтобы привести Бубукан домой. Молдообраим не хотел заговаривать первым и ждал, как поступит старуха. Калыча молчать-то молчала, но в душе бушевала буря. «Чтоб ты подохла, была бы мне хоть родная невестка, а то ведь перодная!» — злилась она на Бубукан, а заодно и на защищавшего ее Молдообраима, скрежетала зубами, проклинала Бубукан, ибо уход невестки падал позором на одну ее голову. Она и не догадывалась, что сама Бубукан тяжело переживала и оплакивала свой уход, кляня судьбу за то, что дала ей не родную свекровь, а мачеху.

Как-то вечером, когда Молдообраим и старуха сидели молча и дулись друг на друга, с шумом ворвался Сулейман. После недоброй вести о сыне Сулейман ходил понурый, молчаливый, будто набил рот толокном. Не успел Молдообраим удивиться Сулейману, как тот закричал:

— Суюнчу, Молдоке, суюнчу, джене! Сын мой жив-здоров! Живой мой сынок!

— Дай бог, дай бог... — будто известию о собственном сыне, обрадовался Молдообраим. — Тогда и я тебя порадую, гони также суюнчу! — весело крикнул он.

— Батюшки! У вас что за радость? — пуще самого Молдообраима обрадовался Сулейман.

— Знаешь, что у тебя есть сноха?

— Нет, Молдоке, не знаю!

— Ну, так знай: дочь Чотура Бермет будет тебе старшей снохой. Я держал это про себя, не говорил, а тут, на радостях, раз твой сын жив, не могу скрывать больше. Что скажешь? — выпалил он, схватив Сулеймана за полу халата.

— В рот тебе каши с маслом, Молдоке, спасибо за новость! — Забывшись от радости, Сулейман назвал его на «ты». — Ничего не жалко за это, один ягненок ваш! Что и говорить, Молдоке, Шааркан и Уулкелди сразу выздоровели и у самого будто крылья выросли. Ну, джене, что на суюнчу дашь? — обратился Сулейман к Калыче, которая стояла растерянная, чувствуя себя здесь чужой, ненужной. Но слова Сулеймана будто вдохнули в нее жизнь, на застывшем лице появилась улыбка.

— Дай бог счастья твоим детям, бери вот этот ширдак... — от души воскликнула она и тут же заплакала.

— Не я ли говорил вам, что джене щедрая! Бог мило-

отив, вернул мне сына. Молдоке, неужели вы правду сказали про сноху? — не потому, что не поверил ему, а просто от радости переспросил Сулейман.

— Еще какую правду! Когда в Каракол ездил, слышал об этом, потом дочь расспросил, и она подтвердила. Стал бы и зря болтать? Ну, даст бог сыну жизни, вместо одного сраву двоих получишь, — сказал Молдообраим, все еще удивляясь, как это вдруг смягчилась Калыча, и предчувствуя, что вечером что-то между ними произойдет. Признаться, Молдообраим стал уже мечтать, чтобы кто-нибудь из близких помирил его с женой.

— Джене, пусть ширдак твой полежит у тебя, сама принесешь, когда мой Кыдырбек вернется и приведет в дом сноху, лучше одолжи мне немного зерна, туговато у нас нынче. За нами не пропадет, и мы вас при случае не оставим без помощи, — сказал Сулейман, не очень, правда, надеясь, что разживется у них зерном.

Колхоз был многоземельный, сеял и пшеницу, и ячмень, и коноплю, поэтому жили тут сытнее, чем в других колхозах, к тому же никто из женщин не мог обогнать Калычу в работе, трудней у нее бывало больше, чем даже у Молдообраима. С хлебом, конечно, и у них не густо, зато было смолотое на ручной мельнице кукурузное толокно, все-таки немного кукурузы собрали они со своего огорода. Молдообраим пока молчал, выжидая, что скажет Калыча.

— Берите кукурузы на толокно, с пшеницей, сами знаете, беда, дотянем ли с толокном-то до нового урожая, — привалась Калыча.

— Благослови вас бог, было бы дома толокно, стал бы я просить? — обрадовался Сулейман. Молдообраим тоже остался доволен женой и сказал:

— Надо делиться друг с другом, вы в горах живете, а мы вот в житнице, на широкой Чу, и то еле кормимся, на трудной нынче не выдали, все ребятам на фронт отправляем, а вообще-то наш колхоз всегда был зажиточным. — Ткнув Сулеймана в бок, не догадается ли, мол, Калыча отсыпать немного пшеничной муки, он подчеркнуто громко спросил его: — Значит, без хлеба сидите, говоришь?

— Без хлеба остались. Как пришла весть от Кыдырбека, байбиче, не отходила от супуры<sup>1</sup>, всех подряд угощала

<sup>1</sup> Супура — подстилка из выделанной овечьей или козливой шкуры для раскатывания теста.

чаем. Ой, Молдоке, верно ли это насчет снохи-то? Скажу своим, у них сердце выскочит от радости! Молдоке, а Молдоке! — тербил его Сулейман.

— Что делает радость с человеком, а! — усмехнулся Молдообраим, но, вспомнив про свою сноху, вздохнул и опустил голову.

Сулейман догадался, в чем дело, спросил:

— А где ваша сноха? Что-то не видно, мальчонка-то растет?

После неловкого молчания неожиданно подала голос дочь Калычи, Шуру, которая очень любила джене Бубукан.

— Джене обиделась на маму, уехала к родителям и не вернулась, по Сапарбеку скучаем...

— Ну? — испуганно воскликнул Сулейман.

— Заткни рот! Чтоб отсох твой язык! — прикрикнула Калыча на дочь. Потом взглянула на Сулеймана и улыбнулась. Но это была вынужденная улыбка человека, пытающегося скрыть свою досаду, стыд и злость. — Это правда, повздорили мы малость со снохой, рассеянная больно, приходится учить да указывать, видно, обиделась... привезу ее. С утра до вечера работаешь, как вол... а она тут чухается, вот и вспыхнешь ипой раз... Завтра же поеду к сватье с ночевкой и непременно привезу... И дети соскучились по ней, — уже забыв о стыде, с облегчением произнесла Калыча.

— Не оставляй Сапарбека, мама! — крикнула Шуру и на радостях крепко обняла и поцеловала сестренку.

Если бы Калыча и Молдообраим были одни, они наверняка поругались бы, но при Сулеймане этот опасный разговор прошел гладко. Решили съездить за снохой. Так к доброй вести Сулеймана прибавилась и эта радость семьи Молдообраима, особенно обрадовались дети. Как будто бы в дом, помрачневший без Бубукан, заглянуло солнце.

— Не потрясешь ли мешочек с мукой, авось наберется немножко, а нам бог еще пошлет, — сказал Молдообраим своей старухе, давая понять тем самым, что он больше не сердится.

Калыча не стала ворчать, чувствуя себя виноватой, и Молдообраим остался ею очень доволен.

— Ну, Молдоке, спасибо тебе! Потряси, джене, уж потряси, милая, когда у нас будет, с лихвой верну, сам же и привезу, — говорил Сулейман.

— Остаточки-поскребышки в полосатом мешочке, кто

на них зарится, из того душа вон...— запричитала Шуру, шутиво сложив горсточкой руки.

— Что, что? Что она говорит? — с притворным удивлением спросил Сулейман, а Молдобраим заметил сквозь смех:

— Выдала, выдала, в мешочке осталось, теперь уж не спрячешь.

— Не девка, беда! — сказала Калыча и, постелив скатерть, поставила перед Сулейманом горячую джарму.

— Говорят, из Бермет хорошая девушка выросла, как вам она приглянулась тогда у Джамалкан? — спросил Сулейман. Считая Бермет своей невесткой, он уже хотел знать о ней больше.

— Плохая не стала бы ждать твоего сумасброда, а выскочила бы за Сарыгула. И сыта, и одета была бы... Да, к слову пришлось, говорят, какую-то девушку из города привез? — Молдобраим вопросительно посмотрел на Сулеймана.

— Привез, а толку-то. Приехала бывшая жена с сыном — да и выгнала молодую, такой скандал закатила. Сарыгул избил ее, а она запаслась справкой от врача и судиться собирается. Вот он и ходит следом за Молдошем, просит уладить. Впрочем, и суд, и прокурор, говорят, его дружки-приятели. Мало того, и в военкомате, видно, свои сидят, иначе как же его не берут в армию? — рассердившись, сказал Сулейман. — Разъелся, собачий сын... Однако пора коня расседлать да покормить. Завтра спозаранку тронусь. Собери, джене, чего там приготовила.

Калыча вышла.

— А тут отец убивается, больно невестка, говорит, хорошая была, — пожалев отца Сарыгула, сказал Молдобраим.

— Сарыгул — дурень-то ваш, а работает у нас. Негодйй, говорят про него. Отъелся и жеребцом кидается теперь на девчат да на молодых... — Оглянувшись, Сулейман осекся.

— Что за девушку привез? — Молдобраим пристально посмотрел на дочь. Она готовила уроки за маленьким столиком, но уши наострила. — Эй, Шуру, иди-ка посмотри, что мать делает в амбаре? Есть у тебя мешок какой-нибудь, Сулейман?

— Есть, есть, в тороках.

— Иди, скажи матери,— Молдообраиму хотелось отослать дочь.

— Мама и сама найдет, у меня уроки,— заупрямилась девочка.

— Иди, тебе говорят!

— А городская,— продолжал Сулейман, когда Шуру вышла,— ходит опозоренная, ни уехать не решается, ни остаться. На улицу не может глаз показать, прячется в чьем-то доме. А жена грозит: здешний суд не примет дело, подаст в областной. Правду говорят, Молдоке, будто Сарыгул и к Бермет подъезжал?

— Крепко было взялся, в Каракол специально ездил, за моей спиной и за спиной Чотура через Джамалкан вел переговоры, все ей высказал, чего не смел самой Бермет сказать. Но уехал с носом. Когда бываю в городе, вижу Бермет. Как тополек вытянулась, но чтобы озорства какого, кажется, ни-ни. А какая же из себя девушка Сарыгула? Пойдем в другую половину, пусть девочка уроки готовит. Эй, Калыча! — крикнул Молдообраим и повел Сулеймана в чистую половину дома.

Вошла Калыча.

— Все приготовила.— Она подсела к ним.— О чем вы тут?

— О, джене, раздражил меня Молдоке невесткой. А та, значит, Сарыгулова, будто бы из института?

— Вроде вместе учились с твоей невесткой. Не дал ей учебу закончить, рыжий пес,— сказал Молдообраим.

— Вот и крутись теперь между двух жен. Значит, у Бермет с Кыдырбеком завязано крепко? Дай бог, дай бог! То-то же Чотурова байбиче, Канышайим, и горе наше и радость больше нас переживала... Видно, знала про дочкины дела. А вы что скажете, джене?

— Может, и знала, они с дочкой как подружки.

— Говорят, ездила к ней на днях,— как тайну, прошептал Сулейман. До полуночи сидел он с хозяевами и не наговорился, и спать некогда было, а утром с легкой душой уехал к себе в аил.

Получив письмо и увидев на конверте собственноручный почерк Кыдырбека, Бермет не поверила самой себе, глаза ее застлал туман, буквы расплылись и смешались.

Сжав в руке конверт, она кинулась на улицу. Люди удивленно оглядывались на бежавшую сломя голову девушку. Наконец, задыхаясь и обессилив, упала с разбегу лицом вниз.

...Когда очнулась, увидела склонившееся над ней старческое лицо. С кружкой в руке старуха что-то шептала бледными губами, потом спросила по-русски, разборчиво:

— Что с тобой... дочка?

Бермет, смущенная до крайности, поднялась, посмотрела вокруг. Она была в незнакомом дворе. «Не видел ли еще кто, стыд-то какой?» — подумала она и с робкой улыбкой обратилась к старухе:

— Что со мной было, бабушка?

— Думала, ты от собаки или от кого другого бежишь, вылетела во двор к нам и растянулась тут, болит где-нибудь, дочка? — ответила старуха, отряхивая на Бермет платье. — На, водички попей.

Бермет выпила всю кружку.

— Можно я посижу у вас, бабушка? — попросила она.

— Посиди, дочка, отдохни, вот скамейка, сиди сколько хочешь, — скороговоркой ответила старуха.

Она напомнила ей мать, такая же ласковая и добрая. Бермет села на скамью, стала смотреть на конверт, потом осторожно надорвала его, вытатила письмо и начала читать. Старуха ходила по огороду, будто занятая чем-то, но глазами косилась на Бермет. Во дворе было тихо, деревья медленно покачивались на ветру, млея под теплым солнцем, с ветки на ветку перепархивали воробьи. Молчаливая и какая-то уютная фигурка девушки в белой блузке, склонившей красивое лицо над письмом, точно вписалась в этот тихий, чистенький, нагретый солнцем двор. Казалось, здесь она и родилась, и выросла.

— Что случилось-то, доченька, ты плачешь? — послышался ласковый голос старушки.

— Письмо, бабушка... Думали, умер, а вот письмо пришло...

-- Значит, живой? — Лицо старушки изменилось, губы сморщились, и она всхлипнула, как ребенок. — Сынок, сынок мой... Родимый... — Она вытерла глаза и, подперев рукой щеку, покачивая головой, жалобно стала смотреть на Бермет.

— Что с вашим сыном, бабушка? Что с ним? — участливо спросила Бермет.

- Нет его, без вести пропал. А с твоим-то что?  
— То же самое было и с ним...  
— Вот и мой сынок, а теперь, что же, объявился? — не поверив, переспросила старуха.  
— Живой, бабушка. Письмо от него, сам пишет.  
— Может, и мой жив? О господи!.. Правда это, дочка?  
— Правда, правда, бабушка, ваш сын тоже вернется, живой он, — убежденно говорила Бермет. Ей казалось, что все, кто «пропал без вести», не умерли, все они найдутся и придут домой, сейчас она несколько не сомневалась в этом.  
— Дай-то бог, деточка, чтоб вернулся... А кто он тебе? — Старушка немного успокоилась и опять ласково заулыбалась.

Бермет не сразу ответила. «Сказать или нет? — Но тут же решила: почему же не сказать? Она как мама отнеслась ко мне, плачет и радуется вместе со мной... Ведь и мама так же плакала, когда узнала о моем горе, утешала, оберегала меня...»

— Это мой жених, бабушка... — заблестевшими от счастья глазами Бермет посмотрела на старушку.

— А-а! Счастливая ты невеста, и жених твой счастливый... Надо же, в обморок, бедняжка, упала. А бежать, зачем бежала, вроде гнались за тобой?

— Не хотелось никого видеть, хотелось одной остаться, да невзначай попала к вам во двор... — Бермет смутилась.

— Не стесняйся, доченька. Это хорошо. Тебя, деточка, бог ко мне послал, утешила ты меня, надежду вернула. Видно, хороший парень, если от радости память-то потеряла. — Старушка ласково заглядывала в глаза, гладила Бермет по голове, поправляла ей упавшие на лоб волосы. — Вот и карты говорят, что вернется сынок, — оживилась она. — Каждый день гадаю. А еще выходит, что много наград получил. Сын у меня на заводе работал, вместе с невесткой, только-только поженились. Невестка до сего дня там, на заводе, и старик мой там, а я в огороде копаюсь да еду им готовлю. Невестка молчит пока, захочет уйти, не стану держать, чужой век заедать — перед богом грешно. Ох, и обрадую их, как придут. Забеги к нам вечером, доченька... И письмо возьми. Он тебе как, по-русски пишет или по-вашему?

— Писал по-киргизски, а теперь вот по-русски, — ответила Бермет...

— Ну и принеси, почитай нам. Звать тебя как, милая?

— Бермет.

— Меня Анной Ильиничной величают, старика моего Кириллом, а певестку — Клавой. Придешь-то? — Анна Ильинична грустно улыбнулась.

— Приду, бабушка, — сказала Бермет, решив, что сделает это непременно. — Обязательно приду.

### 13

После того как Бермет очнулась, ей стало так легко, так хорошо, будто какую-то тяжесть сняли с души, только сердце все еще колотилось и во всем теле чувствовалась приятная слабость, хотелось лежать и не двигаться и ни о чем на свете не думать.

В этом состоянии она вошла в институтский двор. Вдруг ее окликнули: «Бермет!»

Бермет вздрогнула и обернулась на голос. Навстречу шла Сабира. Сердце будто замерло. Бермет поежилась, как от чего-то холодного, неприятного.

Сабиру словно бы лихорадило, лицо ее то бледнело, то покрывалось красными пятнами.

— Прости меня, Бермет, прости! — глухо сказала она. — Руку бы протянула, да боюсь, оттолкнешь. Посидим немного, скажу тебе несколько слов и уйду, исчезну навсегда. — Сабира смахнула выступившие слезы и подняла глаза на Бермет. — Тут люди ходят... Отойдем, Бермет, милая, хорошая моя...

Бермет стало жалко Сабиру. Как ни неприятна была эта встреча, у нее не хватило духу отвернуться и уйти. «Идем!» — и первая направилась к выходу. Они быстро прошли по улице и попали в парк. Здесь, на одной из боковых аллей, присели на скамью. Сабира тут же зарыдала. Она плакала взахлеб, шмыгая носом, глотая катившиеся по лицу слезы, судорожно вздрагивая и задыхаясь от рыданий.

Бермет не мешала ей плакать, сидела молча. И когда Сабира начала свой горестный рассказ, тоже молчала и слушала не перебивая.

— Бермет, я предала тебя, твою дружбу, твоё доверие, твою доброту — все предала. Черт меня замутил, гад в чело-

веческом образе. Он меня сбил с толку. Я же... оказалась просто бабой, трижды бабой! Была бы человеком, не пошла на такое. Бабе нужен был мужик, и только он появился, она махнула на все рукой, от всего отреклась. Знала, что не то делаю, знала, что стыдно. Закрыла глаза и очертя голову бросилась в этот позор. Понимала, что ты догадывалась, и плакала, ругала себя... Но как замороженная сама шла к своей погребели!.. И стубила себя! Все болит — и тело, и душа, и совесть. Что мне тебе говорить, сама видишь, вот я вся, опозоренная, униженная, погибшая женщина. Ты не из тех, кто бьет лежачего, ты не станешь меня упрекать сейчас, когда я сама себе самый строгий судья. Ты выше мелких чувств и обид. Я ведь хорошо это знала и все же, когда ты назвала меня «несчастной», все повернула по-другому и, чтобы оправдать свой поступок, тебя же обвинила в зависти. А ты ведь хотела меня удержать. Вот теперь я действительно несчастная, жалкая, жалкая в полном смысле этого слова. Опозоренная стою перед тобой и прошу прощения. Прости меня, Бермет!.. Мне недолго осталось жить, но я не могу уйти, не получив твоего прощения. Прости меня, Бермет, и прощай. Жить в таком позоре я не могу. Уйду я, совсем уйду...

— Замолчи, Сабира! Ты с ума сошла! И чего унижаешься так, ты ничего мне плохого не сделала, только рану себе растравляешь! Вспомни, какая ты была — веселая, неунывающая!..

Сабира не дала ей договорить.

— Это я не виновата перед тобой? Ты многого не знаешь! Он честил тебя всячески, призывая на тебя несчастья, и позор, и унижения, а я спокойно слушала его. Ты помнишь, как я стояла за Кыдырбека, уговаривала тебя, отваживала от тебя других ребят? И я же слушала, как этот злодей желал Кыдырбеку смерти, и не выцарапала ему глаза, не вырвала язык. Вместо этого легла с ним в постель, его бабой стала. И ты говоришь, что я не виновата перед тобой? Я предала тебя, я изменила нашей дружбе!

— Будет, будет! Перестань, пожалуйста! Сабира! Несчастливая ты моя! — В порыве сострадания Бермет крепко обняла Сабиру.

— Не могу я перестать, Бермет, я должна все высказать. Думаешь, я не понимала, что делала? Понимала, но не хотела смотреть правде в лицо, не хотела слушать никого, не хотела понимать. Ты же была живым упреком для

меня, потому так грубо и порвала с тобой, мне пужно было развязать себе руки. Думаешь, я не мучилась потом? Мучилась, но постепенно привыкла, убедила себя, что права. Чтобы сделать что-нибудь плохое, бесчестное, надо, оказывается, закрыть глаза на хорошее и прежде всего убить хорошее, доброе в себе. Лгать себе, лгать другим, белое называть черным, черное — белым. И самое страшное: я оказалась способной на это! Идя на позор, я могла с гордым видом пройти по улице, нагло смотреть людям в глаза. Я думаю, не бывает людей злых по убеждению. Когда совершают низость, люди знают, что они делают, но закрывают глаза, затыкают уши, чтобы не слышать упреков совести, не видеть людских глаз, и отрезают себе пути к отступлению. А там уже остается одно: катиться вниз. Ты говоришь, Бермет, что я была не такая, что я была веселая, неунывающая... Веселость моя была от легкомыслия. Я как волчок — кто закрутит, с тем и кручусь, кто куда повернет, туда и я иду. Несамостоятельная я. Мне бы искать поумнее себя, твердого, с характером. А я попала в руки пустого, бездумного человека, мало того, насквозь испорченного, изолгавшегося, прогнившего. Кому я бросила себя под ноги? Этому стервятнику, этому мерзавцу...

— Хватит тебе, хватит терзаться. Растрвила меня, сейчас заплачу...

— Ах, Бермет, Бермет! Подружка ты моя бывшая! Ты еще жалеешь меня, сердце у тебя доброе, отзывчивое на чужое горе. Не знаешь ты, ничего не знаешь! А то бы давно вскочила и убежала...

— Никуда я не убегу от тебя, молчи лучше! — Бермет крепче прижала к себе Сабиру.

— Не останавливай, Бермет, дай выговориться. Я не все еще сказала. Знай же, что я тайно ненавидела тебя! Не удивляйся, правду говорю. О боже, как человек может быть низок и подл! Хоть бы считала тебя плохой, злой или хитрой. Нет же, без всякой причины ненавидела, потому что завидовала тебе, твоей красоте, уму твоему, даже отличной учебе твоей завидовала. Особенно когда спуталась с этим подлецом, — он обливал тебя грязью, а я, как баба, подстраивалась под него. Ты презирала, ненавидела и отвергла, а я связалась с этим человеком и скрывала от тебя. Была самоуверенная, думала, сама добуду свое счастье, все поверну по-своему, заставлю мужчину быть таким, каким я захочу, а добившись своего, плюну на таких, как ты, и

пройду мимо. Плюнула! Сижу вот оплеванная, растоптанная перед тобой. Как я на людей теперь посмотрю, как на тебя подниму глаза?

— Сабира,— взмолилась Бермет,— не надо больше, не надо!

— Ты прощаешь меня, Бермет, но я-то себя не могу простить. Не мешай мне, выслушай до конца. Я, завидовавшая тебе, предавшая тебя, лежу теперь в грязи, а ты еще краше стала, ты дождешься своего Кыдырбека, будешь с ним счастлива. Я знаю, что он живой. Вырастите сыновей, дочерей, похожих на себя... И если ты вспомнишь меня, расскажи своему Кыдырбеку, пожалейте меня, помяните меня добрым словом... Я все теперь сказала... Прости меня, Бермет, прости свою Сабиру...

— Забудем о прошлом и поговорим по-хорошему, как друзья. Дай я тебе вытру глаза, не плачь больше.— Бермет платком вытерла ей слезы, обняла и стала думать, что делать дальше.

Сабира тяжело вздохнула и, опустив голову, молчала. Она уже выговорила, выплакалась, сидела притихшая, ослабевшая, будто задремала. Потом медленно подняла голову и грустно посмотрела на бывшую подругу. Бермет нравились раньше ее глаза, они всегда улыбались, было в них какое-то озорство, неунывающее веселье и располагающая к себе ласковость. Теперь они были полны тоски, зрачки безжизненно смотрели из глубины, черные круги лежали под глазами. Лицо похудело, щеки впали, губы были сухие, не узнать прежней Сабиры. «Как она изменилась, и за такое короткое время! С ней что-то еще случилось,— подумала Бермет.— Все это неспроста». Но спросить Сабиру постеснялась. Потом успокоила себя: ничего особенного, просто устала, измучилась. И, не разрешая себе по отношению к Сабуре другого чувства, кроме сострадания, стала прикидывать, как бы помочь ей, как вывести ее из этого состояния обреченности. Сабира догадалась, о чем Бермет думала.

— Прошу тебя, не рассказывай никому обо мне,— усталым, бесцветным голосом тихо сказала она.

— Забудь обо всем и вернись в институт,— стараясь подбодрить ее, сказала Бермет, но тотчас представила, как ей трудно будет теперь, ведь все знают об этой истории.

«Нет, ее надо увезти куда-нибудь»,— решила она, еще не зная, куда и как ее увезти.

— Бермет, видно, ты не поняла меня! Почему я тебе все это рассказала? Я все уже взвесила и твердо решила, хотелось только с тобой встретиться, попросить прощения и высказать все, что наболело, для этого и пришла к тебе.

— Я поняла, можешь не говорить. Но если уж пришла, я тебя из рук не выпущу. Знай это. Я отлично тебя поняла. Но пойми и ты. Пустое ты задумала. Это не выход. Надо быть выше, сильнее. Ты забыла, кто ты? Подумай-ка...

— Не забыла я, Бермет, все помню. Но так решила. Потому что нет у меня другого выхода. Как я появлюсь в институте? Как посмотрю на ребят?..

— Ну вот, все обошлось, дела твои уладились, теперь расскажи мне, как все получилось? Могу я задать тебе этот вопрос? — улыбнулась Бермет и устроилась напротив Сабиры.

Они сидели у городской джене Сабиры. Джене была на работе, брат Сабиры в армии.

Бермет с помощью комсомольцев и деканата выхлопотала у директора института годичный академический отпуск для Сабиры. Было решено, что год этот Сабира будет работать. Сабира уже не заговаривала о смерти и стала постепенно приходить в себя.

— Вначале я боялась встречаться с тобой, написала письмо, в письме все высказала, а сама... решила покончить с жизнью... каким образом, тогда еще не придумала. Но ты все время стояла перед глазами. Тяжело было умирать без твоего прощения. Даже перед смертью человек, оказывается, думает не столько о смерти, сколько о том, чего не успел сделать. В думах разных совсем извелась. Все завертелось перед глазами. Нет ничего труднее, чем уносить в могилу чувство вины и раскаяния. Не вынесла этой тяжести и пошла искать тебя... Теперь расскажу, как все было. Ты ведь хочешь этого...

Сабира все еще была бледная, изможденная, грустная. Бермет недаром первое время боялась за нее и не отходила ни на шаг.

— Как все было... — грустно повторила Сабира. — Если не считать смерти, то всего труднее рассказывать о таких делах. Когда ухаживал негодяй этот, обещал золотые горы. А я, несчастная, поддалась, ослепла и оглохла... Ах, дурость какая! Так вот и обманываются девушки. Я говорю

о таких легкомысленных, как сама... Вышла на улицу через несколько дней, все, кажется, на меня глазают. И мужчины, и женщины. Пройдет компания какая-нибудь, подталкивают друг друга, шепчутся и вроде на меня показывают, а то еще захохочут. Я растерялась. Встречу кого на улице, покраснею со стыда и задрожу. «Да что они, людей не видали или я для них особенная какая?» — думаю про себя. Спрошу негодяя того, а он пьяно смеется: «Могла отца, просто не видели такую красотку, как ты, и одеваешься по-городскому... Они же колхозники». Трезвый не приходил домой, и я целыми днями одна, взаперти сижу, на улицу глаза боюсь показать... Пришла однажды молодая женщина, ребенка за руку держит. Будто насквозь взглядом меня пронзила, побледнела, на пороге остановилась.

«И что же вы тут делаете, барышня? — спрашивает. Испугалась я, слова не могу вымолвить. — Решила счастье найти в этом доме? Вот и я поверила когда-то медовым речам его, а теперь осталась на улице с ребенком. Видно, и ты дура вроде меня! Видишь, какая я стала с ним, от докторов не вылезая. Драться за него не собираюсь. Лучше подальше от него быть. Отвез меня к родителям и хоть бы взглянул раз, хоть бы рубашку ребенку или рублевую игрушку прислал. Ты меня не бойся, я тебя не трону. Я с этим негодяем рассчитаться приехала».

«Негодяй» — это ее слово. Не успела я ответить ей, и негодяй вернулся. Рассвирепел, заорал с порога: «Вон!» — Не узнала я Сарыгула. Разбойник — и все. Слова не дал сказать жене, выталкивает за дверь, ребенок кричит, а он его за руку тащит. Бросилась я на помощь, вдвоем еле отняли ребенка. В глазах у меня потемнело...

«Не бей невинную женщину, негодяй ты!» — кричу.

«Я негодяй? Кто тебя научил? Не эта ли?» — и пошел ногами пинать жену. Я бросилась на помощь, но он так двинул меня, что мы с мальчиком к стене отлетели. На крик прибежали соседи. Насилу справились с бандитом, увели его. Дома остались мы, две жены этого негодяя, и мальчишка. Позор-то какой!

«Не говорила ли я, что тебя ждет с ним? — Женщина обняла меня. — Не обижайся, девушка, я его под суд отдам!» — говорит. Взяла за руку плачущего мальчика и ушла. Вижу, не жизнь мне здесь, я тоже ушла, сбежала. Вот и все, что со мной было. Так и пошло прахом нечестно

добытое счастье. От стыда и горя решила умереть. И умерла бы, если б не ты.

«Морщинки появились, постарела». Бермет внимательно разглядывала бледное лицо Сабиры.

— Что, постарела? — заметив это, спросила Сабира. — Горе за один день может изменить человека. Мотыльком порхала, а сейчас будто с того света вернулась. Хорошая ты подруга, Бермет. Что было бы со мной, если бы ты не захотела помочь? До смерти буду благодарить тебя... — сказала Сабира.

— Оставь это, пожалуйста. Если так, какая же тогда дружба. Одно только прошу: наперед будь осторожней, будь твердой... — Бермет осеклась, не подумала бы Сабира, что Бермет поучает ее.

Но Сабира по-своему истолковала внезапную заминку подруги.

— Не веришь мне? Конечно, понимаю, я оскорбила тебя, обманула. Что делать? Когда-нибудь, может быть, поверишь, — чуть не плача сказала она.

— «Заблудилась — не беда, если вернулась домой», — часто говорила моя мама. Только сейчас поняла смысл этих слов. Я не мстительная, а потом ты мне ничего, кроме хорошего, не сделала. Помнишь, когда я металась, ты уговаривала меня, за Кыдырбека стояла? Каждый день за это благодарю тебя. — Бермет с теплой улыбкой, ласково взглянула на Сабиру.

— Спасибо тебе, сестрица, милая... — Со слезами на глазах Сабира обняла Бермет.

## 14

Прекрасны белые ночи на Урале! Не успеют стуситься сумерки, как небо снова начинает светлеть, и ночи стоят ясные-ясные. Качике помнит, как в Ленинграде в такое же время просыпался он по ночам и думал, что наступило утро. Тогда не понимал он красоты этих белых ночей. Мешали и электрический свет, и городской шум.

Крепко сжимая брезентовый ремень закинутой на плечо винтовки, прислушиваясь к цению какой-то ночной птицы в густых еловых ветках, любуясь прелестью белой ночи, счастливый и радостный Качике шагал взад и вперед на своем посту у летних лагерей. Характеру Качике была

свойственна детская непосредственность и впечатлительность. Сейчас он как раз был в таком расположении духа, радовался всему, как ребенок, всех любил, всем улыбался, жизнь казалась ему необычайно интересной; белые ночи, уральские леса, ночные птицы, мерцание звезд в чистом небе — все приводило его в восторг и переполняло душу жаждой красоты и жизни. Он представил себе Сашу, Апсамата, Люсю, улыбнулся им в душе, хотелось обнять их всех и приласкать. Но, когда мысли его возвращались к жене, мир снова мрачнел, белая ночь теряла свою прелесть. Не было бы этой детскости в характере Качике, настроение его не менялось бы так быстро, иной раз внезапно и неожиданно. Но что-то в этом большом ребенке постепенно, день за днем, менялось, хоть сам он не замечал, не чувствовал этого до времени. Какая-то новая черта, новое качество зрело в его душе и уже готово было решительно изменить его характер, резко повернуть его судьбу, но ни Чынаркан, ни Апсамат, ни даже фронтовые друзья, с которыми он переписывался, никто пока не догадывался о перемене в характере Качике. Сейчас, когда он вспомнил жену, это новое прорвалось сквозь сумрак его души и повернуло его мысли в другую сторону. Мир снова осветлел, снова была чудесная, непередаваемая белая ночь.

Вдруг раздалась позывные московской радиостанции. Качике прислушался, хотелось узнать точное время, долго ли ждать еще смены. Зазвучал мощный голос, по радио передавали приказ Верховного Главнокомандующего.

6 июня 1944 года Советская Армия начала свое великое шествие по Европе. Иначе говоря, наши войска, прорвав целый ряд укреплений врага, переступили границу оккупированной гитлеровцами Европы.

10 июня рота Яшина выступила на стажировку, чтобы в настоящем деле закончить подготовку будущих командиров.

— В наши края едем, Костя, — сказал в поезде Захаров, которого во взводе звали попросту Пашкой.

— Дом у тебя там?

— Да, уже близко. Может быть, жена выйдет к поезду. Я написал ей, — сказал Паша.

— Вот и отлично, но чему ты усмехаешься? — удивился Качике. Только что закончив письмо Апсамату, он на-

чал писать Чынаркан, но письмо не получалось, он порвал его и сидел сейчас расстроенный.

— Ты веришь, что у Пашки жена есть? Он ведь не ты, куда ни приедет, там у него и жена! — съязвил Кабалов.

— Я же моряк, нынче здесь, завтра там, где хорошо примут, там задержусь, потом еду дальше, искать новые места... Но есть у меня одна постоянная. Правда, пока невеста...

Среднего роста, крепыш с короткой толстой шеей, Пашка был безвредный парень, но в обиду себя не давал и не терпел поражений в словесных схватках. Не только по возрасту, но еще по какой-то иной причине он был ближе дружных к Качике.

— Невеста? Только что женой называл? — удивился Качике.

— Тут есть один секрет. Вот сверну большую сигарку и расскажу, — сказал Пашка.

Пейзаж за окном стал меняться. Леса пошли реже, зачастили голые поля среди каменистых холмов, горизонт отодвинулся. Качике, не отрываясь, смотрел на зеленые луга и пашни.

— Хорошая земля у вас, видно, пшеницу сеете, почва вон какая.

— Лучшей земли, чем наша, нигде не найдешь, — сказал Пашка. — Пшеница у нас дай бог, но краше пшеницы у нас девушки, — и, подмигнув Кабалову, добавил: — Этких вот цыган близко не подпускают, это уж точно.

— Я тоже цыган, но меня девки любили, — вставил смуглый и черноглазый Мишка Анкудинов.

Кабалов принялся хвастать, длинно рассказывать, как везло ему с женщинами.

— А вот наши девчата не любят таких болтунов, как ты, — сказал Пашка.

У него были густые черные, будто подведенные, брови, резко выделявшиеся на бледном лице. Да и сам он выделялся среди других. Сильный, ловкий деревенский парень, умел и поговорить, и дело сделать, с товарищами щедрый, общительный, прямой и честный, иной раз бывал упрям, настойчив и тверд, а иной раз уступчив, любил по зубоскалить, созорничать, имел большую слабость к женскому полу. Скрывать ничего не умел и когда рассказывал о своих похождениях, все помирали со смеху.

Несколько раз затянувшись толстой сигаркой самосада, вобрав в плечи и без того короткую шею, Пашка начал свой рассказ:

— Напыюсь, бывало, и пошел по девкам, всю деревню переполошу. Всех распугаю, а с теми, кто поперек станет, лезу в драку.

— И некому было стреножить бешеного? Я бы тебя окунул в речку и держал бы под водой до тех пор, пока не вытрезвился. Ты б у меня взревел не хуже быка,— сказал Кабалов.— Ты б у меня шелковый стал.

Пашка втянул шею, как черенаха, и шмыгнул носом.

— Пытались обломать и не такие, а почище тебя. Ты что — тьфу, и только. Пытались, да отступались, нос и рот в крови. Это я один, а если еще с корешами... Хорошо, бог образумил, почти перестал драться,— сказал Пашка и сощурился в улыбку.

— Как это вдруг?

— Да все жена! — будто сожалел, вздохнул Пашка.

— Какая жена, говорил же, невеста? — опять не понял Качике.

— Ну и что же что не жена! Куда бы я ни запропал, она найдет, из любой драки вытащит, домой уведет. Потихоньку и покорился я Аннушке. Иной раз и ударю, бывало,— зачем лезет. Поплачет — и опять за свое.

— Это невестой еще? — спросил Качике.

— Невестой. И сейчас все невеста,— улыбнулся Пашка. Хорошо смеялся Пашка. Улыбка озаряла лицо, делала его необыкновенно привлекательным, на людей с такой улыбкой трудно обижаться и сердиться.

— Врет, не то что невеста, жена не станет так бегать за мужем. Безмужняя гулящая баба, небось боялась с последним расстаться, вот и уводила от драк. Девушка разве подойдет к пьяной драке, да еще побои потом терпеть... — рассмеялся Кабалов, за ним остальные.

— Если ты правду говоришь, то скажи, чем же ты завлек Аннушку? Может, еще девчонкой связал ее по рукам? — сказал маленький цыган Мишка.

— Совсем нет, хотя я немало попортил девок, и Аннушка это знает. Ее пальцем не тронул, до сего дня,— не моргнув глазом ответил Пашка.

— Если ты такой, Аннушка твоя тоже небось не терялась,— подковырнул Кабалов, любивший насмешки и сальности.

— Сам говорил: «Гуляй,— мол,— раз я гуляю». Нет, не пошла на это,— сказал Пашка, будто обижаясь на свою Анну за то, что не послушалась его.

— Боялась. Боялась, что убьешь,— заметил Мишка.

— Чего меня бояться, я же не зверь, а потом — страхом женщину не удержишь, я и вправду ей говорил, пусть гуляет на здоровье. Что мне, жалко?! Держи хоть на привяжи, если сама себя не соблюдет, не удержишь,— сказал Пашка, обжигая пальцы и губы окурком, но еще старательно затягиваясь.

— Он и с бабой, видно, вот так же старается, как с этой цигаркой,— заметил Кабалов.

— Вот это в точку попал,— сказал Пашка.— А то что же это за любовь!

— А если не любишь? — спросил кто-то.

— Не люблю — так близко не подхожу! — отрезал Пашка.

— Бабник ты, вижу я,— сказал Кабалов.

— Называй как хочешь, это мне безразлично,— ответил Пашка, сворачивая новую цигарку.

— Ну а теперь как же?

— Теперь вроде приутих.

— Хватит о бабах, а то вон ребята слушают, зеленые еще,— сказал кто-то, кто был постарше.

— Значит, все твое озорство, Пашка, в том, что ты женщин обманываешь? И все же толком не пойму, жена тебе Анна или невеста? — спросил Качике, желая дослушать Пашкину историю до конца.

— Говорил же, невеста. Ни разу у нее не был даже, вот какая невеста.

— Напоследок ее бережешь? — сказал Кабалов, чтобы рассмешить ребят. Ребята рассмеялись было, но быстро утихли. Хотелось послушать Пашку.

— Ты, старшина, любое слово в шутку готов превратить. Недаром у тебя и жены нет, ни одна баба добром к тебе не придет, а придут, так без любви, для разврату, потому что насмешник ты, ничего святого для тебя нет...

— А сам-то, сам? — перебил его задетый Кабалов.— Такого, как ты, шатуном называют.

— Каков я, моя Анна лучше тебя знает. И что удивительно, невозможно ее обмануть, по глазам читает. Сколько байки ни рассказывай, все равно не проведешь ее. Вот сказал тогда, гуляй, мол, не обижусь, нет, не поверила. «Хва-

тит, говорит, что один гуляет, оба начнем, и вовсе ничего разобрать нельзя будет». — «Не жди!» — сказал я, когда в армию призвали. «Буду ждать», — плачет. Что мне с ней делать? — Ребята посмеялись, но по-доброму, с сочувствием к Пашке.

— Сказать-то сказала, выдержит ли? — усомнился Кабалов.

— Пашка, думаешь, не соображает? Спросил ее об этом. «Я, говорит, девушка, была бы бабой, может, и не поручилась бы!»

— Вот это молодец! — Ребята запумели, загомонили весело. У них тоже остались девушки, которые обещали ждать.

— Такая девушка и десять лет будет ждать, — серьезно заключил сержант Абрамов. Абрамов был командиром отделения.

— А у меня нет девушки, душа спокойна! — сказал самый молодой среди ребят, чуваш Афанасьев. Абрамов его очень любил и называл «душой взвода».

— Тебе рано еще, у тебя еще молоко на губах не обсохло.

— Конечно, я и целоваться еще не умею, — согласился Афанасьев под ребячий смех.

— У меня тоже нет девушки, — признался Зюльганов.

— И у меня!

— И у меня!

— И у меня. — Таких оказалось много, все они были совсем юны.

— А у дяди Кости? — спросил Афанасьев.

— И у меня, — помрачнев, ответил Качике.

— Жена моя — моя воспитательница, — лукаво улыбнулся Пашка, собираясь еще что-то рассказать.

— Воспитательница? Значит, старше тебя, старуха? Она что, учительница? — Кабалову казалось, что он ползл Пашку.

— Нет, не старше, в Пермском пединституте учится, заочно, а работает действительно учительницей. У меня вот образование маленькое, ушел служить на флот во Владивосток, потом война началась, так и не смог доучиться, да хоть бы и не это, все равно мне до жены далеко...

Кабалов перебил его:

— Ну чего ты заладил: «Жена, жена». Ведь ни разу не переспал с ней. Анна тому жена, с кем без тебя в постель

легла. А ты ходишь все вокруг да около, все надешься. Вот придешь с войны, а она давно уже замуж высочила. Это же закон жизни! — поучительным тоном и чтобы сбить Пашку с толку сказал Кабалов.

— Об этом Пашка раньше тебя подумал, — без запинки ответил Пашка. — Я тебе не Костя, не робкого десятка, меня с толку не собьешь, зубы у меня давно уже прорезались, не одних девок доставал этими зубами, но и таких, как ты, кровью плевать заставлял. Анна сама велела звать ее женой. Потому и называю. Даже аттестат велела послать на ее имя, сама буду, сказала, присматривать за стариками.

— Так она на деньги твои позарилась! — упорствовал Кабалов.

Пашка и тут нашелся.

— Как раз угадал! — засмеялся Пашка. — Живет она со своими родителями. Когда еще дождется аттестата, а уже сейчас помогает моим старикам. Ее отец и мать тоже знают об этом.

— И, конечно, ругают. Будет ли еще мужем, а ты, мол, уже за его стариками ходишь? — Кабалов все еще не хотел сдаваться.

— В самую точку попал! — весело засмеялся Пашка. — Родители ее и сами напоминают, чтоб моих не забывала. Не был бы я Пашка, если бы этого не знал.

— Уму-разуму небось учит? — не унимался Кабалов.

— Ну, попал! — Пашка от души смеялся, сверкая крепкими белыми зубами.

Каждый раз, когда Пашка говорил «попал!», ребята поддерживали его смехом, потому что все получалось как раз наоборот, каждое «попадание» Кабалова кончалось его поражением.

— Ну и догадлив же ты! — сказал Пашка, когда смех поутих. — Если бы хоть ругала! Не ругает. И морали не читает. Подшучивает потихонечку. Что поделаешь, обниму ее, расцелую и смеюсь вместе с ней. А выйду из нормы, оттолкнет рукой и скажет: «Будет, убери руки... Чего зря хохотать!» Или так еще: «Извините, вапе величество, у нас дела, не можем стоять перед вашей милостью, да и вы идите по своим делам!» Мне ничего другого не остается, как улыбаться. Что ответишь такой женщине? Ни поругаться с ней, ни ударить...

— Закружила она голову тебе, Пашка, не иначе, ведьма! — сказал Кабалов.

— Таких, как жена твоя и ее родители, киргизы называют «богоданными». Повезло тебе с ней, Пашка, да и сам ты молодец, если такую выбрал, женой назвал. Вроде и трепач ты порядочный, а человеком оказался. Не знала бы этого Анна, не висла бы на шее. Догадалась, что душа у тебя хорошая, надежная. А то ведь... — Качике, растроганный, замолчал.

— А то ведь ушла бы без оглядки, — поддержал Абрамов.

— Ну, на меня, к примеру, она даже и не взглянула бы, — сказал маленький Мишка. — Но что и в тебе-то любить?

— Сам не знаю, что она во мне любит, — по-детски непосредственно признался Пашка.

— А я уже влюбился в Анну, — пошутил Афанасьев. Вагон весело шумел.

— Я тоже, — серьезно объявил Качике.

— Вот чертяка старик! — гаркнул Кабалов.

За смехом и шутками ребята и не заметили, как подъехали к Перми.

— У меня здесь сестра. Сходим, Костя, перед отъездом? — предложил Пашка.

## 15

Конца-края нету Перми, не так просто обойти ее. Качике шагал по улицам, удивляясь и любуясь старинными каменными домами. Кое-что слышал он об этом русском городе. «Хорошо бы в музей сходить, получше познакомиться», — думал он, слоняясь по улицам. Вдруг на него налетел Мишка-цыган.

— Костя, а я у гадалки был, идем, тебе погадаем.

— Ты же сам цыган, зачем тебе это? — сказал Качике, вспомнив, как цыганки пристают со своим гаданьем. Иногда он протягивал им руку, удивлялся складности их речи, и ему были смешны их предсказания.

— Да не цыгане, слепые. Вытаскиваешь бумажку, а они читают по ней. Пойдем, что ли? Ребята говорят, все там правда выходит, — сыпал Мишка, все еще не отдышав-

пись. — Люди стоят и дрожат, что-то им скажут. А я так вовсе расстроился...

— Что же тебе выпало?

— Нет, не могу, разве что когда соберутся ребята, расскажу для интереса, — сказал Мишка.

Качике стало любопытно, и он согласился пойти к слепым.

На городском пустыре, окруженном деревянными домами, сидело несколько слепых женщин, одна из них держала морскую свинку. Возле них собралась толпа, тут же стояли и товарищи Качике по отделению. Одни смеялись, другие взволнованно, стараясь не проронить ни слова, слушали предсказательницу. При виде всего этого Качике усмехнулся.

— Правду ведь сказала, правду! — удивлялся кто-то, некоторые же молча отходили, расстроенные, с опущенными головами.

— Я ничему такому не верю, но интересно все же послушать, хоть посмеемся, давай погадаем, — сказал Пашка.

Морская свинка вытащила карточку, Качике взял ее и отдал слепой. Слепая пальцами быстро оцупала бумагу.

— На душе у тебя печаль, — тихо, не торопясь, делая ударение на каждом слове и водя рукой по бумаге, заговорила женщина. — И печаль эта от жены твоей...

Ребята, хорошо знавшие семейные дела Качике, засмеялись. Качике был потрясен.

— Вот так, Костя, попался! — подзадоривал Кабалов.

— В руках жены остался на муки близкий тебе человек...

— А ведь дочка! — хлопнул себя по бедрам Кабалов.

— Скорый путь тебе предстоит... Едешь туда, где пожар пылает... Много натерпишься... Но все это ничего, самые страшные мучения претерпишь от жены. Если не избавишься от нее... запомни... не на войне умрешь, а от жены своей, собачьей смертью, безродным бродягой умрешь... Ну, кто еще? — спросила слепая, закончив свое злое предсказание.

— На фронте не умрет?

— Не умрет, награду получит, — ответила слепая.

— Кончайте комедию, комроты идет, собирай, старшина, свой взвод и чеши отсюда, — сказал Абрамов.

В вагоне Мишка-цыган, собрав вокруг себя ребят, усел-

ся поудобнее, обвел всех своими черными цыганскими глазами и начал:

— Сейчас расскажу вам, ребята, только нелегко мне говорить об этом. Я предчувствовал, потому один и пошел к гадалке, чтоб никто не слышал о моем позоре. Как предполагал, так и получилось. Вот чертова гадалка, всю правду выложила. Кое-что я знал о себе и раньше. От дурного отца и сын дурной родится, говорят. Откуда же я получился, думаю, такой чернявый, маленький, вертлявый, как волчок... Вот в чем дело, оказывается. О, мои бедные, грешные родители! Что же вы натворили, не миновать вам ада. А я-то их в лицо не видал...— Мишка тяжело вздохнул.

Пашка подмигнул Качике и прошептал:

— Сейчас сочинять начнет.

Мишка-цыган был редкий выдумщик. Наскажет таких чудес, что ребята долго вспоминают и смеются над этим.

— Ну говори, чего тянешь! — не вытерпел любивший всякие небылицы Кабалов.

— Напрасно я пошел к гадалке, ребята. Молчать не умею, такой уж болтливый уродился, вот расскажу сейчас, и вы же смеяться будете надо мной.— Подперев щеку, Мишка нахмурился и горестно вздохнул. Глядя на него, ребята начали улыбаться.

— «Ты незаконнорожденный»,— сказала проклятая старуха! — Не обращая внимания на смех, Мишка продолжал с горестным, несчастным видом:— Хоть бы отца или хотя бы мать назвала поточнее, слепая ведьма. «У тебя,— говорит,— ни того, ни другого не было». Откуда же я появился тогда? «Отец твой,— говорит,— был рабочим демидовского завода!» Этот самый Демидов, что при Петре. Ну, кто этому поверит? «Звали,— говорит,— отца Ревенку, потому что ревел много в детстве. И отец незаконнорожденный...» Вы только послушайте, весь мой род превратился в незаконнорожденный. Вот ведьма! «Отец,— говорит,— пьянствовал и развратничал с одной цыганкой, а сам был женатый». Значит, была и законная жена! И надо же было не от нее мне родиться! Цыганка, когда мне был месяц, принесла и бросила меня отцу, возьми, мол, своего ребенка. Отец узнал ее, мать волосы на себе рвет, опозорил, говорит, меня, как я людям в глаза посмотрю? — плач стоит дома, крик, гам. А тем временем цыганка наутек. Бабушка у меня была (мать законной жены отца), дорогая моя бабушка! Из соски выкормила меня и вырастила, потому, гово-

рит, ты и остался таким маленьким. «От кого тебя цыганка родила, от твоего отца или от кого другого, этого, — говорит, — не могу сказать. Одним словом, точно неизвестно, кто твои родители, ты случайный ребенок. Если уцелеешь на войне, будешь работать официантом в пивной и родит от тебя там цыганка незаконного ребенка». Что же мне теперь делать, братцы? — Мишка состроил такую жалкую мину, будто собирался вот-вот заплакать. Ребята серьезно и молча смотрели на него.

— Неужели правда? — испуганно спросил Афанасьев.

— Ей-богу, собственными ушами слышал. А что, и ты незаконнорожденный? — еще более горестно спросил Мишка.

— Ой, нет! — вздрогнул Афанасьев.

— Ой, артист! — вытирая кулаком слезы, сказал Кабалов.

— «У тебя, — говорит, — есть товарищ, — выпучив глаза и рассеянно глядя перед собой, продолжал Мишка, — тоже незаконнорожденный, из цыган. Не дружи с ним, он тебе добра не сделает. Звать его... Кабалов». Видали, что проклятая старуха говорит? Когда я дружил с помкомом?

Ребята, только ждавшие повода посмеяться над Кабаловым, даже забыв, что он помкомвзвода, дружно грохнули.

Качике до сих пор мучительно раздумывал, как могла угадать слепая старуха, что у него на душе, и вдруг его озарило: «Так это же Мишкины проделки!» Как только Качике это понял, ему сразу стало легко.

— Эй, поглядите на Ормонова, как он смеется! — сказал Мишка.

— Это он после гадалки.

Что бы там ни было, настроение у Качике поднялось, среди шутливых, беззаботных, веселых ребят он словно бы позабыл о своих горестях и печалях.

Рота остановилась в солдатских лагерях под Пермью. Места здесь были красивые, просторные, кругом села, речки, сады. Курсанты очень скоро узнали, как сильно отличается Южный Урал от Северного. Солнце хорошо прогревало землю, буйно поднимались травы и хлеба, в садах перекликались птичьи голоса, дни были нежаркие, белые ночи теплые и мягкие.

Началась практика, ею руководил здешний лейтенант. Курсантов назначили командирами. Качике и Пашка попали в один взвод.

16

В воскресенье Пашка и Качике пошли купаться и вернулись только к обеду. У Качике в руке был букет.

— Где вас черт носит? — встретил их Мишка-цыган. — Кто-то приехал к тебе, Пашка, не то жена, не то невеста.

Пашка побледнел от неожиданности, губы дрогнули, но в конце концов расплылись в широкой улыбке.

Качике думал, что Анна рослая и красивая. Увидев невысокую, узколицую, плохо одетую, самую обыкновенную девушку с русыми волосами, он разочарованно и скучно поздоровался с ней. Рука у Анны была жесткая, обветренная.

— Пойдемте, ребята, пусть поговорят, — сказал Абрамов. — Обед вам сюда принести?

— Нет, спасибо, не беспокойтесь, я захватила свой паек. Из-за меня голодать не надо, — сказала Анна приятным грудным голосом. Внешность и голос Анны совершенно не вязались между собой.

— Одну как-нибудь накормим. А паек в пути пригодится, — сказал Абрамов, уходя с курсантами.

Им пришлось по душе Пашкина невеста. По его рассказам, они представляли ее не то чтобы глупой, но странной девушкой, если она способна переносить побои будущего мужа. Выяснилось же, что Аня совсем другая, намного умнее Пашки (во всяком случае, так показалось Качике).

— Как вы терпите такого трепача? — мрачно спросил Мишка.

— Он что-нибудь говорил вам? — Аня подозрительно посмотрела на Пашку и улыбнулась.

— Каждый день болтал, а вы... славная такая, — серьезно, будто жалея Аню и негодуя на Пашку, сказал Мишка.

— Неужели?

— От судьбы не уйдешь, — сказал Пашка.

— Что поделаешь? Он еще остепенится, — ласково заметила Аня.

— Если уж до сих пор не остепенился, нечего и надеяться. Вот Косте нашему больше тридцати, а ума все нет. Поздно им с Пашкой образумливаться! — Курсанты рассмеялись, а вместе с ними и Аня.

— Пашка мне писал о вас, дядя Костя...

— Ха-ха-ха! — перебил ее Мишка. — Дядя Костя! Вот окрестила! А мы его на девушке женить собирались, придется отставить, вдруг невеста «дядей» назовет, ведь со стыда умрешь!

— Когда любишь, все равно как называть, — чуть покраснев, заметила Аня.

— Пошли, Аннушка, эти молодцы не прочь тебя увести от меня, уйдем отсюда. А цыган и двух слов не даст нам сказать. — Сияя от радости, Пашка встал, и они медленно направились к реке.

Курсанты были молоды, им хотелось бы продлить эти минуты, этот вольный, веселый разговор с Аней, в душе они завидовали товарищу.

Когда Пашка с Аней вернулись, Аня сразу засобиралась в путь.

— Пойдем, Костя, Аннушка собирается уходить, — сказал заметно погрустневший Пашка, обращаясь к Качике.

— Зачем же торопиться, Аня, может, не поладили? — спросил Качике, подходя к Анне и беря ее за руку.

Аня смутилась, но ответила:

— У нас говорят: «На войне не расслаживаются».

— И у нас так же говорят.

— Вы не замечали — поговорки, пословицы, сказки разных народов, как они похожи часто, просто удивительно.

— Я не только замечал, но и восхищался этим. Поражительная общность мышления, образов...

— Я вижу, вы поправились друг другу, — прервал их разговор Пашка.

— И правда, мне пора. Хоть мало, но хорошо мы с вами поговорили. Хотите, будем переписываться?

— Переписываться с таким человеком — одно удовольствие, — обрадовался Качике. — Когда вы заканчиваете институт?

— Скоро, в этом году. Вот я и говорю — на войне не расслаживаются. А знаете, как вы смутили меня, когда взяли за руку. Подумали, наверно: девушка, а руки такие

жесткие. В земле копаюсь. Иначе не поддержишь стариков. И мыла нет. Руки как коровий язык стали. Боюсь, что никогда уже их не отмыть,— смущенно улыбнулась Аня.

— Это ничего не значит, Анна Михайловна. Руки не сегодня, так завтра можно отмыть, а вот душу трудновато. У меня такие же были на фронте. А теперь, видите, словно девичьи стали. А душа, как и была, вся в мозолях и болячках... Простите... Как-то уж вырвалось. Вы хорошая девушка, думаю, не осудите...

— Нет, нет, что вы! — заметив взволнованность Качике, воскликнула Аня.— Я так рада, что Паша дружит с таким человеком. Мне тоже было приятно поговорить с вами. Может быть, вы проводите нас?

— Костя, ты лучше иди, а? Я вернусь с вечерним поездом,— просительным тоном сказал Пашка. Он боялся, что Качике и в самом деле пойдет с ними, сам же он уже получил разрешение проводить невесту до Перми.

Качике понял:

— До Перми едешь?

— Да.

— Вот и молодец. Дайте, Аня, еще раз вашу руку. У нас говорят: глаз — трус, рука — богатырь. Пусть руки ваши все победят. От всей души желаю успешно окончить институт,— сказал Качике.

— Спасибо на добром слове. А я вас буду ждать в гости, возвращайтесь с наградами...

Срочной телеграммой роту отозвали. Из Перми поезд на Березники уходил утром, и Пашка, взяв с собой Мишку и Качике, отправился навестить сестру. Многодетная Пашкина сестра, муж которой был на фронте, при виде гостей растерялась от радости, она забегала, засуетилась, то улыбалась, то принималась плакать.

— Да не суетись ты,— сказал Пашка, целуя и лаская своих племянников,— у нас все с собой. Побудь лучше с нами. Ребят усади. Давайте к столу, воробушки.

Пашкина сестра что-то вносила, что-то резала, наконец разлила по стаканам горячий чай. Детишки, присмирив перед чужими людьми, сидели молча, время от времени робко поглядывали на гостей и больше всего на расставленную еду. Курсанты развязали свои вещмешки и стали вытаскивать хлеб, масло, консервы, селедку. Глаза ребя-

тишек заблестели, щеки разругались, они стали незаметно подталкивать друг друга. Самый младший потянулся было к чему-то, но другой, постарше, щелкнул его по руке, и все они, положив на стол головки, зашушукались.

— Отрежу-ка я им сала! — весело сказал Качике и вздохнул, вспомнив свою дочь.

Вошла мать ребятишек и всплеснула руками.

— О господи! А мы-то уже позабыли и про мясо, и про масло. Да и то правда, много не навоюешь на голодный желудок. Мы что? Мы потерпим.

Не то что у детей, у взрослой женщины при виде такого добра потекли слюнки. Качике опустил голову.

— Хозяйка, — сказал он тихим, хриплым голосом. — Мои товарищи не были еще на войне, а я краем глаза увидал ее. Не думайте, что там ешь — не хочу. Вап-то на фронте тоже небось не о своем желудке, а больше об вас думает. Там так: удастся — поешь, а бывает, что целыми днями кусок в рот не попадет. Одно слово — война. Враг и по кухне стреляет. Иной раз думаешь — только бы наестся досыта, а потом хоть и умереть.

— Им, бедным, кажется, что мы, как ненасытные драконы, все пожираем. Что делать? Война — она и есть ненасытный дракон! Ничего хуже не может быть для человека. О-хо-хо! — вздохнул Мишка. Вопреки своей обычной шутовливости, он заговорил вдруг серьезно и печально.

— Неужели и цыгане умеют горевать? — сделав серьезную мину, спросил Пашка.

— Цыгане каждый день горюют, каждый день плачут. И пьют потому, — в тон ему отвечал Мишка.

— Сейчас ты горюешь или как? — спросил Пашка, сдерживая улыбку.

— Горюю, — ничего не подозревая, ответил Мишка.

— Значит, выпить тебе полагается?

— Что говорить, конечно, не мешало бы...

— Ну что же, залей горе, цыган, выпей! — и Пашка выставил на стол две бутылки водки.

Мишка, глядя в потолок, перекрестился по-русски.

— Свят... свят... свят...

Мишка и в самом деле не подозревал, что у кого-то может оказаться водка. Ее привезла Аня, взяв у Пашки обещание, что он будет пить не один, а вместе с товарищами.

Дети набросились на еду с такой жадностью, что Качике только головой покачивал и смотрел на них грустно и ласково. Потом вдруг встал из-за стола и вышел.

— Небось дочку свою вспомнил, — догадался Пашка.

Хозяйка пог под собой не чуяла от радости, то и дело выбегала на кухню, сутилась, угощала, не зная, как лучше угодить гостям.

— Берите, ешьте, родные мои! — говорила она. — Куда ваш калмык подевался? Господи, прости, слово-то вырвалось, — прикрыла она рот рукой.

— Ничего, он не из обидчивых, — засмеялся Паша. — И правда, куда он подевался? — И вышел посмотреть.

Качике во дворе беседовал с маленьким белоголовым племянником Пашки.

— Где твой папа?

— Папа на фронте.

— Что он там делает?

— У моего папы есть бо-ольшая пушка, он немцев стелеляет.

— Ой, твой папа герой!

— Мама тоже говорит, сто папа гелой.

— А как тебя звать?

— Валелик.

— Сколько тебе лет?

— Четыле.

— А папу своего ты видел?

Мальчик покачал головой.

— Где же ты был, когда твой папа уходил на войну?

— У мамы в животике.

— А-а!

— Эй, Костя! — позвал Пашка. Качике оглянулся и замахал рукой, прося уйти, другой рукой он поглаживал по белокурой головке мальчишку.

— Костя с Валериком разговаривает, не хочет идти к столу, — сказал Пашка, вернувшись в комнату. — У него дочка осталась дома, и вообще, видать, любит он детей, не может спокойно смотреть на них. «Где ты, говорит, был, когда папа ушел на войну?» — «У мамы, — отвечает Валерик, — в животе». — Пашка рассмеялся.

Перед уходом, узнав, что Пашкиной сестре завтра хлеба купить не на что, Качике отдал ей все деньги, какие у него были. Хозяйка долго не соглашалась брать, но Качике, силой вложив в руку деньги, сказал:

— Я знаю, от моих денег вы сыты не будете, так что я вас понимаю, но... не обижайте меня, возьмите. Ради детей...

Оставив Пашкиной сестре весь сухой паек, полученный на дорогу, поздно вечером курсанты вернулись в роту.

Выпускные экзамены начались четвертого июля и закончились десятого. Теперь надо было ждать приказа из Москвы. Чтобы рота не болталась без дела, выпускников отправили на работу в подсобное хозяйство училища.

«Урал киргизы зовут Орол, что значит извилистый. Может быть, здесь тоже когда-то кочевали киргизы. Иначе откуда же в киргизском языке выражение «буурул тун», означающее «белая ночь»? (Ведь в нынешней Киргизии не бывает белых ночей, и на Алтае, древней родине киргизов, также не знают белых ночей.) «Буурул<sup>1</sup> тун!» Какое красивое, звучное слово! Буурул тун! Чудесная ночь! Леса, подернутые легкой дымкой. Говорят, на Урале в это время года нет ветров, покой и безмятежность вокруг. Соловьи поют, пет, это не наши соловьи; они похожи на воробьев, но крылья у них как у горных пташек; всю ночь не переставая поют. Когда поют, крылышки едва заметно колышутся и сами они дрожат и хохлятся. А травы здесь! Высокий ковыль, море ковыля. Что за прекрасный край!»

Вдали протяжно завыл волк. Качике, куривший возле палатки и погруженный в приятные думы, вздрогнул. «Волк!» — испугался он и вспомнил, что в этих лесах водятся и волки, и медведи, что зима здесь суровая, а весна холодная и ветреная, и вся лирика вмиг исчезла.

Вернувшись в палатку, он долго лежал с открытыми глазами, потом крепко уснул.

— Костя, вставай купаться, — будил его Зюльганов. Качике был недоволен, что его разбудили, он не выспался и встал с трудом. Было еще очень рано.

— Ты сам меня будишь всегда, почему сегодня заспался? Голова болит?

— Не выспался.

— Видать, о жене опять думал?

Качике когда-то стеснялся делать физзарядку, теперь не мог обходиться без нее, раньше боялся холодной воды, теперь с раннего утра не то что в холодную, в ледяную реку лез купаться.

<sup>1</sup> Буурул — светло-серый, седой.

Молодой солдат Зюльганов, по национальности коми, был из этих краев, он вырос на берегу той самой реки, куда они с Качике шли сейчас купаться. Необыкновенно прозрачная, она спокойно и бесшумно текла меж берегов, поросших елями и могучей осокой. Но возле самого берега, затененного деревьями, вода казалась черной и неподвижной.

— Давай, старик! — крикнул Зюльганов и с высокого, как яр, берега бросился в воду. Качике раздевался. Его когда-то бледная кожа загорела на солнце и стала коричневой, как жареная пшеница. Боязливо потоптавшись, Качике тоже прыгнул в воду. Вынырнув на поверхность, поплавал немного, и тело его разогрелось, он уже не хотел выходить из воды, нырнув раз-другой, стал глазами искать Зюльганова. Широкими взмахами рассекая воду, тот приближался к противоположному берегу.

Качике вышел из воды. Растерся полотенцем и повернулся навстречу теплому утреннему солнцу. Запыхавшись, выбежал из воды Зюльганов.

— Ты в своей реке, — сказал Качике.

— А в чьей же?

— Потому и не тонешь, а я тут чужой, поплыву на тот берег, непременно утону.

— Ты просто боишься, старик.

— Боюсь. У нас есть озеро Иссык-Куль. Вдоль берега плаваю. Местные ребяташки заплывают далеко-далеко. А на лодке по самой большой волне не боятся. Может, знаешь, как забавно прозвали эту реку? — спросил Качике.

— Ну конечно, «йй» у нас означает мясо, «ва» — вода, — пояснил Зюльганов.

— Значит, «мясная вода»?

— Именно, потому что рыбы много. В детстве я ходил тут с удочкой. И рыбы полно, и вода вкусная, не хуже родниковой, а в наших местах эта речка еще лучше, чем здесь. Расхвастался я, старик?

— Нисколько, — ответил Качике, любясь рекой, которая текла спокойно, почти незаметно, будто Иссык-Куль, переливаясь на солнце.

Когда Качике надевал гимнастерку, коснулся левого нагрудного кармана и вспомнил о письмах. Вернувшись из Бершлета, Качике получил сразу три письма, два из них

от Апсамата, третье — от Чынаркан. Он обрадовался: столько писем накануне экзаменов. Сначала открыл письмо Чынаркан. Дочитав до места, где она всячески поносит его дочь, Качике страшно расстроился. И только после теплых писем Апсамата немного пришел в себя.

Качике вынул письма. Апсаматовы положил обратно, пробежал глазами женино, затем, боясь, не пропустил ли чего сторяча, внимательно перечитал снова, от начала до конца. Сжав в руке письмо, Качике смотрел на воду.

Река будто потемнела, стала мрачной, под ее спокойной поверхностью ему почудилось глубинное бурное течение.

К чему теперь рыдания,  
Пустых похвал ненужный хор?  
Судьбы свершился приговор!..—

почему-то вспомнил Качике строки Лермонтова. Он смял письмо, обеими руками скатал в шарик и кинул в реку.

Только сейчас Качике увидел, как сильно течение. Скомканное письмо завертелось, как щепка в волнах, и быстро понеслось вниз. Качике показалось, что это живого человека уносит река, подавшись вперед, он следил за письмом, будто хотел прыгнуть за ним в реку. А оно то исчезало, то всплывало, будто тонущий, что из последних сил борется с рекой. Вот оно и совсем исчезло из глаз.

Качике поднял с земли ремень, крепко подпоясался, потом снова обернулся к реке, будто о чем-то горько сожалел.

— Что с тобой, старик? — недоумевая, спросил Зюльганов.

— Да все то же!.. — с досадой бросил Качике и зашагал прочь.

3-й Белорусский фронт под командованием генерала Черняховского приближался к границам Восточной Пруссии. Ему было поручено во взаимодействии с другими фронтами взять столицу Восточной Пруссии Кенигсберг, выйти к Балтийскому морю, занять крупнейший здесь порт Пиллау и закрепиться на побережье.

Дивизия, в которой служил Кыдырбек, входила в 5-й гвардейский корпус этого фронта, корпусом командовал генерал-лейтенант Безуглый.

По всем направлениям противник медленно отступал, однако оказывал сильное сопротивление, а иногда принимал и мощные контратаки.

Наше командование отчетливо понимало, что такое Восточная Пруссия, находящаяся в кольце бронированных железобетонных сооружений. Взять эти укрепления было очень не просто.

Вернувшись с офицерами батальона от командира дивизии, капитан Макаров снова созвал совещание, перед каждой ротой поставил конкретную задачу, все уточнил и разъяснил детально.

— Что еще надо сделать? Чего не хватает, товарищи офицеры? — Капитан Макаров оглядел своих подчиненных, сидевших кто на полу, кто на нарах или на стульях в хорошо обставленном, даже с зеркалом, немецком блиндаже.

Никто из командиров не стал говорить. И так все было ясно. Людей не хватало, но разговорами тут не поможешь, и это тоже было ясно всем. Тем не менее один из ротных командиров спросил, будет ли пополнение.

— Обещали, — ответил Макаров, хотя сам не очень-то верил в реальность этого. — Давайте все-таки полагаться не на пополнение, а на свои наличные силы.

Кыдырбек вернулся в роту, занялся подготовкой. Он хорошо знал, что успех операции зависит от каждого солдата, от каждого отделения и взвода, поэтому постарался все предусмотреть. В непрерывных боях рота была утомлена, заметно поредела, обносилась. Вечером, когда Кыдырбек, сидя на еловом пне, составлял донесение в штаб батальона, дежурный по роте принес ему три письма.

— Сразу три?

— Старшой, и посылка, еще вроде пахнет от нее.

— А, наверное, мясо. Пускай старшина откроет. И вызови ко мне командиров взводов, — приказал Кыдырбек, заканчивая донесение.

Он осторожно вскрыл письмо Бермет, оттуда выпала карточка. Бермет смотрела на него с грустной улыбкой.

Кыдырбек поднял карточку, положил на ладонь, потом поднес к лицу, как зеркало.

«Бермет, Бермет!... Ты ли это? Родная моя...»

Когда подошли командиры взводов, Кыдырбек все еще равнодушно рассматривал фотографию.

Офицеры остановились поодаль. Кыдырбек посмотрел в их сторону, встал, поздоровался.

— Это что за красавица, старшой? Знакомая? — весело спросил румяный лейтенант Шадрин.

— Завидуешь? Ведь ты женатый? — ответил Кыдырбек.

— Эх, старшой! — Шутливость Шадрина вмиг исчезла, он грустно сказал: — Вот у вас в руках карточка красавицы, а я траурное извещение получил.

— Что за траур? — удивился Кыдырбек.

— Жена прислала, теперь она уже не моя жена, а другого. Вот послушай, — Шадрин стал читать: — «Уважаемый Володя! Прости меня... у меня родилась дочка. Ты стойкий фронтовик, будь мужчиной, не расстраивайся и забудь меня...» — и так далее и тому подобное, так-то, старшой, — закончил Шадрин.

Стало тихо.

— А у вас не было ребенка? — спросил Кыдырбек.

— Нет, — ответил Шадрин.

— Так чего же ты горюешь? На что фронтовику такая вертихвостка! Куда девался этот старшина, черт? — Кыдырбек оглянулся по сторонам. — Садитесь по-турецки, нет, не по-турецки, а по-нашему, по-киргизски. Вот и старшина. Здесь и поужинаем вместе. А тебе я скажу: даже и не отвечай ей. Аттестат посылал?

— Да.

— Дурак. Завтра же затребуй обратно. Есть кому отослать?

— Старики родители...

— Вот и посылай. Предупреди начфина. Такой жепщине добра не видать. Ты думаешь, этот ее насовсем, что ли, взял в жены? Волк знает, кого есть! — сказал Кыдырбек.

Старшина, расстелив бумагу, что-то раскладывал на ней.

— Не понял я, что за еда, товарищ старший лейтенант. Вроде колбаса и не колбаса, угощайте сами, вам виднее. Тут и письмо есть. Возьмите. — Старшина подал сложенную вчетверо бумагу. Письмо было от Абылкасыма.

— День сегодня удачный! Письмо за письмом, да еще посылка...

— Найдется у тебя что-нибудь, старшина? — выразительно спросил Кыдырбек, радостно потирая руки. — И капитана надо позвать.

— Капитан сам уже идет! — сказал старшина.

Кыдырбек вышел навстречу капитану Макарову, которого сопровождал ординарец.

— Чем тут занимаетесь?

— Угощаемся, товарищ капитан.

— В честь чего?

— Из дому посылка пришла и письмо.

— Если бы сам не пришел, не подумали бы позвать.

— Только что собирались.

— Скажи, чтобы коней подвели сюда, — приказал капитан своему ординарцу. — Ну, что у вас тут? К слову сказать, и я письмо получил. На радостях решил пройтись по ротам. Пока мы тут радуемся, не надумал бы враг чего. Пройдемтесь, товарищи офицеры. Старшина здесь, они без нас все приготовят.

— Мишка! — крикнул Кыдырбек своего ординарца. — Возьми автоматы.

Офицеры впереди, автоматчики за ними, обошли позиции роты и вернулись обратно уже в сумерках. Возле термоса с горячим ужином спал старшина. Заслышав шаги, он вскочил.

— Старшина у вас чуткий, — заметил Макаров.

— У меня один глаз спит, другой бодрствует, — ответил старшина. — Садитесь ужинать. Не остыло ли? Утощайтесь, вот это ротному прислали. Запах какой, аж нос дерет. — Отрезав кусочек от чучука, он положил в рот и стал смаковать.

— Ну что, старшина? Проглотил басурманскую еду? — спросил капитан.

— Боюсь, не проглотил ли вместе язык! — Старшина прикрыл рот рукой.

— Я, старшина, вижу, ты христианин, в бога веруешь, — сказал капитан.

— А как же, верую. Перед тем как выпить водки, читаю молитву: «Господи, береги от скандала, кулак у меня что дубина, ударю кого — насмерть, есть старики родители, жена и детишки, не пострадать бы им из-за меня», — не моргнув глазом произнес старшина, потом разлил всем по полкружки водки. Трапеза освещалась карманным фонариком, который горел в траве.

— Что мы здесь сидим, товарищи? Давайте в землянку! — сказал Кыдырбек и встал.

— Нет, Кыдырбек, останемся здесь, ты же в горах вырос, лучше всего на природе, — сказал Макаров, поднимая кружку. — За ждущих нас невест и жен! (Кыдырбек успел ему шепнуть про Шадрина.) А кто изменил фронтовику, той все равно счастья не видать. Не стоит и переживать из-за такой. Будем бога помнить, как говорит старшина, и не распускаться. За будущее родины!

Все выпили.

— Ну-ка, еще попробуем басурманской закуски! — приговаривал старшина, уплетая чучук с хлебом.

— Ой, и правда хороша! — причмокнул капитан.

— Это что, галета? — спросил Шадрин, попробовав борсок.

— Если бы галеты такие были, я бы обедать перестал, — заметил старшина.

— А это что, уж не граната ли Ф-1? — Капитан повертел в руках курут.

— Что там Ф-1, получше. Я немного погрыз, до сих пор слюнки текут.

— Вижу, ты все раньше нас попробовал! — рассмеялся капитан.

— На то и старшина! — сказал Шадрин.

— А все же, что это такое? — Капитан повернулся к Кыдырбеку.

— Курут. Овечий сыр. С маслом.

— А-а! — произнес капитан и стал грызть курут. — На соленый огурец похож, давно солененького хотелось, кстати пришло. — Капитан грыз и причмокивал от удовольствия.

— Кыдырбек, с таким старшиной ты Шервиндт, пожалуй, возьмешь, — заметил капитан.

— Шервиндт мне уже во сне снится, — Кыдырбек посмотрел в сторону Шервиндта, как будто можно было что-то разглядеть в темноте.

Шервиндт — город на границе Германии с Литвой — расположен на противоположном берегу Немана и соединялся с нашим берегом большим мостом. Город входил в участок наступления батальона Макарова, и первой туда должна была вступить рота Кыдырбека.

— Потому у меня и бодрствует один глаз, когда другой

спит, товарищ капитан! — вставил старшина и, зажмурив один глаз, посмотрел на капитана.

— Ну, молодец! Как ваша фамилия?

— Кутузов, — вытянувшись, ответил старшина.

— А-а! Так вот, назначаю вас, как говорил Суворов, комендантом Шервиндта!

— Выходит, что вы Суворов, а я, так оно и есть, я — Кутузов.

— По-другому нельзя. Шервиндт, как нам известно, маленький, но сильно укрепленный город.

— Но ведь Суворов это сказал, когда Кутузов просил у него помощи. А наш ротный не то что помощи, а пополнения не успел еще попросить.

— Чувствую, попросит. Да еще как, плакаться будет. Потому что я сам тоже прошу. И даже генералы просят. Восточная Пруссия — стальные ворота Германии! — закончил капитан. — Эй, Шадрин, о чем ты сейчас думаешь? — вдруг повернулся он к Шадрину. Шадрин, которого капитан застал врасплох, сказал что пришло в голову:

— Хочется посмотреть на девушку старшего лейтенанта.

— Где его девушка?

— Да вот, за пазуху спрятал.

— Давай, старшой, покажи нам ее, не прячь, не будь жадным! А как ты сам, Шадрин?

— Вам, я вижу, доложили уже, товарищ капитан. Ну что ж, поговорили с ротным, полегче стало. А то... всякая чепуха в голову полезла. Ротный сказал, чтобы немедленно забрал аттестат. — Шадрин с тоской посмотрел на капитана, ожидая, что тот скажет.

— Ротный прав. А все же не совсем еще совесть эта вертихвостка потеряла, правду написала и прощения попросила. Я скажу начфину, аттестат пусть вышлет родителям. И раньше следовало поделить аттестат. Эх ты, герой. Ну, это я так. Голову, конечно, не прячь, не говорю тебе, чтоб за шкуру свою дрожал, но все же воюй осторожнее. Незачем напрасно рисковать собой и взводом, чтоб как можно меньше было потерь. Напрасная смерть никому не нужна. Между прочим, это касается всех.

В горячке боя не только смелые, но даже трусоватые проявляют порой храбрость и почему зря лезут в огонь. Капитан это знал. Потому и решил предупредить коман-

диров. Что за бои предстоят на вражеской земле, пока неизвестно. Но что серьезные — было ясно. И ротный, и командиры взводов — не новички, опытные офицеры. Тем лучше должны понимать. Мало звать солдат к подвигу, надо суметь и уберечь их от напрасных жертв, от бессмысленной смерти.

— Ну-ка, ротный, покажи свою девушку! — сказал капитан, вспомнив слова Шадрина.

Кыдырбек протянул карточку. Капитан в свете фонаря долго разглядывал Бермет и, повернув карточку, посмотрел на оборотную сторону.

— Что здесь написано? Стихи, что ли?

— Стихи, — ответил Кыдырбек, чувствуя, как бьется сердце.

— Переведи-ка.

— Не могу сейчас, товарищ капитан, — взволнованно сказал Кыдырбек.

— Ну ладно, ладно. Вы посмотрите только: в глазах огонь, лицо серьезное, честное и, видать, с характером девушка, такая полюбит — уж навсегда. Так я оцениваю ее моим непросвещенным разумом?.. — Капитан устроился поудобнее, посмотрел вверх, на небо. — Вот так-то. Моя невеста тоже такая, поздравляю тебя, Кыдырбек, хорошую нашел девушку. Что пишешь-то?

Когда все поглядели карточку, Кыдырбек взял в руки фонарь и прочел из письма Бермет следующие строки:

«...Когда пришло извещение, что ты пропал без вести, я была с мамой. Хорошо еще — отца не было дома. Потеряла сознание. Мама привела в чувство, разделила мое горе, успокаивала, одним словом, подняла на ноги. Ты как будто был живой для меня. Сердце не хотело поверить, что ты погиб. Не знаю, что бы со мной было, если бы ты умер. Взяла себя в руки и старалась не плакать. Так и ходила как каменная — и вдруг получаю твое письмо. Вот тут я расплакалась, письма-то еще не прочла, бегу сама не знаю куда, оказалась во дворе какой-то русской старушки и упала там без сознания. Уж тут-то я дала волю слезам. В горе не плакала, а в радости — пусть, думаю, слезы смоят прежнее печальное известие о тебе... жизнь моя, мой Кыдырбек...»

У Кыдырбека голос сорвался, кивнув в сторону капитана, он встал и отошел.

— Куда убежал, Кыдырбек? Вот что я тебе скажу.— Капитан повернулся на спину, уставился в небо и продолжал, будто сам с собой разговаривал: — За таких девушек и кровь проливать не жалко, за их счастье, за их будущее... Кого такая девушка любит, тому больше печего желать в жизни. Вот это и называется счастьем! Кому оно улыбнулось, тот должен жить не зря, а платить за него большими делами, горы воротить во имя такой любви!..

— Слушай, Кыдырбек, кто посылку прислал? Родители? — спросил после долгой паузы Макаров, разглядывая рассыпанные по небу звезды.

— Нет, солдат оди, без ноги поехал домой. Был учитель, теперь колхозом руководит. Два года уже.

— Прочти-ка, что он пишет.

— «...Я обещал всегда помнить тебя. Забыть-то я не забыл, вспоминаю, и каждый раз с болью в душе. Толку то что, если и писем не пишу! Иногда жалею, что не на фронте, что в тылу оказался. Собственно, с одного фронта на другой попал. Мы фронту отдаем все, сами голодаем. Одежда изнасилась. Мужчин по пальцам сосчитать. Старики да бедные женщины — главная сила у нас, они надрываются. Тиф замучил. Это по существу. А со стороны смотреть — пашем, сеем, вовремя урожай собираем — все как положено. Чтобы спасти людей, иногда режу скот и раздаю мясо. Скот за один год вырастает, а человека за год не вырастишь. Недавно приехал один хват из района и пугал судом — скот, мол, истребляю хищнически. Я заспорил с ним, а сам струхнул малость, долго ли ему подвести под какую-нибудь статью да и засудить. Сердитый был, ну и поругался же я с ним. «Я и на войне бывал голодным, и здесь недоедаю, и о фронтовиках не забываю, но и народ, который кормит фронт, не должен умирать с голоду! Можешь отдать под суд. Если я хоть грамм лишнего съел, можешь не только судить, но и расстрелять на месте». Высказал, одним словом, все. Так он ни с чем и уехал. Боясь, как бы не вызвали на бюро, я сам поехал в райком и объяснил. Что будет дальше, не ведаю...

Тебе послал из той доли, которую получил, нас шесть человек. Мясо, что досталось на нашу семью, поделили не на шестерых, а на семерых. Потому что и тебя я считаю в своей семье, а потом отрезал тебе от своей доли, от жениной да от ребячьей. Думаю, теперь хватит тебе посидеть с товарищами. Мы оба с тобой фронтовики и правды не

боимся...» Хватит, по-моему, чего дальше читать? — сказал Кыдырбек.

— Больше чем хватит, — вздохнув, согласился капитан, — от себя оторвали, чтобы нам послать! О господи! Кыдырбек, а этот твой солдат приврать не любит?

— Думаю, что нет. Он и у моих был несколько раз. Они пишут: «Солдат такой, как говорит, так и делает», — ответил Кыдырбек, с одного слова поняв капитана.

— Я такого же мнения. Раз это правда, то солдат молодец. Напиши ему от имени всех нас. Все подпишемся. «Солдат-председатель, путь твой правильный, не сворачивай с этого пути, а что случится, не сдавайся, до ЦК дойди». — Капитан встал и прислушался. Стали вслушиваться и офицеры.

На нашей стороне взвилась ракета и раздалась длинная пулеметная очередь. Противник не ответил на очередь.

— Беги, Шадрин, в твоем взводе. Немедленно, доложишь! Товарищи офицеры, все по местам! — приказал Кыдырбек.

Шадрин побежал, было слышно, как споткнулся в темноте обо что-то. Остальные офицеры разошлись по своим взводам. Пулемет стрелял то длинными, то короткими очередями. Противник молчал какое-то время, затем начал обстрел полковой артиллерии. В ответ открыли огонь и наши артиллеристы.

Капитан Макаров и Кыдырбек вошли в землянку. Сидевший возле телефона связист вскочил, отдал честь и снова сел.

Попросив разрешения, вошел связист Шадрин.

— Доложи! — приказал капитан.

— Диверсанты, товарищ капитан. Хотели взорвать мост, да мы не подпустили.

— Много их?

— Около взвода.

— Скажи лейтенанту: за мост он лично отвечает. Иди! Немецкие пушки прекратили стрельбу. Наша артиллерия спустила немного тоже смолкла.

Зазвонил телефон.

— Орел слушает! — подавая трубку капитану Макарову, связист прошептал: — Номер Первый... Комдив.

— Я. Слушаюсь, товарищ... Вороны хотели сесть. Не подпустили. Есть, есть, товарищ хозяин, вот даю. Сулейманов! — Капитан передал трубку Кыдырбеку.

Получив пополнение людьми и техникой, генерал Черняховский начал свое знаменитое наступление на Восточную Пруссию.

Гитлер и Геббельс ежедневно по радио обращались к солдатам с речами, призывая не только задержать, но и разбить «дикую армию большевиков». «Скоро фюрер даст в ваши руки новое оружие, с этим оружием мы снова погоним врага до Москвы и подчиним себе не только Россию, но и всех союзников ее». Геббельс в своей пропаганде шел еще дальше: «Русские и азиаты (монголы), увидев германскую культуру и зажиточность, сами откажутся воевать и уйдут назад». Кроме того, в городах и селениях Восточной Пруссии на стенах домов появились надписи: «Немецкий солдат, защити свою жену от большевиков!», и плакаты, на которых страшный, как чудовище, русский солдат тащил за волосы белокурую немецкую фразу. Отравленные злобой и пропагандой Геббельса, немецкие солдаты, хотя и понимали, что продолжать войну бессмысленно, что это лишь напрасное пролитие крови, все же, слепо веря в «новое оружие» и в фюрера, были готовы принять смертельный бой. Немецкий народ должен был испытать последствия и этой войны, и этой пропаганды. Брошенный Гитлером крикливый лозунг «умрем вместе с родиной!» принес немецкому народу неисчислимые испытания и несчастья.

Ранним, подернутым белесым маревом утром по всей Восточной Пруссии открылась неслыханная канонада. Это 3-й Белорусский фронт совместно с другими фронтами начал артиллерийскую подготовку. 39-я армия, в составе которой воевал и батальон капитана Макарова, включала прославленные сталинградские дивизии.

Началось невиданной силы всеобщее наступление. Авиация, артиллерия, танки, самоходные орудия, пехота, — казалось, все смешалось на этом огромном поле боя, однако в этом наступательном шквале были свой строго продуманный план, внутренний порядок и последовательность.

Но враг все еще был силен. Не только техникой, но и отчаянной надеждой остановить, не пустить на свою землю русских. Немцы цеплялись за каждый клочок земли, пытались остановить наступление наших войск. Однако никакая сила не могла остановить советские войска, надвигающиеся на фашистскую Германию. Подогреваемая

ггббельсовской пропагандой слепая вера немецких солдат в возможность задержать Советскую Армию на германской границе таяла, и, несмотря на мощные «фердинанды» и «тигры», армия медленно отступала в глубь страны.

Вторгшись на территорию Восточной Пруссии, советские войска остановились для передышки, но немецкие войска были уже не в состоянии воспользоваться моментом и пачать контрнаступление, — армии стояли друг против друга, чтобы вскоре снова начать сражение.

Когда армия отступает, вместе с ней уходит и местное население, и это великое бедствие для народа. Немецкое население отходило сейчас не просто от вражеской армии, оно скрывалось от «людоедов», «варваров», «чудовищ», какими представляла своему народу советских людей фашистская пропаганда. Население Пруссии отступало в панике, в ужасе перед Советской Армией. Ну а немецкие солдаты? И они страдались встречи с русским солдатом: для страха у них были свои основания. Они боялись мести, заслуженной кары за унижения, за ограбления, за издевательства над советским народом, за массовые убийства и угон в рабство, за многие тысячи жертв войны, разорванные семейства, разрушенные города, сожженные села, за то великое несчастье, которое они принесли мирному народу.

Всю Восточную Пруссию заволочло черным дымом. Советская артиллерия впервые обстреливала не свою землю, а чужую, вражескую. Авиация закрыла собой чужое небо. Мощные, но легкие в управлении танки Т-34, выбрасывая огонь и дым из длинноствольных пушек, везя на своей броне десантников, прикрывая идущую за ними пехоту, страшным оползнем наваливались на вражескую оборону. Пехота, оглохнув от сплошного гула моторов, наглотавшись пыли и дыма, забыв о страхе, помня только, и то лишь временами, что идет по чужой, по незнакомой, по вражеской земле, задыхаясь от бега, спотыкаясь, падая, снова вскакивая на ходу, словно увлекаемая смерчем, неслась вперед.

— Не отставать от танков! — раздавались голоса командиров. Но трудно было сказать, слышал ли кто эти команды. Ни те, кто отдавал их, ни те, к кому они были обращены, не думали уже об этом. так как все они стремительно, безостановочно мчались вперед.

Вокруг взрывались немецкие снаряды и бомбы, оставались и загорались немецкие танки, из них выскакивали танкисты в черных комбинезонах и тут же падали замертво. Выпуская за собой огромные языки дыма и пламени, стремительно падали на землю наши и немецкие самолеты; как скошенные, валились на бегу идущие в атаку советские солдаты.

В людской вал, катившийся вперед, время от времени будто вливались свежие силы, и вал этот в новом порыве устремлялся вперед, чуть затихая и вновь делая бросок, будто желая перескочить огненную полосу земли и накрыть вражеские окопы. «Катюши», перекрывая своим ревом все другие звуки боя, адским огнем поддерживали атакующую пехоту.

Немцы переходили в контратаки, стремясь заслонить свою землю, но атаки их захлебывались в неистовом наступлении советских войск.

В Восточной Пруссии нет таких просторов, как в России, она густо заселена, и воевать там было куда тяжелее. В каждой деревне, в каждом населенном пункте, в каждой крепости или ферме, за каждым холмом и озером сидели немцы. Чем дальше, тем труднее было продвигаться вперед, участились вражеские контратаки. Росли людские потери.

В таких условиях воевала и рота Кыдырбека. Она подошла к небольшому населенному пункту, но под огнем вражеской артиллерии вынуждена была залечь. Из каждого дома, из каждого окошка стреляли. Роту уже теснили идущие за ней подразделения. Образовалась пробка.

Кыдырбек был опытным офицером, но и он на какой-то момент растерялся, не зная, что предпринять. Тут он и увидел Шадрина, который, низко наклонившись, бежал впереди своего взвода. Кыдырбек крикнул связному:

— Узнай, куда этот черт прет?

Связной бросился к Шадрину.

— Прямо не пройду, хочу попробовать с фланга, предупреди старшего, — сказал Шадрин, и в ту же минуту связной схватился за правую руку и сел. Лицо его побелело, из рукава закапала кровь.

— Перевяжи, — крикнул Кыдырбек ординарцу, а сам побежал к другим взводам. Как бы отступая, рота пошла

в обход флангов. Боясь окружения, немцы быстро начали отходить.

Незаметно кончился день и наступила ночь. По-прежнему гудели где-то самолеты, бухали пушки, ревели танки, рвались снаряды и мины, вспыхивала пулеметная и автоматная трескотня, пахло гарью и пылью, но уже ничего не было видно. И тут пришел приказ: «Закрепитесь на занятой позиции». Рота остановилась в местечке из 5—6 разбросанных домов. Наметив огневые позиции, заняв вырытые немцами окопы полного профиля, бойцы начали копать новые, связисты тянули телефонный провод.

Командующий 39-й армией генерал Людников обходил передовые позиции. Его сопровождали генералы Безуглый и Бибииков, а также командиры полков. Все они были в комбинезонах, без знаков различия.

Капитан Макаров сидел в блиндаже, собираясь обедать. Вбежал связной.

— Генералы идут!

— Сообщите в роты, пусть приведут все в боевую готовность,— распорядился капитан Макаров и в полном снаряжении выбежал из блиндажа.

Узнав своего старого командира, капитан по всем правилам подошел к нему и отдал рапорт.

— Тот самый Макаров?— обрадовавшись, Людников пожал капитану руку.

— Тот самый, товарищ генерал!

— Ну что ж, пошли на передовую, капитан,— предложил Людников.

Кыдырбек встретил их перед окопами.

— Сулейманов? Помню, помню. А где Косолапов?— поинтересовался Людников, пристально разглядывая Кыдырбека.

— Вот, за пулеметом, товарищ генерал,— ответил Кыдырбек, смутившись под испытующим взглядом генерала.

— Узнал меня?— спросил Людников, поздоровавшись с Косолаповым.

— А как же, товарищ полковник! Виноват, товарищ генерал. Вместе дрались в Сталинграде.

— Разумеется... Ну-ка, покажи, как стреляешь. Видишь там одинокую сосну?

Косолапов дал длинную очередь. Немцы тут же ответили.

— Ну-ка, еще раз. И повыше.

— Есть,— ответил Косолапов и дал длинную очередь по сосне, от верхушки до низа. Верхушка покачнулась.

— Что это? Значит...— Людников посмотрел в бинокль. Генералы и другие командиры тоже подняли свои бинокли.— Видали? — спросил Людников.— И куда вы только смотрите?! У врага всюду «глаза», надо быть начеку! — предупредил Людников.— Генерал Безуглый, куда мы теперь?

В это время один за другим ухнуло несколько снарядов.

— Откуда это?— Людников высунул голову из окопа. Окоп вздрогнул, край его отвалился.

— Товарищи, все в укрытие!— приказал Шадрин; генералы взглянули друг на друга и последовали за ним. В блиндаж начали входить солдаты.

— Эта сосна на нейтральной полосе?— спросил Людников.

— Да, товарищ генерал...

— Ночью спилите ее, артогнем прикроет майор.— Людников посмотрел на командира полка. Майор козырнул.

— Там наверняка телефонный кабель, надо его уничтожить, как вы думаете?

— Так точно!— сказал Кыдырбек.

Людников пожал Сулейманову руку, Косолапова потрепал по плечу и пошел к выходу.

Вечером было спокойно. Немцы ждали темноты, чтобы снять с сосны своего наблюдателя, мертвого или живого. Наши же, чтобы помешать немцам, постреливали из ракет, освещая окрестность. В сумерках всем полком провели артналет. Противник не ответил, лишь изредка раздавались длинные пулеметные очереди. Потом замолчал и пулемет.

Наши перенесли огонь в глубину позиций противника, рота спокойно, в полном боевом порядке пошла вперед. Косолапов шел с ручным пулеметом. Немцы замерли, даже ракет не бросали. Рота приблизилась к вражеским

окопам. Начали пилить одинокую сосну. Только тут фашисты открыли огонь из всех стволов.

Стрельба прекратилась. Рота заняла первую траншею. Траншея оказалась пустой. Будто разгадав замысел противника, немцы постреливали издали, не подпуская и в то же время увлекая за собой.

Кыдырбек повернул бойцов назад. Сосна упала, Кыдырбек прислушался.

— Что случилось? Где немцы? — зашептал он Шадришу.

— Не знаю.— Шадрин тоже напряг слух.— Слышишь, старшой, что бы это могло быть?

— Стоп. Это они. Возвращаются в свои окопы. Что за игра? — Кыдырбек махнул рукой и снова прыгнул в траншею. За ним последовали солдаты, началась молчаливая схватка, стрельба была редкой, а вскоре и вовсе прекратилась.

— Старшой, к телефону! — шепотом позвал связист.

— Я... дам сигнал, когда буду отходить, сейчас, сейчас! — Кыдырбек бросил трубку.

— Что это за война? — сказал Шадрин, ощупывая раненую руку. В это время противник открыл огонь из пушек и пулеметов.

— Назад! Дойдешь? — спросил Кыдырбек. Он дал белую ракету и сам пополз.

— Кто здесь? — наткнулся Кыдырбек на чьи-то тела.

— Постой, постой! Еще брыкается. погоди, сейчас я тебе руки свяжу покренче! — Это был голос старшины Кутузова.

— Кутузов, с кем ты?

— С моим «языком»!

— С твоим?

— Да, с моим.

Прихватили с собой и кутузовского «языка».

В это время заработали наша артиллерия, минометы, «катюши».

Когда Кыдырбек и Кутузов вошли в блиндаж, капитан Макаров разговаривал по телефону.

— Ты что, сам полез в окоп? — спросил Макаров, не глядя ни на Кутузова, ни на его «языка».

— Да! Нет... — Кыдырбек молча вытянулся.

— Не хочешь признаваться?

— Полез... не сдержался... Виноват, товарищ капитан! — прямо посмотрев в лицо капитану, Кыдырбек отдал честь.

— Эх, ты! Думал к награде представить, а ты вот что устроил! Ну, докладывай, чего раскисли?

В это время привели второго «языка», бойцы и Шадрин с перевязанной рукой остановились у входа в блиндаж. Второй немец был обер-ефрейтором.

— А-а,— произнес капитан и схватил телефонную трубку. — Пришлите машину и заберите «языков»! Огонь прекратился! Я-то? Хорошо. Сейчас с капитаном... Фу-ты! Со старшим лейтенантом Сулеймановым выйду. Сейчас! — Капитан повесил трубку.

Посмотрел в лицо Кыдырбеку и встал.

## 19

Поезд шел на запад. Мимо проносились мощные паровозы ФД с длинными тяжелыми составами, на которых крупными буквами было написано: «Вперед, на запад!»

Качике, свесив ноги, сидел у открытой двери вагона. Эшелон все быстрее продвигался вперед. Танки, пушки, люди... Война, как трясина, всасывала все это в свое чрево.

Августовская жара была еще сильна, в вагоне душно, но прохладный ветер врывается в открытые двери тем порывистее, чем быстрее шел поезд, лохматил черные, только отравившие волосы Качике.

Грохоча по рельсам, шел эшелон. Поезд остановился перед вагоном — станцией Смоленск. Вокзал лежал в развалинах, только надпись сохранилась — «Смоленск». Качике, пораженный, глядел на этот древний город и его кремль. В 1812 году Наполеон, в 1941 году Гитлер! Оба высокомерно вошли в Россию, и оба с позором бежали...

— Эй, старик, давай к нам,— позвал Софронов.

Пройдя между вагонами, Качике пробрался к группе ребят, которые с интересом слушали незнакомого старшего лейтенанта, оказавшегося военным комендантом Смоленска.

— Сейчас раненые придут,— сказал комендант, взглянув на часы.

И действительно, вскоре подошел санитарный поезд с зелеными вагонами.

Молодые офицеры с жутковатым любопытством смотрели на раненых — те были худые, измученные. Качике и Софронов заговорили с ними.

— Откуда, ребята? Где воевали?

— В Восточной Пруссии...— ответили столпившиеся у окна.— А вы куда?

— Кто знает, куда пошлют,— ответил Софронов.

— Как артиллерия у нас, авиация?— спросил Качике, у него еще не прошла горечь сорок второго года.

— Хватает, да что они без нас?— ответил солдат-пехотинец.

— Скоро немцам капут!— заметил третий.— Где теперь им выдержать!

— По вагонам!— раздалась команда.

Тряские красные вагоны повезли солдат на фронт, а зеленые вагоны тянули в тыл людей, едва живых, они махали теперь руками сменившим их людям.

Поезд, пыхтя, быстро шел на запад... Мелькали поля, разрушенные станции, волнами клонила на ветру выаревшая пшеница... женщины одни, без мужчин, работали в поле... вот они машут руками. Качике задумался и незаметно уснул.

— Эй, Костя! Земляки твои пришли! Вставай!— разбудил его Мишка-цыган.

Качике открыл глаза и стал озираться.

Возле вагона стояли двое в гражданской одежде и глядели на него. Качике соскочил на землю, протянул руку незнакомцам.

— Вы из Киргизии?— спросил его светлый, весь в веснушках, рослый и широкоплечий парень.— Пошли к нам в штаб.— И незнакомый парень потащил Качике за собой.

— Эй, комендант,— позвал он мальчика лет четырнадцати,— гостя привел, земляк мой, есть у тебя что-нибудь, тащи все сюда!— Парень улыбнулся мальчику доброй улыбкой.

Качике поздоровался и сел на траву.

Мальчик постелил газету и выставил литр самогону, сливочное масло, огурцы и хлеб.

— Я из Каракола,— заговорил парень,— до войны три года служил на границе. В первые же дни нашу заставу разгромили, я бежал, скрывался в белорусских лесах. Организовал партизанский отряд, воевал с немцами. Этот парень из первого села, куда я забрел, через него связался с

населением, потому и «комендантом» зовем его. Здорово помогал нам. Славный парень!

— Ешьте, берите, пожалуйста!— Мальчик нарезал хлеб и разлил по стаканам самогон.

— Соскучился я по киргизам, по Киргизии!— сказал, улыбнувшись, парень.— Где-то наши воюют; с тех пор как ушел в армию, первого киргиза вижу.— Они чокнулись.— За нашу Киргизию!

— По вагонам!— раздалась команда. Эшелон медленно тронулся.

— Меня в Минск вызывают. Наш поезд следом пойдет, может, встретимся!.. Потрясающе! Сколько техники, сколько людей! Ну, до свидания! Будь здоров!— Они обнялись и поцеловались, Качике побежал, на ходу прыгнул на ступеньку и забрался в вагон.

Качике смотрел на незнакомого парня, пока поезд не повернул и того не стало видно.

— Забыл даже имя спросить! Ай-яй-яй!— завздыхал Качике и в последний раз помахал земляку.

— Чего опять вздыхаешь? Кого встретил?— спросил Пашка.

— Из нашей Киргизии. Партизанил здесь... С сорок первого года...— Качике рассказал все, что узнал о парне.

— Э-э-э, таких земляков еще много встретишь. Конечно... кто живой остался. Немало побил немец!— Пашка тоже почему-то вздохнул, лег на спину и с головой укрывся одеялом.

...Русские лесные чащи, русские бескрайние степи, смежная друг друга, уходили назад.

Гуляя со своими товарищами по литовскому городу Каунасу, Качике с восхищением разглядывал его чудесные кварталы, реку Неман и выложенные камнем берега. Он не знал, большой он, этот город, или маленький, но почему-то думалось, что Каунас один из красивейших городов Европы.

Неман пересекал Германию, это он знал, но что река течет еще по Литве и на ее берегах стоит Каунас, было для него открытием. Качике не мог отвести глаз от реки.

— Советы идут, Советы...— Древние старушки на набережной Немана продавали семечки. Они были очень старенькие, эти старушки, на их глазах власть менялась мно-

го раз, во всяком случае, они считали себя свидетелями двух разных миров.

— Взгляните-ка, надпись!— сказал один из офицеров. «Каунас есть! Даешь Тильзит! Вперед, на Кенигсберг!»

— Где-то теперь наши?— вздохнул кто-то.

— Наши в Восточной Пруссии. Но дальше ли Тильзита или ближе, этого не знаю,— сказал Мишка-цыган.

У Качике в характере была одна особенность: все новое, впервые увиденное, вызывало в нем повышенный интерес, он и удивлялся этому новому больше других, и приходил в какое-то возбуждение, хотелось все рассмотреть как следует и пощупать руками. И сейчас ему не терпелось побродить по Каунасу, поговорить с его жителями, искупаться в Немане, но пока что он молча шагал рядом с друзьями.

— Кто хочет искупаться? Пошли,— сказал Мишка-цыган. Река здесь текла по овражку, и высокий берег скрывал ее от города.

Разгоряченные, вспотевшие офицеры бросились в холодную воду, освежились.

Отдел кадров 3-го Белорусского фронта находился в Литве.

Все были уверены, что их сразу направят на фронт, но, к удивлению, отдел кадров кишмя кишел офицерами резерва. И не только младшие лейтенанты, вроде них, но и капитаны, майоры, даже полковники дожидались здесь назначения. Большинство из них были опытные воины, с первых дней войны находившиеся на фронте. На молодежь, не нюхавшую пороха, они глядели свысока, посмеивались. Молодые ходили среди них растерянные, оробевшие, держась друг друга и думая лишь о том, чтоб не разлучили с приятелем, чтоб попасть в одну часть. С трепетом ждали назначения.

Качике принял капитан Трофимовский. Ему понравились доклад и четкие ответы Качике.

— Садитесь, видно, что бывалый солдат, хорошо, хорошо!— одобрительно закивал он и указал на стул.

Капитан тоже оказался из Киргизии; обрадовавшись земляку, он долго говорил с ним, вспоминал знакомые места и лишь после этого перешел к делу.

— Мы вас не можем послать сразу на фронт,— сказал

капитан, хотя вид его говорил: «Если, конечно, будете настаивать, то хоть завтра...»

— Чтобы попасть в одну армию с нашими ребятами, я готов хоть убежать, товарищ капитан! — сказал Качике.

— Все ваши ребята говорят то же самое. Но вас же не пошлешь командирами дивизий, полков и даже батальонов. А командир взвода — маленький человек. Вот и разбередетесь кто куда.

Качике понял, что сегодня ему не скажут ничего определенного, и, решив к капитану больше не приставать, ушел.

Каждый день Качике напрасно ожидал отправки на фронт. О нем словно забыли. В отделе кадров 39-й армии Качике тоже ничего не добился. Начальник отдела полковник Кузнецов, принимавший молодых офицеров, заявил: «Все. Пока мест нет, будете ждать новых заявок...» — Встал, поверх очков холодно оглядел офицеров и кивнул, давая знать, что они свободны.

Понимая, что бесполезно препираться с полковником, Качике пошел к выходу.

— У Ормонова есть рука, опять его оставили, — пошутил Мишка-цыган.

Качике сделал вид, будто не расслышал его слов.

— До всех очередь дойдет, рано или поздно все будем на фронте, больше нам негде быть, и переживать тут нечего, — откликнулся Пашка.

— А там что? — Абрамов показал на запад.

Были сумерки, надвигалась тихая, теплая прибалтийская ночь. Облака вспыхивали на западе, как при закате. Где-то шли местные бои, горели постройки, и пламя пожаров розовело вдали, как вечерняя заря.

— Вот это закат, — сказал Мишка.

Отчетливо доносилась далекая артиллерийская канонада.

Назавтра получившие назначение молодые офицеры, все, кроме Качике, Софронова и Буянова, разъехались по своим частям.

## 20

Качике задержался в резерве и стал здесь своего рода связующим звеном, мостиком. Ребята писали ему с фронта, почти все, во всяком случае те, кто знал, что он все еще в

резерве. Качике узнавал из писем о судьбе каждого. Нельзя сказать, чтоб это было веселое занятие: лежать в тылу и считать раненых и умерших товарищей. И все же Качике старался держать себя в руках и в ожидании назначения лучше выполнять роль связного. Он писал товарищам и их семьям, посещал офицерские занятия, круг его интересов и знакомств расширился. Не писал он одной лишь Чынаркан. Это тоже было нелегко, однако вновь возвращаться к тому письму, которое он бросил в реку Ййву, значило самому кинуться вслед за письмом в реку. А умирать, пропадать напрасно он теперь не хотел, может быть, впервые он осознал себя по-настоящему человеком, который жил и чувствовал активно, радовался, горевал и готов был на любое испытание, но не с вялой покорностью обреченного, а с твердым намерением ввязаться в борьбу, с волей к победе во имя жизни. Он впервые ощутил вокруг себя людей, которые были ему близки, были как бы его родными, его семьей и кому он сам не был безразличен. Почувствовав себя сильным, нужным, способным принести людям пользу, он и в своей семье не захотел быть больше рабом. Он понимал, что любой компромисс для него смертелен, ибо рабское в силу привычки, в силу инерции легко потащит его вниз, стоит лишь ослабить повод и хотя бы на шаг отступить от своего твердого построения. Нельзя сказать, чтобы он не переживал и сейчас за свою дочь, но понимал, что напрасно унижался из-за нее перед Чынаркан, этим он дочери не поможет. С тех пор как стал офицером, Качике преодолел казавшуюся прежде непреодолимой преграду между собой и людьми, почувствовал себя ответственным за людей, осознал свой долг перед ними. Долг этот был для него возвышенным, святым. Он с другой высоты взглянул на жизнь, она вмещала в себя жизни, судьбы, интересы миллионов, и думать о себе он уже не мог без того, чтобы не думать прежде всего о людях. Это ощущение неразрывности с людьми подняло значение, смысл его собственного существования. Ему надо спешить, ему надо жить ради счастья, быть людям полезным и нужным. Во имя этого и умереть не жалко... Нет, не в резерве, его место — передний край жизни. И Качике с нетерпением дожидался своей очереди.

Размышляя обо всем этом, он сидел в сарае на душистом сене с нераскрытой книгой в руках.

Вбежал Софронов.

— Костя, кадры приехали! Может быть, уедем!

— То, понимаешь, не хватало офицеров, а теперь не дожدهшься, когда тебя возьмут наконец,— сказал Качике и встал.

Однако и на этот раз Качике «не взяли».

Младший лейтенант Кедрин, по мирной профессии художник, весь румяный и улыбающийся, вышел из двери и, растолкав столпившихся офицеров, подошел прямо к Качике.

— Получил назначение, что поделаешь. Пошли, Ормонов.

Было близко к полудню. Шли полем. Резервисты жили на литовских хуторах, стоявших на порядочном расстоянии один от другого.

— До зимы, что ли, собираешься тут жить, переходи к моим хозяевам, люди они хорошие, пойдем сейчас и поговорим,— сказал Кедрин.

— Почему до зимы, может, завтра же тронемся. Армия-то воюет, идет вперед, а нам, резерву, хотя бы за армией продвигаться,— горько усмехнулся Качике.

— Не спеши, Костя, повоюешь еще.

— А вдруг просияжу в резерве до конца войны? Стыда не оберешься,— сказал Качике со смущенной улыбкой.— В пятый корпус тебя?

— В пятый.

— Все наши ребята в пятом. Что за корпус, интересно?

— Генерал Безуглый, говорят, жесткий человек. А корпус этот все время на прорыве, потому и гвардейский. Безуглый участвовал еще в финской войне, злой, но дело свое знает. Поедем, поглядим...— Кедрин устался сбоку на расстроившегося Качике, тот молча покосился на Кедрина и вздохнул.— И чего ты расстраиваешься? Только оттого, что на фронт не берут?

— На лице, что ли, написано? — Качике мрачно улыбнулся.

— Написано. Но ведь ты уже был на фронте, второй раз не обязательно, я вполне серьезно говорю.

— Не в том дело, был или не был, сейчас надо там быть. А попробуй попроси, тут же начнут: «Жди, пока позовут». А мне это противно.

Качике сорвал травинку и стал грызть.

— Ты не горячись. Как же им еще отвечать тебе? Дела наши идут неплохо. Но немцы упорствуют, не сдаются.

На смерть стоят, сами гибнут и наших губят. Не торопись, этой войны всем достанется. А меня сейчас другое мучает. Не хочется расставаться, браток, понимаешь? Привык я к тебе, много от тебя получил, — сказал Кедрин.

— От меня? — поразился Качике.

— От тебя, — повторил Кедрин, не поворачиваясь к Качике и глядя прямо перед собой. — Именно от тебя. Будем переписываться? — спросил он так же грустно.

— Конечно.

— Я буду писать, если даже ответа не получу, если, конечно, жив буду... Вот мы и пришли. А это хозяин, сейчас познакомлю, он не знает по-русски, я — по-литовски... — Кедрин улыбнулся, отчего на щеках его появились ямочки.

Хозяин хутора пахал на лошади землю. Заметив Кедрина, остановился, вытер лоб платком и стал выводить лошадь с пашни. Что-то сказал, помахал рукой и показал на дом.

— Велит идти в дом. Пошли. Хотя давай-ка лучше поможем ему.

Шагая прямо по пашне, они подошли к высокому и крепкому мужику лет за сорок, поклонились ему, и Кедрин представил Качике.

Литовец что-то сказал по-своему, улыбнулся и подал Качике руку.

Кедрин погладил лоснящийся круп лошади, похлопал ладонью, помог распрячь ее, взял за повод и сам повел.

Войдя во двор, хозяин крикнул что-то в сторону дома и поставил лошадь в сарай.

Выбежала девочка-подросток. Она помахала Кедрину рукой и убежала обратно.

Дворы и дома литовских крестьян просторные. В середине двора ровная чистая площадка, затем скотный двор и сенной сарай — подальше от жилья. Сарай большие. Качике поразили чистота и порядок во всем подворье. «Другая культура», — подумал он.

Поднявшись на крыльцо, Качике и Кедрин вошли в дом. Их встретила хозяйка, сорокалетняя жепщина.

— Прашау, прашау. — Широким жестом она пригласила их в комнату налево.

— За начальство приняли тебя, что ли? — рассмеялся Кедрин. — Входи, Костя.

Они вошли в столовую с жесткой крестьянской мебе-

лю, пол когда-то был крашен, но краска сохранилась лишь по краям, обнажив в середине комнаты белые половицы. Вбежала девочка, но, увидев Качике, начала медленно пятиться. Качике улыбнулся и поманил ее к себе. Девочка остановилась, прикрыла рот рукой, не решаясь ни подойти, ни убежать.

— Иди, иди ко мне, доченька, как тебя зовут? — Качике протянул к ней руку.

— Зовут Тавадора, хорошая малышка. Ко мне уже привыкла, а тебя, видишь, стесняется, — сказал Кедрин и подозвал девочку.

Тавадора, по-прежнему не отрывая взгляда от Качике и прижимая ладонь ко рту, будто опасаясь чего-то, бочком-бочком приблизилась к Кедрину.

— Люблю детишек, у меня их двое — дочь и сын. Крошками оставил, видно, выросли уже. Дочка с Тавадору будет. Видишь, она не стесняется меня, как прижалась. — Кедрин приласкал девочку. — Другую Донгуолис зовут, ей уже десять, совсем барышня.

Донгуолис, услышав свое имя, как и Тавадора, глядя на Качике, медленно вошла в комнату.

В дверях появился хозяин и что-то спросил у Кедрина.

— Найп! — ответил тот и засмеялся. — Спрашивает, не майор ли, — объяснил он Качике. — До меня у них жили какие-то майоры, чем-то довели хозяина, теперь он всех майоров боится. Небось славяне наши самогон выколачивали. Литовцы — народ тихий, беспардонных не любят.

— Ладно себя — армию позорят, — сказал Качике, — нашу народную Советскую Армию. Натворят делов, поди потом отплеывайся от них.

— Верно! — согласился Кедрин и повернулся к двери. Хозяин дома жестом позвал его к себе.

Тавадора не захотела оставаться с Качике и вышла вместе с Кедриным. Качике нахмурился.

Из соседней комнаты донесся смех Кедрина.

— Эй, монгол! — крикнул он оттуда. — Ты из монголов, что ли? Потомок Чингисхана?

— Не монгол я и не потомок Чингисхана, но в характере и в быту есть общее, мы тоже скотоводами раньше были, — разъяснил Качике. — А что?

— Ты думаешь, зря тебя дети боится? Мать их напугала: «Не ходите туда, тот монгол вас съест!» — Кедрин смеялся. Тавадора, все еще побаиваясь, удивленно глядя

на стоявшие торчком короткие волосы Качике, медленно начала приближаться к нему. Качике приветливо улыбнулся и стал подзывать девочку. Тавадора подошла и прежде всего пощупала волосы Качике, что-то крикнула по-литовски и весело засмеялась.

Качике обнял девочку и приласкал.

— Зачем Тавадора трогала мои волосы? — спросил он, недоумевая.

— Они говорят, — начал Кедрин, — немцы перед уходом напугали их, придут, мол, сюда монголы-людоеды и сожрут вас всех, у них, мол, рога на голове.

Качике растерянно заморгал, но потом, сообразив, насколько все это нелепо, рассмеялся вместе со всеми.

— Не съем я тебя, Тавадора! Я люблю тебя, Тавадора! — Качике нежно прижал девочку к груди.

Хозяева заулыбались.

Кедрин замычал, подыскивая нужные слова.

— Аш... т... ту-ва... милуйе, — произнес он наконец.

— А, аш тебе милуе, — повторила девочка.

— Уф! Хорошо, у одной литовочки научился, вот и пригодилось! — сказал Кедрин, вытирая с лица пот. — Пойдем во двор, покурим. — Взяв в рот папиросу, он встал.

— Простые хорошие люди, разве можно таких обижать? А немцы на свою голову пугали. Ведь монголами они называли всю Русь. Теперь тут видят, кто прав, кто лучше, — немцы или мы. Своей ложью фашисты напугали и свой собственный народ.

Качике и Кедрин, покуривая, ходили по двору.

— Я же завтра уезжаю, хоть и не совсем на фронт, но все же в действующую армию. Скажу-ка я хозяину, пусть сообразит что-нибудь. — Кедрин пошел к дому.

— Возьми и мою долю! — Качике протянул Кедрину деньги.

— Своих хватит, на что они мне там? А хозяин у меня запасливый, уж сто граммов всегда поднесет. У самого нет, так найдет где-нибудь. — Кедрин ушел.

Хозяин выставил на стол две бутылки самогону, что-то приказал жене и дочерям, потом, хмурясь, начал объясняться с Кедриным.

— Кажется, хвалит меня, жалеет, что уезжаю. Если по-правилось, пусть, говорит, остается у нас, это про тебя. Сейчас мы блинчиков поедим. — Предвкушая удовольст-

вие, Кедрин потер руки.— Ты ел когда-нибудь их блинчики?

— Нет,— ответил Качике.

— Сейчас попробуешь. А денег не взял-таки. Своего поставил, самогон у них водится. А вот этот, как его? Хмель! Хмеля не могут найти. В войну даже хмель — и тот пропал.

Веснушчатое и простежкое лицо Кедрина с влажными глазами в мохнатых ресницах сияло от радости.

На стол поставили тарелку с какой-то едой.

— Это и есть блины? — удивился Качике.

— Да, это их блины,— сказал Кедрин.

Кроме блинов на столе стояло огромное блюдо с мясом.

Все Качике понравилось. Засидевшись, он остался ночевать у Кедрина.

В середине октября вместе с резервом фронта Качике продвинулся вдоль немецкой пограничной линии до небольшого городка Наукаймесе, расположенного на берегу Немана. Хозяева дома, где остановились Качике и его товарищи, муж и жена, были открытые и добрые люди. Они дали офицерам помыться, помогли почистить запыленную одежду и пригласили к столу. Вечерело. Литовцы включили радиолу, подсади к гостям и то и дело ласкали вертевшегося между ними мальчугана.

— Балуете хлопца,— заметил лейтенант Газаров.

Хозяева сносно говорили по-русски. Не смущаясь присутствием мальчика, мать сказала:

— Хорошего ребенка лаской не испортишь.

А когда мальчик вышел, хозяин рассказал о нем следующее:

— Мальчика звать Алик, или Олег, жил под Ленинградом. Родителей назвать не может, но в лицо, видимо, помнит. Отступая от Ленинграда, немцы погнали с собой население. Когда проходили по нашей деревне, мы детей отобрали. Выкрали. У него и сестра здесь.

Тут хозяйка заерзала и что-то сердито сказала мужу.

— Ты что, боишься их? — спросил Станислав по-русски жену.

— Боюсь! — ответила жена тоже по-русски.— Боюсь, что родители или еще кто-нибудь отнимут их у нас! — Тебя передник, женщина смущенно улыбнулась.

Супруги были бездетны и радовались малышу.

— Чего вы боитесь? Если найдутся родители, они вам, кроме спасибо, ничего другого не скажут. Воспитывайте себе на здоровье! Славный ребенок, по-литовски уже говорит, — сказал Газаров.

— Говорит, — улыбнулся хозяин.

— Вот она, судьба родителей и их детей! — вздохнул Качике и стал расспрашивать о сестре мальчика.

— Сестра жила здесь, рядом. А вы что, хотели ее увидеть? — Литовец почему-то тоже испугался, синие глаза его стали большими. Жена снова начала ругать мужа, теперь уже по-литовски.

— Болтливость меня подводит. Вот уедете, не будет мне житья.

Пребираясь по-своему — муж виновато, жена сердито, — хозяева куда-то вышли, вскоре возвратились, но Алик больше не показывался. Хозяин тревожился не на шутку.

— Ради бога, не пишите никуда, вырвалось у меня печально. У нас многие взяли на воспитание русских детей.

— Мы сами на птичьем положении, в резерве болтаемся, армию догоняем, разве нам до этих детей, — пытался успокоить их Качике.

— Кто вас знает, одни говорят, что ничего, кроме благодарности, не будет за воспитание русских детей, другие разной разностью пугают, — сказала хозяйка.

Качике пришло на ум, что и здесь могла быть какая-нибудь провокация, он только сейчас сообразил, как сильно напуганы хозяева.

Наконец хозяева поверили Качике и стали держать себя свободнее. Хозяйка принесла еще что-то мясное и разговорилась.

— Это он поправился уже, на человека стал похож, а то кожа да кости, ну лягушонок. Сестренка и того хуже, маленькая старушка, еле плелась. Бедняжка, недавно умерла.

— Умерла? — в ужасе переспросил Качике.

— Умерла, бедняжка, — женщина вздохнула.

— Вот видите. Они же в плену были. Вы их вырвали оттуда, выходили да еще и боитесь! — Качике начал сердиться.

— Так ведь пугают! Если кто примет ребенка или взрослого из тех, что немцы угоняли... такие угрозы... да

еще предупреждают, чтобы на постой не брали советских офицеров, а уж если взяли, так уничтожайте их как можно больше...

— Кто так говорит?

— Не знаем мы их, но разговоры такие ходят,— сказала хозяйка, испуганно уставясь на Качике.

— Сегодня почует здесь более двухсот офицеров, значит, завтра их уже никого не будет? — Качике в упор посмотрел на хозяина. Хозяин поежился, что-то сказал жене по-литовски и перешел на русский:

— Жена правду говорит. Но все это уже прошло. Раньше случалось. Бродили тут всякие. А теперь тихо.

Газаров и лейтенант Кругликов прислушались к словам хозяина.

— Слышал? Берегитесь! — Качике засмеялся.

— А чего ты смеешься? Перебьют нас, и армия останется без резерва! — не то в шутку, не то всерьез сказал лейтенант.

Кругликов и Качике легли спать на полу, Газаров расположился на койке возле окна. Он положил на подоконник гранату, крепко закрыл окно и проверил запоры.

— Будь осторожнее, лейтенант Газаров! — предупредил Кругликов. — Как бы твоя граната нас же не убила.

— Ложись под стол, и твоя душа будет цела, — отпарировал Газаров.

Пошутили, посмеялись и незаметно уснули.

Было еще темно, когда Качике внезапно проснулся от приглушенного разговора.

— Кто это? — сердито спросили по-русски.

— Оставьте! Отпустите! — раздался пронзительный женский голос.

Проснулись хозяйка, заговорили по-литовски.

— Лежите, не беспокойтесь, — сказал хозяин. — Это моя свояченица, из Каунаса приехала.

Утром за чаем посмеялись над ночным происшествием.

— Проснулся, кто-то за руку тянет. Гляжу, ставни открыты, окно тоже, — рассказывал Газаров, пытаюсь создать впечатление чего-то жуткого, необычайного. — Глаза на лоб полезли. Стоит кто-то, шипит: «Не шевелись, если жизнь дорога!» Замахивается кинжалом, в другой руке держит пистолет...

— Что, что? Когда это было? Когда? — Кругликов чуть не поперхнулся чаем.

— Да ночью... Ты что, не слышал или под столом лежал? Как схвачу гранату — и в него. Заволокло дымом. Открыл глаза — никого кругом, и тихо вдруг стало. Вышел во двор, тоже никого не видеть. Убежал, негодяй! — Газаров с подчеркнуто серьезным видом начал пить чай.

Кругликов с расширенными от страха и удивления глазами нетерпеливо слушал Газарова.

— Глянь, а это, оказывается, она была! — Газаров показал рукой на сестру хозяйки.

— А я думал и в самом деле! — Теперь и Кругликов насмеялся. — Вы ночью, значит, приехали? — спросил он гостью.

— Я, я, — ответила та, хотя и не понимала ничего.

— А ты не спи как убитый, а то не заметишь, как с жизнью расстанешься! — сказал Газаров Кругликову.

Кругликов хотел что-то сказать, но Газаров под столом наступил ему на носок.

— Я обычно на этом месте сплю, — сказал хозяин, — вот она и подумала, что это я, и схватила за руку. Когда услышала русскую речь, закричала с перепугу.

— Ну, спасибо этому дому, нам пора, — сказал Газаров, посмотрев на часы.

Они попрощались с хозяевами и вышли на улицу. На берегу Немана начали уже собираться офицеры.

Шарапат привезли из больницы домой, к матери. Ее уложили на кровать, высоко взбив перину. Шарапат знала, что жить ей осталось считанные дни, и без жалоб, молча ждала смерти. Буурул же не смела смотреть ей в глаза, даже заходить лишний раз в комнату для нее было мучением. Она понимала, что своими руками погубила дочь. Она не находила себе места, боялась показаться перед людьми и жила под тяжким гнетом непоправимой вины. Она вздрагивала от малейшего движения Шарапат, каждый вздох дочери острой болью отзывался в сердце матери. Однако Шарапат ни словом не упрекнула ее, старалась лежать спокойно, ничем не выдавая своего страдания. Лишь оставаясь одна, она иногда стонала, чувствуя, как кто-то страшный сжимает тисками сердце и не дает дышать. Услышав однажды стон, Буурул пришла в ужас.

То, что дочь скрывала от нее свою болезнь и старалась казаться веселой, было страшнее любого наказания.

— Ты стонала? — услышав однажды стон дочери, вбежала к ней в комнату Буурул.

— Стонала? — будто недоумевая, сказала Шарапат и спокойно улыбнулась.

— Мне, значит, послышалось... — замялась Буурул, не смея быть настойчивой.

— Если и стонала, то не я, душа моя стонала, — произнесла Шарапат, все так же улыбаясь.

— Ой! — вырвалось у Буурул, но она быстро опомнилась и овладела собой. — Видно, послышалось мне.

Буурул была неглупой женщиной. Она поняла, что дочь ее, не жалуясь, не пытается обвинить кого-то, замкнувшись в себе, один на один борется со смертью. «Все в руке божьей», — пыталась она успокоить себя иногда, но призраки смерти, нависший над дочерью, не давал ей покоя, а стыд и раскаяние грызли ее, как червь. Шарапат то и дело спрашивала мать:

— Мама, скоро ли приедет отец?

— Не знаю, миленькая, кончится война, тогда и приедет.

И правда, Шарапат очень тосковала по отцу и по брату, но в то же время ей хотелось умереть поскорее, пока их нет дома.

Узнав от Маарипат, что возвратилась ее сестра, Саадат сказала, что скоро будет у них. Маарипат побежала домой сообщить об этом сестре.

— Обещала прийти? Принеси скорее зеркало и расческу! — заволновалась Шарапат. — И дай мое красное платье, только поторопись, пожалуйста.

Шарапат и Саадат еще не видели друг друга, но обе давно ждали этой встречи, готовились к ней, волновались. Только на днях Саадат вернулась с джайлоо, передала школу вновь назначенному директору и вместе с Мусой собиралась ехать во Фрунзе учиться.

Лето было еще в полном разгаре. Саадат надела хоть и старенькое, но лучшее свое платье и направилась к дому Буурул. Еще издали она заметила прохаживающуюся по саду женскую фигуру. Женщина была в длинном платье из красного шелка, платок повязан под самый подбородок, казалось, она просто гуляла. Вот она остановилась и задумчиво посмотрела в сторону Иссык-Куля, подернутого

легкой дымкой, опять прошлась, то и дело останавливаясь и любуясь озером. «Уж не Шарапат ли? А говорили, что она в постели?» Чем ближе Саадат подходила, тем больше смущалась и недоумевала: неужели эта стройная молодая женщина и есть та самая Шарапат, которая писала ей полные смертельной тоски письма. Саадат казалось, что ее обманули, посмеялись над ее наивностью.

Когда она подошла совсем близко, Шарапат не показывалась ей такой уж бледной и худой, перед ней стояла молодая крепкая девушка с красивым смуглым лицом и большими глазами.

— Вы Саадат-эдже? — довольно холодно спросила Шарапат и протянула руку.

Саадат удивилась ее холодности.

— А ты Шарапат-эдже? — в тон ответила ей Саадат, однако вкладывая в «ты» снисходительность учительницы.

— Этой несчастной буду я, — сказала Шарапат, и лицо ее вдруг стало мертвенно-бледным, будто потухло. Саадат поразила эта мгновенная перемена.

— Неси сюда, милая, на свежем воздухе посидим! — нарочито бодро крикнула Шарапат сестре, которая вместе с матерью несла ширдак. Шарапат не хотелось показывать перед Саадат свое измученное болезнью лицо.

— Рада видеть вашу дочь, Буурул-апа, давно мечтала с пей встретиться. Выглядит она ничего, значит, поправляется, а ведь как меня напугала! — Саадат усмехнулась. — Молода, вот и перепугалась сама. Я нынче еду учиться, если не кончить института, после войны недолго и без работы остаться. Когда Шарапат окончателью окрепнет, увезу ее в город... Но... не убегай больше от меня!..

Не договорив, Саадат прикусила язык, она только сейчас заметила, что лицо девушки стало землисто-серым. Шарапат тоже усмехнулась, но какой-то вымученной горькой усмешкой.

— Коли убегу, то уж навсегда! — сказала Шарапат.

Буурул и Саадат незаметно переглянулись, Буурул закусила губу, Саадат растерянно умолкла. Шарапат с трудом переводила дыхание.

В последнее время она стала резкой и язвительной, болезнь и горе убили в ней прежнюю шаловливую и бойкую девочку.

Она стала грубее отвечать на лицемерные утешения и напускную бодрость, которые раздражали ее и лишний раз

убеждали в собственной обреченности. Это состояние души может понять только человек, который знает, что скоро умрет.

Саадат поняла, почему эта молодая девушка, так рано познавшая жизнь, стала злой и язвительной, она решила говорить с ней осторожнее.

Удивлявшая людей резкость и озлобленность в характере больной никак не вязались с тем образом Шарапат, который жил все это время в воображении Саадат. Саадат думалось, что они обнимутся, как сестры, и поплачут вместе. Шарапат же, как необъезженная лошадь, не подпускала к себе близко.

В эту первую встречу не удалось преодолеть и этот холод, и эту неприязнь со стороны Шарапат.

После ухода Саадат больная сразу ослабела и с трудом добралась до постели. Неестественное напряжение, которым она держалась при Саадат, отняло все ее силы. Задыхаясь, она повалилась на кровать, слезы подступили к горлу, но все же ей удалось перебороть себя, она тяжело вздохнула и замерла. «Не надо плакать, — уговаривала она себя, — слезы умирающим ни к чему. «Бойтся баран — не бойтся, все равно умрет», — говорят в народе. Баран умрет, потому что рано или поздно его зарежут. Я сама себе накликала смерть. Вот и идет она. Медленно, но верно приближается... Мечтала отца и брата повидать. Глупое желание. Зачем лишний раз испытывать себя, прятать от них глаза и слышать раздирающий душу плач? Что изменится от того, увижу их или нет? Мне все равно уже не вернуться к жизни, слишком поздно. Раньше надо было бороться за жизнь, думать об этом до того, как стать соперницей родной тетке и женой родному дяде. А меня понесло, слишком я верила в свое счастье, все мне казалось ничем, вот и споткнулась и упала. Да так ушиблась, что уже не встать мне больше. Все во мне оборвалось... Я ведь не хотела этого. Теперь уж лучше умереть, чем жить в позоре. Багдавлет и меня бы, возможно, согнул в дугу и состарил преждевременно. Но стоило ли цепляться за такое счастье, драться за него, ругаться с кем-то? Нет, я хочу быть хозяйкой собственной судьбы. Мне можно было бы сразу уехать от них. И найти себе пару среди сверстников. Но от своего позора не уйдешь, как от собственной тени. Выйду замуж, стариковским обедком не перестанут упрекать, загуляю — тот же позор и унижение: «Пошли к

стариковской бабе», — скажут парни и будут откровенно измываться. Человек же я, не могу же я пойти на такое унижение. Значит, выход один: умереть! Вот смерть уже близка! Нет, нет, погоди, остановись, не подходи!..»

Услышав крик, вбежали перепуганные мать, невестка и Мааринат.

Но больная уже пришла в себя, она поняла, что бредила, и, чтобы обмануть родных, сделала удивленное лицо. Комната была тускло освещена проникавшим в окно лунным светом, в серебристой мгле неживой белизной выделялось лицо Шарапат.

— Шакен, ты что-то сказала? — еле промолвила мать, боясь прямо спросить, что случилось.

— Вы почему не спите? — спокойно и ласково спросила Шарапат.

Голос ее был твердым, ни дрожи, ни испуга не чувствовалось в нем.

— Господи, прости, — бормотала про себя мать. — Ну и характер! Неужели это моя дочь! Кремень, не человек...

— Чего ты там бормочешь, мама? Плохо ли быть твердой? Да если бы я... о боже! Спите уже... — и замолчала.

— Летняя ночь коротка, детка, не тревожь себя думами, отдохни...

Зажав рот рукой, чтобы не расплакаться, мать пошла в летнюю половину дома и села на разостланную на земляном полу постель.

— Потуши, чего коптить зря, — сказала она Мааринат, махнув рукой в сторону лампы без стекла.

Когда Саадат пришла утром, Шарапат, лежа на кровати, читала письмо и была радостно оживлена.

— Идите, эджেকে, садитесь ко мне... — с тихой улыбкой сказала Шарапат.

От ее вчерашней гордой недоступности не осталось и следа. Она лежала бледная, изможденная, с трудом переводила дыхание.

Саадат только сегодня поняла, что Шарапат больна серьезно.

— От джигитов письма получаешь? — пошутила Саадат.

Шарапат кивнула и радостно улыбнулась.

— Не хотела сегодня вставать, да придется, видно. Не годится лежать тому, кто письма от джигитов получает. Захотелось мне с вами к озеру сходить. Пойдете? — Шара-

пат потянулась к платью, висевшему на спинке кровати.

— С удовольствием...— ответила Саадат. Она заметила вдруг под подушкой толстую книгу и по привычке хотела тут же взять ее и полистать.

— Нет, нельзя,— остановила ее Шарапат,— в этой книге есть секрет...— Она рассмеялась.— Ну уж ладно, берите, ничего не буду от вас скрывать. Ваше письмо растревожило меня, было бы слишком больно говорить с вами, и вчера вот пыталась прогнать вас от себя, но не получается... Уж от вас-то я не могу прятаться, выйдите на минутку, я оденусь.

Взяв книгу, Саадат вышла во двор. Это был «Витязь в тигровой шкуре» в переводе Алыкула Осмонова. На титульном листе было написано четверостишие:

Вручаю тебе этот подарок,  
Вместе с ним и свою надежду.  
Если не достигну желанной,  
Зачахну душой.

«Кто-то был у нее, кроме старика»,— подумала Саадат, с интересом перелистывая книгу.

— Знаю, о чем думаете, вот и выдала вам свою тайну,— послышался сзади голос Шарапат.

До озера было рукой подать. Пройдя прибрежный лесок, они вышли на тихий берег. Одна за другой накатывались мелкие волны, выплескивая на песок белую пену. От воды тянуло прохладой.

— Как весело играет сегодня озеро!— сказала Саадат, восхищенно уставившись на широкий плес, ярко освещенный солнцем.

— Не играет, оно дрожит и томится, как мое сердце,— задыхаясь, произнесла Шарапат.

Саадат резко повернулась и увидела бледное, измученное лицо Шарапат.

— Значит, кто-то заставляет его томиться,— принудила себя пошутить Саадат.

— Ах, несчастный, он еще надеется, все не верит, что я умру...— Шарапат медленно опустилась на гладко отполированную каменную глыбу.— И правда, эджеке, озеро сегодня прекрасно! Поглядите... Вон там чуть затянутые мглой горы с белыми вершинами... Озеро будто сливается с ними, все тонет в этом мареве, отсюда озеро кажется без-

брежким, где синь воды, где небо, трудно и различить. Вы правы, оно играет. Потому и чайки выются посередине, в тихую погоду рыба выходит на поверхность, погреться на солнце. Видите, пролетела чайка, определенно поймала рыбу.

«Вот что с тобой сделал старик проклятый! — подумала Саадат, с какой-то неприязнью проводив взглядом чайку. — Ты же поэт в душе и умница! И все это должно бесследно исчезнуть... Как это жестоко и несправедливо. А кто виноват? Сами виноваты. Все еще в плену у старых обычаев. Вот и я из ложного стыда не попросилась с отцом!..»

Страхнув тяжелые думы, Саадат заговорила как можно веселее:

— Где же ты познакомилась с этим джигитом?

— В больнице. Он выздоровел и выписался. И мне врачи разрешили вернуться домой. Видно, поняли, что человеком я уже не стану... А он-то не знает, думает, что я поправилась. — Шарапат тяжело вздохнула.

— И все у тебя мрачное на уме, Шарапат, хуже старухи. Тебя же любят, неужели и это не радует? — Саадат оглянулась вокруг и сказала: — А не искупаться ли нам?

Можно ли купаться Шарапат, нельзя ли — Саадат не знала. Но ей самой страшно захотелось сейчас же броситься в воду.

— Ну что ж, эджеке, искупаемся. Грех не окунуться в таком озере. — И Шарапат начала снимать платье.

Обе они разделись и вопли в воду. Через несколько минут Шарапат, тяжело дыша, выбралась на берег и остановилась, прижав руку к сердцу.

— Совсем задыхаюсь, — будто оправдываясь, сказала она подбежавшей сзади Саадат. Та совсем перепугалась и начала быстро одевать Шарапат. — Все, эджеке, все, мне уж лучше, нельзя было мне купаться. У вас слепень на спине, неужели укуса не чувствуете? А какое у вас белое, нежное тело, нельзя не позавидовать! — Шарапат еле улыбнулась вымученной улыбкой. — Вы купайтесь, я буду глядеть на вас...

Шарапат жадно разглядывала Саадат.

Она была крепко сложена, с тугими упругими мускулами, отчего казалась немного тяжеловатой, но плавала легко и свободно. Сквозь прозрачную голубизну воды тело ее казалось янтарным. «Вот здоровое тело! — с завистью подумала Шарапат. — Счастливая женщина... Впрочем,

много ли у нее счастья? Муж пьяница, гулена. При таком муже стапет ли жена так уж соблюдать себя. Не найдет счастья с мужем, заведет любовника и вырвет у жизни хоть сколько-нибудь радости. Что ни говори, хороша собой. Как на меня заглядывались, так и на нее, видать, заглядываются мужчины. Что бы там ни было, я честной ухожу из жизни. Но так ли это? Может быть, чужие слезы, чужая обида, чужое проклятие настигли меня? А ведь что пишет мой бедняга! Читаю и начитаться не могу. Каждое слово проникает в сердце, пьянит, убивает. О боже! Приговоренному к смерти и любовь в тягость, но она и великая радость! Холодную, безжалостную, ледяную руку смерти хоть любовь слегка согреет, а призрак смерти заслоняется образом любимого... Когда любишь — и умирать, кажется, легче».

Саадат, словно русалка, появилась из воды. С ее темных волос, собранных в узел, ручьями стекала вода. Шарapat в который уж раз перечитывала письмо. Щеки ее разгорелись, вся она светилась изнутри и казалась здоровой. Красное платье из гладкого шелка, сбившийся на затылок белый платок, мокрые косы, поблескивающий на солнце полированный камень, на котором она сидела с письмом в руке, и слегка волнующаяся синяя гладь озера — всё делало Шарapat какой-то ненастоящей, пришедшей из волшебной сказки. Чтобы не спугнуть ее, Саадат незаметно отошла в сторонку, легла на горячий песок, вытянулась с наслаждением. Она то к себе пригребала песок, то отгребала от себя, не отрывая взгляда от Шарapat, любуясь ею и жалея ее.

«Молодая, красивая. Сердце, говорит, больное, что это за болезнь такая? Уверяет, что не встать ей больше. Но разве может человек умереть в самом расцвете? Что это за смерть? Отчего сердце ее вдруг стало больное? Разве что от тоски? Болезнь ее началась тогда, когда она подумала, что погубила свою жизнь. Но ведь никогда не поздно выправить ее! Или она, слишком поздно поняв свою ошибку, устыдилась своей жизни и решила уйти из нее, предпочитая смерть унижению? Удивительная девушка!.. А я?..»

— Эджеке! — окликнула ее Шарapat, болтая ногами и размахивая руками, как ребенок. — Эджеке! Мне хочется петь и кричать! «Не хочу умирать, жить хочу!» Как вы красиво лежите! Солнце, озеро, песок, лес — вся природа

будто для вас создана и радуется вместе с вами! Ах, жизнь! Ах, жизнь! Как ты хороша! Ну, как можно думать о смерти! Ты прекрасна, жизнь, прекрасна!... Мне хочется раскрыть перед ней объятия, хочется идти по ней твердо, смело, радостно, хочется смеяться! Эджеке! Не могу наглядеться на мир, не могу налюбоваться! Слышите, эджеке!..

— Ты сама делаешь ее прекрасной! — улыбнулась Саадат. — Кто бы устоял сейчас перед собой! Будь я художником...

А про себя подумала: «Все же удивительная девушка!»

Шарапат и Саадат вернулись в сумерки. Шарапат выглядела слегка усталой, но была веселая, губы ее улыбались, а щеки горели румянцем.

— Мама, есть хочу! — крикнула она прямо с порога. — Каждый день мне надо бывать на озере, как там хорошо... Но с кем? С эджеке хоть ежедневно...

Увидев сияющую от радости Шарапат, мать засуетилась:

— Ах ты, моя милая, сейчас покормлю. А на озеро с эджеке пойдешь?..

Буурул повернула к Саадат улыбающееся от счастья лицо.

— Благослови тебя бог, Саадат, приходи к нам, пока не уехала.

— А что же, буду приходить, делать мне нечего, человек я теперь свободный.

— Сколько прожила на свете, не знала, как прекрасно наше озеро! — Шарапат рассмеялась и скрылась в доме.

— В один день так переменялась, совсем другим человеком стала. А то лежит целыми днями и киснет, спасибо тебе, Саадат, — запричитала удивленная и обрадованная Буурул. — Господь воздаст тебе, милая, за твою доброту, присаживайся, сейчас принесу вам поесть. Где будешь кушать, здесь или в саду?

— В саду, — сказала Саадат.

После ужина Шарапат, звонко смеясь, подала Саадат листок бумаги.

— Слышала, что вы поэт, напишите для меня стихи.

— Ой, нет! — испуганно воскликнула Саадат, но тут же рассмеялась. — А это что? Разве не стихи? Мне никогда не написать так хорошо, как ты.

Саадат вслух прочитала:

Без слез я хочу испытать, что Тиватин испытала.  
Любящий разве не будет страдать, как когда-то страдал  
Тариэль?

Нет моего Тариэля, как облачка в небе не стало,  
Осталась одна Тиватин, осталась одна на земле.

В небо гляжу я, зову Тариэля обугленным сердцем,  
Но ни от бога и ни от облака в небе ответа мне нет.  
Скажите, эдже, почему суждено мне одной быть до смерти?  
Никто, кроме нас, не знает души моей бедной секрет.

Саадат помрачнела, будто вечерние сумерки проникли в ее душу. Ей было неловко оттого, что она, учительница, не может понять и ответить на стихи своей ученицы.

— Я чего-то не поняла, ведь это герой из книги? — спросила она, радуясь, что в сумерках незаметно, как она покраснела. — Ты молодец, девочка, я еще даже не читала этой книги, вот что называется ученик превзошел своего учителя. Я не могу так написать и не читала никогда таких стихов. Вот и потерпела поражение от ученицы. — От своего откровенного признания Саадат стало легче, и Шарapat это понравилось. Она рассказала содержание книги.

— Делать-то было нечего, вот и читала, что попадалось под руку, — сказала она потом, — а вам, где же вам найти время читать. Ну теперь пишите ответ.

— Не могу, Шакен, не могу. Твои стихи как у настоящих поэтов получаются, а мои — не более чем импровизация, — растерянно отнекивалась Саадат.

— Слышала, что легче петь, чем говорить стихи, так спойте. Поглядите на эти яблоки. Белый налив уже сняли, остался один апорт. А он хорош нынче, даже ветки погнулись от тяжести. Мама молодец, хорошо охраняет их от детворы, а то бы зелененькими подобрали. Вот и жизнь мне кажется такой же, ее надо оберегать, защищать, иначе первый встречный похода затопчет... — Будто испугавшись своих мыслей, Шарapat вдруг засуетилась. — Нет, нет, эджеке, не то я хотела сказать, да уж ладно, вырвалось как-то... Ну, ответьте же мне!..

— Говорю тебе, что не умею сочинять стихи... — сказала Саадат, удивляясь настойчивости Шарapat, да и в самом деле она не знала, о чем ей спеть.

— Уместе! — заявила Шарapat не моргнув глазом.

Склонясь над бумагой, Саадат задумалась, потом начала быстро писать.

— Вот, чепуха какая-то получилась. — Стесняясь, она протянула листок Шарапат. Шарапат начала читать.

В красном платье из красного шелка  
Ты скакала на скакуне,  
Как царевна на сером волке.  
Жаль, что не встретилась мне.  
И когда увидела тебя, изумилась.  
Пусть расцветает твоя красота,  
Пусть сбегает с плеч твоих милых  
Роскошных кос чернота.  
Соловьи до утра свистят,  
Яблоки зреют в саду,  
Красавица Шарапат,  
Не печалься, пока ты в цвету.  
Юность — большой перевал,  
Счастлив, кто не упадет.  
Но если упавший встал,  
Пусть смело идет вперед.

— Эдже-ке-е! Так вы же настоящий поэт! Я так и думала. Эдже-ке-е! — Шарапат восхищенно уставилась на Саадат. — Мне вдруг захотелось обнять вас, посидеть с вами и поплакать.

Они бросились друг к другу. Одна плача, другая утешая, долго стояли обнявшись. Тут к ним неожиданно подошли Муса и Абылкасым.

— О-хо, что это с ними? — воскликнул Муса.

Саадат и Шарапат отскочили друг от друга, не успев скрыть слезы, растерянно переглянулись.

— Вы как весенний день, то ясный, то пасмурный, что это с вами? А? Одна из вас учительница, другая... — Муса, не договорив, прикусил язык.

— Ну, договаривайте, аба, кто другая? — мрачно спросила Шарапат.

Муса да и Абылкасым приходились Шарапат родней... С тех пор как Шарапат стала «табунщицей», Муса не хотел видеть ни ее, ни ее мать, при встречах он ругался, злился на мать, иной раз готов был отхлестать и мать и дочь.

Абылкасым знал об этом и, не дав ему договорить, потащил к дому.

В дверях показалась Буурул, но, заметив пришедших, быстро повернула назад. Вопрос Шарапат рассердил Мусу.

— Разве сама не знаешь, кто ты такая? — без всякой жалости к больной и сломленной девушке вызывающе спросил Муса.

— Знаю, потому я и здесь. Но предупреждаю вас, не вам меня осуждать... Хотя вы и родня мне. Набрасывае-тесь, как на преступницу... Умойтесь сперва сами, а потом распускайте язык. Если бы хоть чуть-чуть соображали, я бы не оказалась в таком положении! Где вы были, когда в пароде поползли темные слухи, когда народ заволновался? Говорят, еще в институте учились, ученый человек... Думаете, я ничего не знаю? Одна грязь была у вас на уме, никогда-то вы не ходили по прямой дороге. Ну, скажите, когда, кому вы сделали добро? И такому досталась моя замечательная эдже! Разве вы можете ее оценить! Вы и ее потеряете в один прекрасный день. Попомните мое слово! И он еще смеет бранить меня, еле стоящую на ногах... — Шарапат побледнела, тяжело дышала, но слова Мусы задели ее за живое, и она гордо, никого не стесняясь, словно камни, бросала тяжелые и резкие слова в застывшего на месте Мусу, которого Абылкасым безуспешно пытался оттащить в сторону. Саадат же не посмела остановить Шарапат. — Почему вы меня упрекаете? Почему? Я что, преступление какое совершила или по дурной дороге пошла? Или, как вы, чужую семейную жизнь испортила? За какой грех вы меня упрекаете? В чем мой грех, скажите же! Я была тогда ребенком, поймите, ребенком. А никто мне не протянул руку помощи. Кого из вас могу я благодарить, кому посмотреть прямо в глаза? А если посмотрю, выдержите ли вы мой взгляд? А вы смеете еще упрекать меня. Не смеете! Даже после моей смерти вы не уйдете от стыда. Потому что вы мои убийцы! Да, да, не делайте больших глаз, вы меня убили. Вы называете Шарапат споткнувшейся, заблудшей девушкой. Вам легче осудить меня. Ну что ж, осуждайте. Выгораживайте себя, бейте в грудь, что вы хорошие. А я вот споткнулась. Где же вы были тогда, стойкие люди, теперь упрекающие меня? Молчите, хозяева жизни, и прячете лицо. Не находите ответа! Я не думала сваливать вину на других. Но вы, оказывается, сами меня обвиняете, ненавидите меня. Ну что ж, пусть. Я хотела делать добро. Но мне не удалось. Теперь мне осталось одно... Когда умру, не приходите меня хоронить! Те, кто птенцом бросили меня в зубы волку, пусть не оплакивают и мою смерть!..

Муса стоял с раскрытым ртом, Саадат толкала его рукой и цедила сквозь зубы: «Уходи!» Абылкасым помнил Шарапат лишь девочкой, после больницы он еще не успел

поговорить с ней, да ему и говорить-то было не о чем. Но когда Шарapat вдруг венылила так, ему многое стало ясным, и от этого уже невозможно было отмахнуться. Если бы Муса сдержал свой паршивый язык, Шарapat ни за что бы не высказала всего этого. Молча болела бы и молча умерла. Но тут раскрылась ее рана, которую она собралась унести в могилу, и Шарapat прорвало. Разве не права она? Любят киргизы, стоя в стороне, чесать языки, когда дело уже сделано и уже поздно вмешиваться, любят растерянно махать руками, позволяя свершиться преступлению — это и погубило Шарapat. Шарapat ошиблась по молодости, но где же были взрослые, зрячие люди?

Шарapat, задыхаясь от слабости, поддерживаемая Саадат, еле добрела до кровати.

— Дайте попить, эджеке, во рту пересохло, — сказала она, облизывая губы.

— Еще бы, милая, и стоило расстраивать себя из-за этого пустомели? — мягко заметила Саадат, раздевая и укладывая Шарapat в постель.

— Ах, эджеке, пустомель-то я видала, но этот пришел издеваться надо мной, я же знала, что он скажет, могла ли я промолчать? По мне, пусть он хоть провалится сквозь землю, никто, видно, не болеет за другого, он мой родственник, а и вполовину столько не сочувствует, сколько вы. Вы написали мне тогда, это было человечно с вашей стороны. Если бы я вас послушалась... Ах, судьба моя! Все бурлило тогда во мне, все казалось ничем. Ладно, решила я, рожу им, пусть радуются бездетные старики, сделаю доброе дело... Разве я понимала тогда жизнь... Бедная я! Оказалось, жизнь беспощадна, она гнет и ломает человека. Вот что значит не любить. С Багдавлетом ничего я, кроме боли, не чувствовала. А дни проходила. Я все отдалялась от них, становилась чужой. Наконец поняла... и ужаснулась... И стала звать к себе смерть... эджеке, вот смерть уже и пришла... идет... Если бы я чуть раньше встретилась с таким человеком, как вы, может быть, я еще отогнала бы смерть. Но сейчас уже поздно.

Шарapat глотнула тепловатого чаю, схватила Саадат за руки и замолчала.

— Не думай о тяжелом, милая, лежи спокойно. Завтра опять сходим на озеро. Пока не уеду, буду каждый день с тобой. Сегодня у тебя заночую. Ах, боже мой... Я же не знала всего, мне надо было поднять тогда скандал и при-

везти тебя домой. Все от моей безрукости. Твои слова и по мне тяжело ударили. Я тоже виновата. Но что пользы теперь ахать и охать?

Саадат налила горячего чаю и поставила перед Шарапат на стул.

22

— Как лампа у мамы разгорелась! — засмеялась Шарапат, отдышавшись и снова повеселев.

В открытое окно врывался влажный ветер с озера, и комнате стало свежее. Ярко светила полная луна.

— Девочки, поешьте сдобных лепешек, сейчас напеку, — сказала Буурул, появившись в дверях.

— Напекла или только собираешься? Говоришь, поешьте, — рассмеялась Шарапат. — У тебя сегодня и лампа горит ярко, и сдобные лепешки печешь, что за праздник такой? Мука появилась, и откуда все это у тебя, а, мама?

— Из колхоза, детка, Абылкасым порадовал нас, на трудодни выдал. А стекло для лампы Абылкасым из Брунзы привез. А главная радость: отец приезжает...

— Отец? Кто тебе сказал? — пытаюсь встать, Шарапат приподнялась с постели.

— Я сказала! — вбежала Маарипат и прижалась к сестре. — Дядя Абылкасым сказал. Вот письмо.

— Недаром так ярко разгорелась твоя лампа, мама, счастье еще не покинуло нас, бедняжки мои! — воскликнула Шарапат, раскрывая письмо. — А от брата нет?

— Нет. От него же недавно было, — затараторила Маарипат. — А я корову домой пригнала, — похвасталась она.

— Ты что, пастух, что ли? А где джене была? — Шарапат улыбнулась, приласкала и поцеловала сестру. — Также, наверное, узнать пошла, бедняжка, нет ли писем.

— И верно, что пригнала, да еще заставила, болтушка, катаму<sup>1</sup> делать, — засмеялась Саадат. — Хорошо учится, а то бы и пошлепать не мешало, больно уж озорная. От мамы еще не попало сегодня?

— Попало бы, если бы поймала, я не даюсь в руки, убегаю! — ответила Маарипат.

— Ну и язычок у тебя! — сказала Буурул.

<sup>1</sup> Кат а ма — сдобные лепешки из слоеного теста.

— Иди к джене, принеси катаму, если правду сказала. — Шарапат ласково оттолкнула сестру.

— Ладно, накрывай на стол да не болтай много, катаму я сама принесу и чаю горяченького прихвачу. — Буурул вышла.

— Вот будет-то радость, папа приедет, а, эджеке? — воскликнула Шарапат.

— Скоро и война, видно, кончится, наши хорошо продвигаются. А вот от моего брата с сорок второго года нет писем! — У Саадат на глаза навернулись слезы.

Стало тихо.

— Чего я боюсь, — вновь заговорила Шарапат, — больше всего боюсь: как посмотрю папе в глаза!.. Как? Лучше провалиться сквозь землю!.. И умереть мне спокойно не суждено!.. — Разволновавшись, Шарапат начала кусать палец. Потом быстро обернулась к Саадат, обиженно заговорила: — Ну почему так, эджеке? Почему я должна умереть? Ради чего? Мало женщин гуляет, меняет мужей, бросает детей? Почему же они не умирают со стыда? Или им не ведомы ни стыд, ни совесть? Живут себе припеваючи. Говорят, что у женщины сорок звезд бывает, не та, так другая загорится. А разве у меня не так? Ждать, когда загорятся все сорок моих звезд, сорока мужчинам я должна была бы принадлежать. Можно ли таких женщинами называть? Объясните мне, эджеке?!

Саадат замялась, не зная, что ответить, она сама в последнее время много думала об этом, но так ни к чему и не пришла.

— Когда у женщины нет стыда, это плохо, Шакеп. Такие на глазах у всех сбивают мужчин с толку и портят людям жизнь. Женщина должна оставаться женщиной, чистой, чуткой, доброй. Те, которые считают, что у них сорок звезд, те, по-моему, совсем другие. Они напуганы мужчинами и жизнью. Или же махнули на все рукой: мол, как будет, так и будет. Среди этих бывают и хорошие, и дурные. У дурных пусть даже будет не сорок, а все сто звезд, но ни одна из них не загорится. Ведь и звезду надо уметь зажечь. Вот у тебя, например, у тебя ни одна твоя звезда еще не загорелась. У тебя все еще впереди. Ты бы лучше перестала говорить о смерти. Да провались она, смерть. Лучше напиши-ка своему джигиту. Говорят же: любовь — крылья жизни.

— Хорошо, пусть вы правы! Но вот у вас самих горит ли звезда? — Шарапат пытливо посмотрела ей в лицо.

Саадат боялась этого вопроса. Она не могла так сразу ответить на него, надо было хорошенько подумать. Она не могла определенно сказать, по какому пути пойдет ее жизнь в дальнейшем, она боялась, не толкнет ли бесцутство Мусы и ее на какой-то скользкий путь.

— Не каждый, кто поучает других, сам бывает счастлив, — сказала Саадат.

— По тому, как Муса упрекает меня и осуждает, да по вашему характеру можно подумать, что вы нашли свою звезду, она горит и светит.

— Муса ревнив, он следит за мной и не доверяет, — стыдись, призналась Саадат, так как невозможно было спрятаться от упорного взгляда и беспощадного прямого языка Шарапат. — Плох ли, хорош ли, таков уж он есть. И все нетерпимей становится.

Шарапат засмеялась.

— Раз ревнует, значит, любит. Много ли стоит благодушие в этих делах! Куры — и те меня поражают, смех берет, как понаблюдаешь за ними. Чужого петуха в свою семью не подпустят. Но что муж не верит вам, это грустно. Может быть, дали повод? — И так посмотрела на Саадат, будто хотела вывернуть ее наизнанку.

— Ой, нет! — воскликнула Саадат, растерянно улыбувшись и чуть не выдав своей тайны.

Саадат правился один человек, но она пока боялась даже себе в этом признаться.

Шарапат пожала плечами и отвернулась.

— А я-то думала, что вы безупречная, — недовольным тоном заметила она.

— Так оно и есть, ты что, сомневаешься? — спросила Саадат, боясь проговориться.

— Сами говорите, что женщина должна быть чистая, сами прячете от меня свою боль, эх, эджеке, эджеке... — Шарапат покачала головой. — Все-то у вас написано на лице! Ай, эджеке, какая я стала бесцеремонная, ну словно старуха болтливая да желчная.

— С чего бы это? — будто удивилась Саадат. Она поняла, что чуть не попала в ловушку, и первая почувствовала свою фальшь.

— Сама удивляюсь, — ответила Шарапат.

— Ты будто, постарев, вновь помолодела, мудрая стала

и разговорчивая. Я представляла тебя какой-то мямлей. Но твои письма... Поразительно! — Саадат почувствовала себя намного глупее Шаранат.

— Такой языкастой и болтливой меня сделали, кажется, ложь и лицемерные улыбки людей, как я это ненавижу. Мне показалось, что и вы на это способны. Ох-хо-хо! Не надо, эдже, вы же хорошая!

— Нет, я говорю правду! — Саадат попыталась улыбнуться.

— Язык ваш произносит: «Правда», — а глаза говорят: «Ложь». Дайте мне вашу руку. — Она перехватила руку Саадат. — Вот видите, сердечко-то бьется, значит, не все в порядке. Ну посмотрите же на меня, слышали вы поговорку: «Мужу угоджает, а живет в мечтах?» Никогда не слышали?

— Нет, — откровенно призналась Саадат.

Об этом же Шаранат спросила и вошедшую мать.

— Что ты говоришь, детка, откуда ты все это берешь? — сказала мать, с недоумением оглядывая то Саадат, то дочь.

— «Муж гулена — жена гулена, жена гулена — муж гулена». Говорят так, правда, мама? — Шаранат очень серьезно посмотрела на мать.

— И-и, балаболка! От горшка два вершка, а куда же! — Буурул от удивления всплеснула руками.

— Вот я думаю, неужели и мама моя гуляла? — так же серьезно сказала Шаранат.

— Нет, только послушать, что она говорит! — Буурул сжала лицо ладонями и застыла, обомлев.

— В правде стыда нет, говорят. Ну скажи, мама!

— И-и, до чего я дожила! Вот балаболка! И-и! — Буурул убежала.

— Вот и маму заставила признаться. А уж Муса озорник первый, если вы пойдете по его следам, не заметите, как начнут трепать ваше доброе имя, сейчас вы скрываете, а там не спрячетесь, не умоетесь. А то еще в пьянство ударяются. Но вы веселая, и это вам идет!.. Простите меня, я, кажется, увлеклась немножко, извините, — сказала Шаранат, заметив, что Саадат готова заплакать. — Не умею я вовремя остановиться, пожалуйста, простите, эджеке, хорошая моя, милая моя, чистая моя! — Шаранат схватила ее руку и поцеловала.

— Бог с тобой, Шакен, ну и язык же у тебя! — Саадат вытерла глаза.

— Простите, эдже. Разве обижаются на правду? Посмеялись — и все тут.

Шарапат не отпускала руку Саадат, глядела ей в глаза.

— Не могу наглядеться, эджеке, не могу насмотреться на мир! И говорить хочется. Все хочется знать, все высказать людям прямо в лицо. Видно, это свойственно умирающим, особенно тем, кто рано покидает мир. Ах, эджеке, эджеке! Не понимаю, почему я звала к себе смерть! Но я, конечно, права была. Мне не хочется быть позорищем для людей. Что станет с моим бедным отцом? Бороду будет рвать и плакать!

— Будет тебе, Шарапат! Что это с тобой? — Саадат не знала, как утешить ее, как отвлечь от мрачных мыслей. — Говоришь о смерти, а сама ненавидишь ее. Лучше бы про любовь свою говорила. — Саадат рассердилась было на нее, затем снова смягчилась.

— О боже, и вам я надоела! Молчу, молчу! И правда, слишком много говорю!.. — Шарапат хотелось еще поговорить о смерти, но уже не смела. — Вы говорите, что я молодая, где она, молодость-то моя? Какая уж молодость, после того как спозналась со стариком! Слишком много я узнала для этого... Но вот почему такой человек приговаривает себя к смерти? Почему, вот что я хочу понять.

— Вот опять же ты!

— А что мне делать?..

— Сама зовешь к себе смерть! Человек умирает, когда смерть приходит, а не тогда, когда он захочет. Оставь эти мысли, поговорим о другом! — От волнения Саадат начала жестиковать.

— Ах, эджеке, не сама ли я вызвала в себе эту неизлечимую болезнь, смерть меня уже в объятиях держит, уже поздно вырываться, а тот бедняга писем ждет и тоскует по мне.

— Джигит твой?

— Мой джигит...

— Пригласила бы повидаться?

— Я ему говорю, что больна, он не верит. Может не успеть и останется в глупом положении, чего звать-то напрасно...

— Ну брось ты, Шакен, брось! — остановила ее Саадат. — А все же напиши ему ответ.

— Ответ готов.— Шараяат протянула свернутый вчетверо листок.— Вот, прочтите.

Саадат развернула листок и пробежала взглядом. Здесь было всего четыре строчки:

Прощай, мой друг, я не могу уже тебя слышать  
И увидеть твое смуглое лицо,  
Это не жестокосердие и не равнодушие,  
Что поделаю, если не встать мне с постели...

— И всего-то?

— Да.

— Что он поймет из этих четырех строк?

— Эти четыре строчки скажут яснее, чем длинное письмо,— произнесла Шараяат, глядя в пустоту.

— Это отчаяние безнадежности.

— Как же я могу надеяться? Как, эджеке?

Глаза Саадат наполнились слезами, она схватила чистый листок и начала быстро писать.

Четыре строчки, быстрее летите к моему другу,  
Расскажите ему о моей беде.  
Ты один только можешь излечить мою душу больную.  
Быстрокрылою птицей прилетай же ко мне!

Шараяат прочла стихи и покачала головой.

— Что толку звать его, не успеет.

Саадат испуганно смотрела на Шараяат. Она все еще не верила в эти разговоры о смерти, считала их блажью больного человека. Сколько раз видела тяжелобольных, которые, простившись с жизнью, сделав завещание, вновь выздоравливали. Шараяат догадывалась, что Саадат не верит ей, и то горько улыбалась, то вздыхала молча. Ей хотелось, чтобы Саадат знала, что она умрет, и умрет очень скоро, потому и говорила ей о своей смерти. Но что поделаешь? Больным свойственно жаловаться и пугать своей смертью, здоровые этого не любят, это их раздражает. Об этом знали и Саадат, и Шараяат, потому одна из них не могла поверить, другая не могла убедить.

— Я завтра отправлю письмо,— сказала Саадат.

— Почему? Думаете, я сама не смогу?

— Ты не решишься.

— А вы верите в свою решимость?

— Тебя не переговоришь! — рассмеялась Саадат.

— Вы, может быть, и решитесь, однако отправить не успеете.

— Почему?

— Так и не верите?

— Как я могу верить? Пойду и отдам почтальону, — заявила Саадат, не желая даже слушать ее.

— Ну, как хотите... — И Шарапат замолчала.

Погушив лампу, женщины еще долго лежали и говорили при бледном свете яркой луны.

Утром Саадат проснулась от дикого крика Буурул.

Как лежала Шарапат с вечера на спине, так лежала и сейчас, лишь слегка повернула голову вправо и, казалось, спокойно уснула. Из правой ноздри и правого уголка рта вытекла и застыла тоненькая струйка крови.

Шарапат молча скончалась на заре, а может быть, она и звала, но никто ее не услышал...

## 23

В последних числах октября глубокой ночью офицеры запаса 39-й армии пришли в Шервиндт — немецкий пограничный городок между Германией и Литвой. Утром офицеры отправились на поиски жилья в уцелевшем от бомбежки доме. Город был одноэтажный, дома прочные, красивые. В каждом доме бомбоубежище и зацементированные подвалы. Отделяя Германию от Литвы, текла здесь река Неман. На двух концах моста через Неман стояли раньше немецкие и литовские пограничники. На литовском берегу находился маленький пограничный городок Науместис.

У въезда в Шервиндт по обеим сторонам моста были расставлены толстые чугунные противотанковые надолбы, на берегу — бронированные непробиваемые доты. Именно по этому мосту немцы прошли в 1941 году, навязав нам войну, именно на этом мосту и в этом пограничном городке — Науместисе обильно пролилась первая кровь советских солдат, спокойно спавших в ночь на 22 июня.

Устроившись с жильем, Качике и его новый товарищ капитан Кузьмин решили посмотреть Науместис.

— Пока наши на этой стороне торговали молоком да овощами, немцы на той... — Капитан с досадой махнул рукой.

Сейчас Науместис был переполнен нашими войсками. Неожиданно встретился Кабалов.

— Ва! Откуда ты? Вот чертыка! — Кабалов обнял и поцеловал Качике.

— Живой? — обрадовался ему Качике. Они снова обнялись, снова расцеловались.

— Живой, живой, получил твое письмо, спасибо.

— А второе?

— Видно, в полку дожидается, я из госпиталя иду, — возбужденный встречей, ответил Кабалов.

— О! Поздравляю с боевым крещением! — Качике снова обнял его от души.

— Ребята пишут?

— От Софронова получил, — сказал Качике. — Пишет, что наших многих видел. С Кутузовым и его матерью переписываюсь.

— А Николай-то наш Поденщиков погиб, — с сожалением произнес Кабалов.

— Бедная мать... Помнишь, в Перми приходила к нему. Тихая такая, добрая старушка... Только и было у нее близких что Николай. Единственной опоры лишилась... Как она переживает, несчастная... — Качике совсем расстроился.

— Ничего не поделаешь, — вздохнул Кабалов. — Сам-то как?

— А никак, в резерве загораю.

— Познакомься, резервист с востока, азартный картежник, комендант невзятого города, — шутливо представил Качике Кузьмина.

— А вы не моряк? — спросил Кабалов, пожимая Кузьмину руку.

— Пешком плавал по болотам Дальнего Востока, — засмеялся капитан.

Лицо капитана, когда он смеялся, забавно морщилось.

— Что мы стоим? Пошли к немцам в гости, — сказал Качике. — Ты куда направлен, Николай?

— В свою часть, в пух и прах разругался в отделе кадров, а своего все же добился. Помнишь, как ты тосковал по своей дивизии? — сказал Кабалов.

— Дивизию я свою потерял, но генерал Белобородов где-то здесь на севере, то есть в Прибалтике, не то армией, говорят, не то фронтом командует. Повышение получил, я этому рад.

Они подошли к мосту. По мосту шли танки.

— Днем и ночью идут и идут, раздавят они скоро немцев,— сказал Качике, с восхищением глядя на тридцать-четверки.

— Немцы еще сильны, но видел бы ты переполох, когда мы входили в Восточную Пруссию, у-у! И что делалось! Кругом дым, копоть, сплошной огонь, как в аду. Я горевал, что из минометчиков попал в стрелки. А тут все смешалось. Где артиллерия, где танки — не разберешь... Ну и погнажи мы их! И я среди первых вошел в Восточную Пруссию.

Хвастливый рассказ Кабалова прервал артиллерийский выстрел, прямо на дорогу упал снаряд. Они бросились на землю, потом встали, побежали по улице, прижимаясь к домам. Снова выстрелила дальнбойка, с воем пролетел снаряд и опять ухнул на дорогу.

После второго выстрела стрельба прекратилась. Качике и Кабалов снова повернули к мосту. На дороге лежал опрокинутый танк, гусеницу его отбросило куда-то далеко. Экипаж танка — и живых, и мертвых — уже подобрали и увезли. Вокруг молча копошились солдаты. На мосту не осталось ни одного танка, передние уже прошли, те, что не успели войти на мост, отошли назад.

— Значит, и тут у вас беспокойно, из дальнбойных шпнарт, и часто это? — спросил Кабалов.

— Мы только вчера приехали, ничего еще не знаем. Это первый снаряд, который я увидел вблизи.

— Значит, где-то близко немецкий наблюдатель сидит, иначе почему не стреляют, когда на дороге нет танков?

— Думаешь, шпион? — спросил Качике.

— Чудак ты человек! Вполне возможно! — не моргнув ответил Кабалов.

— Да брось ты! — Качике решил, что Кабалов, как всегда, преувеличивает.

Качике с Кабаловым вошли в Шервиндт. В одном из домов, где разместился офицерский клуб, нашли множество немецких газет и журналов. Аккуратненькая печка топилась брикетами, и в комнате было тепло.

Вошел капитан Кузьмин.

— А, мошенники, сбежали? Друга в беде оставили? Так-то, фронтовички! — шутливо упрекнул он.

— Кто? Мы или вы? — рассмеялся Кабалов.

— Ох эти немцы! Не дают, проклятые, покоя! — капитан вздохнул и стал помешивать в печке.

— Здравствуйте, товарищи офицеры, старший лейтенант Ращектаев,— весело отрекомендовался незаметно вошедший офицер.

— Наши все в сборе,— сказал Качике.— Познакомься, Николай, это тоже один из будущих комендантов.

— Почему ты всех называешь комендантами? — засмеялся Николай.— Они что, родились комендантами?

— Капитану уже сорок, куда его пошлешь? Офицеров стало полно, а сколько городов немецких предстоит взять. Мы вот, командиры взводов...

— Не хвались, малый, не хвались,— не дал ему договорить Кузьмин,— мы тут без вас, молокососов, преспокойно жили. Вы пришли — и сразу начали обстреливать мост, не иначе как шпион среди вас... А что касается возраста... Разве это разговор? Я и в шестьдесят лет лучше тебя буду воевать, вот увидишь... А коменданты тоже нужны, ты вот хотел бы комендантом стать?

— Нет, я не способен на это,— сказал Качике.

— Тогда молчи...

Капитан не договорил.

Снова раздался выстрел, затем вой снаряда.

Снаряд разорвался возле моста. Оттуда доносился грохот проходивших танков. Наступили сумерки. Небо потемнело, загорелись звезды, ночь обещала быть теплой.

— Как только танки двинутся, тут и стреляет, значит, очень близко наблюдатель, вот опять летит,— сказал Кабалов, по слуху определяя направление снаряда.

И новый снаряд разорвался у самого моста.

Когда все стихло, офицеры пошли в столовую. Качике свой ужин принес домой и разделил с Кабаловым.

— Как после войны будешь жизнь свою устраивать? Если не убьют, конечно. Или старую лямку потянешь? — спросил Кабалов с улыбкой и посмотрел на Качике.

— Кто знает, Николай. Горы хочу свернуть, если в живых останусь, но человек быстро забывает плохое. Как бы снова не навязалась мне дома моя собачья болезнь.— Качике смущенно улыбнулся.

Вошли Кузьмин с Ращектаевым.

— Все еще с журналами возишься, даже домой притащил. Какая польза тебе от немецких журналов, скажи на милость? Еще и другу показывает,— сердито заговорил капитан.— Говорят, разыскивают немецкого шпиона-коррек-

тировщика, будь осторожен, парень! — Кузьмин хитро подмигнул Кабалову.

— Почему не посмотреть, весьма поучительно, — откликнулся Качике. — Вот смотри на немецкую пропаганду. Если тебя сфотографировать, как эту старушку, ты бы выглядел еще неуклюжей и безнадежней. — Качике указал на фотографию худой, морщинистой старухи. — И тоже подпишут под твоим фото: «Большевики не давали есть и изнуряли непосильным трудом». А у тебя просто комплекция такая, отовсюду кости торчат. Они изображают такими украинских крестьян, а своих фрау красивыми, сытыми, выхоленными.

— Пусть показывают. А я пока посижу на немецком диване. — Он удобно расположился на диване и, скандируя: «А я сижу на не-мец-ком ди-ва-не!» — стал подпрыгивать. Под его тяжестью диван зашел, закрипел и заходил ходуном. — На этом диване их благородие немецкий офицер, обнимая свою фрау, попивал французское шампанское и закусывал украинским хлебом с маслом. А теперь я здесь сижу, я, я, я! Понял? — продолжал забавляться капитан.

— Товарищ капитан! — окликнули его. Тот резко повернул голову и увидел на пороге лейтенанта с румяным конопатым лицом, с рыжими, коротко подстриженными волосами и с орденом Красной Звезды на груди.

— А, пришел, сейчас, сейчас, ох эти проклятые карты. — Капитан поднялся.

— А ты, философ, сиди и разглядывай немецких фрау. Сколько раз тебе говорил, что молодым людям вредно рассматривать красивых женщин. — Капитан вышел.

— Так, говоришь, Софронов пишет тебе? — переспросил Кабалов. — А как у него с Паней? Помнишь девушку в Березниках?

Паня была маленькая, милая девушка, глаза большие, круглые, и светились они умом и добротой. Она невольно вызывала симпатию. Паня не отходила от Софронова и привязалась к нему, как ребенок. Это даже смешило Качике. Ее соседка, попавшая на Урал с Западной Украины, Женя, наблюдая за Паней, весело смеялась вместе с ним... Женя была толстенная, смуглая и цвела пышной красотой. Она легко подчиняла своему влиянию окружающих. Моложавого лицом Качике Кабалов с Софроновым тоже представили девушкам как холостого. Услышав это, Паня

выплыла из своего места и, покругившись по комнате, за-  
шла:

Ты военный, ты военный,  
Ты военный не простой,  
Ты на севере жепатый,  
А на юге холостой.

Не ожидавший ничего подобного, Качике покатился со смеху. Так к Качике стал возвращаться смех, то есть жизнь... Он был влюбчивым и сразу же влюбился в Женю, однако она была с ним сдержанна, не приближала к себе и, лишь когда он собрался на фронт, проводила со слезами. Качике только тут догадался о сердечной тайне Жени, был тронут ее любовью и до сих пор аккуратно переписывался с нею...

— Уж больно мала Паня, подойдут ли они с Софроновым друг другу. Что сам-то он говорит?

— Он говорит, что из Пани славная жена выйдет, — улыбнулся Качике.

— Если сам Софронов не оставит ее, она-то будет верной, ладной женой, — сказал Николай. — А как у тебя с Женей?

— Переписываемся. Собирается уехать в свою Западную Украину.

— Жеңиңься, если она пойдет за тебя?

— Если жив останусь...

— Сколько девушек после войны станут искать своих парченых! — вздохнул Николай.

— Надежда впереди нас ходит. Есть и такие, которые ни разу друг друга не видали и знакомы лишь по письмам.

— Все это, брат, временное дело. Война... Разлука с близкими... Истосковались все, наголодались по ласке. После войны все устроится, все станет на свои места.

— Ты говорил, что матери Кутузова писал. Вот это хорошо, Костя. — Кабалов теплым взглядом посмотрел на Качике.

— Где бы и в каких переплетах ни оказались, мы должны оставаться людьми, Николай. А вот как мы должны с немцами обращаться, что ты по этому поводу думаешь или еще не думал?

— Народ не виноват, Костя. Это великий народ, просвещенный, развитый и трудолюбивый, — сразу ответил Кабалов.

Качике и Николай долго еще разговаривали.

— Что, эти офицеры ничем, кроме карт, не заняты, что ли? Похоже, азартные игроки? — спросил Николай.

— Тот румяный лейтенант, видно, настоящий картежник. Я тоже раз играл с ними в очко и начисто прогорел, — сказал Качике. — Капитан остановил меня вовремя.

— Ты, Костя, брось карты, — рассердился Кабалов. — Лучше переписывайся с ребятами — это доброе дело. А теперь давай спать, мне завтра на фронт, придется километров двадцать прошагать. Хорошо, если машина подберет, — закончил Николай, зевнув во весь рот.

На следующее утро Качике проводил Николая. Они крепко обнялись, распрощались, расцеловались по-фронтному.

Спустя несколько дней обстановка в городе стала напряженной. Мост продолжали обстреливать, мало того, снаряды стали падать и возле домов, в которых расположился офицерский резерв.

Как-то ночью вбежал взволнованный капитан.

— Шпиона нашли. Немец оказался среди нас, тот румяный лейтенант. Увели его сегодня. Сподобило меня на старости лет в карты дуться со шпионом. Позор, какой позор! — сокрушался капитан.

Еще через несколько дней тот же капитан Кузьмин принес новую весть. Орден Красной Звезды на лейтенанте оказался фальшивым. Фигура красноармейца на ордене была не в сапогах, а в обмотках. Так и разоблачили лейтенанта, нажали на него, он и признался...

Еще через несколько дней слухи эти подтвердились, резерв перевели в Литву.

## 24

Хозяина дома, где квартировал Качике, звали Антопус. Он кое-как изъяснялся по-русски. Узнав, что Качике, возможно, уедет на фронт, хозяин сказал ему:

— Костусь! (Литовцы на свой манер называли его Костусь.) Мне нужна корова, моя корова пропала, когда отступали немцы.

— Вы хотите, чтобы я с войны пригнал вам корову? — засмеялся Качике.

— Как тас ира? (Что такое?) — спросила дочь Антопуса Зося.

Антонус, видно, разъяснил дочери. Дочь что-то ответила ему.

— Если я пригоню сюда корову, что обо мне скажут литовские крестьяне? Купцом назовут. Одной коровой все равно всех не накормишь. — Качике не знал, как ответить хозяйину, и решил отделаться шуткой. Но Антонус, размахивая руками, твердил свое:

— Корова мне нужна, корова.

Вскоре Качике вызвали в отдел кадров. Полковник объявил, что он направляется командиром стрелкового взвода.

— Мне теперь уже все равно, товарищ полковник, большинство моих друзей стрелками пошли, хотя обучали нас на минометчиков.

Качике вернулся на квартиру часа в два ночи. Шел дождь пополам со снегом, идти было скользко, и он еле добрался до дома. Хозяин зажег лампу, все домочадцы почему-то встали и, печально переговариваясь, глядели на Качике.

— Значит, на фронт едешь? — спросил его Антонус.

Качике кивнул головой. Зося сидела какая-то напуганная, притихшая и грустно глядела на Качике. Качике улыбнулся ей, затем притянул к себе младшего сына хозяйина и поцеловал.

— Мало я с вами пожил, но вы стали мне родными. Спасибо вам. Завтра отправляюсь в путь, — сказал Качике, от усталости еле ворочая языком.

На столе появился горячий чай, закуска и полный стакан самогона.

— О-о! — воскликнул проголодавшийся Качике.

Что еще нужно было замерзшему, уставшему с дороги человеку?

— Ешь, пей. И дай бог тебе долгой жизни. Что мы можем еще пожелать хорошему человеку? Но не забудь о корове для Антонуса! — засмеялся хозяин дома.

Качике крепко уснул, а утром сел писать письма друзьям. Зося и двенадцатилетняя Гражина не отходили от него.

— Ты не уедешь! — сказала Гражина, не поднимая глаз, торопливо довязывая варежки из белой шерсти.

— Ты не уедешь! — смеясь, повторяла за ней Зося, вглядываясь в лицо Качике.

Они говорили, мешая русские слова с литовскими, жестикулируя, когда не находили подходящего русского слова. Красивое лицо и милая улыбка Зоси волновали Качике,

от грустного голоса Гражины хотелось плакать, ему уже было не до писем.

— Как я могу не уехать? — разводил руками Качике.

— Нейра, пейра! (Нет, нет!) — закричали обе сестры.

Качике взял руки Гражины и Зоси и прижал к груди.

— Не обижайтесь на меня, девочки, и разрешите уехать, как я могу иначе?

— Нет, нет, — сказали они в один голос.

Качике выглянул в переднюю комнату, позвонил хозяйна и стал жаловаться ему на дочерей. Девочки замахали на него руками, будто хотели сказать: «Молчи, молчи».

— А значит, надо слушаться девочек. Хозяйка собирается испечь хлеба и еще кое-чего приготовить на дорогу, пойду потороплю ее, — сказал дядя Антонус и вышел. Девочки схватили Качике за руки и потащили к дивану, развязали, сняли с него шапку и убежали с ней в переднюю комнату.

Вошел Антонус.

— У девочек какие-то свои секреты, даже мне не говорят. От немецкой коровы я уже отрекся, но, видно, на пару днейков тебя задержим. — Поглаживая усы, он улыбнулся.

— На два дня? — шутливо испугался Качике.

— Да, да, — не моргнув подтвердил дядя Антонус.

В последнее время на переднем крае обстановка обострилась, местами немцы пытались перейти в наступление, обе стороны готовились к решительным боям. В такой обстановке нужно было как можно скорее добраться до пункта назначения и занять свое место в строю.

Быстро покончив с письмами, Качике пошел прощаться с товарищами в офицерский клуб. Здесь, как всегда, весело острял капитан Лебедев. Был он очень молод, однако назначили его начальником разведки не то полка, не то даже дивизии. Он тоже собирался уезжать.

— Немцу не так просто меня убить. И все же мне хочется на всякий случай написать матери, — говорил он. — И не просто письмо... стихами. Других слов к матери не нашел. В конце хочу приписать: твой беспокойный сын капитан Алеша. Ну, где наш квартет? Давай на мотив «Стеньки Разина».

Старший лейтенант Несмеянов широко развернул гармонь.

Прощай, мать, прощай, родная,  
Путь-дорога меня ждет.

Путь-дорога под чужое,  
Под вражьи небо нас ведет.

Благослови и не печалься,  
Обними в последний раз.  
Твои слезы материнские  
Станут светом моих глаз.

А когда тоска осилит,  
Когда долго писем нет,  
Выйди в поле, шли на запад  
С ветром родины привет.

Может, я тебя услышу,  
А сразит коварный враг,  
Каждый раз, когда заплачешь,  
Зашевелится мой прах.

Закончили песню, офицеры громко зааплодировали, просили повторить. Второй раз пели всем хором, и песня была слышна далеко-далеко.

В день отъезда Качике начала крутить вьюга, похолодало, снег закрипел под ногами.

— Пусть бог воздаст тебе за твою доброту! — напутствовали его дядя Антонус, хозяйка и все домочадцы. Запрягли сани и решили проводить фронтовика до дороги.

Зося и Гражина все это время, пока он готовился в путь, не отходили от Качике, хлопотали вокруг него, и каждая говорила свое.

— Аш диевас прошау (я буду молить бога), аман бол!<sup>1</sup> — сказала Зося, повиснув у него на шее. Она долго не отпускала Качике, поцеловала его в щеку. Сказать «аман бол» научил ее Качике.

Гражина тоже долго обнимала его, каждая тихонько опустила что-то в его карманы.

Дядя Антонус и хозяйка проводили его до дороги и тепло обняли на прощанье.

— Дядя Антонус, корову-то привести? — спросил Качике.

— Какая уж там корова! На войне не до коров, — только махнул он рукой.

Оставшись один на шоссе, Качике сунул руки в карманы шинели и запахал. В одном кармане он обнаружил белые шерстяные варежки, из другого вытащил вышитый

<sup>1</sup> Аман бол — по-киргизски «будь здоров».

кисет и белый платок. В уголке платка и на кисете, а также на краешке варежек были вышиты латинские вензеля.

Сердце Качике обдало теплом, он легко зашагал по большой дороге к фронту, будто снова увидел перед собой этот милый дом, его простых обитателей, хотелось вновь встретиться с ними, еще раз поцеловать Зою, прижать к груди Гражину, как свою родную дочь.

Но сделать это ему было не суждено.

С попутной машиной Качике прибыл в корпус и явился к начальнику отдела кадров. Здесь уже не толпились офицеры, как в штабе армии.

— Пойдете на почту, — сказали ему в отделе кадров.

— Как на почту? Я не знаю почтовой работы... — возразил Качике.

— Воевать хочется?

— Да, товарищ майор.

— Немцев хотите громить?

Качике возмутила насмешка майора, но от обиды он не нашелся что сказать.

— Понимаю. Но офицеров у нас сейчас достаточно. Когда понадобится, пошлем. Пока поработайте, в дивизии все равно будете сидеть в резерве.

Разговор был окончен.

Однако Качике недолго пробыл на почте.

## 25

13 января 1945 года в 5 часов утра началась артподготовка, канонада гремела над всей Восточной Пруссией, а на другой день — 14 января 3-й Белорусский фронт перешел в наступление.

Вслед за штабом корпуса двинулась вперед и почта, останавливаясь в занятых нашими войсками городах и селениях.

Взяв направление на северо-восток, левым флангом 39-я армия подошла к Кенигсбергу, правым флангом вышла к Балтийскому морю и двинулась к порту Пиллау.

Качике удивлялся, наблюдая, как по заметенным снегом шоссейным дорогам Восточной Пруссии немцы семьями возвращались назад. Это была печальная процессия,

тянувшаяся на многие километры, а навстречу им двигались литовцы, русские, украинцы, поляки, радостные, веселые, — они шли домой. Легко одетые немецкие женщины и дети мерзли, голодали и брели машинально, не зная, куда идти и где приклонить голову. Тяжелое зрелище. Качике не мог без жалости смотреть на проходивших мимо детей и женщин.

Штаб корпуса остановился у большого дома. Со двора слышались рыдания, солдаты окружили толпу. Женщины и дети отчаянно кричали, плакали.

Качике подбежал и увидел поразительную картину. Солдаты куда-то тянули детей, а дети не хотели идти и отчаянно ревели.

— Что вы делаете? — спросил Качике.

— Ничего плохого мы не делаем, хотим увести их в тепло, но ничего не получается, за матерей возьмемся — дети режут, за детей возьмемся — матери коршунами на нас налетают, что за бестолковый народ, — сказал пожилой солдат.

— Ведь жалко же их, несчастных! — заметил другой солдат.

— Чего их жалеть! — Подошел молодой автоматчик. — Они нас жалели? Отойдите в сторонку, дам одну очередь, сразу затихнут!

— Иди, иди, ты, герой! — осадил Качике автоматчика. — С женщинами и детьми хочешь воевать? Если больно храбр, ступай на передовую. В чем они виноваты? Веди-те их в пустой дом.

Солдаты увели плачущих женщин и детей. Не прошло и часа, как пожилой солдат, ведя за руку маленького мальчика, вошел в дом, где остановился Качике. За ним шла перепуганная мать ребенка.

— Посмотрите, товарищ лейтенант, он уже почти привык ко мне, а мать все еще боится, я ему хлеб и сахар отдал, нет ли у вас чего-нибудь? — сказал солдат, грея в своих ладонях покрасневшие от холода руки ребенка.

Качике отдал ребенку свою долю стуженного молока, сахару и хлеба, приласкал его, мать наконец перестала бояться, благодарно улыбнулась.

Зажгли свет, солдат-почтовик принялся готовить ужин.

— В какой дом ни войди, всюду консервы, мясо, всякие продукты, товарищ младший лейтенант, — заговорил с Качике солдат. — Готовую еду оставили, бежали, бедняги.

А все же, скажите-ка мне, как это такая культурная нация, как немцы, оказалась способной на варварство?

Вошел начальник почты корпуса капитан Богословский — с большим животом, с полным свежесбритым, без морщин лицом и двойным подбородком.

— Ты чего тут болтаешь, Свиридов? — сказал капитан.

Свиридов сразу как-то ссутулился, с виноватым видом стал раздувать в очаге огонь.

— Да я просто так, товарищ капитан, о немцах говоришь, вот драпали, даже консервы свои побросали... — робко промямлил он.

— Опять эти интеллигентские разговоры? На войне каждый человек, солдат ли он, офицер ли, должен знать свое дело, а не болтать о чем попало, критиковать, осуждать кого-то. Немцы от самого зарождения варвары. Они ненавидят народы поумнее себя... А почему побросали все? Боятся нашей мести. Пылают немецкие города. И пусть горят, нечего жалеть! — Капитан снял шинель, сел в немецкое кресло.

Капитан говорил, будто сам на своей шкуре испытал все тяготы войны. Он был высокомерен с людьми ниже себя по службе, был холоден и груб с ними, простых солдат и за людей не считал. Качике сразу сообразил, что долго ему не ужиться с этим капитаном, но пока что приглядывался к нему и помалкивал.

Слова капитана поразили Качике, с трудом сдерживая гнев, он сказал:

— Это хорошо, что сами вы не на передовой. Такие, как вы, да еще на командной должности, так распотрошили бы Германию, что вряд ли ей когда-нибудь и ожить.

— Кому это нужно, чтоб Германия вновь оживала? Может быть, вы этого хотите, лейтенант? — тем же тоном произнес капитан.

— Хочу! — резко ответил Качике.

— Ради чего же? — насмешливо справился капитан.

— Народ Германии должен взять власть в свои руки и построить рабоче-крестьянское государство. Вы это понимаете? — Качике уже говорил спокойно. — Настоящие сыны Германии еще в подполье. Многие пали жертвой фашизма. Они еще до нас схватились с Гитлером; и не они, а Гитлер и его фашисты были жестокими, ненавидели другие народы. Вот поэтому-то...

— Поэтому надо стереть немцев с лица земли, — сказал капитан, сверля Качике своими круглыми глазами. — И чему только вас учили!

— Воевать, а не порабощать, — ответил Качике.

— А почему же не воюешь?

— Не посылают...

— Я завтра же получу для вас направление, воюйте на здоровье, — сказал капитан совершенно серьезно, будто от всей души желал ему добра.

— Разрешите завтра сдать дела?

— Я сам приму, не так уж много у вас дел, — ледяным тоном ответил ему капитан.

Наутро Качике уехал в дивизию.

## 26

Во Фрунзе все знакомые Качике судачили о нем, о его дочери и жене Чынаркан. От Качике давно не было писем, и некоторые решили, что он пропал без вести или погиб. Одни осуждали Чынаркан, другие, напротив, оправдывали.

Маленькая дочь Качике, бегая в плохой одежонке, схватила воспаление легких и умерла. После смерти девочки сплетни вспыхнули с новой силой. Многие осуждали Чынаркан, но некоторые, желая быть беспристрастными, пытались свалить несчастье на тяжелую жизнь. Апсамат решил, что не стоит сообщать Качике о смерти дочери, он там на фронте и так ходит рядом со смертью, зачем ему переживать еще и эту трагедию. Он промолчал. Чынаркан же предпочла сказать правду, она писала:

«Случилось то, что случилось. Твоя дочь ушла из жизни. Кто виноват? Одному богу известно. Ты по своей злобе обвинишь, конечно, меня. Как хочешь! Не меня обвиняй, а судьбу. Разве не умирают дети при родной матери? Смерть не разбирает, родная или неродная. Я же все сделала, чтобы она выздоровела. Только по настоянию врачей отдала в больницу. В больнице она и умерла. Не хотела я тебя расстраивать, но побоялась скрывать правду и тем самым принять вину на себя. Что мне от того? Промолчу я или не промолчу? Если ты ко мне искренне привязан, смерть дочери не может стать препятствием. Улетел божий мотылек, и кто мог бы этому помешать? Ты сам едва бы удержал ее. Кому не суждено умереть, тот и при голоде

выживает, кому смерть суждена, тому хоть в рот пихай, не поможет, я сама это пробовала. Ничего я для нее не жалела. Хочешь — верь, хочешь — нет, дело твое, упрашивать тебя не собираюсь. Я привыкла говорить правду в лицо — это ты знаешь отлично.

Теперь хочу тебя спросить: почему не пишешь? Или узнался, что стал офицером, и задрал нос к небу? Человек из земли рождается и в землю возвращается — не лучше ли держаться ближе к земле?

Я сообщила тебе печальную весть. Другие, с кем ты переписываешься, возможно, промолчат об этом. Моя откровенность — свидетельство моей верности тебе. Враг предпочитает говорить сладкую ложь, а друг — горькую правду. Пойми же наконец: никого у тебя нет ближе меня. Если меня считаешь врагом, тогда ты сам себе враг.

И вот еще что: некоторые здесь получают из Германии посылки. Вещи новехонькие. По своей щепетильности ты не захочешь брать добычи, я знаю, но поднять то, что валяется под ногами, по-моему, вовсе не грешно. Что брошено, то уже не понадобится немцам. Поверженному врагу не до барахла. Одного боюсь: некоторым вслед за посылкой приходит похоронка. Если так, лучше уж провались она, эта добыча. Правда, иные говорят: «Сам погиб, да хоть посылку прислал». Я же на трофей не зарюсь. Написала так, между прочим.

Жду тебя в свои объятия.

Чынаркан».

## 27

Саадат ехала во Фрунзе.

«Куда я иду? Куда меня выведет кривая?» — беспокоилась молодая женщина.

Она никогда раньше не была в столице. Будущее казалось ей туманным и неопределенным. Муса спал, положив голову ей на плечо, он посапывал, вздыхал во сне, иногда чмокал губами, как ребенок. Можно ли сказать, что они едут вместе, рука об руку, по этой ухабистой, неровной дороге, через перевалы и овраги? Есть ли еще между ними доверие и согласие? Дни их пылкой любви уже позади. Неужели позади? А были ли они у них? Сколько ссор и размолвок было у них в эти дни! Но Саадат не мстила Мусе и не изменяла ему. Перед какими джигитами она

устояла! А почему? Особой твердой породы, что ли, была? Нет, вовсе не потому, совестно было. Боялась запятнать свое доброе имя. И вдруг переменился Муса. То ревновал, верил любой сплетне, оскорблял, не раз даже руку поднимал на нее, и вдруг, будто пелена с глаз упала, он убедился в ее чистоте, бросился к ее ногам и с плачем попросил прощения. Что, если бы Саадат изменила ему тогда? Не Мусу, себя первую опозорила бы.

На сердце у Саадат жила еще другая тревога. Жена Абылкасыма разбудила ее. Она слышала, что мать и родственницы Мусы осуждали Саадат за бездетность и подумывали, не пора ли им поговорить об этом с Мусой. «Приедешь во Фрунзе, обязательно покажись врачам», — настойчиво советовала ей жена Абылкасыма.

Саадат будто очнулась от сна, первый раз подумала о ребенке. И правда, сколько лет живет с мужем, почему у нее нет ребенка?

«Рожу ли я когда-нибудь? И хочу ли я ребенка? Почему я до сих пор не задумывалась об этом? Я же люблю детей. А вдруг я...»

Она так ужаснулась этой мысли, что невольно вскрикнула.

— Что, испугалась? — обернулся к ней шофер. — Не бойся, сколько таких поворотов уже проехали. Скоро выедем на прямую дорогу до самого Фрунзе.

Муса тоже открыл заспанные глаза.

— Это ты кричала? — Он схватил ее за руку и заглянул в побледневшее лицо. — Что случилось?

— Ничего. — Она нежно посмотрела на Мусу.

Пассажиры, убедившись, что все в порядке, вновь занялись своими делами.

— Ты что, сон видела? — спросил Муса, пытливо вглядываясь в встревоженное лицо жены.

— Да, сон видела.

— Какой сон?

— Такой... такой...

— Я снам не верю.

— А чему веришь?

— Цыганке.

— Цыганке? Неужели веришь?

— А как же, однажды она мне гадала.

— И что она тебе сказала? — настороженно спросила Саадат.

Она не раз слышала от других, что цыганки верно гадают, все сходится.

— Цыганка покачала головой,— сказал Муса и тоже покачал головой.

— Что ж она этим хотела сказать?

— «Детей у вас не будет,— сказала она,— но любовь останется, будете жить дружно»,— Муса рассмеялся.

— Не надо шутить. Ты в самом деле погадал, скажи правду? — Саадат стало страшно.

— Если в горах, за скотом бегая, не простудила себя, то родишь... А не родишь, из детдома возьмем и воспитаем. Лишь бы любили друг друга,— сказал он, мягко пожав руку жены.

Саадат захотелось поцеловать его, но, постеснявшись народа, она ответила ему слабым пожатием.

## 28

Война шла уже в Восточной Пруссии и подбиралась к столице ее — Кенигсбергу. На всем протяжении фронта немцы понемногу, но все же отступали и кое-где начали сдаваться в плен. Однако все еще упорно сопротивлялись, и чем ближе конец войны, тем ожесточеннее становились схватки. Как ни лаконичны были газетные сообщения, но и по ним нетрудно было угадать, что бои идут тяжелые, с огромными потерями для обеих сторон. Немцы не могли не понимать, что война для них уже проиграна и кровь их солдат льется напрасно, тем не менее они зубами цеплялись за каждый вершок своей земли, лишь бы оттянуть окончательную катастрофу. И сколько еще жизней унесет война, пока немцы захлебнутся в своей собственной крови!

Все это Бермет ясно представляла себе. И когда другие радовались близкому концу, она, сжав зубы, молчала. Ее злило, что они радуются, как дети, не думая о тех жертвах, которые еще принесет войне наш народ. «Эти там не были. У них жизнь в безопасности... Ну а моя?.. О господи! Почему же я оказалась не с теми, кто на фронте проливает за нас кровь? Перевязывала бы им раны, старалась бы облегчить страдания, помогала бы в меру своих сил. Почему я не догадалась уехать на фронт? Вначале не поняла всей серьезности этой войны, а когда поняла,

испугалась. Я, оказывается, трусиха, а ведь никогда не подумала бы. Воображала о себе: вот, мол, я какая, а все это было пустое самообольщение... На самом деле, есть люди, которые делают жизнь, и есть такие, которые живут на готовеньком...» Так думала Бермет. И о чем бы она ни рассуждала, мысли ее неизменно возвращались к Кыдырбеку. Поймав себя на том, что опять думает о своем Кыдырбеке, Бермет встряхнула головой, запечатала уже готовое письмо, встала.

«Единственная моя цель, мое стремление — это ты, ты и еще раз говорю: ты! Хочу идти рядом с тобой. Взвись за руки, мы вдвоем всего добьемся, и ты даже не заметишь, как твоя невысказанная мечта станет явью. Ты не останешься от меня, не останешься полуобразованным. Запомни это, Кыдырбек.

Пока вы там на фронте, здесь у нас интересные слухи ходят. Какие, спросишь? Будто у нас свой университет и своя академия наук будут. Веришь ты этому? Я поверила! Это же такая радость. Как бы тебе это объяснить... Даже перед тобой стыдно признаться. Но все равно знай: никто, кроме тебя, не знает о моей мечте... Я хотела бы стать ученым... И мне так приятно, что ты поздравил меня с поступлением в аспирантуру, — писала Бермет. — Много о чем хотелось бы сейчас помечтать, но понимаю, что все это пока впустую. Когда же кончится война? Ох, скорей бы!..

Что тебе рассказать о нас?

Турганбай работает в ЦК. Семья его вернулась в город. Дети уже большие стали. Джене поступила на фабрику. Пусть работает, чем болтаться дома. Родители твои живут неплохо. Письма от братишки получают.

Посланную тобой тетрадь Искандера у меня забрали, у кого она теперь, не знаю.

Недавно вышел сборник стихов Искандера. Хорошие стихи, за душу берут. Хоть мало он жил, мало написал, а след в киргизской литературе оставил.

Вот прочти-ка это стихотворение. Оно — как песня.

Полночь. Скрипку беру я в руки,  
И струны хотят о чем-то поведать.  
Не плачь же, не плачь же, моя Аруке,  
Это ведь песня победы.

А знаешь ты, кто такая Аруке?

Аруке — невеста поэта. И внешне хороша, и душой.

Стройная, красивая. Видели мы красавиц с черной как сажа душой. Аруке не из тех. Душа у нее как степь широка. Умна, добра, нежна. Много читала, много знает. Вдоволь наговорила я с Аруке, отвела душу. Когда ты приедешь, Кыдырбек, вместе сходим к ней. Если бы не несчастье, была бы достойной подругой поэту. Не повезло бедняжке. Однако...

Не знаю, как это тебе получше объяснить.

Есть у нас тут один человек, бывший фронтовик. Он геолог и писатель, какую окончательно выберет профессию, не могу сказать, но по своим человеческим качествам он один из лучших. Это и я заметила. И вот этот джигит оказался товарищем Искандера, звать его Мырзабек. Они с Аруке вроде начинают дружить. И я рада за них.

В стихах Искандера мне особенно нравится человечность. Вот послушай еще:

Снилось мне колечко золотое.  
Я спросил тогда: — К чему бы это? —  
Девушка с такой же красотой  
Приходила полюбить поэта.  
Где ж она, зачем она приснилась?  
Отзовись и стань моей любимой.  
Все зову, но ты во сне явилась  
И ушла, прошла куда-то мимо.  
А большое сердце кто-то мне загубит,  
Если не придет она и не полюбит.

Слишком затянула я письмо, Кыдырбек. Хотелось высказать все, что у меня на душе. Мне хочется быть рядом с тобой, говорить с тобой, делиться самыми сокровенными мыслями. Многого мне хочется. Но ты далеко. Нет, не далеко, ты мне кажешься совсем рядом, лишь руку протянуть, но тебя отделяет от меня дым и гарь войны.

Помни всегда: я, как мать-беркут, ношусь над тобой, охраняя твой сон и отдых. Всех наших людей хочется мне защитить...

Вспомнила еще строки Искандера:

Пусть ветер с дороги сбивает,  
Но ты не сбивайся с пути,  
Но ты не сдавайся, иди!  
Не надо тоски, ведь тоска убивает.  
Иди к своей цели, иди!  
С отвагой орлиной в груди.

До свидания.

Твоя Бермет».

По дороге в дивизию Качике вместе с попутчиком-лейтенантом зашел в немецкий дом.

Здания в поселке стояли вразброс и, что удивительно, все были целы. В населенных пунктах, где немцы упорно сопротивлялись, обычно не было ни одного дома, не отмеченного снарядами или пулей, большинство же вообще превратилось в развалины.

— Я немного понимаю по-немецки, — сказал лейтенант, — давай найдем, может, кто остался в доме, глядишь, покормят, а нет — своим подзаправимся.

— Как бы пулей не накормили, — ответил Качике.

— Не посмеют.

Они решительно свернули с широкого бетонированного шоссе и направились к жилью. Дом казался пустым, заброшенным, хоть бы собака залаяла.

Качике не раз видел покинутые дома. В панике хозяева оставляли на привязи не только скотину, но даже собак.

Лейтенант потянул парадную дверь, она была закрыта. Вошли во двор. Ни души. Качике заглянул на конюшню, там, внутри, вдруг затопал и заржал жеребец.

В ту же минуту и в доме началась суматоха. Лейтенант открыл дверь и что-то сказал по-немецки. За первой была вторая, оттуда послышалось испуганное «рус, рус». Лейтенант еще что-то крикнул. Раздался старческий голос, из внутренней комнаты появилась старушка в темном шерстяном платке.

Ответив на приветствие и заставив себя улыбнуться, она быстро-быстро заговорила по-немецки.

— Говорит, что дома никого нет, кроме нее, — объяснил лейтенант.

— Спроси, можно ли войти, — сказал Качике.

Старуха нерешительно потопталась, замаялась, не зная, что сказать, наконец, изобразив на лице подобие улыбки, раскрыла дверь и пригласила.

Они попали в блестящую чистотой кухню.

Старушка продолжала что-то быстро-быстро говорить.

— Спроси, куда все подевались? — сказал Качике.

— Убежали, говорит, русских боятся.

— Разве тут уже побывали русские солдаты?

— Еще нет, — перевел лейтенант.

— Или поблизости кого убивали, насиловали?

— Нет, не слышно пока, говорит.

— Так почему же они боятся?

— Им сказали, что явятся монголы, всех перережут, ограбят, обесчестят.

Качике и лейтенант прошли к тщательно вымытому дощатому столу, вокруг которого были расставлены стулья, и сели.

— Не заглянуть ли в комнаты? — спросил лейтенант.

— Не надо, — остановил его Качике. — Если мужчины и сбежали, то женщины с детьми, видимо, прячутся в доме. Еще умрут со страху. Лучше вынимай, что там у тебя в рюкзаке.

— Круг сыра и фляга вина. — Лейтенант принялся развывать вещмешок.

— И у меня то же самое. — Качике пододвинул к лейтенанту свой вещмешок.

Старуха удивленно уставилась на Качике, но, несколько освоившись, не скрывая удивления, спросила с улыбкой:

— Вы кто?

— Монгол, — лукаво улыбаясь, ответил Качике.

— Как монгол? Не может быть! Нам говорили, что у монголов два рога и они людоеды. Монгол, монгол! — старушка, растерянно моргая, смотрела на Качике.

— Так говорит ваш фюрер, — с улыбкой заметил Качике. — Культурная нация и верит в такую чушь? Ай-ай-ай!

Старушка смутилась и, продолжая удивляться Качике, забормотала:

— Майн гот, майн гот!

— Зовите своих, пусть не прячутся, еда у нас есть, вместе и поужинаем. — Качике доброжелательно кивнул старушке.

— Если глаза мои не обманывают меня, вы не похожи на злодеев, если все русские солдаты такие... — И старушка вышла за дверь.

— Они и вправду напуганы, — сказал лейтенант.

— Конечно. Чего их долго нет?

— Может, что недоброе затевают? У меня граната, — сказал лейтенант и переложил гранату из мешка в карман.

Дверь медленно открылась, оттуда выглянула старушка и что-то сказала лейтенанту.

— Боятся, как бы не прикопчили их.

— Не видят, что ли? Ведь мы без оружия. Убивают только в бою.— Качике достал из своего вещмешка круг сыра и фляжку.

Старуха подозвала своих. Дверь снова тихо отворилась, показалась светловолосая немка лет тридцати пяти, за ней гладко выбритый мужчина постарше в добротном костюме. Последней вышла молодая черноволосая женщина с черными глазами. Они столпились, не смея приблизиться.

Лейтенант и Качике встали, позвали всех к столу. Видя, что немцы нерешительно топчутся на месте, они сами подошли к ним.

— Не бойтесь нас, мы всего лишь ваши гости.

Немцы о чем-то поговорили меж собой, светловолосая суетливо засеменила к полкам, достала оттуда тарелки, затем взялась резать хлеб.

— Присаживайтесь, присаживайтесь,— пригласила всех старуха.

Глядя на белокурую немку, Качике расхохотался. Руки ее дрожали, и ей никак не удавалось нарезать хлеб.

Все улыбнулись. Старушка отняла у белокурой нож и начала резать сама.

— Всего у нас было достаточно, это Гитлер, Гитлер во всем виноват,— вдруг проговорила старушка.— Пропали мы теперь! Пропали!

Лейтенант перевел слова старушки.

— Почему пропали? Никто не собирается уничтожать немецкий народ. Как жили, так и будете жить,— разъяснил он остальным.

Немцы удивленно переглянулись, испуганно и недоверчиво посмотрели на Качике, на лейтенанта, а потом быстро заговорили.

— Про Сибирь говорят,— сказал лейтенант.

— Сколько градусов мороза бывает в Сибири? — спросил молчавший до сих пор мужчина.

— Семьдесят градусов.— Лейтенант рассмеялся.

Снова испуг прошел по лицам.

— Не пугай их,— сказал Качике.— Зачем вам это знать? — спросил он у немцев.

— Говорят, нас сошлют в Сибирь,— пролепетала старушка.

— Разве недостаточно вам своей земли?

— Как недостаточно! Говорили, нас погонят в Сибирь, а русские займут наши земли.

— Кто вам говорил?

Старушка промолчала, остальные по-прежнему, пораженные, смотрели на советских солдат.

— Все это ложь. Все это пропаганда! — отрезал Качике.

Лейтенант разлил по немецким рюмкам желтоватый шнапс.

Понемногу завязался разговор, напряжение спало. Белокурая немка принесла обед, ели не торопясь, переговариваясь между собой. Немец оказался хозяином дома, белокурая — его женой.

— Смуглянка эта — полька, видно, служанкой у них, — сказал лейтенант Качике.

Лейтенант заговорил со старушкой и вдруг вспыхнул от негодования.

— Не горячись, дай им поговорить, а сам сиди и слушай, — осадил его Качике.

— Все мужчины, говорят, на войне, некому стало работать, пришлось нанять поляков, но мы им хорошо заплатили, — перевел лейтенант.

Полька, кажется, поняла, что говорили о ней, она нахмурилась и вышла.

— Им, говорит, на родине ни за что бы столько не заплатили. Видал ты, какова старушка? Как же им после этого не опасаться возмездия! — гневно заключил лейтенант.

— Вот мы теперь оккупировали их землю, спроси-ка их, что они скажут, если мы их тоже угоним и заставим работать на нас? — Качике с хитровой улыбкой посмотрел в сторону немцев. У тех глаза расширились от ужаса. Старуха заморгала и запричитала:

— Майн гот, майн гот!

— Мы, конечно, пошутили, но подумайте о своей прислуге, — сказал лейтенант.

Пора было уходить. Старушка о чем-то стала упрашивать лейтенанта.

— Оставайтесь, говорит, живите у нас, хорошие вы люди, — перевел лейтенант.

— А детей своих все же не показали. И-и... У страха глаза велики, теперь хитрят, за нас хотят спрятаться, — заметил Качике и обратился к старушке: — Мы на фронт

едем, понимаете, на фронт, на фронт.— Попрощавшись с хозяевами, они вышли во двор.

Вечерело, хлопьями пошел снег.

### 30

Войска генерала Людникова остановились, перерезав путь немцам, которые через балтийский порт Пиллау пытались соединиться с окруженной кенигсбергской группировкой. Множество заграждений, значительный гарнизон города не давали нашим возможности сколько-нибудь заметно продвинуться вперед. Но и наши части не подталкивали противника к Кенигсбергу.

И вот в 6 часов утра немцы начали наступление по всему фронту. Они хотели во что бы то ни стало соединиться с окруженной кенигсбергской группировкой, взять в кольцо Советскую Армию, уничтожить или обратить в бегство.

...С мокрой земли поднялся ползучий туман, с самого утра ничего не было видно. Батальон Макарова вплотную подошел к противнику. Рота Кыдырбека открыла огонь из автоматов и пулеметов, но немцы шли и шли, перешагивали через трупы. Тогда в ход были пущены гранаты. Несмотря на туман, над головой появились немецкие истребители, они летали у самой земли и стреляли по пехоте из пулеметов, затем взмыли и, сбросив бомбы, ушли. Поле почернело от воронок, от трупов.

Батальон Макарова то отходил, то останавливался и под сплошным огнем, из последних сил сдерживал продвижение врага.

Пренебрегая огромными потерями, немцы в неистовстве предпринимали атаку за атакой и пачали постепенно продвигаться вперед. Армия Людникова вынуждена была отойти.

21 февраля немецкие части соединились с кенигсбергской группировкой.

Во время отступления Кыдырбек вдруг встретился с Качике.

Преследуемый противником полк Кыдырбека наконец оторвался от врага и на окраине леса начал окапываться.

На передней линии Кыдырбек поставил противотанковые ружья, сам отправился в окопы близ дороги. Мимо них проходило незнакомое подразделение.

— Из какой армии? — спросил Кыдырбек.

— Людникова.

— Какой дивизии?

— Тридцать восьмой.

Чтобы подтянуть отставших, передние остановились.

Показалась колонна, построенная поротно. Во главе одной из рот шел бледный, невысокого роста младший лейтенант. «Киргиз или казах», — подумал Кыдырбек.

Колонна остановилась.

Кыдырбек подбежал к младшему лейтенанту. Тот отдал честь. Кыдырбек подал ему руку и спросил, кто он.

— Киргиз, — ответил офицер.

— Я сам киргиз, как вас зовут? — улыбаясь до ушей, спросил его давно уже не встречавший киргизов Кыдырбек.

— Ормонов Качике, — назвалса офицер.

— О-о, так вот какой вы, Качике! Мне Турганбай писал о вас... — Кыдырбек начал трясти руку Качике, потом не выдержал, обнял его и поцеловал. — Вы командуете ротой?

— Со вчерашнего дня. Командир роты Сакеев, тоже киргиз, вчера погиб. Я единственный офицер в роте, вот и отдали ее мне, на время. — Качике виновато улыбнулся. — А так-то я взводом командовал.

— Долго были в окружении?

— Три дня.

— Немцы сильны?

— Пока сильны. У нас людей мало. Еле вырвались.

У Качике, кроме пистолета ТТ, был еще автомат.

— Кем вы приходитеесь Турганбаю? — спросил Качике.

— Я... — Кыдырбек застеснялся. — Родегвенник... — объяснил он, не смея назваться более определенно.

Лицо Качике показалось Кыдырбеку моложавым, вместе с тем на нем лежала какая-то невыразимая печаль. Вспомнив слова Турганбая «паш бедный Качике», Кыдырбек исподлобья взглянул на него. «Все же почему он бедный?» — недоумевал Кыдырбек.

— Откуда был Сакеев?

— Из Тонского района.

— И хороший был командир?

— Младший лейтенант. Но уже раньше воевал, старшим сержантом, крепкий был парень. Вместе окончили с ним училище. Пять месяцев командовал ротой, в полку

считался одним из лучших. Не повезло ему, когда вышли из окружения. И вырвались-то благодаря упрямству. Я приехал два месяца назад. И все время был в роте Сакеева... Как родные стали, и вот пришлось его оставить на чужой земле. И похоронили-то кое-как... А сколько так лежат!..

Кыдырбек прекрасно понимал состояние Качике. Он собрался сказать ему что-нибудь в утешение, но не успел.

— Строиться! — раздалась команда.

Кыдырбек и Качике обменялись адресами, потом обнялись и расцеловались, будто уходили друг от друга навеки.

Как ни коротко было их знакомство, Кыдырбек успел разглядеть, сколько горького и невысказанного было в этом человеке, жаль было с ним расстаться, не поговорив по душам...

Наутро корпус генерала Безуглого при сильной поддержке артиллерии перешел в контрнаступление и оставил немцев.

## 31

Командование фронта предъявило кенигсбергскому гарнизону ультиматум о капитуляции. Но немцы не подумали о гуманном смысле этого предложения. Предстоял жестокий окончательный бой.

Генерал Людников обходил передовые подразделения своей армии. Ночь была темная, меросило. Вся Пруссия со своими бесчисленными озерами, болотами, лесами поплыла, всюду по колено стояла грязь.

Пехота окопалась, артиллерия замаскирована, даже «катюши», укрытые ветками, не то что с неба, но и с земли не сразу просматривались. Иными словами, вся артиллерия и пехота были на позиции, лицом к лицу с врагом, готовые в любую минуту сокрушить его. Генерал Людников и раньше знал, что все подготовлено для наступления, но хотел еще раз убедиться в этом воочию, сам поговорить с людьми.

— Начнем с первой роты, майор Макаров, — сказал генерал. — Кто командир первой роты?

— Капитан Сулейманов, товарищ генерал.

— А! Знаю, знаю. Как командует?

— Отлично, товарищ генерал.

— Даже отлично? — переспросил генерал и зашагал в темноту, по направлению к роте.

Кыдырбека генерал застал в блиндаже. Командир роты о чем-то беседовал с Косолаповым, телефонист подремывал, а связист Кыдырбека спал.

Кыдырбек отдал рапорт и остался стоять навытяжку, с рукой под козырек.

— Будет, будет, у вас тепло, пообсохнуть, что ли? — сказал генерал, протягивая Кыдырбеку мокрую руку.

Телефонист чуть не упал со стула, а связист вскочил, никого, кроме Макарова, не узнавая со сна.

— А вы меня узнаете, капитан?

— Узнаю, как же мне вас не узнать, товарищ генерал? Ваше имя для нас свято, — просто ответил Кыдырбек.

— И мне радостно видеться с вами. Мы ведь старые знакомые, — сказал Людников, — еще со Сталинграда. Да же взвода не сумел тогда дать, помню, со штурмовой группой заняли дом. Кто тогда с вами был?

— Косолапов. Вот он! — Кыдырбек показал на Косолапова, который стоял навытяжку.

— О-о! Рад видеть! — Людников подошел к застывшему на месте старому солдату. — Ну, как жизнь? Сколько орденов имеете?

На гимнастерке Косолапова были одни медали.

— Представили к ордену Славы III степени, но еще не получил, товарищ генерал, — ответил Косолапов.

— Так-так, — сказал Людников. Он выразительно посмотрел на адъютанта. Адъютант что-то записывал в блокнот. — Роту вашу пополнили? Чего вам еще недостает?

— Всего хватает, товарищ генерал, — ответил Кыдырбек.

— Я верю вам, товарищ капитан, желаю удачи.

— Спасибо, товарищ генерал. — Кыдырбек отдал честь.

Когда генерала проводили, Косолапов, потирая руки, морща нос в улыбке, заходил по блиндажу.

— Товарищ капитан, похоже, начнется скоро, ну, погодите, немцы! — ликовал он.

— Если уж сам командующий добрался до роты, значит, близко, — поддержал его телефонист. — Хороший человек генерал.

— Командующий специально пришел повидаться с на-

шим капитаном, разве он поспеет во все роты! — заметил связист Кыдырбека.

— Ну, если специально, тогда зови взводных, есть разговор, — улыбнулся Кыдырбек.

## 32

Когда срок ультиматума истек, начался обстрел Кенигсберга с неба и с земли. Днем и ночью самолеты и пушки, в том числе и «катюши», не прекращали огня. Немцы открыли все шлюзы, и окрестности города были затоплены водой. Вода стала самым серьезным препятствием на пути к городу. Тогда каждое заметное здание закрепили за отдельными батареями. Это значило взять город путем полного его уничтожения.

Пехота пробиралась вперед на резиновых лодках, под прикрытием тяжелой артиллерии удалось провезти к городу легкие орудия, на мелких местах пушки приходилось вытаскивать на руках. Танки и тяжелые пушки по широким шоссевым дорогам любыми способами входили в город, начались уличные бои. Развалины зданий образовали естественные баррикады для обеих сторон. Немцы закрепились в больших каменных домах и подвалах, занимали верхние этажи, закрывая входы и выходы.

Звук металла и падающих камней, гул самолетов, грохот орудий, громы танков, взрывы бомб и артиллерийских снарядов, треск автоматов и свист пуль, клубы пыли и дыма, взметнувшаяся земля, пожары, копоть превратили столицу Восточной Пруссии в настоящий ад.

В этом аду находился и Качике. Он так и остался командиром роты. Когда дивизия попала в окружение, Качике сумел вывести свою роту без потерь. Обычно робкий, неуверенный в себе, он будто переродился в этих боях.

В Кенигсберг рота его вошла под прикрытием танков. В жестоких уличных боях, когда трудно было разобрать, где свои, где немцы, жизнь человека исчислялась минутами и секундами, не то что мертвых выносить, раненым не было возможности оказать помощь.

Санчасти и сапбаты, наспех развернув в подвалах разрушенных домов временные госпитали, пытались сделать все, что в их силах.

Рота Качике залегла за подбитыми танками и орудиями

и отстреливалась, когда на улице появились наши танки с пехотой на броне. Качике тоже поднял свою роту в атаку, и под прикрытием движущихся танков первым ворвался в один из подвалов. Роту встретил сильный пулеметный огонь. Бойцы падали как подкошенные.

Качике потерял сознание.

Придя в себя, Качике пошевелил ногой, хотел встать на колени, но не смог, лицо залило кровью. Он вдруг отчаянно крикнул:

— Рота, за мной! Вперед!.. Орлы! За родину!

В подвал уже ворвалось какое-то другое подразделение. Перепагивая через раненых, спотыкаясь и падая, бойцы завязали бой в глубине подвала.

Кенигсберг пал 9 апреля.

Хотя немцы и сообщили по радио о сдаче Кенигсберга и всюду были развешаны белые флаги, в отдельных местах города бои еще продолжались, фашисты сопротивлялись из последних сил, принося бессмысленные жертвы проигранной войне.

«Прости, Бермет, моя жемчужина, прости меня. Давно начал это письмо, а закончить не нашел времени, вернее говоря, не до писем было. Тяжелые бои, мы отступали, а если сказать точнее, бежали, потом собрались с силами и вновь перешли в наступление. Рядом со смертью ходили. Только теперь, перечитывая твоё письмо, подумалось об этом. А тогда и о смерти думать было некогда.

Мы сейчас проходим по Кенигсбергу, прославленной столице Восточной Пруссии. Рухнувшие здания, руины — вот как выглядит война. Мы взяли город ценой огромных разрушений. То ли бы еще было, если бы немцы последовали приказу Гитлера сражаться до последнего солдата. Хорошо, что среди них нашлись более благоразумные, думающие о будущем своей нации. Сдавшись, они уберегли свой народ от еще больших жертв и разрушений. О наших жертвах нечего и говорить! Среди них оказался и Качике Ормонов. Его дневник тоже попал в мои руки. Причиной этому оказался сам Качике. На первой странице он написал свое завещание, чтобы в случае его смерти тетрадь отдала не жене, а Кыдырбеку Сулейманову. Он пишет о встрече со мной и

полагает, что мы с Турганбаем родственники. Дневник велся на русском языке.

И этот дневник посылаю тебе, передай его Турганбаю, он решит, что с ним делать.

Печаль делает человека поэтом, говорят. И Качике, оказывается, писал стихи. Его единственная зацепка в жизни — дочь, оказывается, умерла, теперь он и сам умер. Кто по нем будет плакать в тылу, не могу сказать, но слышал, что фронтовые товарищи его сильно горевали. Мне самому было больно узнать о его смерти, хотя всего один раз и встретился с ним. Хорошим человеком он мне казался. Когда умирает хороший человек, особенно больно, и тогда тошно глядеть на тех, кто бесполезно и благополучно разгуливает по земле. Пусть бог меня простит за язык. И ты прости, но такое ощущение иной раз непрошено является к человеку.

Вот тебе одно стихотворение Качике из его дневника:

Когда исполню долг бойца и встану,  
На крыльях прилечу к полям родной страны,  
К моей сиротке милой я прильну устами —  
В них соль побед и горький вкус войны...  
Но мне еще к любимой нет дороги...  
Как бесконечно дорог каждый час!  
А кто-то, замирая от тревоги,  
С тропинки к дому все не сводит глаз...

Качике выразил общую солдатскую тоску. Ради этого солдат шел на смерть, в огонь и в воду. Ради этой цели мы готовы на новые подвиги и жертвы. Поэтому, Бермет, не раскисай, соберись с силами. Счастье просто в руки не дается, за него надо драться. Не тоскуй, гляди на дорогу и терпеливо жди дня победы.

...В Восточную Пруссию пришла весна.

На улицах Кенигсберга все еще стоят крупнокалиберные четырехствольные пулеметы. На реке Прегель, протекающей по Кенигсбергу, качаются полуобгоревшие баржи, на берегах валяются остатки разбитых лодок. Баррикады на улицах, мешки с песком — все это имеет еще довольно грозный вид.

Мы проходим сейчас по центру города. На тротуаре стоит дряхлая немецкая старушонка и, приветствуя нас по-ротфронтовски, кричит:

— Рус, гут!

Когда вышли к окраине, нас многое удивило. Возле на-

ших солдат толпятся немецкие ребяташки. Да еще как! Болтают с нашими солдатами, смеются, смеются и громко пищат, если наши ребята заденут их. Будто и не было войны. Еще проходя через реку-Прегель, мы встретили растерянных, неприкаянных женщин и детей и, попросив у зенитчиков хлеба, роздали им.

Зашли в один дом, попросили воды. Здесь были пленные — добровольно сдались. Дали нам напиток. Они готовили обед для наших солдат. Веселые, шутят с нами.

Молодой белокурый немец попросил у нас покурить, рассказал, что он был под Ленинградом и в Луганске, дом у него в Лейпциге, до войны работал поваром в ресторане.

— А где ж твой крест за войну с нами? — спросили мы.

Немец что-то сказал на ломаном русском языке и показал на свою спину, — мол, хорошо, что живой остался, а на крест ему наплевать. По-русски по всем правилам чествуют Гитлера и Геббельса.

Отсыпали им табаку и пошли дальше.

Вот видишь, Бермет, еще вчера воевали с ними, а сегодня уже налаживаем мирные отношения. Особенно не удивляйся этому. Потому что так и должно быть в будущем.

До свидания, Бермет. Не тоскуй и не скучай без меня. По всему видать, скоро конец.

Обнимаю и целую.

Твой Кыдырбек.

*24 апреля 1945 года.*

## СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ . . . . .	7
ЧАСТЬ ВТОРАЯ . . . . .	99
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ . . . . .	175
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	321

*Абдукаимов Узак*

### БИТВА

М., «Советский писатель», 1975, 464 стр. План выпуска 1975 г. № 239. Художник *Н. Н. Банников*. Редактор *Н. И. Голосовская*. Худож. редактор *Д. С. Мухин*. Техн. редактор *А. И. Мордовина*. Корректоры *Л. И. Жиронкина* и *С. И. Малкина*. Сдано в набор 2/IX 1974 г. Подписано к печати 22/1 1975 г. Бумага 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. № 2. Печ. л. 14<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (24,35). Уч.-изд. л. 24,88. Тираж 100 000 экз. Заказ № 690. Цена 88 коп. Издательство «Советский писатель». Москва, Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект имени В. И. Ленина, 109. Отпечатано с готовых матриц в ордена Трудового Красного Знамени тип. им. Володарского Лениздата, 191023, Ленинград, Фонтанка, 57, Зак. 144.

88 kon.

CT

